

**НОВЫЙ
МИР**

10

1934

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ъ

М О С К В А
1 . 9 . 3 . 4

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ТИЦИАН ТАБИДЗЕ.— Рион-порт, поэма	5
2. ВС. ИВАНОВ.— Похождения факира, роман, продолжение . . .	11
3. МУХАН БАШМЕТОВ.— Расставанье, стихотворение, пер. Павла Васильева	35
4. БОР. ПИЛЬНЯК.— Рассказы	37
5. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ.— Магистраль, роман, продолжение . . .	44
6. Н. АЛЕКСЕЕВ.— Клад, стихотворение	74
7. СКИТААЕЦ.— Дом Черновых, главы из романа	75
8. А. ВОРОНСКИЙ.— Три повести, окончание	96
9. НИК. СМИРНОВ.— Рассказы	125
ЛЮДИ И ФАКТЫ:	
10. Д. АРАНОВИЧ.— Планировка и архитектура социалистиче- ской Москвы	134
11. МИХ. РОССОВСКИЙ.— Люди колхозных полей	154
ЗА РУБЕЖОМ:	
12. Н. КОРНЕВ.— Вильгельм III :	176
13. М. СПЕКТАТОР.— Аграрный кризис	191
НАУКА И ЖИЗНЬ:	
14. В. Е. ЛЬВОВ.— Спор об эфире	208
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
15. Н. АШУКИН.— Труд Валерия Брюсова	230
16. А. СТАРЧАКОВ.— По страницам архива	238
17. П. СЫСОЕВ.— И. Е. Репин как представитель революцион- ного народничества	245

Статформат Б/5. 176 × 250.

Уп. Главл. В — 82938.

Зак. 1705. Тир. 50.400.

Об'єм 17 п. л. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белоконь.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

Рион - порт

Поэма

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

1

«Как братья, смел
И западный кавказец,
И красотой
Пленяет взоры он,
Но влажный дол,
Где протекает Фазис¹⁾,
Болотистой
Трущобой окружен.

Проклятию
Тот край предали парки,
И от него
Пошады ты не жди.
Там и весна,
И лето равно жарки,
Там вечный зной,
Там вечные дожди,

И круглый год
Сплошное половодье,
И ясных зорь
Незрима благодать,
И жители
Селенья и угодня
Принуждены
На лодках об'езжать.

Привык скользить
Абориген на веслах,
Где колеи
Не видно для колес,
И ликом желт
Народ Колхиды рослый,
Как будто он
Желтуху перенес.

Здесь у людей
Под толстым слоем жира
Сокрыт сустав
И не заметен хрящ,
И в заводях
Всегда тепло и сыро,
И пар встает,
Отравлен и смердящ.

Невиданны
Еще такие земли,
Где на ветвях
Не может вызреть плод,
И, от низин
Густой туман под'емля,
Вздыхает дух
Распухнувших болот.

Туземцы тех
Поселков малярийных
Из хижины
Выходят лишь тогда,
Когда зовет
К труду или на рынок
Их самая
Насущная нужда.

Здесь у копья
Потеет наконечник,
На хижины
Речной идет тростник,
И весь тот край
Как бы из вод предвечных
Велением
Божественным возник».

Так влажный край,
Который вечно зелен,

¹⁾ Так эллины называли Рион.

Нам описал
Столетия назад
Об'ездивший
Моря и земли эллин
И древности
Писатель — Гиппократ.

И хоть сказал
Он искреннее слово,
Но звук его
Досадно слышать мне,
И, верное
Для мрачного былого,
Оно уже
Правдиво не вполне.

2

Хочу позжать
Строфою ваши руки,
Хоть от меня
Сейчас вы далеки...
Я все же ваш,
И мы одной округи
Сограждане,
Соседи, земляки.

Пускай, друзья,
Пока я не имею
Перед страной
Значительных заслуг,
Пусть ни одной
Поэмою своею
К своим стихам
Не приковал я слух,

Но знаю я,
Что в мой родной Орпири
Уже вошла
Поэзия моя
Со дня, когда
Скептической рапире
Я предпочел
Иные острия.

И донесет
Газета иль «Мнатоби»¹⁾
Мой голос в круг
Трудящейся семьи,
И молодежь,
Что осушает топи,
Поймет слова
Правдивые мои.

Под'ем сердец
Везде необычаен,
И, чувствуя
Успех ваш, земляки,
Тем самым я
Героев всех окраин
Приветствую
Пожатием руки.

Недаром мы
Эпоху торопили:
Былое мы
Навеки погребли,
И вижу я
В родном своем Орпири
Груженные
Товаром корабли.

Пройдут заре
Бесклассовой навстречу
Те корабли
У вашего двора,
И этот день
В календаре отмечу
Движением
Порывистым пера.

3

Теперь, когда
Открыта дверь надежде,
Как странно мне
Припомнить век царей...
Рион, Рион!
Ты разорял нас прежде
И отравлял
Трясиною своей.

Вздучалася
Та измененность, как тесто,
Взбухал земли —
Родильницы живот,
И заставлял
Людей сниматься с места
Гнилой разлив
Необозримых вод.

Страдал мой край
Мучительной водяной,
Тут жил лишь гад,
Рос ядовитый хвощ,
И моросил,
Начавшись спозаранку,
До сумерек
Неутомимый дождь.

¹⁾ Грузинский литературный журнал.

Нам смерть несли
 Те заросли сырые,
 Где по ночам
 Кровавый пел комар,
 И правила
 Страною малярия,
 И в дебрях жил
 Горячечный кошмар.

И месяц сам,
 В парах болотных впадин,
 Рождался здесь,
 Чудовищно румян,
 И рассекал,
 Уродливо-громаден,
 Небесный свод,
 Как желтый ятаган.

И поражен
 Миазмами тех скважин,
 Храбрейший муж
 Наверно б оробел,
 Будь, как герой,
 Он дерзок и отважен
 Или, как сам
 Гардакешани, смел.

Стоят еще
 Сейчас перед глазами
 Ряды мужчин
 И женщин, и детей,
 Окутанных
 Дырявыми платками,
 Пронизанных
 Ознобом до костей.

И, как сейчас,
 Я вижу ряд лоскутных,
 Дымящихся
 От пота одеял,
 И дрожь в ногах,
 И боль во взорах мутных,
 Которые
 Припадок вызывал.

Святой водой,
 Знахарок празднословьем,
 Молитвою
 Лечилась та страна,
 Слезам детей
 И причитаньям вдовьям,
 И матерей
 Рыданьям отдана.

Под громкий вопль
 О муже или сыне,
 Так бедный край
 Безлюдел и заглох,
 Так погибал
 Засосанный в трясине,
 Оставленный
 Заботой уголок.

4

Но век седой
 На черном катафалке
 Отгромыхал
 К погосту наконец.
 Еще вчера
 Беспомощный и жалкий,
 Теперь народ —
 Хозяин и творец.

Теперь народ
 У счастья на пороге;
 Об этом весть
 Несут нам паруса.
 Раздался крик
 Строительной тревоги.
 И крылья нас
 Уносят в небеса.

Так пишется
 Большая эпопея
 Столетия
 Отваги и борьбы...
 Что перед ней
 Волшебница Медея
 С трагедией
 Карающей судьбы?

Волнует нас
 Не замысел Медеи,
 А замысел
 Великого труда,
 И древний сон,
 Что по ветру развеян,
 И старикам
 Не снится никогда.

Кто верит снам
 И бреду малярии,
 Пусть в их беде
 Тот бог им даст совет,
 Которому
 Кадят еще иные,
 Которого
 И не было, и нет.

Земля летит
Невиданной орбитой,
Склонение
Оси переменив,
И не к лицу
Мне повторять избитый,
Ненужный нам
Золоторунный миф.

Ведь гордое
Сказанье о Язоне¹⁾
С его руном
И утлым кораблем
У нас давно
Затмил любой сезонник,
Что разбудил
Глухой Палеостром.

Пусть мистике
Иные держат стремя,
Чужда мне пыль
Классических хламид.
И темным сном
О золотой триреме
Эвксинский Понт
Мне сердца не томит.

В былом краю
Болотной лихорадки,
Здесь ценятся
Лишь знание и труд,
Которые
Последние остатки
Насилия
С лица земли сотрут.

Для нас моря,
Для нас земля и небо,
До золота
Нам вовсе дела нет.
Искали мы
Свободы лишь да хлеба, —
И это дал
Нам Ленинский Совет.

5

Восходит век
Неизмеримым диском,
И если я
Не так его пою,

То потому,
Что в грунте чаладидском¹⁾
Одной ногой
Я все еще стою.

Иная жизнь
Звездой пятиконечной
В орбите дней
Свой начинает бег,
И он живет,
Пока еще беспечный,
Но все ж другой
И лучший человек.

Свободен взор,
Ветрам распахнут ворот...
Социализм
Мы строим для него.
И новое
Село, и новый город —
Все без него
Казалось бы мертво.

И пусть пока
Он ходит без исподних,
Иль под столом
Гуляет, босоног,
Пусть мал и слаб,
Но никакой «угодник»
Не перейдет
Прямых его дорог.

И, может быть,
На новую рубаху
Нет у него
Достаточно холста,
Но он богат —
Он не подвластен страху,
Но счастлив он —
Душа его проста.

И он идет
К нам целым поколеньем,
Но не с небес
Он падает, друзья:
Октябрьский вихрь
Гигантским опыленьем
Плодотворит
Весенние края.

Такой певец,
Рожден для песен бодрых,

¹⁾ По преданию, герой Язон плывал к берегам Колхиды за золотым руном. Герои мифа: Язон и Медея.

¹⁾ Чаладидские болота.

Идет в страну
 Рассветную мою...
 Приветствую
 Тебя, безвестный отрок,
 И звание
 Свое передаю.

6

Столетье то,
 Когда в потийской чаще
 Был паводок
 Извечный, отошло,
 И говором
 Строителей все чаще
 Гремит сейчас
 Родимое село.

В строительных
 Лесах стоит эпоха,
 И даль пути
 Советского света,
 И если мы
 В прошедшем жили плохо,
 Давайте же
 Сожжем его дотла.

Еще рывок,
 И у контрольной ленты
 (Не занимать
 Дыхания в груди!)
 Мы самые
 Волшебные легенды
 На много лет
 Оставим позади.

И Грузии,
 От Поти до Дарьяла,
 Приветственный
 Я посылаю стих,
 Нескладный пусть
 И сильно запоздалый,
 Но пламенный
 Не менее других.

Хоть не было
 Трущоб и чащ печальней,
 Чем заросли
 Риона моего,
 Встречаем здесь
 Теперь шелкомотальню,
 А с ней идет
 Машины торжество.

Все злее враг
 Советов, все бессильней,
 И он глядит,
 Нерадостен и хмур,
 Как дарит, вслед
 За новой лесопильней,
 Нам фабрику
 Бумажную Ингур.

Превращены
 Из гибельной трясины
 В рай цитрусов
 Субтропики теперь,
 Распахнута
 Для вас, имеретины.
 В грядущее
 Сияющая дверь,

А в округе,
 Где мокли вы, мингрельцы,
 Где б утонул
 И ты, Левнафан,
 Там синие
 Прокладывают рельсы,
 И поезд мчит,
 Горячкой обуян.

Там не одной
 Расти придется дамбе,
 Паромы там
 Стальной заменит мост...
 Но уместить
 Всё в пятистопном ямбе
 С цезурою —
 Вопрос не так-то прост.

7

Стихи мои!
 Как метко вы ни целите,
 Вам всех очков
 Не выбить никогда.
 Пойдем туда,
 Где в оживленной дельте
 Советские
 Качаются суда.

Сейчас мечта
 Идет в моем соседстве
 Чувяк мне — твердь,
 Папаха — небеса,
 Свершилось всё,
 О чем я презил в детстве:

В Орпире я
Увидел паруса.

И вот душа —
Как озеро сегодня,
По озеру
Плывет корабль весны,
И на берег
Матрос кидает сходни...
Воплощены
Младенческие сны!

Где не было
Дыханию отдушин,
Где в хижинах
Всегда был воздух сперт, —
Распутицы
И ливней край осушен,
И ты, Рион,
Теперь приморский порт.

Ликует край,
Счастливым и свободный,
И дряхлым снам,
Чей свят был ореол,
Отходную
Читает многоводный,
Русло свое
Очистивший, Рион.

Иди сюда,
Мой друг Тарас Спринквели,
И пей за то,
Усевшись под платан,
Чтоб якоря
Эпохи не ржавели,
Риона сын
И первый капитан!

Плыви, корабль,
А вы, матросы, правьте
На дальний мыс,
За вытянутый мол,
Чтобы рассказ
О новом аргонавте
До западных
Товарищей дошел.

Идут суда
У моего Орпире,
И капитан
Ведет их молодой,
И океан,
Смеясь на синем пире,
Встречает их
Веселою волной.

Перевел с грузинского БОРИС БРИК.

Похождения факира

Роман

В.С. ИВАНОВ

(Продолжение ¹)

17

Я поселился на окраине, возле реки Тобола. Я жил у солдатки Павлы Николаевны Рязевой в бане за рубль 50 копеек в месяц. Решив сберечь денег, я рассчитал, что, получая 18 рублей в месяц, отлично просуществую, если буду тратить только 8. Через два года я сберегу 240 рублей, буду знать свою науку, и, когда призовут меня на военную службу, я напушу в присутствии такую удивительную магию, что присутствие отречется, отмахнется от меня навсегда! Я ненавижу казармы: прыгающих через деревянную «кобылу» солдат; трапеции; мишени для стрельбы; плащ — пыльный и серый.

Я таскал из-за Тобола валежник и топил им печь. Пока накалялась «каменка» и закипал обед, я готовился к размышлению. Я далеко убрал все свои факирские книги и прекратил чтение газет, дабы свободно работать над своей системой. Я набрал и отгиснул в типографии наклейки:

«Бен-Али-бей. — Его высший духовный идеал»;

«Бен-Али-бей. — Его наука»;

«Бен-Али-бей. — Его тайна».

Так как идеал был, по-моему, очень несложен, то я уделил ему две из

15 клеенчатых тетрадей, приобретенных мною. Восемь тетрадей занимала наука, 5 тетрадей — мои тайны.

Уважение, — вот мой высший духовный идеал!

Уважать нужно все, что видим вокруг. Уважать нужно все, что делаем. Мудрецы, по-моему, ошибались, когда велели людям любить друг друга. Где там любить, добиться б хоть маленького уважения!

Но едва только я начал думать об уважении, то это слово, которое занимало так мало места в моих прежних размышлениях, вдруг приобрело множество оттенков, подразделений, значений. Оказывается, есть уважение к работе, к пище, к мыслям, а главное, совсем неодинаково уважаем мы друг друга! Например по моему идеалу получалось, что я должен уважать Филиппинского, но мне трудно было подобрать поводы для этого уважения. Я никак не уважал его, хотя в то же время слегка и скучал по нему! Я уделил Филиппинскому несколько вечеров. Я сидел на полке, поджав ноги и уставившись в маленькое окно, которое каждую ночь закрывал сугроб. Утром, перед выходом на работу, я раскидывал этот сугроб, но вечером опять поднималась метель. Я решил, что пусть Филиппинский сам научится уважать других! Я записывал свои мысли в тетрадки «Его высший духовный

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с. г.

идеал», и едва я записал свое отношение к Филиппинскому, как сразу же перестал думать о нем. В тетрадках я нашел того учителя, которого давно не хватало мне. Вечером я записывал свои мысли, утром перечитывал их с восхищением.

«Его наука» заполнялась теми полезными сведениями, которые я давно собирал: из отрывных календарей, из «смеси» в журналах, из растрепанных книжек, покупаемых на толкучке, вроде: «Доктор Гам. — Буфет всевозможных водок. Неоцененный источник дохода буфетчиков железных дорог. Драгоценный подарок погребщикам, буфетчикам, дворцким и водочным заводчикам. Репертуар всевозможных средств домашнего приготовления спирта, водок, ликеров, эссенций, экстрактов, искусственных вин, сиропов, дрожжей, уксуса, с прибавлением предметов, необходимых для домашнего туалета». Я считал, что если свести в одно все эти сведения, то получится как-раз та наука, которая необходима людям. Но, кроме выписки, я должен изобрести нечто свое, опиравшееся на эти полезные сведения! Фокусы, ранее пренебрегаемые мною, теперь, когда я потерял свои шпаги, наполнились прелестью необыкновенной. Фокусы, рассуждал я, это — как-раз то, что способно возбуждать грубых и мрачных людей, среди которых я находился. Для прогресса моего учения мне необходимо уважение. Именно фокусы и могут мне дать это уважение.

Упоённо я придумывал фокусы. Ещё более упоённо объяснял те, о которых приходилось слышать. Например я никогда не видал «говорящую голову», но знал, что на столе появлялась голова без туловища. Она отвечала на вопросы, ела, пила, курила. «Этот на первый взгляд чрезвычайно замысловатый фокус, — объяснял я, — в сущности очень прост»:

«Закажите полукруглый стол на трех ножках. Между этими ножками вставьте два зеркала так, чтобы одно было под прямым углом к другому, а третью, самую широкую сторону оставьте открытой. В середине стола делается отверстие с дверцею, в которую могла бы свободно пройти голова. Уберите из комнаты все,

чтобы оставались одни голые стены. Стол поставьте открытой стороной к задней стене, а зеркалами к зрителю так, чтобы та ножка, где сходятся оба зеркала, приходилась посередине, прямо против зрителей. Боковые стены будут отражаться в зеркалах, а зрителям будет казаться, что они видят между ножками стола заднюю стену. Но расстояние от стола до боковых стен и до задней должно быть одинаково. Тогда линия пола, отражаемая в зеркалах, и действительная будут составлять одну прямую. Факир все время держится впереди стола, не заходя в глубь комнаты. Убедив зрителей, что на столе и под столом ничего нет, он берет кубический ящик около полутора футов длины, ширины и вышины и, дав публике осмотреть, что ящик этот ничего не содержит, опрокидывает его на стол, как-раз над дверцами. Пока он рассказывает публике, что в ящике появится голова, способная делать все, что может делать всякая живая голова, его товарищ, сидящий под столом и скрытый от публики зеркалами, отворет дверцу и просовывает в нее голову. Когда ящик снят со стола, то публика видит на столе говорящую голову».

Каждый день я или вспоминал какой-нибудь фокус, или придумывал такие аппараты, которые, казалось, легко было сделать. «Вот например, — писал я, — «Револьверный выстрел». Он гасит три зажженных свечи и в то же время зажигает три других. Я ставлю на стол шесть свечей, с одной стороны — три зажженных и с другой — три погашенных».

«Факир просит зрителя зарядить ему пистолет, взяв который, он стреляет на расстоянии пяти шагов по зажженным свечам. Свечи угасают, а три незажженные загораются. Это легко сделать! Надо взять три целых свечи свежего литья и, растрепав светильник иглою, вставить в середину их по зернышку фосфора. Все дело в том, чтобы не касаться фосфора пальцами, но употребить иглу. Загорится фосфор от движения воздуха, производимого выстрелом».

Или вот «Птица с магическим голозом»:

«Вы видите ее сидящей на устье бутылки, напевающей песню, какую ей прикажут, не включая и тех арий, которые искусный зритель тут же на месте сочинит и пропоеет перед птицею. Она распевает так же отлично, когда ее снимут с этой бутылки и посадят на другую бутылку или поставят на тот или иной стол. Из рта ее исходит дыхание, которое колышет огонь — свечу, которую факир держит, как довод того, что птица эта имеет магический

голос. Происходит это потому, что позади занавеса, который закрывает часть стены, находятся два пустых металлических кегля. Эти трубы служат помощнику факира вместо разговорной трубы, или, лучше сказать, они составляют эхо, которым его напевы отражаются в разные углы, подобно тому, как два выпуклых зеркала различного выгиба через разные расстояния отбрасывают подвзваченное изображение из своего фокуса. Помощник, подражая птичьему голосу, напевает песни на память или по данным ему нотам. Если же ария, заданная птице, трудна и помощник ее просвистать не в состоянии, факир объявляет зрителю, что птице нужно начать какую-нибудь знакомую арию, дабы она могла перейти к требуемой. Этим замешательством и воспользуется скрытый музыкант, он разбирает трудности и начинает заданную арию, когда другой помощник окончит первую знакомую арию. В теле птицы находится небольшой двойной мех, приводимый в движение вертлугом. Вертлуг этот пропущен в горло бутылки и закреплен на деревце, которое видеть нельзя, потому что бутылку нужно брать темного стекла. Кусок дерева, укрепленный перпендикулярно в подвижном дне бутылки, которое отрезается прочь, приводит мех в действие, потому что к самому дну приделан под'емный рычажок, пропущенный сквозь стол. Рычажок факир тягивает за проволоку, подведенную к столу ножке. Когда же факир берет птицу в руки, то он надавливает на дно бутылки пальцем, и от этого изо рта птицы выходит равномерно дышание, освобождающее зрителей от догадки, что в столе утаена машина».

«Два яйца»:

«Факир показывает два яйца, которые подаст на выбор, чтобы одно из них разбить в знак того, что они — простые куринные яйца. Из оставшегося целого яйца выходит мышь, которая вдруг превращается в канарейку. От ударов о пол ногой канарейка опускает крылья и умирает в руках самой красивой зрительницы. Если зрительница начинает сожалеть о смерти, то играет музыка, и канарейка по приказанию факира, приходит в движение и улетает, сделав поклон зрителям. Происходит это так: при изломе яйца показывается мышья головка. Подставное лицо испуганно восклицает: «Ах, мышка!», и женщины, естественно, пугаются этого восклицания, веря, что выглянула действительно мышка. Тогда факир заявляет громко и мгновенно, что превращает мышку в канарейку, которую и отдает замечательной даме, у которой она умирает на руках! Факир, показав мертвую птичку зрителям, относит ее на стол под стеклянный сосуд, где она и оживает. Для производства этого фокуса надо распилить крошечной пилкой пополам два куринных яйца, предварительно их выпустив. Распилив их по длине яйца, по шву скрепить полоской почтовой бумаги. Таким образом, нетрудно вложить в яйцо живую птичку и к носку яйца нечто схожее с мышья головкой.

Не нужно забывать: в том месте, в котором находится птичья голова, надо просверлить отверстие, чтобы птица не задохлась. В то мгновение, когда факир отдает птичку даме, он слегка давит большим и указательным пальцем птичью шейку. Кто привык, то следствием этого удавления получится, что как будто птичка задохлась. Поэтому-то, введенная в посудину, наполненную кислородом, она немедленно оживет. Но если факир неспособен искусно придуть птичку, он должен ее мертвую положить под такую посудину, под которой находится скрыто отпадающая дверца, через которую его помощник, находящийся под столом, способен вместо умершей впустить живую. Нужно запомнить: подавая приготовленные яйца к выбору, то, в котором находится птичка, надо положить поодаль, потому что выбирающий всегда возьмет ближайшее яйцо. Но если бы сверх ожидания случилось, что особа возьмет яйцо с приготовленной в нем птичкой, в этом случае надо употребить проворство и, разбивая яйцо, подменить его простым».

Я составил проект «перевозного» стола факира. Стол имел множество всяческих отделений, перегородок, приступок, пустых ножек. Для «оптических превращений» я сделал из дерева резные изображения медведя, льва и кошки, оклеенные шкурами. Зверей этих я поставил среди поддельных деревьев. Я смотрел на мой деревянный зверинец и воображал, что вот мы вводим зрителя в комнату и осматриваем ее. Никто не подумает о раздвижной кулисной стене, оклеенной обоями. Осмотрев комнату, зрители выходят и становятся у дверей. Они видят факира, сидящего на обыкновенном своем месте, в обыкновенном своем платье. Факир опускает занавес. Он берет из-за кулис чучело, втыкает его над собой вниз головой в потолок посредством железных спиц, находящихся в ногах чучела. Факир поднимает занавес и в то же мгновение задвигает зрительное отверстие, сделанное в двери, трехсторонним стеклом или призмюю пяти дюймов длины и двух высоты. Зрители видят факира, превратившегося в медведя!

Я наполнил большой пивной стакан в середине фольгой, а прочие места покрыл черной краской. Если на дно этого цилиндрического зеркала положить перевернутое изображение, как это делают в волшебных фонарях, и хорошенько его осветить, то оно кажется в воздухе над устьем зеркала таким натуральным,

что его хочется схватить руками. Если изображение, положенное на дно зеркала, подергивать посредством волоска, оно зашевелится. Я смеялся. Теперь я могу показать влюбленному его суженую или «душу» усопшего. К сожалению, я не располагал большими зеркалами, особенно выпуклыми. Тогда я придумал выгнуть зеркало из слюды и навести его зеркальной фольгой.

Наука давалась мне легко. Я очень радовался. Без-устали я составлял свою Волшебную библиотеку!

Когда мне показалось, что мой высший духовный идеал может быть съеден моей наукой, я стал думать о более глубоких тайнах. Мне мало тех тайн, которые вымались в серые тетрадки «Его науки». Мне нужно нечто скрытое, которое бы давало мне уважение, нечто неведомое, благодаря которому я выработал бы свой духовный идеал. Умей придумать не только снаряды, производящие фокусы, но и управление собой, зверями, растениями!

Если к фокусам, размышляя я, мне удалось подойти умозрительно, потому что я не обладаю ни умением их делать, ни деньгами для аппаратуры, то к животным я смогу приблизиться с большей легкостью, стоит лишь подольше собираться валежник, подольше быть среди растений и птиц. Эти размышления привели меня к идее воздержанности. Помогло мне и то, что я хотел оберечь побольше денег.

Хозяйка моя Павла Николаевна, высокая, крутая, — «сплошного камня», — продавала мне кринку молока в день и пекла хлеб. Хозяйка боялась поблекнуть. Ее тревожило то, как я понемногу отвыкал от мясной пищи.

— Зачахнешь, Сиволод, — говорила она крутым своим голосом.

— А я медленно...

Медленное отвыкание, казалось мне, будет более удачным. В Омске я или не ел совсем, или сразу съедал по две сотни пельменей. Теперь от фунта колбасы я перешел на полфунта. Три месяца я держался на осьмой фунта. Я подолгу смотрел, как эта осьмая, нарезанная тонкими пластинками, просвечивала сквозь бумагу. То мне думалось, что птицы в

лесу смеются над таким человеком, пожелавшим приблизиться к ним столь странным способом; то — «на четыре копейки, которые стоит осьмушка колбасы, купишь ты в колбасной обрезков и съешь уже не осьмую, а значительно больше»; то — «не проще ли купить на четыре копейки фунт плохого мяса и сварить щи?»

Постепенно я привыкал к воздержанию. Суконные мои штаны, стоившие 7 рублей, износились от частого хождения в лес. Ботинки тоже лопнули. Я бы гулял босиком, как Лев Толстой, но у меня не только плохо росла борода, но и усы-то еле-еле подавались. А, кроме того, меня мало прельщала та «пустобаящая» любовь, которую проповедывал Толстой. По мерке износившихся я сшил себе из «чортовой кожи» длинную, ниже колен, рубашу и широкие штаны, которые скрывали мои рваные ботинки. Шил я долго, недели две. Шитье оказалось приятным занятием, труднее всего давалось обметывание петель. Я косился на свои сапоги, но считал, что у меня недостаточно мудрости, чтобы приступить к их шитью.

Когда я уставал сочинять Волшебную библиотеку, я садился на банный полчок, подбирая под себя ноги, словно киргиз или индеец, и привыкал к размышлениям. Записывать или обдумывать фокусы гораздо легче, чем размышлять о высшем духовном идеале! Прочие философы, как выяснялось, множество своих мыслей умели отделять от предметов. Для них береза — просто дерево, окраску которого они могут еще представить, но вот листву вряд ли, а самое главное, все березы походят одна на другую!

Стоило мне подумать о березе, я тотчас же видел березовую рошу и ощущал легкий запах, который несся от нее, жужжание пчел в траве. Я с удовольствием наблюдал бы эту рошу в отдалении, но меня неудержимо влекло к ней. Вот я уже приблизился и пристально рассматриваю стволы и листву. Один ствол расщеплен, словно вилы, и в том месте, где он расщепляется, у него маленькое дупло. Другой, крайний ко мне, с таким громадным количеством распро-

стертых во все стороны веток, что будто отгесняет всех, кто пожелал бы к нему подойти. Кора у одного почти черная, другой отликает серебристой белизной, третий — палевый, четвертый — цементный. Я вглядываюсь в листву. Выпрыгивает птичка, свистит. Рошча вяло шелестит. По пригорку бредет наш караван вместе с Нубией. Пьхтя, останавливается тучный Филиппинский. Утирая жирный подбородок, он смотрит спокойно на Пашку, который испуганно семенит возле него. Петька Захаров хохочет. Ему кажется, что Филиппинский облокотится сейчас на Пашку и раздавит. Филиппинский уже рассказывает анекдот:

«— Половой, посмотрите: какой же факт копошится у меня в тарелке с супом?»

Половой чешет за ухом, переминается с ноги на ногу и беззаботно отвечает:

— Пусть его копошится, не выберется!»

Чем больше ты хочешь быть дальноразительным, тем чаще обмакиваешь себя в то, из чего ты хочешь вылезти! Я пытался думать о зимней березе, и тотчас же я видел поленицу дров возле сугроба. Перед тем, как положить дрова на руку, ты отряхнешь с них снег, звенящий и синеватый. Два воробья копошатся возле кучки конского навоза, от которого идет пар. Они торопят друг друга: ешь скорее, не то застынет! Я, улыбаясь, слушаю ту ругань, которой они обдают друг друга. Верхом сарая, приподнимая клочья соломы, покрытые ветками тополя, уже сидит поземка. Она, того и гляди, спрыгнет по-зимнему, и тебе приятно думать, что сейчас ты затопишь печку и, посмеиваясь над поземкой, сядешь за длинную книгу. Трещит, горя, березовая кора. Из сырых поленьев идет синевато-молочный дымок и ползет, шипя, влага табачного цвета. Полено догорит, обвалятся угли, и обнажится другое полено, и вновь затрещит березовая кора. Или мне вспоминалось, как в Долоне, возле Семипалатинска, мы возили из бора дрова. Отец мой впервые послал меня: «Ты уже взрослый, Всеволод, пора возить березу». Парни Смоляковы, у которых мы квартировали, смеялись над моей неуклюжестью и, захав глубоко в бор,

столкнули меня с воза, ударили по лошадам. Я вылез из сугроба и долго стоял среди сияющей морозной дороги. Широкое солнце повисло надо мной. Вдали скрипели полозья. Вокруг меня по пояс в снегу стояли рыжие сосны и, жуясь, улыбались. Я вытряс валенки, освободил их от снега и пошел, всхлипывая. Я вспомнил, что могут напасть волки. Я сломал громадный березовый сук и шел, размахивая им. Мне было весело, и я чувствовал себя чрезвычайно сильным.

16 декабря 1912 г. отец прислал мне длинное письмо. Отец негодовал на дядю В. Е. Петрова. «Этот пимокат даже головы себе не смог выкатать, соображает старым валенком!» — писал отец. Дальше на шести страницах шли совершенно не относящиеся к делу стихи о деловой жизни, процветающей в Америке. Прошу не подумать, будто мой отец мог писать бессмысленные письма, но он так далеко умел прятать смысл своих высказываний, что получалось гордое непонятнее, чем просто бессмысленное письмо. Кроме того, ясности писем мешала его странная привычка писать разноцветными чернилами. Заглавные буквы он непременно выведет красным, ободок буквы — зеленым, а все вокруг усеяно лиловыми точками. Разглядывая эту букву, непременно запнешься, и смысл, почти пойманный, ускользнет от тебя! Кое-как разобравшись в стихах, я уткнулся в длинные рассуждения о банкире Вальтере Брете. Затем отец на протяжении трех страниц радовался, что сын его живет в большом городе, где по переписи 1892 г. считается 18 тысяч жителей и где несомненно найдется человек, знающий Вальтера Брета, человек, который скажет, насколько Вальтер Брет добросовестен и стоит ли ему доверить 50 тыс. денег. Чем лежать деньгам зря, пусть уж лучше они лежат в акциях! Дальше отец мой переходил к причине брани В. Е. Петрова, который мешал приобрести отцу моему эти 50 тысяч рублей.

Нужно сказать, что степь вокруг родного моего поселка Лебяжьего вся усеяна курганами, а совсем недалеко, верстах в шести, сохранились остатки ста-

ринной крепости. Как помните, в рассказах своих мой отец многократно находил клады, но в подлинной жизни ему еще не удалось найти ни одного археологического клада.

Клады, о которых рассказывал мой отец, были чрезвычайно разнообразны. Это разнообразие зависело часто от того, какой язык изучал мой отец. Языки он изучал преимущественно по словарям и по детским учебникам, потому что эти книги дешевле всех прочих. Он обычно учил слова, начиная с буквы «А». Он редко доходил до конца алфавита и свои занятия языком прекращал на букве «И», считая свою фамилию завершающей многие дела не только в одном поселке Лебяжье. И, несмотря на эти, казалось бы, непроходимые препятствия, он ухитрялся высказывать все свои желания посредством слов, начинающихся на одну букву. Если ему например нужно было сказать: «Жена, как бы мне выпить чаю», то он сначала переводил эту мысль на русский язык так: «Ариша, авось апрокину адну аппетитную апрокидушку». Отец мой долго путался в прилагательных и затем эту фразу говорил по-французски: «Aricha, avec adresse actionner avaler abat-fain!» Как ни удивительно, но моя мать понимала его, и даже ей нравилась эта манера разговора. В кладах, которые отец мой находил, обычно встречались предметы только на ту букву, «А» или «Б», которую он теперь изучал, причем все эти предметы находились нетленными, и он так убедительно о них рассказывал, что мы верили, будто они сохранились до того времени, пока Вячеслав Иванов не пожелал откупорить клад. Естественно, чтоб оправдать появление в кладе таких предметов, как скажем, детские пеленки или абажур для лампы, или пресс-папье, отцу моему приходилось долго вилять среди событий истории! Нам, детям, нравились его скитания среди исторических лиц. Мы сидели неподвижно, с вытаращенными глазами, и нам казалось, что отец вынимает из какого-то длинного волшебного мешка чудесные предметы, вроде тех, которые показывали разносчики-китайцы, изредка появляющиеся с яркими товарами в нашем поселке.

Отец разводил руками, быстро говорил и быстро крутил длинные папироски из махорки. У него, как я уже сообщал, был любимый портсигар черного лака, на крышке которого изображена девочка Губонька с кривыми ножками, в голубом платьице, препоясанном ниже живота розовой лентой. Девочка в руке держит белое письмо с тустой красной печатью, а в левой руке — букет роз. Девочка стоит на зеленой площадке в черных туфельках с алыми бантиками, а позади и вокруг всей табакерки царит тьма, не унимавшаяся и в самый ясный день. Мы почему-то называли этот портсигар «примётка».

Когда отец слишком запутывался в рассказе, он вынимал табакерку, дрокуренным пальцем дотрагивался до края крышки и говорил басом:

— Простите, что тревожу, Губонька, — и затем продолжал, указывая на девочку: — Так вот входит эта Губонька и подает мне письмо...

В письме обычно говорилось о том, где и как найти клад Вячеслав Иванов, причем сообщали отцу тайны самые странные люди: монахини, мгновенно влюбившиеся в его голос, когда он читал псалтырь по покойнику; каторжники, которых он вылечил от запоя чтением корана; какой-то польский граф, дальний наш родственник, разбитый параличом и потому не смогший сам откопать клад; богомольные старухи, подслушавшие историю с кладом и решившие, что учитель Вячеслав Иванов только тогда придет в себя, примирится с богом и станет на праведный путь, когда приобретет денег. Иногда отец мой получал письмо просто «по почте». Это вполне всех удовлетворяло, настолько почта и особенно опрятные чиновники казались слушателям его существами почти волшебными.

Передав письмо, девочка Губонька скрывалась впредь до того момента, когда отец запутывался вновь. Тогда он вынимал табакерку и вставлял описание прихода Губоньки. Мы уже знали, сколько ей лет, что родители ее — мельники с фамилией «Торговый дом Савелий Отгрянули и сыновья», что это — очень веселая и дружная семья, что у

них пекут блины через день. После расказа мне казалось: вот откроется дверь, появится эта Губонька с письмом, которое адресовано мне. Но странно, я не мог вообразить, что ей мне написать! Так же, как и отцу, письмо это выложит передо мною тайны кладов.

Хорошо, что отец мой не нашел клада, иначе б ему грозила опасность превратиться в «тушило» кладов. Он рассказывал бы тогда об этом одном найденном им кладе. В нашем краю много водится людсй с вытаращенными глазами, которые подолгу способны сидеть безмолвно возле вас. Но стоит только вам почему-либо заговорить о любви, как этот человек постыжно, в ужасных и скучных подробностях кинется перечислять вам достоинства своей любви. У нас в Павлодаре таких людей называют «тушило». Эти люди любили только одинажды! Им совестно этого обстояательства, и поэтому им не высказать сразу и кратко, что вот, мол, любил и что это чрезвычайно приятно. Нет, им нужно доказать причину своего редкостного чувства. Когда вы попытаете зевать, они начнут перечислять вам телесные достоинства, и так как редко заглазно можно пленить человека, если два или три дня под ряд твердить о длинных ресницах или о бровях, которые срстаются у переносицы, то незамолкавшее «тушило» переходит к чудесным родственникам его любви. Тут уже не ждите конца его словам. Я встречал нескольких людей, которые поленом ли, кулаком ли в висок, стамеской ли, но прикончили несколько «тушил». Эти убийцы пользовались всеобщим уважением. Предприятия их отличались большим успехом, потому что весь Иртыш бесконечно верил им в долг.

Иногда отец мой, не в поисках доказательств к своим рассказам, а чтобы щегольнуть археологической опытностью, брал лопату и уходил в степь разрывать курганы. У отца была странная теория о курганах, не лишняя, по-моему, основания, довольно веского. Отец мой считал, что те курганы, которые мы видим, суть не курганы. Курганы перерыты много раз, и то возвышение, которое мы называем теперь курганом,

есть земля, отброшенная в сторону, когда искатели разрывали подлинный курган. Опираясь на лопату, отец мой долго размышлял возле лживого кургана, часто доставал черный свой портсигар, извинялся перед Губонькой и наконец складывал пальцы в виде четырехугольника, измеряя курган. Так он находил одному ему ведомым способом как-раз именно ту точку, где обретаеся настоящий курган и где, по его мнению, должен быть лежать клад. Рыл он непременно с рассвета до позднего вечера. Правда, он никогда ничего не находил, но неудачи свои он считал вполне естественными, потому что курган стоит тысячелетия, и странно, чтоб не нашлось человека, который бы не сделал открытие, сделанное сейчас моим отцом. Все дело в том, рассуждал мой отец, что надо найти такой курган, куда не подходил еще догадливый человек, вроде Вячеслава Иванова.

Однако я боюсь, что передаю письмо моего отца путанно, и вам трудно найти его смысл так же, как и мне, когда я впервые читал его. Дело в том, что я буду писать правдиво и полно, часто даже против своего желания. Полагаю, что читатель догадается и сам, где и что я сочинил или хвастаю, но это несколько, надеюсь, не повредит мне, ибо все равно вам придется остаться под впечатлением энергии и странной цельности характера, которой я сейчас и сам удивляюсь несказанно. Я думал тогда, что могу сделать все, что хочу! Вернемся все же к письму моего отца. Отец мой сообщал, что, разрывая курган, он наткнулся на огромные залежи алебастра. В один вечер он накопал его не менее 500 пудов. Отец мой пригласил В. Е. Петрова приехать проверить, годится ли алебастр для постройки банка. Василий Ефимович ответил отцу моему чрезвычайно обидно. Подрядчик писал, что «лучше бы вам, Вячеслав Алексеевич, заниматься плясовым учительским делом, а не банковским». Отец ответил ему ругательным письмом на шести языках, с подстрочным переводом на русский.

Отец мой требовал, чтобы я приехал немедленно в Лебяжье и помог ему

рыть алебастр, дабы блеск горы виден был плотовщикам, которые гонят мимо Лебяжьего плоты Василия Ефимовича Петрова. Пусть плотовщики расскажут своему подрядчику, что алебастровый блеск будущего банка способен осветить всю Сибирь, что постройка этого банка будет чрезвычайно лестным делом для любого подрядчика, даже для строителя Исаакиевского собора! Он, отец, будет рыть этот алебастр до той поры, пока подрядчики не передерутся между собой, стремясь выстроить Лебяжинский банк.

Алебастром наши края изобиловали. Его продавали по 2 копейки за пуд, но и то находилось мало покупателей. Так что неудивительно, что отец мой нашел большие его залежи. Удивительно было только то, каким образом отец мой нашел его зимой, в начале декабря, и почему в середине зимы у него по Иртышу гонят плоты. Надо думать, что отец написал письмо еще осенью и забыл его отправить. Мне казалось, что отец мой этим непростанным рытьем алебастра хочет вознаградить себя за то, что он все еще не нашел ни одного клада. Вы, археологи, кубышки находите, а тут вам сразу вырыт из кургана трехэтажный алебастровый банк о 40 комнат!

18

Даже сферическое зеркало не могло скрыть мое испитое лицо, серое и унылое. Я потерял все румяна, нагулянные в голубином доме. Ключицы мои выдавались. Глаза расширились. Нос, столь тяжкий для моих чувств, сбросил присущую ему округлость. А система моя расширялась и уже не укладывалась в отведенные ей тетради. Я постоянно вводил в нее улучшения, готовясь к весне. Я собирался применить на практике всю свою систему, и естественно, что с волнением ждал весны 1913 г.

Словно назло, весна получилась докучливая. Только я выходил в поле, чтобы проверить, насколько приблизилась к природе, — на меня опрокидывался дождь. Я понимал, что нужно привыкать и к дождям, но ведь не ради же

дождей и вязкой холодной грязи до колен я изучал и закалял свою психику. Нетерпеливо хотел я солнечных дней, но если я просыпался на рассвете, то непременно был ветренный дождь, а если спал долго и торопливо бежал в типографию, то надо мною сияло солнце. Правда, я утешался тем, что у меня больше препятствий, чем у прочих фактиров. Я работаю, а не бездельничаю!

Я гордился своей голодной жизнью, своим воздержанием. Я мало думал о пище и еще меньше старался думать об иных соблазнах. Я держал ведро сырой ключевой воды возле изголовья и носил с собой наполненную водой бутылку. Как только вспоминался чей-либо женский образ, я пил эту воду. Я пил ее до полного отвращения, до тех пор, пока девица не выскакивала из моего воображения. Хотя я спал всегда крепко, но, если встречалось во сне нечто соблазнительное, я приучил себя пробуждаться. Я рассортировал свои сны! Встретив соблазнительную девицу, я, проснувшись, пил слегка подсоленную воду, если же встречал менее соблазнительную, способную рассуждать со мной о высоких материях, о системе моего духовного идеала, — я пил пресную. Но хитра женщина! И во сне даже она начинала часто с рассуждения о моей науке и о тайнах моего дела, а затем вдруг вытягивала ножку в черной туфельке, и я внезапно просыпался, и соленая вода казалась мне пресной. Тогда я подходил к банному окну и, уткнувшись лбом в стекло, ждал рассвета.

Дабы не получить извращенного мнения о женщине, я решил, что не должен избегать их. Я посещал мою хозяйку Павлу Николаевну Рязеву. Хозяйка моя носила длинные томпакового цвета юбки. Вверх была она широкая, такую же ширину она хотела донести до полу, но ее громадные юбки не могли скрыть длинных ног, тонких и стройных. Я одобрял ее за то, что все вещи в доме она любила, как украшение. Даже ведро, в котором носила она воду из колодца, было постоянно свежее окрашенное отличной серой краской, и всякий любовался им. У ней часто собирались гости. Они привыкли к тому, что я си-

жу тихонько в уголке. Приземистый писарь из полицейского управления, Петр Афанасьевич Хмелин, сидел, положив на стол необычайно длинные, сухие руки. Рядом с ним Трапезникова, худая, малосочная, крикливая, а по комнате бестолково мечется вдова Богодайщикова, для которой все новым-ново. Вдова пекла просфоры, да и сама она белая-пребелая. Великое ли чудо таракан, но стоит вдове увидеть его, как она непременно всплеснет ручками и удивленно вздохнет: «Посмотрите-ка, православные, таракан!» Удивлялась она столь замечательно, что, бывало, все уставятся на таракана, а он, весь дегтарно-черный, ползет неспеша, словно говоря: «А, любуйтесь на меня, пожалуйста».

Трапезникова крикливо говорит писарю:

— Чувствую я, Петр Афанасьевич, подходит ко всем теплота от меня приятнейшая. Не убежать, не уйти, не уклониться. Да и то, Петр Афанасьевич, что готова я всех обнять, и все справедливо находят, что обвешана я вся нежнейшими словами, что есть во мне много убежества. Народ весь ноне обветренный, и все это зря, что они притворяются, будто им не нравится солнце, которое светит умеренно и дает тихое пристанище.

Богодайщикова с удивлением смотрит на Трапезникову:

— Да, верно, Мария Степановна, как я раньше не разглядела: глаза-то у вас какие нежные. Приют, а не глаза.

Мы пристально смотрели в глаза Трапезниковой, а Петр Хмелин говорил канцелярским своим голосом:

— Глаза каменные.

В его устах это определение было величайшей похвалой. Он чрезвычайно уважал мою хозяйку Павлу, и это он сказал о ней — «сплошного камня». Он ненавидел деревянные предметы. Ненависть его я пытался объяснить тем, что он много раз горел, что он скопил много денег, спрятал их, предположим, в полено, а тут-то и подойди пламя!

— Желая, чтобы обгорело все вокруг! — начинал он говорит внезапно и заканчивал почти с отчаянием: — Когда же здесь каменная жизнь начнется?

Богодайщикова оборачивалась к окну, вздрагивала так удивленно, что уже казалось, на лице ее отражается полыхающий пожар. Трапезникова же, испытывая нежность к огню, а еще более сильную нежность к погорельцам, говорила сострадательно:

— И без того много полыхает, Петр Афанасьевич.

— Прошу не называть шаенье пожарами. Пусть так горит, Мария Степановна, чтобы губерния за губернией полыхала по порядку.

— А начальство?

— Начальство тогда станет умнее и расторопнее. Я не утверждаю, будто оно глупе, но главный его недостаток: медленные приказы и приказы не о том. А как сгорит, тут ты немедленно приказывай: или строй каменные, или живи в норе, в землянке. Выстроят. А то, видите ли, мужики завтракать приучаются. Я б их так пленил приказами, они бы в полчаса отучились у меня завтракать. Тлен, гнилушка, дерево, Расея!

Павла вступалась за мужиков. Я думал, что она вступается за своего мужа. Она с великим трепетом ждала его. Нечасто встречаются люди, которые способны так ожидать, как умела ожидать эта солдатка. Она постоянно думала и говорила только о своем ожидании. Павла работала на водочном заводе, и, когда я пробовал спросить ее, что ж она там делает, она отвечала неопределенно: «Посуду мою». И тут же она просила прочесть мужнино письмо. Муж ее служил гусаром под Петербургом. Письма она получала редко. Это были обычные солдатские письма: первая страница печатная, наверху герб полка, под ним барабан, скрещенные сабли, а ниже напечатан текст, излагающий обязанности солдат, и еще ниже подпись издателя: «Березовокий». Я спрашивал:

— Печатное читать?

— Все читай.

— Да ведь их миллионы, таких страничек, печатают, Павла.

Она боязливо сверкала глазами. Она и письма хранила также как украшения. Мне казалось, она непрестанно думает о том, как бы ей встретить своего мужа в полном ладу. Она, сидящая

здесь, в Кургане, от постоянных размышлений поумнела больше, чем муж ее, гусар. Ее волнует совсем не то, о чем говорят письма. Однажды Алешка Жулистов не застал меня в бане и пришел к Павле. Алешка выпрашивал, какая форма у ее мужа, и не покажет ли она фотографию. Павла разгневалась:

— Злюсь я на него! Чем я его оправдаю?! А ты его какой-то формой оправдываешь. Поступил на службу в мельницу, жизнь устроилась, а тут его схватили за горло и оттащили от меня! Изба сгорела без присмотра, поле пустое, я два года шляйся без работы, старуха — мамаша его Матрена Семеновна — померла с голоду.

— Ну, не с голоду, а, предположим, с перепоею.

— Вот он придет, он придет! Он вас пережрет, потребует вас к ответу, весь этот окаянный город. Ишь ты, формой любишься! А вот — война, снимут с тебя разноцветную форму, дадут винтовку да братскую могилу. Вот она какая форма!

Слезы потекли из ее черных крутых глаз:

— Ты думаешь, мне полтора рубля нужно от Сиволода за баню? Нет, я вроде травура. Как мне мыться без мужа?

Алешка смеялся:

— Муженек твой с княжескими горничными моется. Моя ерудиция такая, что ихние переднички лучше всякой другой формы.

— Государство всяческую на вас подлую форму напяливает! Я здесь мою бутылки из-под водки, которой народ опивают, а муж мой с горничными моется. Пусть! Горьки ему эти горничные! Кабы не мужицкая сила, так он бы обошел их двумя улицами вбок. За меня, за горничных он и тебя, Алешка, к ответу явит!

В голосе ее почувствовалась такая ненависть, что Алешка вздрогнул, сказал растерянно:

— А сама зачем писарей из полицейского управления принимаешь?

Павла подскочила к нему, замахнулась было, но только сильным движени-

ем пальцев вз'ерошила его тщательно напомаженный чуб.

— Писарей я больше всех прочих ненавижу. Мне б исправника сюда подбавить. Писаря ко мне подзлачиваются, а я им говорю: «Мелки вы, чтобы зимовать. У меня муж гвардеец. Мне надо равного. Приведите вы сюда господина исправника!»

Она отступила назад и, пугаясь своих слов, но непреклонно веря в них, сказала:

— Соберу, перезнакомлюсь — и пожду!

Она достала с богато украшенной божицы связку писем, перевязанных узористыми лентами. Протягивая мне связку, она сказала:

— Перечитай, Сиволод. Непрестанно грозные письма пишет.

Ничего грозного в письмах не было, и Алешка насмешливо говорил:

— Ну, просто солдатские эскизы.

Павла отвечала многозначительно:

— Сказала бы я правду, да ты, небось, Алешка, в полицейском служишь.

— И поступил бы, будь форма получше. Вот в жандармы поступлю, у них аксельбанты.

— Да ты закажи себе аксельбанты, подвесь и ходи, дурак.

— Над моей формой всяк посмеется, а тут ее защищает государство. Оно в этой форме Туркестан, Сибирь и прочие части света завоевало.

Чем чаще я бывал у моей хозяйки, чем больше прислушивался к ее речам, тем все сильнее мне казалось, ее охватывает тяжелое чувство неопределенности. К весне она стала сомневаться: вернется ли муж. Она знает, что муж ей не поверит, будто ею соблюдена верность. Улыбаясь тоскливо, она говаривала:

— Да что же я разве не человек? Он разве не солдат?

И хотя она ничего не добавляла к своей улыбке и вздоху, но все понимали, о каком солдатоком чувстве она говорит. Меня удивляло, что Павла здоровая, молодая, что ходит к ней много гостей, но приставать никто не пристает. Междо не побаивались ее ненависти, ее страстей. Свяжешься, и кто знает, что она

способна устроить: окна побьет или за-режет насмерть.

Павла только и ждала какого-нибудь замечания Хмелина или Алешки. Она вскакивала, упиралась в бедра руками и яростно поносила государство. Трапезникова переполнялась нежностью к будущей страдалице. Богодайшикова млела перед новизной слов и мыслей, которые вставали перед ней и которых ей никогда по-настоящему не понять. Алешка Жулистов качал сокрушенно головой и говорил, что к таким бы страстям хорошую форму, а то какой смысл дразнить самого себя! Один только Хмелин не слушал ее и ждал, чтобы она сказала какое-нибудь слово про дерево, и тогда он хапал это слово и жадно обвивался вокруг него. Если она восклицала: «Продолблю!», он вдруг начинал выкрикивать:

— Дерево ты можешь долбить, надолбить, издырить, выдолбить, а камень только исковыряешь!

Меня прельщала сила павлиной злости, особенно когда спорила она с Алешкой Жулистовым. Чем крепче Алешка хвалил форму, тем сильнее ненавидела она тех, которые придумали это лицемерие. Она громко говорила:

— Погубят они и тебя, Алешка, и тебя, просвирня, и тебя, писарь! Завянете, засохнете, как я и поблекну.

Алешка, смеясь, говорил ей:

— Пусть губят, но что в новой форме. Я согласен в гроб залезть, если он особый ото всех. Я мертвецам, которые в цинковых гробах, завидую.

— Причертили нам дерево, а дерево не в пример гадостнее, — говорил таинственно Петр Хмелин.

И тогда я отзывался из своего угла:

— Воля и терпение извиняют многое.

Ах, эта воля и терпение! Наконец-то дни стали теплее и суше. Солнце светило тускло, без лучей, и над полем стоит сухой туман, как дым. Я часто выходил в поле. Очень редко с горизонта бежал ко мне болтливый дождь. Тогда я вставал под березу. Так как я ел мало, то в голове моей странно шумело, и я покачивался. Деревья плыли мимо меня. Но эта слабость быстро исчезала, оставляя

внутри какую-то чадающую радость. Иногда слабость падала в ноги, и тогда небо и земля охватывались травянисто-зеленым цветом, и вместо того, чтоб не замечать теплый дождь, начинаешь дрожать, косо посматриваешь на тучу и выбираешь ту березу, которая кудреватей. Поэтому я становился под осину, дерево, которое по слабости своих листьев почти не удерживает дождя. Слабость исчезала, но в голове долго вертелась песня:

Разовьем мы березу, разовьем мы кудряву.
Да эх, да эх кудряву...

Я выбрал «небаюкающий» путь среди осин на полянку, тоже окруженную осинами. Я его назвал «серебряной дорогой», потому что осины были бледно-матового цвета. Я зачистил на эту полянку. Она отстояла от города километрах в пятнадцать. Путь лежал по глинистым оврагам, где в дождь сильно скользили ноги. Я опасался не скользкой дороги, а змей.

Пора приучать себя к животным! Я должен начать со змей. Змей возле Кургана много. Встречаются в большинстве ужи. Я нанял баню с тем, чтобы можно работать над своей системой, куда входило также и приучение животных. Представьте, что вы открываете корзину и выпускаете змей. Чувства зрителей сразу же со всей благоприятностью перейдут к вам. Я приобрел корзину. В бане тепло и сыро. Но чем же мне их кормить? — спрашивал я сам себя. Увы, я давно бы мог найти книги, которые рассказали бы мне о змеиной пище, но я умышленно не искал этих книг. Мало того, стоило мне подумать, что я возьму это холодное существо в руки, как меня обливал пот ужаса.

Я врал и хвастал Алешке Жулистову о многих своих чрезвычайно победоносных приключениях. Но вот сказать, что я способен укрощать змей, — я не сказал. Я очень уважал себя за это молчание. Тем не менее я чувствовал, что вся моя система поколеблется, если у меня не будет змей! Подойдет время, которое вынудит меня их изловить. Я шел по оврагам, и слабый шорох, возникший рядом в траве, потрясал меня. Я вздра-

гивал. Но постепенно я привык. Я говорил: «Это шуршит осина». Удивительно, но в осинниках мне не встречалось змей, и тогда я страстно полюбил мою серебряную дорогу.

Нужно приучить себя к змеям у них в дому, а затем приучать змей к моему дому! А получилось наоборот. Я нарезал короткие куски веревок. Я мочил их в ключевой воде, закрывал глаза и раскидывал в бане, дабы, наступая на них неожиданно, тем самым завести привычку спокойно переносить холодное прикосновение змей. Я клал веревки с собой на соломенную мою собаку. Утром я наступал на веревку ногой, но это мало помогало — я не вздрагивал! Тогда я раскидал веревки по своей серебряной дороге. Когда веревка неожиданно встречалась мне, я прихватывал рогаткой воображаемую голову и брал веревочную змею за воображаемый хвост. Но и эти упражнения плохо помогали мне. Попржнему я вздрагивал, когда видел змею. Я сказал, что заведу змей следующей весной. Я возьму гнездо змей молодыми, потому что старых способен приучить только старый факир, а сейчас лето, и змеиной молодежи нет. Я лгал себе. Была середина весны. Я быстро поверил в свою ложь.

Мою любимую полянку, имевшую вид девятки пик, пересекала упавшая осина, чем-то похожая на знак «пики». Я долго сидел на поваленном дереве, прислушиваясь к непрестанному лепету осины. Я сидел днем, а через месяц стал приучать себя к ночному сидению.

Страшновато было-таки ждать вечера! То мне казалось, что припекает солнце на полянке и к моему дереву, в особенности перед закатом, приползут греться змеи; то, что здесь сыро и тепло, и змеи приползут сюда ночью. Я свешивал ноги с дерева, стараясь сосредоточиться. Я уже давно бросил сосредотачиваться на тех мыслях, которые рекомендовали мне факирские книги, и теперь думал о том, что говорила любезная мне Волшебная библиотека. В типографии приходилось много работать, я появлялся на серебряной полянке уже после заката и уходил, когда показывалась заря. Иногда падала холодная роса.

Было туго, но я сидел неподвижно, прижавшись к осине. Я надвигал кепи на шею и, дрожа, повторял, что факиру так и подобает страдать!

Толстый сук упирался мне в спину. Я смотрел в просвет между осинами, куда скрылось солнце. Я смотрел долго, всю ночь, затем я перебрасывал ноги на противоположную сторону дерева и ждал восхода. Иногда я засыпал, я просыпался от боли в спине, и когда вставал, то осиновый сук долго не покидал моей спины. Я несколько раз обегал вокруг полянки и опять садился к своему суку. Дабы не соблазниться огнем костра, я не брал с собой спичек.

За осинками лежал проселок. Если выпадал дождь, то лужа, окаймленная блестящей грязью, — будто в никелированной оправе, — долго держала закат. Птички подлетали пить воду. Прыгали воробьи, синицы, затем появлялись жаворонки, грачи, стрекотали сороки и наконец, раздвигая птиц своими, словно литыми, крыльями, подходил ворон. Он медленно и солидно опускал в лужу клюв. Я улыбался и вполголоса читал:

Птица ясно прокричала, изумив меня сначала.
Было в крике смысла мало, и слова не шли
сюда.

Но не всем благословенье ведать это посещение
Птицы, что над входом сядет, величава и горда,
Что на белый мрамор сядет, чернокрыла и
горда,

С этим криком: «Никогда!»

Нувермор, если я не приучу змей!

Я ждал, что ворон обернется ко мне и крикнет какую-нибудь гадость, но он даже не смотрел на меня. Изредка он поднимал хвост и совсем прозаически выплевывал то, что и подобало ему выплевывать. Зачем проделываешь ты, ворон, это здесь, в этом таинственном для меня месте? Мне казалось, что ворон хочет рассмешить меня.

Ах, если говорить правду, то надо сказать, что состояние, которое охватывало меня на любимой полянке, я называл тогда серебряным очарованием. Как видите, я не всегда счастливо перекраивал название своих ощущений.

Полянка привыкала ко мне! Я про- бовал читать ее жизнь. В тихие, теплые вечера, когда не было дождя, она открывала мне свои удачи и горечи. Вернулись птицы, которые раньше спали где-то в глубине леса. Я удивился: зачем бы им возвращаться сюда? Я подошел. Оказалось, что у них здесь были гнезда, весной. Птицы вспархивали, пощелкивая, но они тотчас же возвращались, и мне это было приятно, потому что прежде, когда я их вспугивал, они улетали со- всем.

Однажды в лунную ночь, когда над осинами стлалась светлорозовая дымка, я увидел, что по тропинке, задумчиво пыхтя, двигается жирное животное, величиною с кошку. Оно шагало неспеша, видимо, много раз обдумав тот по- ступок, который свершало, то-есть пройти самой краткой дорогой в свою нору, вход в которую как-раз возле того сука, у которого я сидел постоянно. Это был солидный и важный барсук, чем-то напо- минавший Филиппинского. Я тихо ска- зал барсуку:

— Здравствуйте, Константин Степа- нович!

Он профыркал что-то неразборчивое, говидимому, рассказывая на своем бар- сучьем языке унылый анекдот. Он не- уключе влазил в нору выпячивая свой зад. Мне хотелось шлепнуть его, но вежливость, мне присущая, избавила нас от неприятности продолжительной ссоры.

Затем мне пришлось увидеть, что на кучке листьев, возле корней, которые, падая, выворотила осина, в десятке ша- гов от барсучьей норы, дремлет заяц. Он прибежал сюда на рассвете, усталый и обеспокоенный. Он тщательно присма- тривался ко мне, но я-то сразу узнал его. Это был Пашка Ковалев! Я мгнов- енно вспомнил его вснущатую мордоч- ку, его трусливые розовые глазки, его серую тужурку, плотно облегающую те- ло. И кому, кроме него, дремать так бо- язливо?

И я сказал:

— Пашка, здорово!

Заяц прыгнул в кусты, будто его стукнули по носу. Долго он сидел там неподвижно, приглядываясь к моим по- ступкам и браня тех, кто посоветовал

ему показаться мне на глаза, тех зверей, кто признавал меня за своего. Но в кон- це концов он все-таки доверился общему мнению. Он робко вылез и, весь дрожа, мелким шагом — «мак маком» — напра- вился к своему логову. Ему трудно итти, и я понимал его. Как только я ше- велился, он останавливался, готовясь бе- жать. Тогда птицы чирикали, бормота- ли, щелкали. Мне казалось, что они уго- варивают его и смеются над ним. Он устало ложился на примятые листья.

Я ждал появления Петьки Захарова. С каким зверем сравнить его? — ду- мал я. Волк? Нет. Коршун? Нет. Лисица, деловито пробегая на охоту, осмотрела меня и осину, на которой я сидел. Она фыркнула презрительно. Нет, и лисица не похожа. Заяц попреж- нему лежал неподвижно, не пугаясь ли- сицы. Я понял, что жители поляны не выдают лисице этого серого шута, пото- му что им не над кем тогда будет смеяться. Заяцу неприятна эта история, но быть лакомством для лисицы — то- же не особенно радостно.

— Кыш! — сказал я лисице, и она скрылась.

Особенно любопытен короткий час пе- ред рассветом, когда звери возвращают- ся с ловли. Опять я вспомнил Петьку Захарова, который мог удивительно ма- ло спать. Звери спят чрезвычайно мало. Я сплю так же мало, как и они, и от этого все мои чувства удивительно обо- стряются. Я могу узнать, удачна ли у них была охота. Я называю по имени и отчеству всех зверей, проходящих мимо меня.

Зайцы постоянно сыты. Кабы не пугливость, им бы жилось лучше всех. Их теперь пятеро на моей серебряной полянке. Первый заяц, которого я на- звал Пашкой, молодой прыгун, со слег- ка припухшими веками и со шрамом на темени, совсем осмелел. Он любит бе- гать возле моих ног. Он занимает при- горок, остальные спят пониже. Один из зайцев постоянно на-страже, дабы их кто-нибудь не захватил врасплох. Осо- бенно лисицы беспокоят их. Лисиц мно- го, они всегда пересекают полянку с вос- точной стороны. Я не слышу их шагов, но сторожевой заяц будит своих друзей:

«Спите, рохли!» Зайцы прячутся. Лисицы беззвучно скользят по тропинке, играя своими высоко поднятыми хвостами. Хвосты, при еле брезжащем свете, влажном и рассеянном, совсем золотисто-белые.

— Ну, как дела, тетки? — кричу я лисицам.

Лисицы не оборачиваются на крик грязной и лохматой птицы, похожей на человека. Они пересмеиваются, как те курганские девицы, которые по воскресеньям сидят на завалинках и мимо которых я прохожу. Я не трогаю девиц. Мало того, я не смотрю на них, но они все-таки смеются надо мной. Мне обидно слушать лисьи пересмешки, но мне хочется завести знакомство. Я клал на тропинку кусочки колбасы, особенно прельстительные в дождливую погоду, когда с охотой не ладится. Сам я уже перестал есть колбасу и питался овощами и хлебом.

Барсук Филиппинский часто приходил сытым. Он лакоmicен и не любит задерживаться на полянке, подобно другим зверям. Иногда, чавкая, он остановится и надменно и презрительно посмотрит на лисиц, которые осмелели до того, что, держа в зубах кусочки колбасы, перемигиваются между собой. Эти перемигивания относятся ко мне! Они все еще видят во мне иностранца. Барсуку противны они. Я благодарен ему. Иногда я дружески шлепал барсука по заду. Он оборачивался, ворча снисходительно. Он понимал шутки. Он терся у моих ног. От него шел запах мокрой шерсти и гниющих листьев.

Мне бы пора расставлять капканы, петли, вырыть яму, на тропинке протянуть сети. Мне бы пора ловить зверей и заставлять их исполнять то, что я хочу. Но мне трудно подумать, что я должен с ними обращаться властно. Они близки мне, они одной со мной семьи. Мне жаль их. Мне жаль причинять им испуг, когда они попадут в капкан или сеть. Но, с другой стороны, я не очень верил в свое красноречие, рассчитывая на которое, я мог бы увести зверей с этой полянки туда, куда захочу. Мы жили дружно, но между нами не было страстной любви.

Я привык ходить на серебряную полянку, привык идти среди бесконечных, покрытых перламутровым блеском, полей пшеницы. По дороге я вспоминал наше «шестие факира». Иногда мне казалось, что мы прошли весь наш маршрут, что мы рыбачили в Аральском и Каспийском морях, вытаскивая странных рыб. Буря уносила нашу лодку далеко по волнам, а на берегу плакала скорбная Нубия. Вот перед нами пепельного цвета порт. Я вижу множество кораблей. Они гладкие, железные, не похожие на речные наши пароходы, что смахивают больше на дома из досок. А еще что есть в порту? Я видел портовые кабачки, где сидят загорелые матросы с таинственных островов, названия которых сыплются с их уст непрерывно. Отважные матросы пьют чужие вина с неведомыми названиями, не хмелеют и рассказывают те истории, которые я уже давно читал, но которые в устах живых участников кажутся непобедимо убедительными. Наконец мы садимся в шхуну. Мы долго плывем пурпуровым морем. На палубе гуляет Филиппинский. У него попрежнему закинута рука за спину, из подмышки торчит клочок верблюжьей шерсти. Буйный ветер заглушает наши удалые голоса и вырывает у Филиппинского шерсть клочок за клочком. Затем мы плывем Индийским океаном в опаснейшей тишине. Потускнели наши души. Мы, трепеща, ждем бури. Но она миновала, и мы входим в порт. Мраморная белая набережная усеяна высокими, стройными людьми с крашеными бородами, в яркозеленых тюрбанах. Они машут платками нашему кораблю, и вдруг дикий, радостный крик потрясает воздух: «Ура великому факиру и держишу Бен-Али-бею!» Наш корабль гудит ответно. Стреляют пушки, взвиваются флаги. «Не подобает дарить такие почести факиру, — скромно и все же с достоинством говорю я, — вы забываете, что моя система основана на взаимном уважении».

Брат мой Палладий иногда вкладывал свои записки в те частые письма, которые слал мне отец. Палладий жаловался на пищу. Особенно плоха в этом году мука. Хлеб из нее получается тяжелый,

как из глины. Отец сбоку, возле слов Палладия, приписывал, что «чепуха вся эта мука», а вот важнее: плохо обстоит дело с алебастром. Отец мой накопал алебастру много тысяч пудов. Он провел тропинку к реке, сам соорудил тачку и скатывает алебастр, дабы его легко было грузить на платформы и на баржи, а затем поднимать по Иртышу к Лебяжьему, которое отстояло от алебастровых россыпей в шести верстах. Иногда в просвете осин мне мерещился иртышский берег, песчаный, поросший полынью. Из рыжего берега торчат длинные серые плети корней осолотки. На берегу громадная алебастровая гора, обдающая вас матовым светом. Если в надломы камня падает солнце, то глазами больно смотреть. Возле горы стоит мой отец. Он одной рукой раздувает сапогом самовар, в другой держит табакерку и, большим пальцем откидывая крышку, обращается с обычным своим извинением: «Придется потревожить вас, Губонька!» Отец закуривает длинную кривую папироску, наполняет ее вкусно пахнущей махоркой и становится спиной к ветру. От табачного дыма пальцы рук его буро-желты, а ногти толстые, претолстые. Он ласково улыбается, закуривает, и лицо его «исчезает в табачном дыму». Алебастровая гора блещет невыносимо. Гора поднимается все выше и выше, и тень от нее, кося пересекая Иртыш, лежит тяжелой ультрамариновой плотниной. Отец мой читал газеты, которые получали в поселковом управлении. Я попросил его сообщать мне, что делается «в мире внешнем». Отец с радостью выписал мне сведения, которые, по его мнению, должны меня интересовать. Мы выжимали из семикопеечной марки все, что возможно. Иногда, благодаря словоохотливости отца, мне приходилось доплачивать к письму 14 копеек. Выгоднее просто подписаться на «Газету-Копейку», но я не мог ни менять своего решения, ни лишить отца удовольствия учить меня. Но сообщать сухие сведения о мировых событиях отец мой считал занятием «только не для учителя». Он вспомнил о тщеславии!

«Пароход «Император», — сообщал мой отец, — имеет 52 тысячи тонн. Он

в 20 раз больше каравеллы «Святая Мария», на которой Христофор Колумб достиг славных берегов Америки».

Описав пуск парохода, отец мой процитировал Шопенгауера, Соловьева, Вунда, которые по-разному мыслили о тщеславии. Отец вспомнил юбилейные марки с портретами царей, наклеенные на конверт, в котором пришел к нему мое письмо. Отец сообщил об умном чиновнике в городе Павлодаре, который отказался штемпелевать марку с портретом Николая II. «Как я могу, — сказал чиновник, — бить железным штемпелем по лицу моего императора!» Патриотизм чиновника был оценен, и он получил награду в 200 рублей. «Кабы у нас было пять императоров и я был бы штемпелевальщиком, то иметь бы мне тысячу рублей» — горевал отец. Он подробно описывал мне романовские торжества: закладку памятника Минину и Пожарскому в Нижнем; разукрашенную Кострому; бородатых старшин, обвешанных медалями; бородатых епископов в митрах, залитых бриллиантами; коляски, медленно катящиеся среди шпалер «безмолвствующего» народа; высочайшие выходы; световые транспаранты, мерцавшие и восклицавшие: «Боже, царя храни!» Всюду освещают соборы, открывают церкви, словно вся страна готовится перейти в монашество. Тут отец мой считал уместным процитировать Петрарку, Лукиана, Калидаса и Петрония Арбитра, которые, оказывается, тоже не одобряют тщеславия! Исключительно из тщеславия — чтобы не отстать от всей страны — в Омске вздумали праздновать столетие кадетского корпуса. Жара, пыль, середина лета. Плац перед кадетским корпусом. Генералы в меховых шапках, в мундирах темных и мешковатых, подпоясанных позументовыми широкими поясами, стоят неподвижно. Рядом кадетики в широких, похожих на колеса, фуражках, сдвинутых вбок. Кадетики вытаращили глаза, и такие же вытаращенные пуговицы бегут по их мундирчику вниз, и сияет напряженно трехсотлетний герб царствующего дома на этих пуговицах. «Беспримерная чепуха! Двести кадетов устроили сокольскую гимнастику под командой капитана

Подкорытова. Фамилия-то какая? Кадетам выдали в память юбилейных торжеств по серебряному рублю, чекана 1913 г.». Возле пожалованного юбилейного знамени генерал-лейтенант Медведев прочел им высочайшую грамоту.

Дальше отец мой под картинкой, сделанной через копировальную бумагу, — «Подписание мира», — сообщал, что балканская война счастливо закончилась миром, подписанным в Лондоне. «Кто будет спорить о том, — писал мне отец, — что кончилось пятивековое владычество турок над европейскими народами, и вся Европа может радостно праздновать фактическое изгнание азиатских завоевателей обратно в Азию!» Азия наверно опять напомнила ему о тщеславии. Отец высыпал великое множество цитат. Весь мир, вместе с моим отцом, на шести языках обличал мое тщеславие, требуя пскаения.

Отец мой писал также о господине Вальтере Брете, об его бойком банке и еще раз — об алебастре, который никто не ценит. Что же, шеужели алебастр не входит в круг того технического переворота, который мы наблюдаем во всем мире? «Закончились автомобильные гонки по круговому маршруту: Волхонское шоссе—Красное село—Гатчинское шоссе—Волхонское шоссе. Эти 200 верст господин Суворин на «бенце» прошел в 2 час. 22 мин. 54 сек. — и получил первый приз в 1 тысячу рублей». Отец мой не был великим поклонником техники, но тысяча рублей, — писал он, — ему бы сгодилась больше, чем господину Суворину. Вот банкир Вальтер Брет торопит его, а плоты этого дурака Василия Петрова вместо того, чтобы везти алебастр, провозят мимо арбузы! За арбузами шли опять цитаты о тщеславии, а затем выступал господин де-Мульнэ, облетевший Европу. Из Парижа в Берлин, Варшаву, Петербург, Копенгаген, Гамбург, Гаагу, Париж, — он сблелет всего с 28 мая по 18 июня 4.910 километров, употребив на самые полеты только 40 часов! «Завоевание воздуха, — иронизировал мой отец, — возможно, но как же мне быть, чтобы достать хоть 10 тысяч рублей для начала строительства Лебяжинского банка?

Кроме того, чем хвастаются эти обжоры?» Отец мой выписывал слова де-Мульнэ: «Мотор моего аэроплана выдержал испытание в 5 тысяч километров и не устал, а устал лишь мой собственный мотор — желудок: от широкого русского гостеприимства!»

Вечера холодели. К утру мутно-желтая лужа, видневшаяся с полянки, цепенела. Многие птицы скрылись. Приближалась осень. Скоро останутся только сороки и вороны. Сороки хлопотали больше всех, они чувствовали себя хозяевами. Сорока—птица осенняя, — думал я. — Сороки переняли даже крики воронов: «Никогда». Однако ворона, как я понял, не уважал никто из зверей и птиц, кроме сороки. Я очень сожалел, что странное ослепление поэта придало ворону такую напрасную многозначительность. «Глупая и бестолковая птица, — говорили о вороне жители полянки, — она кричит не во-время, не по нужде, а дабы обратить на себя внимание. Если и происходил случай, что ворон сел на бюст Паллады и воскликнул: «Нувермор», то это произошло несомненно из вороньего тщеславия».

Озлобление мое против ворона было понятно. Я пропустил время. Я не поймал ни одного зверя и не увел за собой из лесу ничего, кроме осени. Мне остался один лишь ворон, который придет со мной вместе в город, имея полное право смеяться надо мной. Кроме того, у меня совсем истрепались ботинки, и я, возгордившись несуществующим владычеством над зверями, решил сам сшить себе сапоги. Я истыкал все пальцы шилом. Когда раны мои зажили, я пытался шить вновь — и проткнул ладонь. Рана гноилась, набирать буквы трудно, а главное, обидно, что пришлось купить ботинки.

Осенью в типографию поступило много заказов. Нас оставляли на ночные работы. Отказаться нельзя, потому что наборщиков приходит много, и если не работать старательно, то уволят. За сверхурочные нам не платили. Если летом наборщики ворчали, то теперь они молча исполняли все поручения заведующего.

Заведующий, толстый и злой, Людвиг Осипович Гейгер, весь был наполнен от-

вратительнейшей бранью. Он ходил постоянно в грязно-зеленом костюме, словно только-что вылез из тины, и мы его называли «лягуховатый».

— В лес вас манит, бачька Иванов? — кричал он. — Чего глаза выпучил, рыжих усов не видал? В кассу смотри, бачька.

Он происходил из немцев. Он презирал русских и называл их «бачьками», как мы называли инородцев. Слушая его брань, я говорил самому себе: «Факир, что бы ему ни балабонили, будет терпелив!»

Я отвечал ему скромно:

— Трудно работать, скипидару мало отпускаете, шрифт вымыт плохо, слышится.

Гейгер многое подворовывал. Подворовывал он в том числе и скипидар. Он багровел и кричал:

— Кто смеет скипидар воровать, бачьки?

Тогда типография начинала переругиваться, всю брань мысленно направляя на заведующего. Это называлось «запластырить». Печатники уважали меня за способность ловко «запластырить».

Я скучал по своей серебряной полянке. Я скучал по зверям.

Когда затвердел снег, я пришел туда. Снег лежал приятной ровностью и от заката был красновато-роговой. Но моя осина уже не походила на знак «пики», и вся полянка была иная, чем девятка пик. Она бесформенна! Если б не поваленная осина, я бы с трудом нашел полянку.

Я вскарабкался на осину. Сучья свалили твердый, сухой снег. К осине не было следов зверей. Я посмотрел на мертвые пятна заката, на облака, похожие на осенние осиновы листья, и уныло направился обратно.

Ни змей, ни опасности, ни грав!

Мною владела усталость. Питаться зеленью летом легко, но теперь квашеная капуста, соленые огурцы и картофель ужасно надоели мне. Мне казалось, что никогда не насытятся ими. В типографии все худы от водки. Моя худоба никому не любопытна, и только заведующий изредка орал на меня:

— Молодой, а так язвительно водку зрешь. Чорт длинноволосый, ведь тебя же бабы в канаве обольют!

Я отвечал тихим голосом:

— Набор стоит зря, потому что нет бумаги для машин. Бумага зря лежит на станции, а работник возит вам сено на хозяйской лошади.

Заведующий багровел:

— Кто говорит, бачьки, что я хозяйскую лошадь пользую?

Без конца тянулось зимнее «запластыривание».

Моя Волшебная библиотека имела для факира упражнения и «для зимы». Я выходил голый в ночь и в пургу на мороз. Мне полагалось для начала стоять две или три минуты. Постепенно это «просветленное» стояние я догнал до 20 минут. Но все мои размышления, упражнения, обтирания холодным снегом, сидение на корточках никак не успокаивали меня.

Я хотел хорошей, жирной пищи с мясом и маслом!

Сон мой заполняли колбасы, сдобный хлеб, пельмени. Я смеялся над своей пищей, над этими огурцами и кочерыжками капусты. «Монастырское, схимническое. Не уясняет, а затемняет» — говорил я. Моя хозяйка Павла, попрержнему стройная и крутая, хотя и стремящаяся завянуть, встретив меня с постной моей пищей, ехидно говаривала:

— Молиться идешь, Сиволод? Ну, меня язвит и сушит наше царство, а тебя кто порезал?

Она злилась на мою непонятную ей систему. Иногда ей казалось, что я тоже с кем-то в сговоре, с кем-то согласился погубить ее мужа, ее счастье. Беря с меня плату за баню, она долго смотрела на полтора рубля:

— Загубили мою чистоту такие, вроде тебя, Сиволод, государственные люди.

Она многозначительно и злобно выговаривала это слово «государственные».

Я думал, что понимаю ее. Вот скоро придет муж, и она так трепещет этой встречи, что уже не разговаривает с ним и не просит читать получаемые письма. Однажды я сказал ей:

— Вот ты все говоришь, Павла, все ругаешься, а когда же действовать?

Болтают, что пристав у тебя вместе с исправником ночевал. Чего же ты их не сожгла? Или губернатора дожидаться?

Тут я впервые увидел, что глаза у ней действительно стали какие-то засохшие. Она положила мне руки на плечи — и внезапно расплакалась. «Плохо, — подумал я, — проповедаю уважение, а разговаривал как грубо».

Я избегал ее. Павла тоже избегала меня, видимо, стыдясь своих слез.

Я получил толстый пакет. Я развернул лист бумаги, по которому голубой акварельной краской выведено только три слова: «Что ты делаешь?» Под сердцем защекотало. Я узнал эти буквы, хотя они и печатные. Спрашивал Петька Захаров. И точно, несколько дней спустя, он прислал пространное послание. Он сообщал, что учится в Омском сельскохозяйственном училище, рассчитывая года через три быть агрономом. Нубия питается у знакомого на заимке под Омском. Экстерьер движается успешно. Петька спрашивал: «Неужели ты, Всеволод, все еще наборщик?»

Он обидел меня. Я не желал рассказывать ему о своих подвигах, но я верил его догадливости. Я отправил ему свою серую тетрадь с наклейкой: «Его наука». Ответ я получил телеграфом:

«Всеволод, ты — Леонардо да-Винчи. Немедленно рисуй. Петр».

Телеграмма эта столь потрясла меня, что я купил акварельных красок и толстой бумаги. Акварельный мир выходил иным, чем то, с чего я его списывал. Неудачу я относил к малой моей опытности. И здесь необходим учитель. Я достал книжку по рисованию. Она немного прибавила к моим знаниям. Люди по-прежнему получались мутными. Небо пемзовое. Деревья в какой-то пестрой ряби. Цветы крапчатые. Из-за туч непрестанно выплывала порфировая луна, и радужные звезды, рубиново-красные, ухмылялись ей. Когда я нарисовал достаточно картин, чтобы обвесить все стены бани и предбанника, я взглянул на них сразу. Я узнал эту страну. Предомной была Индия!

Через две недели последовала краткая телеграмма:

«Делаю. Петр».

Я догадался, что он делает, и веселая радость обрызгала меня тяжелыми и неуклюжими брызгами.

Я ждал письма, наполненного петькиным восхищением. Но Петька, видимо, считал, что телеграмма есть самый восторженный способ сообщения. Он молчал. Мне захотелось поразить его еще более.

Я купил часы за 1 рубль 75 копеек. Их карманное тикание заполняло лаской всю мою баньку. Синий свет, отражавшийся от снегов, струился в мое окно. Я долго не зажигал моей керосиновой семилейки. Я готовился к новому удивительному опыту. В городской библиотеке я раскрывал номера «Нивы», подыскивая короткую, но трогательную фразу.

В 9 часов 45 минут вечера 8 ноября Петька Захаров сел за стол в дортуаре Омского сельскохозяйственного училища. Он закрыл глаза, уши руками. Он принимал то, что за 500 километров в г. Кургане мысленно диктовал я ему. Дортуар спал. Петька сидел, записывал, исправлял, вычеркивал те слова, которые казались ему лишними и которых он не слышал от меня. Затем он заклеил в конверт получившуюся фразу. В 10.45 вечера того же числа я отправил мой конверт с фразой, которую я диктовал Петьке. Фраза эта была из 42-го номера «Нивы» от 19 октября 1913 г., страница 831-я, строка 8-я: «Здесь не оставляет сомнений прежде всего близость Тургенева и Виардо, родство их, как двух художественных натур, и основанная на этом их дружба».

Я столкнул и свой, и петькин разум в пропасть! Он мне написал встревоженное и малопонятное письмо, где сообщал фразу, записанную им. Фраза отдаленно походила на то, что я диктовал: о Тургеневе и Виардо, хотя фамилий этих там и не было, но для меня достаточно слова «дружба». Петька требовал повторения опыта.

Я колебался. Повтори, а опыт-то и не удастся! Квашня забродила и поднялась ранее обыкновенного. Не оттого ли получился успех, что оба мы любили Тургенева, что Виардо и нежная дружба привлекали нас, что нам надоели ро-

мановские торжества, что наконец мы оба часто читали «Ниву» и что фраза, переданная мысленно на расстоянии, взята нами не из отдаленных номеров журнала, а из ближайшего. От уважения к своим силам я прекратил переписку с Петькой, хотя мне очень хотелось узнать, где и что делает Пашка Ковалев, Филиппинский и «грозный мастер Иоанн». Петька не обижался на мое молчание. Первого числа каждого месяца он неизбежно присылал мне телеграмму, состоящую из двух слов: «Делаю. Дейлай!»

20

Я неустанно смотрел в небо и ждал, когда ветки осветятся теплым солнцем, задрожат, балуясь, и покроются нежной, разбавленной зеленью.

Я вышел в поле. Меня встретила молодая, негнушающаяся трава новой весны 1914 г. Голова моя кружилась. Во всем теле я чувствовал слабость. Вокруг меня, в расхлестнутой настежь весне, кружилось многоголосье. Однако это многоголосье отличалось редким согласием звуков. Мой голос может быть здесь чужим, — тревожился я. — Я вышел слишком поздно? Полянка забыла меня?

Я ошибся. Полянка предпочитала меня всем людям. Я был привлекателен ей. Птички зашелкали, здороваясь. Лужа, та, которая с никелированными краями, попрежнему видневшаяся сквозь осины, качнулась, улыбнулась, приветствуя меня. Осины покрыты радужно-ртутным убором. Сердце мое билось.

Я присел к суку на сломанное дерево. Голова моя закружилась еще сильнее. Многоголосье стало прерываться какими-то мямлистыми звуками. Я ощутил множество бессмыслицы вокруг меня. Руки мои дрожали. Я вынес их к солнцу, весеннему и пышному. Они были синева-серые.

Я очень устал. Я много расточил своего здоровья. Я вспомнил, что работал усиленно всю зиму, но ни на один день не прекращая законов своей системы. На морозе в 25 градусов я выставлял голым почти час. Я ослабел. Мне нужно отдохнуть и этим развеять подступаю-

щую тоску, которая об'ясняется слабостью.

Я с нетерпением ждал вечера.

Вот я увидел барсука, которого я привык называть Филиппинским. Он направился на охоту, пройдя мимо моих ног, попрежнему спокойно жуя. На нем я убедился, что звери и птицы не выразят особенной радости, увидев меня. Благодарений я им не оказывал, и странно надеяться, чтоб они плясали! Они встречают меня, как друга, а не как родственника. Напряжение, которое еще существовало между нами, тревожило меня, словно я не надеялся на свои силы.

Разумеется, я прав. Мне нужно горопиться. Я узнал тайну приближения к животным, и мне пора понять тайну растений. Это труднее!

Я каждый день приходил на серебряную полянку. Я мало думал о зверях. Я умел уже различать на ощупь, закрыв глаза, многие травы. Без чих-либо наставлений я знал, какая трава съедобная, какая нет. Если об'яснить вкратце это ощущение, то можно сказать, что съедобное имело ласковый цвет. Пока не спускалась глухая ночь, я прислушивался к тому, как растут травы.

Да, я слышал, как росли травы! Они выходили, шурша и тихо поднимая почву. Я ощущал их особые беззвучные голоса. Эти голоса возникали во мне. Я стоял у тропинки и понимал, какая трава осмеливается выползти на тропинку, а какая отклоняется. Я понимал, как растение поглощает свет. Я видел явственно, что струи света входили в растение и воздух возле листьев терял свои очертания, делаясь мутным и певучим. Растение боролось с воздухом. Он сопротивлялся, не пуская свет, и я думал с радостью, что люди ошибались, будто растение легко захватывает воздух. Оно упорно упирается, этот особенно крепкий, весенний воздух!

Я чувствовал, что вот-вот пойму тайну произрастания растения от семени до цветка в течение одного часа. Очевидно я должен помочь растению с большей легкостью уловить свет и воздух, тогда в один час они проделают тот путь развития, на который уходит пол-года.

Окруженный зверями, птицами, растениями, я войду к осени в мою заполненную Волшебную библиотеку!

Когда я шел домой, вокруг меня висели облака свежего хорькового цвета. Утро было особо хрустальное. Я перерос себя! Ночь, казалось мне, вдунула в меня множество великолепных мыслей, и плотно идет рядом со мной моя замечательная система.

В предбаннике на лавке ожидала меня хозяйка моя Павла Николаевна. Она держала в крепких пальцах кусок веревки, изображавшей некогда змею. Она равномерно хлестала веревкой по полу. Солнце поднялось высоко. Ее разведенные врозь глаза сухо горели. Раньше она приходила ко мне в баню, только когда очень нуждалась в деньгах. Сейчас у ней было другое лицо. Чего доброго, не произошло ли какое горе с ее мужем? Увидав меня, она швырнула веревку в угол и сказала сдержанно:

— Ишь ты, как подшмыгнул.

После того, что произошло на полянке, я чувствовал к людям большое снижение. Мне казалось, я понимаю ее. Несчастье «подшмыгнуло» к ней более незаметно, чем я, и не обо мне она думает.

— Ведь я тоже человек, — сказала она протяжно, и глаза ее вдруг наполнились слезами.

Я молчал. Я смотрел на нее пронзительно. К сожалению, я видел всю хилость, которая появилась в ней. Но, бесконечно уважая людей, я должен тщательно обдумать, прежде чем помогать ей действовать. Никаких резвостей! Я мастер.

Она схватила веревку. Она говорила горячо и быстро, опять хлеща веревкой по лавке:

— Чадам запахло!

Она говорила о душевном чаде, а не о чаде-ребенке. Я кивнул головой. Мне отлично знаком этот горький чад, но мастер так правит конями, что в одну минуту перемахнет через туман и чад. Я слушал ее внимательно, подбирая утешительные слова. Она качалась на лавке:

— Не могу я терпеть. Как ты, Сиволод, сказал, что болтаю, а действуют

другие, что языком слоняюсь без толку, пустословлю, так начала я себя поносить! Начни себя поносить, так оно отовсюду забьет, потечет, забрызжет. А все-таки я люблю себя, отчего и зачехнуть боюсь. Ну, лучше мне замолчать. Перестала я даже с писарем Хмелиным ругаться, не только с Алешкой. И получилась у меня на сердце такая мокреть с ветром.

Она застенчиво улыбнулась. Я смотрел на ее длинные, стройные ноги, которыми она болтала.

— Погадал ты мне, Сиволод, что ли бы? Как мне смотреть? Все забраковано. Вещи, даже и те стала покупать не украшающие. И муж каков придет, не знаю. Слушаю его письма, а они бречат. Раньше они пели! Страшно мне, Сиволод! Получается вроде как самые простые солдатские письма. Хрупка я стала, Сиволод.

— На чем же тебе, Павла, погадать? — сказал я, улыбаясь.

Она тоже улыбнулась очень застенчиво и в то же время заботливо. Она пеклась обо мне, чтоб я и себя не обидел, и ей не сделал огорчений.

— Тебе ли не знать. Ты совсем отрок дилекатный, святой.

Я взял ее горячую руку. Глаза ее устремились на меня с тоской. Забота ее обо мне исчезла, она озабочена была собой. Понять ее, успокоить ее несложно, — думал я. Я утешил ее. Я сказал, что муж ее придет совсем изменившимся, понимающим и справедливостью, и несправедливостью, что чередой ее жизни пойдет так, как она желает.

Она повеселела. Когда она проходила мимо моего окна, она затянула песню.

Утром на камушке возле бани, в молодой крапиве я нашел десяток яиц и крынку сметаны. По всей вероятности это павлины подношения! Я весело рассмеялся, но скоро я загрустил. Как потчуют нас годы, как они прокажут! Я поторяю проделки бабки моей Феклы. Кроме того, я сваливаю свои проделки на заботы и на сострадание. «Ох, негоже, Всеволод, негоже. Устрани!»

Я бросил крынку в огород, за плетень. Туда же я выкинул и лукошко с

яйцами. Мне хотелось есть, но если убирать, приводить в порядок свою душу, то делай это немедленно!

Я услышал в огороде сдавленный крик. Я отставил чайник с холодной водой, который мне служил рукомойником. Было раннее утро. Парень, что ли, любовался там с девкой и на них вылила я мою сметану? Или баба копала огород? Или попал я в собаку, которая глодала кость? Я подошел к плетню.

По ту сторону его коленопреклоненно на сырой земле лицом к бане стояли пять баб. С ужасом смотрели они на разбитые яйца и расколотый горшок. Их знобило, ногти их посинели. Видимо, они стояли здесь долго. Я узнал этот взгляд! Таким же диким и странным взглядом смотрели, крестясь на восход, «исцеленные» бабкой Феклой.

Я стою спиной к западу. Лицо мое — восток.

Я понял павлино выражение «святой отрок». Слово же «дилекатный» принадлежало ей. Эти два определения выходили из одной души. Я быстро разыскал бешеный смысл слова «дилекатный», даже раньше, чем смысл «святой отрок». Озноб потряс меня. Но это был иной озноб, чем у этих пяти коленопреклоненных баб.

Великий стыд овладел мной. Вот тебе и сражение с богом. Вот тебе, Всеволод, и факирство. Вот тебе и новая система. Так вот, значит, куда ты пришел вместе со всеми! Но самое страшное, что я и сам не заметил, как без всякого притворства превратился в юродивого. Тут же я вспомнил, что уже зимой прекратились смешки надо мной, что люди сглядывали меня со смущением и что даже рыжий заведующий Гейгер не ругал мои длинные волосы, нечесанные и немытые. Я исхудал, ослаб. Меня посещают ветхие мечты. Губя свою строптивость, я уперся в безумие. Вот сейчас бабенки встали предо мной на колени, ждут от меня чуда, принимают меня за схимника.

Я упал грудью на плетень. Я тупо смотрел на баб. Они опустили взоры. Достаточно одной фразы, чтобы они сделали все, на что я выражу желание. В руках бабы держат узелки с приноше-

ниями. Головы у них наклонены. К стоптанным каблукам прилипли куски навоза.

Ай да бабка Фекла! Ах, как бы она посмеялась над своим зятем! Ах, как бы посмеялся над сыном своим учитель Вячеслав Иванов! Нет, плохо, плохо. Плохо еще и потому, что мне мучительно хотелось крикнуть бабам: «Брысь!» А крикни, и ты превратишься в безвозвратного юрода. Вот тебе, Всеволод, и победоносная система.

— Милостивые государи и милостивые государыни, — сказал я бабам, — прежде чем начать свои опыты, я неправильно сказал самому себе, откуда и когда появились на земле факиры!

Я вернулся в баню и снял мою «самосшитую» одежду. Я достал накопленные деньги и надел то тряпье, еще уцелевшее, которое я совсем недавно презрительно называл портновским. Я купил на базаре синие штаны, сапоги с короткими голенищами, галоши, розовую рубашку. Я переоделся и тут же свернул в парикмахерскую. Я коротко остриг свои волосы. Из парикмахерской я пошел в баню. Я долго мылся и парился, обливая себя горячей водой с великим наслаждением. Я поддавал пара в парильне, кряхтел, размахивал мягким венником, и мне не хотелось уходить.

Затем я купил фунт ветчины и два фунта вареной колбасы. Этого мне показалось мало — и я прикупил еще полтора фунта сельтесону. Я приобрел дюжину слоеных булок, два фунта баранок, три французских сайки.

Пищу эту я выложил на промасленную бумагу около предбанника. Мне противно заходить в баню!

Я ел долго и жадно.

Я уснул на скамейке в предбаннике и, проснувшись, опять ел. В этот день я не пошел на работу. Я варил в котелке на лужайке суп из жирного мяса. Я пил молоко и густо намазывал маслом хлеб. Меня обвевала приятнейшая, сонная теплота. Я злорадно ждал бабенок и думал: «Подойдите, я вам такого желанного ерша загну, что вы со страху любой побейкой друг друга не догоните».

Поздно ночью я постучался в плавильное окошко. Я увидел ее побелевшее ли-

цо. Она молча впустила меня. В сених темно, но и в темноте видно, что она на голову выше меня. Я положил ей руку на плечо. Я обнял ее. Плечи ее вздрагивали. Она подхватила меня на руки. Мне было несказанно приятно, что я такой легкий и что она так величаво несет меня. Она меня несла, я прославлял ее и себя, болтая своими слабыми ногами вдоль ее тела. Ей было это приятно. Она кичливо посмеивалась. Она внесла меня в горницу, и ею овладела ярость.

— Вот тебе и гаданье, — повторяла она мои слова, — вот тебе и зачухла!

Она, смеясь, откатывалась от меня. Она важно и степенно говорила: «Кровать продавишь», и это была совсем иная важность, которую я когда-либо слышал. Она восклицала: «Эх ты, велимудрый звездочет!» — и ласково бросала в мое лицо красиво вышитую подушку. В комнате светло. Я помню эту комнату до мельчайших подробностей, хотя и до сего времени, как бы усердно я ни вспоминал, я не могу понять, откуда там был такой яркий свет.

Мы болтали и смеялись. Мы подлинно, и без лести были счастливы.

Она непрестанно гладила меня по голове и ласково говорила:

— Ишь, какой стриженный!

Но вот Павла вздохнула счастливо и прижалась ко мне:

— Теперь я, Сиволод, настоящая солдатка.

Я рассмеялся:

— Тоже человек?

— Тоже солдатка, — поправила она, засыпая.

Мы проснулись поздно. Попрежнему она целовала мои руки и ноги. Она была страшно ласковой и вся крутая иной крутостью, чем я думал о ней прежде. Я смотрел на склоненную ненасытную голову и думал, что вот она даже не спросила меня, люблю ли я ее, а теперь косами своими она вытирает мои ноги. А надо бы спросить! Если быть откровенным, то я ее не люблю, и все происшедшее произошло потому, что я напугался. Моя система принесла мне совсем иные тайны, чем я ожидал.

Нужно уважать и других, но и себя не переставай уважать. И я сказал то,

что еще вчера ночью я бы никак не сказал:

— А ведь я тебя, Павла, не люблю.

Она спокойно ответила:

— А кто же солдаток любит?

Эти спокойные и страшные слова еще более отрезвили меня. Стыд, с которым я признался ей, исчез. Эта женщина не только любила меня, но и первая поняла мою систему и пожелала помочь мне. Я продолжал с легкостью:

— Я от тебя сегодня уеду, Павла.

Она, продолжая целовать мои ноги, сказала:

— Вот я и нацеловываю. Ты гадал, Сиволод, а я и без гаданья поняла, что уедешь. Разве тебе возле солдатки жить?

Она помогла мне собрать книжки. Она донесла мой жалкий скерб до извозчицей пролетки. Уйти мне пешком было трудно. На извозчике менее позорно. Своими крутыми и ласковыми глазами она смотрела на меня, положив руки на крыло пролетки. Она молчала о власти проклятого царства, о которой могла говорить с такой ужасной силой. А я ведь переезжал к Алешке Жулистову, тоскующему попрежнему о великолепной царской форме. Она не хотела меня обидеть! Я страдал, но я был уверен, что иначе поступить невозможно, раз я не чувствую любви.

Три дня я отдыхал и на четвертый вечером отправился к серебряной полянке.

Я сел на любимое мое дерево. Мне скучно сидеть. Я зевал. Мне хотелось есть и спать, но я пересиливал себя.

Я просидел до солнечного восхода.

Огромная тишина свалилась на меня. Я находился в самом ее центре. Ни звери, ни птицы, ни растения не шумели вокруг меня, словно все усердствовало, чтобы показать, насколько я здесь чужой. Возле моего ботинка исходил жилой запах барсучьей норы, но хозяин ее не выходил на охоту. Допустим, что виденное мною на полянке пригрезилось мне.

Я подходил к заячьему логову. Я поднимал кусочки заячьей шерсти, еще теплой. Я чувствовал, что здесь какой-то сговор. От меня распространяется все

увеличивающийся радиус пустоты. Обо мне по лесу бежит слух, как о предателе и болтуне! Кто-то ретиво шмыгает между осин, хлопоча о расширении радиуса. Ах, звери, вы-то его считали благодетелем и заступником! Ах, звери, вы думали, что на основании своей новой науки он преобразовал жадную свою душу! Кто вас надоумил? Перевяжите ваши сердечные раны, развеите тоску, забудьте его!..

Звери, птицы, насекомые, растения покинули серебряную полянку. Серебро лияло на глазах. Листья осин висели надо мной бестрепетно в горьком негодовании.

Когда я утром навсегда покидал серебряную полянку, навсегда уходил серебряной дорогой, я понял многое, огорчившее — и обрадовавшее меня.

Неужели я мог рассчитывать, что голод, плохой сон и воздержание, — что огурцы, капуста и ключевая вода помогли передать мысли на расстоянии? Я вспомнил письмо Захарова — он предупредил мой разум!

Я был болен! Возбужденное воображение и слабый ум создали бред «серебряной полянки».

Возле палисадника жулистовского дома я услышал хорошие, «зрелые, засидевшиеся в девках», смешки. Я заглянул. Незнакомый белокурый парень целовался с девушкой. Девушка закрывалась от меня широкою веткой сирени.

Я подумал одобрительно: «Прекрасно! Сирень, весна, поцелуй. Прекрасно!»

— Сказочно одобряю, — сказал я.

Целующиеся тихо рассмеялись. Когда я раскрывал калитку, то девушка, чтобы не столкнуться со мною, лихо перескочила через забор. Бойко стуча ножками, она вбежала в сонный голубиный дом.

Я разделся тихонько. Я положил свое платье на стул. Возле сашенькиной кровати такой же стул, как и возле моего стола, венский, засиженный. На этом стуле лежало ее платице, сложенное наспех. Из-под ситцевых оборочек выглядывала ветка сирени, растрепанная и широкая. Сашенькины ножки тщательно закрыты.

Читая, я иногда оглядывался. Но напрасно было мое оглядывание. Байковое

одеяльце плотно прикрывало сашенькины ножки и плечики.

Голубиный дом всем своим составом гулял по ту сторону улицы, под тополями, возле кирпичной стены. Изредка Алешка выпускал из-за пазухи голубей. Я бродил по двору, посматривая в небо, наполненное белыми трепещущими крыльями. Пора, хотя и трудно, вернуться к моей Волшебной библиотеке. Пора заполнять серые тетради, воспитывать в ином направлении свою волю, воспитывать свой разум, свою науку, свои высокие духовные идеалы, воспитывать непрестанно, потому что меня тянуло к хозяйке моей бывшей, Павле Николаевне.

Надо учиться. Надо перечитать свои тетради и вычеркнуть все ложное. Мне хотелось побродить под тополями, но я возвратился к своей соломенной собаке.

Я подошел к старому моему знакомцу — тусклому голубиному зеркалу. Я достал свои шпильки, которые вынимал из бумаги последний раз на знаменитом Курганском кургане. Сейчас я погрюжу эти шпильки в свое тело со злостью и с наслаждением. Вот, тебе, чтобы ты не тянулся, шальная голова, к бабам! Вот тебе, чтобы ты понимал и умел правильно избирать полянки! Я взял было булавку...

Я услышал крик с улицы:

— Бен-Али-бей!

Вслед за тем у палисадника завопил Алешка так восторженно, словно он получил-таки ту форму, которой давно добивался:

— Да выгляни ты в окно, факир!

Я распахнул окно.

У палисадника, весело опершись на частокол, стоял, наблюдая за гулянием, мой друг Петька Захаров. Попрежнему он весь в кудрях и в белых зубах. На него безнадежно и грустно смотрит Пашка Ковалев. Нубия качает головой. Она вся увешана странными приборами, сбоку привязан стол с широкими ножками, но она такая же худая и тощая и так же нежны и любезны ее глаза. Упершись хромой ногою в тополь, закинув руки за спину, возвышается над всеми курганскими жителями Константин Филиппинский. Он попрежнему засален,

громаден и вата попрежнему торчит из лопнувшего шва. А выше его в переднике и рваных сапогах ходит возле каравана «грозный мастер Иоанн Михайлов». Увидав меня, Филиппинский поднял вверх узкие свои глазки и проговорил скучнейшим своим голосом:

«— Я хотел бы повидать милую Маню.

Он посмотрел на вонючий размокший окурок в полоскательнице и, хрипло и старательно выговаривая слова, сказал, жуя губами:

— Извините, хотя вы и давнейшая ее приятельница, однако я не могу допустить вас к моей жене в этой новомодной шляпе. Доктор предупредил меня, что больной вредны сильные потрясения».

«— Человек! Мне этот ростбиф не нравится. Можно вместо него котлету?

— Можно-с.

Котлета съедена. Господин, играя сжатыми челюстями, похлопывая толстой и потной рукой по карману, направляется к дверям, из которых несет сырым холодом.

— Господин, за котлету дозволейте получить.

— Так я вам вместо нее отдал ростбиф!

— Так вы и за ростбиф не изволили заплатить.

— Но ведь я его не ел!..»

«Один портной, проснувшийся после двухнедельного летаргического сна, рассказывал между прочим, что он был на том свете, где ему показали огромную пустую комнату со стоящим

посредине ее столбом с прибитыми кусками материи, которую он когда-либо отрезывал от материи заказчиков. Желая исправиться, портной просил всех своих подмастерьев, как кто-либо заметит его намерение вырезать при кройке в свою пользу часть материи, напоминать о столбе.

Прошло несколько дней. От одного заказчика принесли кусок прекрасного английского сукна. Схватив его, портной умелой рукой начал кроить, отрезав и себе порядочный кусок. Подмастерье напомнил ему о столбе.

Портной, почесываясь и зевая, косо глянул на раздвоенную губу подмастерья, из-за которой выглядывал гнилой зуб, и сказал сердито:

— Столб я помню хорошо. А если я отрежу кусок для себя, так потому, что этого куска на столбе не существовало».

«Отец вышел на террасу дачи, чтобы посмотреть, как на лужайке играют его дети:

— Дети, во что вы играете?

— В мужа и жену, папа

Отец, закрывая глаза и трясая головой, серьезно сказал:

— Э... нет, нельзя, нельзя! А не то вы будете ссориться и драться».

«— А вы не скучаете? — спросил хозяин своего гостя.

Гость осмотрел выгорающую лампу, с отвращением подумал, что комната невыносимо провоняла табаком, но вслух тонким фальцетом сказал:

— О, нет, напротив. Мне очень забавно смотреть, как ваши гости сидят и зевают».

Конец второй части

Расставанье

МУХАН БАШМЕТОВ

Ты уходила, русская! Неверно!
Ты навсегда уходишь? Навсегда!
Ты проходила медленно и мерно
К семье наверно, к милому наверно,
К своей заре, неведомо куда...

У пенных волн, на дальней переправе.
Все разрешив, дороги разошлись, —
Ты уходила в рыжине и славе,
Будь проклята, — я возвратить не
в праве, —
Будь проклята или назад вернись!

Конь от такой обиды отступает,
Ему рыдать мешают удила,
Он ждет, что в гриве лента запыхает,
Которую на память ты вплела.

Что делать мне, как поступить?
Не знаю!
Великая над степью тишина.
Да, тихо так, что даже тень косяя
От коршуна скользящего слышна.

Он мне сосед единственный...
Не верю!
Убить его? Но он не виноват, —
Достанет пуля кровь его и перья,
Твоих волос не возвратив назад.

Убить себя? Все разрешить сомненья?
Раз! Дуло в рот. Два — кончен!
Но, убив,
Добуду я себе успокоенье,
Твоих ладоней все ж не возвратив.

Силен я, крепок, — проклята будь
сила!
Я прям в седле, — будь проклято
седло!

Я знаю, что с собой ты уносила
И что тебя отсюда увело.

Но отопрись, попробуй, попытай-ка,
Я за тебя сгораю со стыда:
Ты пахнешь, как казацкая нагайка,
Как меж племен раздоры и вражда.

Ты оттого на запад повернула,
Подставила другому ветру грудь...
Но я бы стер глаза свои и скулы
Лишь для того, чтобы тебя вернуть!

О, я гордец! Я думал, что среди
многих
Один стою. Что превосхожден был,
Когда быков мордастых, круторогих
На праздниках с копыт долой валил.

Тогда свое показывал старанье,
Средь превращенных в недругов
друзей,
На скачущих набегах козлодранья
К ногам старейших сбрасывал трофей.

О, я гордец! В письме набивший руку,
Слагавший устно песни о любви,
Я не постиг прекрасную науку,
Как возвратить об'ятія твои.

Я слышал жеребцов горячих ржанье
И кобылиц. Я различал ясней
Их глупый пыл любовного старанья,
Не слыша, как сулили расставанье
Мне крики отлетавших журавлей.

Их узкий клин меж нами вбит навеки,
Они теперь мне кажутся судьбой...
Я жалею, я закрываю веки...
Мухан, Мухан, что сделалось с тобой!

Да, ты была сходна с любви напевом,
 Вся нараспев, стройна и высока,
 Я помню жилку тонкую на левом
 Виске твоём, сияющем нагрёвом,
 И перестук у правого виска.

Кольцо твоё, надетое на палец,
 В нём, в золотом, мир выгорал дотла.
 Скажи мне, чьи на нём изображались
 Весёлые сплетенные тела?

Я помню все! Я вспоминать не в силе!
 Одним воспоминанием живу!
 Твои глаза немножечко косили, —
 Нет, нет! — меня косили, как траву.

На сердце снег... Родное мне селенье.
 Остановлюсь пред рубежом твоим.
 Как примешь ты Мухана возвращенье?
 Мне сердце съест твой одинокий дым.

Вот девушка с водою пробежала.
 — День добрый, — говорит. Она права,
 Но я не знал, что обретают жало
 И ласковые дружества слова.

Вот секретарь аульного совета, —
 Он мудр, украшен орденом и стар, —
 Он тоже песни сочиняет: «Где ты
 Так долго задержался, джалдастар?»

И вдруг меня в упор остановило
 Над юртой знамя красное... И ты!
 Какая мощь в развернутом и сила
 И сколько в нём могучей красоты!

Под ним мы добывали жизнь и славу
 И, в пулемстный вслушиваясь стук,
 По палачам стреляли. И по праву
 Оно умней и крепче наших рук.

И как я смел сердечную заботу
 Поставить рядом со страной своей?
 Довольно ныгь! Пора мне на
 работу, —
 Что ж, секретарь, заседывай коней.

Мир старый жиз. Ещё не все
 сравнялось.
 Что нового? Вновь строит козни бий?
 Заседывай коней, забудь про
 жалость —
 Во имя счастья, песни и любви.

Перевел с казакского

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Рассказы

БОР. ПИЛЬНЯК

I. РОЖДЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО

Глава первая

На шестьдесят седьмом этаже Крайслер-быднинга в Нью-Йорке, в Клубе Художников и Красноносых на улице Карла-Йоанна в Осло, в бумажном домике на Нака-Токайдо, около Токио, трижды было одно и то же. Люди склонялись над лаком и красками, их лица сосредотачивались внимательностью и восхищением, их глаза опускались в искусство. Маргарэт Бурк-Уайт спросила восхищенно:

— Это — древность?

— Нет, это современность, самая настоящая, сегодняшняя.

— Это — Советская Россия?

— Да, современная Советская Россия и Россия русских деревень.

Глава вторая

Поезд пришел на рассвете. На станциях ждали подводы. Подводы потащили в российские проселки и пейзажи. Ехали целый день по распутице полей, березовых рожиц и перелесков, соснового леса. Возчики по дороге пили водку, толковали о колхозах и пели песни. Ехали россияне, в компании с ними — норвежец. Норвежец в распутице сидел на телеге, задрав ноги выше головы. Россияне и норвежец были писателями. Они ехали затем, чтобы наблюдать рождение искусства. День был традиционен, как российский пейзаж первых дней весеннего простора и солнца. Приехали в обыкновеннейшее село, заполнили избу, ходили на зады в полукурную баню.

Писатели и художники терли друг другу спины. После бани ели студень с уксусом и горчицей, соленые огурцы и квашеную капусту. Затем ходили на собрание, собравшееся в честь писателей.

Село было обыкновеннейшим селом, построилось в виде «Г», перекинулось через ручей мостом, оконца выставило ветрам и свету, облеглось кругом полями, вверх поднялось церковной колокольней. Село было необыкновеннейшим селом, ибо в каждой избе села жили художники, село художников, село степенных и нестепенных российских крестьян. Село лежало на землях древнейших русских мест поволодимирья, посуздалья, поярославья. На собрании нестепеннейший крестьянин и гениальный художник Иван Иванович Голиков держал речь. Черные его, — что называется, — святые глаза бегали по потолку и под стол, застревали в усяцах, наполнялись наивностью и таинственностью. Дыхание мешало словам, и словам помогали глаза и руки.

— Гениальный Пушкин, конечно, и гениальный Голиков... Голиков, то-есть я, хотя меня прозывают тараканом, как рябинка в поле. Осенью рябина красная, лист пожелтел, и во всем лесу простор и тишина, как у гениального Пушкина... Конечно, гениальный тоже Некрасов... Голиков, то-есть я, берет букет полевых цветов, смотрит на него и рисует свои битвы, поэтому кони у Голикова бывают красные, как гвоздика либо как василек, и получается бу-

кет жизни... А детей у гениального Голикова шесть душ, а во всем доме нет ни одной кровати, и я, то-есть Голиков, таракан по прозвищу, как рябинка в поле! Я кончил!..

После собрания вышли в ночь. Ночь. Весна. Воют собаки. Скоро запоют петухи. Володимирье. Небо черно, и звезды мутны.

Наутро ходили осматривать артельное имущество и мастерские, места рождения прекрасного. Революция отобрала двухэтажные гробо-домовины у купцов и передала их артели художников. В доме пахнет сельской школой. У окон столы. За столами — художники. То прекрасное искусство, которое склоняет перед собою головы всех в мире, понимающих искусство, делается на этих столах, где в комнате сидит человек по пять мастеров, окруженных учениками. Краски разведены на яичном желтке в яичной скорлупе. Кисти самодельны. Краски, золото и лак полируются коровьим зубом. Там, где мельчайшая работа недоступна глазу, там употребляется лупа, сделанная из двух выпнутых стекол, пустое пространство между которыми наполнено водой. Мастера сидят в валенках, в кацавейках, в рубахах.

Глава третья

Среди писателей был норвежец. Писатели были в местах рождения прекрасного. И писатели решили послать подарок старому и гениальному норвежцу Кнуту Гамсуну. Был избран ларец работы Ивана Ивановича Зубкова. Иван Иванович привел в жизнь рисунка и краски пушкинскую сказку о Рыбаке и рыбке. В ларце, на красном лаке, золотом было написано:

«Прекрасному Кнуту Гамсуну, который ошибается, полагая, что пролетариат и революция не умеют хранить и создавать искусство».

Глава четвертая

Надпись на ларце была predetermined разговорами и познаванием писателей. Писатели были у истоков рождения искусства, писатели открывали эти

истоки. На самом деле, в трехстах километрах от Москвы, в тридцати километрах от железной дороги, — не один, не два, но несколько десятков, — живут художники, объединенные в артель. В старой России это село не принадлежало искусству. В нем жили крестьяне-ремесленники, крестьяне-отходники, иконописцы, называвшиеся иронически и полупрезрительно «богомазами». Эти отходники стали художниками только после революции. Иные из них и по сей час полуграмотны. Ларец, посланный Гамсуну, был сделан Зубковым, Иваном Ивановичем, песенником, насмешливым стихотворцем, веселым философом. Таких, как он, на селе человек пятнадцать, старейших и почтеннейших. Старейший из них и почетнейший — Иван Михайлович Баканов — возрастом равен Гамсуну. В старой России эти отходники были только «богомазами». Они ездили по России и стандартами, по трафаретам, расписывали церкви Николаями-угодниками, саровскими Серафимами, казанскими божьими матерями и прочими богами и святыми. Об искусстве никто не помышлял. Это село несколько столетий тому назад было монастырским селом. Иконописный промысел был родовым промыслом, передававшимся от отцов детям. Промысел возник у села во владими́ро-суздальскую русскую эпоху и стандартами трафаретов пронес через столетия трафареты стандартов владими́ро-суздальского иконописного мастерства, навыки и эстетику Рублева. Законсервированное стандартами мастерство семнадцатого века донесено было до семнадцатого года. Его величество — Девятьсот Семнадцатый — выкинуло богомазное искусство в ненадобность вместе с богами и Серафимами саровскими, святым империи и императора Николая Второго. Крестьяне и ремесленники пошли в революцию. Иван Иванович Голиков, Иван Иванович Зубков пошли в жизнь и в Красную армию. И тогда возникло новое искусство. В горно-рудной промышленности и в химико-аналитических лабораториях знают, что в тигеле новых сплавов или в разложении минералов в качестве отбросов иной раз возникают

совершенно неожиданные сплавы, которые никто не искал и не подозревал, прекрасные и необходимые сплавы. Иван Иванович Голиков, Иван Михайлович Баканов, Иван Иванович Зубков были в жизни и в революции крестьяне и ремесленники — они никак не были на хребте эпохи. Их промысел был выкинут за ненадобностью. Мастерство их села осталось в их пальцах и в их глазах. Глаза их и руки были развязаны. Надо было работать, чтобы жить. И первый вместо Георгия-победоносца, жалящего дракона с белого коня, написал Семена Михайловича Буденного на красном коне, в буденновском шлеме, жалящего гидру контрреволюции. Мастерство и традиции Андрея Рублева остались, и Семен Михайлович Буденный стал свят. Возникло искусство. Второй вместо богородицы с Иоанном написал двух юношей, ее и его, под золотым солнцем, среди рублевских гор, в окружении синих и розовых барашков. Работа была названа «Первый поцелуй». Мастерство и традиции Прокопия Чирина не умерли. Поцелуй крестьянских юношей стал свят. Возникло искусство. Третий — Александр Котухин — написал Заседание сельсовета мастерством и экспозициями Тайной вечери. Это было начало. Художники делали свои работы на папиросных коробках. На помощь пришли, кроме советских дней и дел, Пушкин и русская сказка. Сделаны были Бронепоезд Всеволода Иванова, трактор соседнего колхоза и сказка о Рыбаке и рыбке. На помощь пришло государство.

Глава пятая

В вечер отъезда художники провожали писателей. Художники собрались с женами. У каждой жены на шее было по брошке, подаренной в радостный день мужем жене или невесте. Сели за стол чинно и по старшинству. Если студень. Мужчины пили водку из стаканов. Для женщин водку подкрасили вареньем, подсластили сахаром, и женщины пили из рюмок. И все пили по старшинству, обносимые чарою, чествуемые

застольною песней. Пили и пели. Такие прекрасные песни можно услышать нечасто. Древние, просеянные временем, они были прекрасны и современны, как современным оказалось искусство этого села. И пели, и пили художники — по традициям, по регламенту — до рассвета. Пьяных не было, но было веселье. Наутро писатели уехали, троекратно целуясь с каждым художником на прощанис. И подводы потащили на себе традиции весенних русских пейзажей, неба, леса, полей.

И писатели были еще раз в этом селе. Они приехали в столицу края, в Иваново. Их встретили автомобили обрисполкома. Была зима. Автомобили отвезли писателей до Шуи, до тех перекрытых, снега за которыми не пускали в себя автомобилей. Там, в снегах, опять ждали подводы. В селе был праздник. Двое прославленнейших — Баканов и Голиков — получали звание высшей чести советских художников — заслуженных деятелей искусства. Село превращалось в город искусств. Художники регламентировались не крестьянами, не колхозниками, но — художниками. Село выделялось в самостоятельную юридическую единицу. Советская власть — правительство РСФСР, правительство области — люди советского искусства — регламентировали и устраивали быт «богомасов», чествуя их. В мастерских убранны были столы, и расставлены были скамейки. Из города — впервые за всю историю села — приехал духовой оркестр. Был торжественный митинг, торжественное собрание, передача торжественных грамот и торжественных прав. Голиков терял прекрасные свои, блаженные глаза и, получая грамоту звания заслуженного деятеля искусств, сумел сказать немногое:

— Иван Иванович Голиков, то-есть я, меня, может, по прозвищу за усы называют таракан... Очень благодарю советскую власть со всеми другими мастерами... Больше сказать ничего не имею против.

После митинга был ужин, играл оркестр, молодежь танцевала, но мастера за ужином, среди тостов, пели и пили чарочку по всем старинным традициям.

Последняя глава

На шестьдесят седьмом этаже Крайслер-былдинга в Нью-Йорке, в Клубе Художников и Красноносых на улице Карла-Йоанна в Осло, в бумажном домике на Нака-Токайдо, около Токио, трижды было одно и то же. Советский русский писатель показывал сокровище. Люди склонялись над лаком, рисунком и красками. Маргарет Бурк-Уайт говорила о древности. Шестьдесят седьмой — это высокий этаж. За окнами в ночи скрежетал город, удушливый, как чугунолитейный цех. Профессор Йонэкава, знаток китайской и японской миниатюры, через Японию, Китай, Индию, Персию следил пути развития искусства миниатюры, и Палех был для него завершением этого искусства.

Скандинавы — хороший народ, и на советский глаз — чудаки. Чего доброго, пьянство по скандинавским понятиям никак не порок, но доблесть, и кабаки у них — почетное место. В Копенгагене обязательно показывают кабак на дороге к замку, где якобы проживал Гамлет, принц датский, кабак, в котором каждую ночь является привидение на коне. В Стокгольме имеется в старом городе кабак, организованный в семнадцатом веке пьяницей и веселым художником Михаилом Бельманом. Оный Бельман откупил подвал от бочек и от канатов, расставил там бочки с элем, содержательствовал этот кабак, пил там и помер, оставив завещание, в коем значилось, что ни пьяниц, ни художников весельчак-пьяница-художник не забыл: права собственности на кабак Бельман завещал шведской Академии живописи с условием, что ежегодно академия будет сдавать подвал с торгов специально и исключительно под кабак, дабы в кабаке пили и поминали хороших пьяниц, дабы арендная плата с кабака шла на стипендии молодым и талантливым художникам. В кабаке пьют, и на деньги с пьяниц учатся художники. А в Осло — или точнее и фонетически правильнее — в Усло — есть кабак под названием Клуба Художников. Почетные члены этого клуба — люди искусства — наделены

грамотами на право именоваться красноносыми. Художники в этом клубе сдвигали на сторону свои элевые кружки, разглядывая в почтении палех.

Гамсун ответил советским писателям, пославшим ему ларец. Гамсун писал:

«Если я скажу, что я сражен и раздавлен драгоценным подарком, присланным вами, то и это будет слишком мало, — это хорошо, пожалуй, для одного раза, а между тем это должно было б длиться все время и всю жизнь. Я никогда не видал столь прекрасного прежде и не понимаю, как это сделано. Если возможно, я просил бы объяснить это чудо. Уже ли рисунок под лаком сделан от руки? Я даже под лупой не вижу ни одного мазка! Это колдовство. Как будто тут изображена ситуация целой жизни, — так ли я понимаю?..»

Так писал очень одинокий, очень замкнутый и подозрительный норвежец, Кнут Гамсун, кавалер красноносых. Его молодой друг и соотечественник Нордаль Григ, ездивший с русскими писателями в Палех, в плохом знании языков долго не понимал, когда ему говорили:

— В горно-рудной промышленности иной раз в шварках и отбросах возникают совершенно новые и необыкновенные минералы. Едва ли кто-либо предполагал, что в домне революции отбросы религиозных традиций смогут превратиться в сплав большого искусства. Это одна сторона вопроса. Это сделано в домне революции неожиданно для революции. Но когда этот сплав возник, революция его подобрала. Иван Голиков и Иван Баканов полуграмотны, но они — заслуженные деятели искусств. Палех создан революцией, всячески конечно.

Григ долго не понимал сплава английских, немецких и французских слов, которыми ему передавалась только-что изложенная истина. Наконец он понял, он хлопнул собеседника по плечу и сказал радостно:

— Ты совершенно правда, товарищ!..

Ямское Поле,

21 авг. 1934 г.

II. 400 gr ЧАЙНОЙ

Пароход был переполнен. Пахло дегтем и воблой, канонными волжскими запахами. Осенняя ночь началась часов с семи, и конца ее не предвиделось. Дождя не было, подмораживало, и люди жались к тюкам, друг к другу, плечо в плечо, спали, лежа на палубах и сидя. Огни на носу были притушены, Волга и волжские берега провалились в кромешную тьму. Ночь шла уже давно, люди притихли, за бортом, во тьме, плескалась вода. Двое с верхней палубы, которые долго ужинали и затем долго пили коньяк с лимоном, мужчина и женщина, прошли к форштевню, осторожно шагая, чтобы не наступить на ногу, на грудь или на руку спящих под ногами. Мужчина сказал по-английски, тоном, который предназначен для того, чтобы воровать женские сердца, но который указывает, что мужское сердце уже потеряно:

— Май хани, медовая моя, такой способ спать — это даже не от императоров, это от царей или, быть может, даже от татар!..

Женщина ничего не ответила, она облокотилась о борт и смотрела во мрак. Мужчина стал рядом. И из темноты тогда в тишине холодной ночи и плеска воды за бортом, от осьминога человеческих тел, устроившегося вокруг якорных цепей, послышался перебессонный, тихий, лирический голос человека, который продолжал длинный свой, ночной рассказ.

— Ми-илай мой!.. Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость, и, стало быть, рычаг, кол в руке у первобытного человека — отец цивилизации. И тот же рычаг, только заостренный и в руке воина, — есть меч, отец войны и завоеваний. И тот же рычаг, только сплюснутый, вставленный в уключину, — есть весло, прародитель мореплавания... Что касается торговли, то ей распорядился все тот же рычаг, только употребленный иначе, — рычаг, положенный на острие камня своею серединой, для взвешивания и дележа добычи, — весы!.. Весы, ми-илай мой! И о весах и будет наша с тобой дальнейшая речь. Меч и

весло исчезли, меч вырос в авиацию и в удушливые газы, весло сменило паром и электричеством. Но весы, — архимедовы весы, начало первородной оседлой жизни, — весы живы по сей день. Этот отец, скажем так, или старший брат всех машин, — весы, — оказался забытым братишкой: от Архимеда две тысячи триста лет прошло, а ими до сих пор вешают наш колхозный хлеб и наши вагоны на железных дорогах, грузы на пароходах и автомобилях. И даже этих самых архимедовых весов нехватает категорически. Шутка сказать, — Карфаген, предположим, и — советские колхозы!.. Однако давай без шуток, милый друг, — «социализм есть шутка», — социализм есть точность, — точность обеспечивает наивысший, так скажем, коэффициент общественной справедливости и полезного действия технического вооружения коллектива. Весы в социализме — это никак не капиталистические весы. Наиболее священная наша общественная собственность — хлеб, трудодни в колхозе, товарооборот — распределяется и оберегается весами. Товарооборот, — по слову Сталина, одна из важнейших задач второй пятилетки, — основным техническим механизмом, милый друг, имеет — всё те же весы!.. А теперь обследуем вопрос, в каком состоянии находится наш драгоценный советский весовой парк, — ты должен ужаснуться, милый мой, когда прослушаешь мои слова. Колхозы имеют лишь десять процентов этих архимедовых весов и никаких больше. Товарооборот, все его системы покрывают свою потребность в весовых приборах на пятнадцать процентов. Транспорт — на сорок. Промышленность — на пятьдесят. Девяносто процентов отсутствия весов в колхозе — это гуляй-поле для воров и вообще классового врага. В одном совхозе из-за отсутствия гирь, — тоже «машина», изготовить не могли! — так вот из-за отсутствия гирь посадили на площадку весов беременную работницу, которую допрежь взвесили на станции, — рассудили: хоть и беременная, а работать должна, за вес ее тела записывали ей рабочие дни, а нарастающий ребенок

был в качестве допуска погрешности!.. смех и слезы. А на самом деле тысячи колхозных подвод кружат по проселкам районов, иной раз во время уборки, разыскивая место, где бы им взвеситься. А, кроме этого, весы в колхозах, на пунктах Заготзерна, на транспорте имеют такую разницу точности, что зерно, свежее, скажем, в амбаре колхоза, прибавляет иной раз, а иной раз убавляет половину своего веса на весах стационарного элеватора, катая заново, и миллионы трудодней, сотни тысяч тонно-километров пропадают в великое время уборки, хлебосдачи, озимого сева. Браток, ми-илай друг, это не только денежные рубли, это — рубли политические! — какое просторное место для классового врага!.. Одним словом, «социализм есть учет», по слову Ленина, а с другой стороны, архимедовы законы разработаны наукой так, что теперь могут взвешивать вес планет, а в общем и целом девяносто процентов колхозного хлеба не имеют архимедовых весов.

Тенорок замолчал. Подмораживало. Шелестела холодная вода, опущенная во мрак. Пароход должно быть, отошел от прибрежных гор, и задул холодный ветер.

— Ну, и что же теперь будет? — спросил из темноты второй бессонный голос.

— Что будет!? — надо делать весы, ясно! Представь себе малую малость, мой проект, — ну вот, к каждому автомобилю, к полторке, к пятитонке, к трехтонке приладить электрические весы, я берусь это дело сделать, пятитонка будет электричеством показывать вес каждой ошметки грязи, которая к ней на кузов прилипла, каждый автомобиль будет весами!.. Представляешь!?

— Это — правильно, дело великое. А как это сделать? — спросил второй.

— А я по этому делу сейчас и плызу, сначала проверить самого себя на Горьковский автозавод, а потом в Москву, к Сталину, Калинин и к Серго Орджоникидзе.

Помолчали. Дул ветер. Ночь была неизменна, и конца ей не предвиделось.

— А ты-то сам — кто будешь?

— А я тракторист с Маркштадтской эмтеэс, шофер по профессии, был весовщиком на станции.

— Член партии?

— Член.

— Угу... Тогда понятно.

— Чего понятно?

— Прямого дела к весам не имеешь.

— Великое дело — весы! Им надо сделать место в ряд с тяжелой промышленностью. Это дело большого политического значения, ми-илай друг!

Помолчали.

— Раньше, — сказал второй, — при царях... пошел я в колбасную лавку Федора Тютин, купил фунт чайной, пришел домой, развернул, а колбаса гнилая, и я ругаюсь — сукин сын этот Тютин, тухлой колбасой торгует!.. Или этот же Тютин, разбогател, отстроил новый кожевнический завод, а себе поставил особняк со львиными мордами на крыльце, — я прохожу мимо, и мне без интереса, мне безразлично, меня это не касается. А теперь... прихожу в кооперацию, покупаю четыреста грамм чайной, прихожу домой, разворачиваю, а колбаса гнилая, — виноват в гнилой колбасе всего-навсего либо приказчик, либо заведующий точкой, а я всю советскую власть ругаю, вплоть до Совнаркома.

— Обязательно, — сказал первый, — всеобщее дело.

— Или дом, — сказал второй, — выстроили теперь дом на главной улице, не говорю уж о фабриках, заводах либо музеях, — и дом так себе, ничего необыкновенного, иной раз тоже со львиными мордами, а я прохожу мимо, и мне интересно, это меня касается, и я доволен советской властью вроде как самим собой, и я ее хвалю вплоть до Совнаркома.

— Совершенно понятно.

Замолчали надолго, как видно, исчерпав разговор.

Мужчина, стоявший у форштевня, сказал по-английски:

— Этот тракторист высказал одну совершенно замечательную мысль...

Сказала женщина:

— Здесь холодно, пойдете.

Эти двое были американский и русский инженеры. Американец уезжал на родину, женщина, русский инженер, еха-

ла с ним по пути до Москвы. И не только по пути. За полтора года, когда они работали вместе, они любили друг друга, и она провожала любимого.

Они поднялись на верхнюю палубу и сели под ветер, около окна своей каюты. Из-за решетки окна, пошарив в темноте рукой, американец достал трубку и закурил.

— Этот тракторист, — чуть-чуть взволнованно заговорил американец, — этот тракторист высказал совершенно замечательную мысль. На самом деле, ведь каждую автомобильную площадку можно превратить в точнейшие весы!

— Разве это главное, милый!.. — сказала женщина и взяла в обе свои руки

руку американца. — Ты зовешь меня ехать с тобою в Америку, и я не еду, я не еду (вот именно, — как тебе сказать?) — именно из-за этих весов и из-за четырехсот грамм чайной колбасы... Милый, и ты вернешься к нам!..

Всё же ночь не была бесконечна. Если на нижних палубах не спали потому, что там было неудобно и холодно спать, то эти двое с верхней палубы не спали потому, что они хотели подольше быть вместе. Ночь стала сереть. Из мрака стали появляться великолепные просторы Волги.

Ямское поле,
26 авг. 1934.

Магистраль

Роман

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Первомайское солнце — как на заказ — припекало по-летнему; и уже с утра над Каменной зацвёл, зазеленел праздник.

Словно и не было, и не будет никогда ненастья!

Степь за селом молодеда травмами, тепло блестели черепичные кровли хат, и вся река вдоль Каменки — от паромы до конторы прораба — искрилась так, что больно было глазам.

На самом берегу, там, где село отгородилось церковью от степного простора, хлопотала вся строительская молодежь. Девчата и парни трудились вокруг сколоченной еще вчера трибуны: она белела свежим тёсом недалеко от церковной ограды.

— Эх, гвоздей мало...

— А ты не забывай зря, еще лишние останутся.

— Молоток, ребята, не потеряйте. Кныш голову оторвет.

— Дымко, да чего ты там с плакатом, иди сюда!

— Я Васёнке помогаю...

— Хо-хо, опять помогает! Да прогони ты его, Васёнка, неужто он тебе не надоел?

Из села — и берегом, и поверху, через площадь — кучками подходил народ. Старики — в празднично-чистых

рубахах, кто помоложе — в пиджаках, в городских клетчатых «ковбойках», многие из женщин — тоже по-городскому, в платьях или юбках с кофточками; у девушек платки повязаны, как у работниц на фабриках. Только старух почти не было в народе; не было, пожалуй, вообще ни одной пожилой женщины, и оттого казалось с первого взгляда, что и вся толпа — молодая, как и этот веселый, яркий день.

Люди шли медленно. И те, кто поднимались снизу, с берега, и те, кто подходили улицей через площадь, — все сворачивали к церковной ограде и оттуда, рассаживаясь по камням, по траве, приваливаясь к ржавым прутьям решетки, молча смотрели на трибуну и на комсомольцев, хлопотавших вокруг нее. Там, наподобие высоких ворот или арки, сколачивались свежеструганные длинные жерди, а на них уже натягивали с обоих концов широченный кумачевый плакат.

«Привет строителям первой советской сверх-маши-стра-ли» —

вразнобой читали вслух зрители.

Плакат простерся над трибуной, слабо надуваясь ветерком, и степь стала еще нарядней. На зеленом просторе — яркокрасное, на красном — блистающие белизной буквы... Что красивей и проще может расцвести волю и ширь, и радость массового праздника? Лес, яго-

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7, 8 и 9 с. г.

ды и ромашки, — луга, россыпь гвоздики и облака, — в комсомольских колоннах — защитные юнштурмовки, румяные губы и белозубые улыбки; в городах — зеленые сады, белые стены лучших зданий и алый плеск знамен, — всюду зеленое, красное и белое трехцветным оркестром красок встречают отдых и труд!

К трибуне мимо толпы быстро шли трое. Один — всех крупнее и выше — чуть впереди, двое — следом за ним, все — в пыльных сапогах, с разгоряченными потными лицами.

— Прораб... — заговорили в толпе.

— Дорофеев вернулся...

— Василь Василичу! — слышалось то тут, то там. Кепки и шапки приподымались над толпой, и, замечая знакомых, коротко и сухо ватно отвечал каждому инженер. Он направлялся прямо к плакату, не оглядываясь на спутников, те шагали за ним, разговаривая на ходу. Комсомольцы у трибуны, заметив их, бросили работу, вглядывались изумленно:

— Ребята, никак это Сурков?

— Да фасонистый какой...

— И Григорий Павлыч с ним...

— Да ну? Девушки, Богун из города вернулся!

— Значит, правду прораб говорил, а ты, Васёнка, всё не верила!

Васёнка наверху молча работала молотком. Она гвоздиками прибивала кумач к шести, стоя на лесенке, приставленной к перилам трибуны, а внизу лесенку держал Дымко.

— Кончаете, ребята? — крикнул прораб, подходя. — Скоро народ соберется!

— Кончаем, Василь Василич!

Комсомольцы здоровались с инженером, улыбались навстречу подходившим.

— Запропали как, товарищ Богун!

— Сурков, здорово!

— Неужто опять к нам? Ай да Володька, герой!

— Не он герой, товарищи, а я герой, — весело сказал Богун, останавливаясь в кругу комсомольцев. — Это я его из города привез.

— Да ну? Ребята, качать Григория Павлыча!

— Товарищ Богун, а когда же вы приехали?

— Третьего дня.

— Оба?

— А где ж вы прятались, что вас никто не видал?

— Нам прораб говорит: «Григорий, говорит, Павлыч из командировки вернулся, и Сурков, говорит, с ним приехал», а мы не верим...

— Ни в конторе нет, ни на трассе нет... Уж думали — смеется Василь Василич, а выходит — факт!

— У меня всегда факт, — отозвался прораб, оглядывая трибуну. — Без факта, ребята, я и сам не говорю, и других не слушаю!

Он усмехался довольно, вытирал платком покрасневшее потное лицо и поглядывал на всех с таким видом, словно имел в запасе еще один секрет и разгадку этого секрета приберегал, как что-то особенное, и в то же время едва удерживался, чтобы не рассказать. Богун тоже посмеивался, он рассказывал всем только о том, что удалось ему сделать в городе, как скоро прибудет оттуда экскаватор, и с каким трудом отвоевал он его, и то потому только, что помогла резкая записка начальника участка, Фаддея Дамиановича, с которым главный инженер Гесс — старые товарищи. О том, где сам он, Богун, пропал эти два дня по приезде из командировки, техник не говорил ничего.

Сурков — тот и вовсе молчал. Кроме сапог, все на нем было действительно фасонистое, городское — и кепка, и пиджак, и галстук, и пальто, накинутое на плечи, несмотря на жару. Стоя среди обступивших его парней, он слушал всё, что они наперебой говорили ему о трассе, о гулянках, о баяне, который будет премией от участка лучшему прорабскому пункту, — слушал, а сам незаметно поглядывал на трибуну. Там Дымко и Васёнка продолжали работу, словно не замечая никого и ничего. Напряженно глядя вверх, парень крепко держал лесенку, ветерок относил юбку Васёнки ему на плечо, тонкие ноги ее в тапочках и белых носках казались детскими.

Она деловито стучала молотком и только раз оглянувшись вниз, куда-то мимо Суркова. — и ему показалось, что она посмотрела на Богуна и что и Богун тоже смотрит на нее, посмеиваясь и продолжая свои разговоры. Сурков переглянулся с ребятами: один подмигнул, другой ухмылялся, третий прищурился понимающе.

— Здорово, Васёнка! — негромко позвал техник. Девушка продолжала стучать.

— Васёнка, что ж не отвечаешь? — громче сказал Богун, подходя. — А у меня к тебе дело. А, Васёнка?

— Гвозди у ней во рте, вот и не отвечает..

Богун обернулся: из-за лесенки на него в упор смотрел Дымко.

— А-а, это ты... — неловко проговорил техник, словно только сейчас заметив парня. — Ты разве еще здесь работаешь, Дымко? Ведь мы тебя как будто на участок перевели, в изыскательскую партию?

— Вы-то перевели, да я-то не пошел, товарищ Богун.

— Что ж так? Тебя выдвигают, чудак, изыскателем будешь, ты ж хорошо вешил зимой. Разве лучше землю копать?

— Лучше — не лучше, а мне вашего выдвиженья не надо. Мне и тут хорошо.

Парень смотрел технику в глаза немигающим, откровенно злым взглядом, и был этот взгляд так выразителен, что Богун смутился.

— Мне что, как хочешь, — проговорил он, отворачиваясь и стараясь казаться равнодушным. — Так, Васёнка, потом напомни — я твое поручение исполнил, слышишь?

Девушка, не оглядываясь, стучала молотком. Техник посмотрел на нее снизу вверх — на праздничную серую юбку, на белую городскую кофточку без рукавов, на толстую длинную косу, перевязанную яркочерной лентой, — усмехнулся и отошел. Вместе с ребятами он и Сурков окружили прораба, слышались шутки, смех.

— Кончай, что ль, Васёнка, — тихо сказал Дымко. Но девушка уже не ра-

ботала. Подняв молоток, она застыла наверху, всматриваясь куда-то, и вдруг закричала звонко:

— Идут! Василь Василич, идут!!

Все оглянулись. Толпа у ограды шевелилась, расступаясь. Издали с пением двигалась нестройная узкая колонна. Сурков, вытянув шею, как гусь, ловил ухом песню, Дорофеев прищуренно смотрел из-под козырька.

— Да это кто же? Это не наши... — с изумлением проговорила Васёнка.

Колонна вышла на взлобье к ограде. Весь передний ряд ее чем-то поблескивал на солнце, и никто еще не успел рассмотреть, что там блестит, как с полдюжины гармоней протяжно и дружно реванули:

Белая армия, черный барон...

Голоса подхватили глухо и стройно, колонна заколыхалась ровней. Теперь уже хорошо видны были молодые лица в рядах, казавшиеся темными от светлых праздничных рубашек. Гармонисты, составляя весь первый ряд, вели колонну, как ведет оркестр. Они шли медленно, откидываясь назад всем корпусом, — тяжесть гармоней мешала им шагать быстрее, и широкие ремни врезывались в плечи, как у средневековых барабанщиков, а протяжный запев так же медленно плыл над рядами, качая на плечах людей остроконечные кирки и кайла...

— Шахтеры! — торжественно сказал Сурков, оглядываясь на прораба. Васёнка спрыгнула вниз, Дымко убрал лесенку, остальные торопливо собирали инструменты, спеша очистить площадку к началу митинга.

— Комсомольцы с рудников пришли! — радостно заговорили кругом ребята, а сами жадно заглядывали вперед, на идущих: это шли не гости — шло боевое пополнение, которого так ждали на трассе все последние дни.

— При-вет гор-ня-кам! — хором прокричали от трибуны, а шахтеры с песней проходили мимо, ухмылками и взмахами рук отвечая на приветствия, и многие из них, видя позади прораба фасонистое пальто Володи Суркова, кивали и кричали ему что-то, как знакомому.

Дорофеев обернулся и хлопнул его по плечу:

— Молодчага, Сурков! Ребята! Видите теперь, где он двое суток пропал?

— Да что толку... — сквозь зубы сказал Володя. Вытянув шею, он глазами пересчитывал колонну. — Мало их... Полсотни, больше не будет, а обещали — около ста придет...

— Ничего, и то хлеб. Эге, а вон и наша армия, — протяжно сказал про раб.

Из-за ограды, вслед шахтерам, показалось на высоком древке яркокрасное знамя. От шелкового блеска ломаных мелких букв, от кренделястых завитушек по углам, похожих на рождественские золоченые орехи, от обилия пышных кистей, пришитых в самых неожиданных местах, разукрашенное полотнище нестерпимо блистало и переливалось на солнце. Молодой человек, веснушчатый и нарядный, нес его на плече, от торжественности раздвув щеки, истово и мрачно глядя перед собой.

— Уткин-то... Как херугву несет... — негромко сказали в толпе у ограды. Население Каменки впервые видело это знамя, о сооружении которого шел слух за целый месяц до первомайского праздника.

Двадцать-тридцать человек тесной кучкой шагали за знаменем — плотники, землекопы, конюха, бухгалтер и конторщики — весь наличный состав рабочих и служащих пункта, — и вел эту «армию» крикливый дядько без шапки, с широкой лысиной, — десятник Савелий Кныш. Хмуро, исподобья оглядывал он толпу около ограды, отворачивался и шел мимо, сутулясь, раскачивая длинными руками, и опять взглядывал — вперед и вбок — упрямо и сумрачно, как на врагов.

«Чего смотрите? — говорил этот взгляд. — Мало нас? Ну, мало! А драться все равно будем, не станем стоять да смотреть, как вы!»

Однако, насколько угрюмо выглядел старый Кныш, настолько же праздничен и торжественен был знаменосец, в котором Сурков с изумлением узнал своего недруга по зимним изысканиям. Да, это

он, бывший ликетажист Петрушка, все такой же и в то же время неузнаваемый — в новой фуражке, в наутюженных белых штанах, в сорочке с нежно-розовым галстуком! Брезентовые туфли его были так густо напудрены мелом или зубным порошком, что каждый шаг Петруши рождал мучнистое белое облачко, и ветерок разносил его над травой, над дорогой, как почетную пыль далекого боевого похода, а лицо Петруши всё больше натуживалось мрачной гордостью, точно он вел за своим знаменем не три десятка, а три тысячи человек.

Дорофеев махнул ему рукой, указывая, что надо встать справа от трибуны; слева уже выстраивались комсомольцы-шахтеры. Петруша повернул к трибуне, кучка людей сошла с дороги, и тут стало видно, что сзади них надвигается издали еще колонна — большая, пестрая, в облаке пыли, тоже с флагами, но без всякой музыки и без песен.

— Ой, да это ж наши!! — вскрикнула Васёнка. — Дымко, гляди, вон с нашего колхоза девчата!

Богун оглянулся на ее голос.

— Тут Милушка, не с одного, а с трех колхозов народ, — проговорил он негромко, усмехаясь и лаская ее взглядом. Васёнка покраснела и отвернулась сердито.

— Не хочет девка с тобой говорить, Григорий Павлыч, — сказал сзади Сурков. — Аль поссорились?

Но Богун уже не слышал. Колхозники гуртом текли мимо — всё молодежь, звластая, смешливая. Девушки и парни с любопытством оглядывали кучку строителей у трибуны, наперебой читали слова на плакате и, балуаясь и пересмеиваясь, выкрикивали их вслух.

— «При-вет стро-ите-лям»...

— Манька, это тебе привет!

— Вон от этого, от чернявенького!

И они оборачивались на Богуна, словно на своего знакомого, как шахтеры — на Суркова, а Богун так же напряженно и торопливо пересчитывал их глазами, как Сурков пересчитывал шахтеров.

— Восемьдесят... девяносто... девяносто пять...

Уже за сотню перевалило, а колхозники все еще шли из-за ограды. Богун напряженно вытягивал шею и шевелил губами, прораб, усмехаясь, с гордостью поглядывал на него.

— Видали, ребята? — сказал он, оборачиваясь к своим. — Вот где две суток пропадал товарищ Богун!!

Солнце уже поднялось высоко, а митинг все еще не начинался.

Ждали представителя из райкома, за которым линейку послали еще с рассвета; но время шло, собрался уже весь народ, какого только можно было ожидать на этом пункте трассы, а линейка все не возвращалась, хотя станица, где были райком и контора участка, лежала всего в пятнадцать километрах от Каменки.

Шахтеры, колхозники, рабочие с трассы — все терпеливо стояли с трех сторон трибуны, покуривая, разговаривая, поглядывая из-под ладони на солнце. Дрожало над зелеными зыбкое марево, у реки ржали лошади, приведенные мальчишками на водопой. Душный ветерок чуть-чуть надувал плакат, слабо шелестел знаменами и флагами, степь накалялась зноем, и ветерок приносил с нее вместо прохлады сухую жару. Люди вокруг трибуны то и дело вытирали пот; зрителям — тем было полегче в тени у церковной ограды, но и там толпа редела, и даже собаки, умаявшись гоняться, лежали с высунутыми языками в траве у камней.

— А ну их к чортовой матери, сам открою! — обозлился Дорофеев. Он сдержал фуражку и решительно повернул к трибуне, и в это время из-за церкви слышался автомобильный гудок. Пыльнозеленый фордик, известный всему району, выкатился в степь и, переваливаясь, свернул с дороги на траву. Рядом с шофером мелькнуло за стеклом большелобое строгое лицо, потом выскочил маленький юркий человек, и многие сразу узнали его: это был «сам» товарищ Орвис. Не глядя ни на кого, он быстро зашагал к трибуне, Дорофеев остановился и ждал его, не подходя навстречу, и только когда между ними оставалось шагов пятнадцать, все услышали громкий голос прораба:

— Товарищ, вы из райкома?

Орвис запнулся, словно под ноги ему бросили камень. Он вскинул голову, ища взглядом того, кто спрашивал так дерзко, увидел прямо перед собой спокойное лицо Дорофеева и устремился к нему:

— Товарищ, я — секретарь районного комитета партии. Вы что, не знаете меня?

— Нет, теперь узнаю, — неторопливо сказал Дорофеев. — Мы ведь с вами редковато встречаемся, товарищ секретарь... За четыре месяца — четыре минуты, да и то в один раз.

Орвис посмотрел внимательнее:

— А, вот вы кто. Вы — инженер-изыскатель, который жаловался на меня Берману, инструктору обкома.

— Приблизительно так, товарищ Орвис. Если говорить точнее, то я не жаловался, а давал характеристику вашему отношению к постройке магистрали.

Поблизости к ним не стоял никто, но оба говорили тихо и смотрели друг на друга в упор, один — маленький, сухой, другой — высокий и плечистый.

— Поговорим после, — так же тихо сказал секретарь райкома, не отводя глаз. — А сейчас открывайте митинг, товарищ. Я спешу.

Прораб надел фуражку, глаза его усмехались.

— Вы плохо спешите, товарищ Орвис, — ответил он. — Вы опоздали на полтора часа.

Он повернулся и полез на трибуну. Оживление, как ветер, прошло по рядам.

— Товарищи колхозники, шахтеры и строители магистрали! Первое слово на первоматском митинге для приветствия от имени нашей коммунистической партии имеет товарищ Орвис!

Разрозненные хлопки ответили зычному голосу Дорофеева. Он оглянулся, но секретарь райкома уже стоял рядом с ним. Отодвинув прораба рукой, хотя на трибуне хватало бы места еще для пяти человек, секретарь привычно оглядел степь, людей, флаги и заговорил.

Голос у секретаря был неожиданно сильный и резкий. Он далеко и внятно разносился кругом, и Дорофеев, осто-

рожно спустившись вниз, с удивлением поглядывал оттуда на тщедушную фигуру секретаря. В рядах изредка сморкались и кашляли, но большинство слушало внимательно, хотя то, что говорил секретарь, было давно известно и привычно. Тот, кто внимательно присмотрелся бы к лицам людей, слушавших в это утро товарища Орвиса в степи за оградой каменной церкви, тот скоро увидел бы, что вниманием большинства отнесится не столько к тому, что именно говорит товарищ Орвис, сколько к нему самому: товарища Орвиса здесь слышали едва ли не впервые, хотя в автомобиле он проезжал через Каменку довольно часто.

Рассеянно слушая секретаря, Дорофеев думал о завтрашнем начале работ. Шахтеров — пятьдесят примерно человек, колхозников — около ста двадцати да своих на трассе — тридцать два... Две сотни все-таки есть. Половину — сразу на пойму: пока экскаватора дождешься, все-таки подвинется дело... На котлован поставить часть шахтеров, — народ боевой, — а к ним добавить из колхозников, пускай Кныш сам отберет, у старика глаз наметанный. Остальных — в степь, там легче...

Из-за трибуны он неторопливо и зорко оглядывал девушек и парней в колхозной колонне, опять переводил взгляд на комсомольцев с шахт — и по глазам, по жестам и улыбкам, часто по мимо-летному выражению лица уже отбирал мысленно тех, из кого надо было сколачивать для трассы рабочее ядро. Он знал заранее, что будут в этом первом отборе и ошибки, что только потом, узнав каждого на работе и на отдыхе, и сам он, и Богун, и Кныш выделят действительно лучших, чтобы сделать их своей опорой во всей организации работ. Так было всегда у него, у инженера Дорофеева, и на Турксибе, и до Турксиба, когда еще не работал он с Богуном, и еще раньше, когда не было с ним и Савелия Кныша... Так будет и здесь.

Дорофеев видел уже будущую расстановку сил на трассе — видел всю перспективу работ на май, а может быть, даже и дальше: будет здорово тяжело. По

плану он должен был начинать, как минимум, с полтысячей пар рабочих рук, — одна пойма требовала до конца квартала шестьдесят тысяч кубометров земли, — целую гору предстояло насыпать на обоих берегах Каменки. Механизация работ явно отодвигалась ходом событий на следующий квартал; уже одно это неизмеримо напрягло спрос на человеческую рабочую силу, ее надо было бы иметь втрое больше плановой нормы, чтобы предотвратить срыв плана, — не пятьсот землекопов, а полторы тысячи.

Вместо этого прораб Дорофеев получал как первомайский подарок двести человек, из которых едва ли не девять десятых никогда не работало раньше на постройках железных дорог.

Молча стоял инженер, прислонясь к лесенке трибуны, слушал Орвиса, смотрел на людей, припекаемых солнцем, на зеленые степные дали и в десятый раз передумывал свои мысли... И вдруг прислушался:

— ... итак, товарищи, будем говорить прямо, по-большевистски: к работам у вас на пункте, как впрочем и на всем участке, подготовились из рук вон плохо. Плохо, товарищи строители! Райком делает всё, чтобы помочь вам, мы мобилизовали всю пролетарскую и колхозную общественность района, мы осветили дело магистрали в нашей газете, — и вот я вижу, что вы имеете сегодня на трассе и наших колхозников, и наших шахтеров...

Секретарь взмахнул в обе стороны руками, как крыльями:

— Вот кого мы вам дали, товарищи строители! А что сделали вы сами? Я спрашиваю вас от имени нашей партии, от имени всех рабочих и колхозников района: где ваша подготовка, где ваши кадры, товарищи инженеры и строители? И я предупреждаю вас: если теперь же, с первых дней на трассе вы не добьетесь у себя перелома, если вы не перестроитесь, не бросите всех сил на дальнейшую мобилизацию масс, то партия и советская власть жестоко спросят ответа с дезорганизаторов этой величайшей стройки! Весь рабочий класс, товарищи, все колхозные массы нашего

Советского Союза следят за вашей работой, и мы требуем...

Голос товарища Орвиса раздавался над притихшей степью, как барабанная дробь. Не веря ушам, Дорофеев оглянулся на Суркова, на Богуна, — Сурков высоко поднял брови, Богун, задрал голову, не мигая, смотрел на трибуну, в широко открывающийся рот оратора.

«Вот оно как!..» Дорофеев стиснул кулак в кармане. Кровь бросилась ему в лицо, он чувствовал сейчас каждый удар сердца. Товарищ Орвис говорил уже о пятилетке, о строительстве социализма, он убедительно и громко произносил эти слова, как хороший привычный оратор, хотя и, как многие подобные ему ораторы, ничего не показывал за этими словами такого, что наглядно представляло бы пятилетку для той степи, в которой слушали его люди, что изображало бы социализм не вообще, а в селе Каменке и его окрестностях. Дорофеев, глядя перед собой, крепко сжав губы, уже не слушал его. Он не слышал и громкого шопота вокруг трибуны, не слышал и реплики брошенной оратору Сурковым, не слышал и мягкого шороха линейки, подехавшей по траве почти к самой трибуне. Он оглянулся только тогда, когда фыркнула сзади лошадь, и увидел участкового парторга магистрали, который привязывал вожжи к шесту, торчавшему из груды камней. Он кивнул ему и пошел навстречу, и Платон Гветадзе, весь в пыли, спросил тихо, чтобы не мешать оратору:

— А почему Орвис здесь? Он же обещал выступить у нас в участке!

— Ничего не знаю, товарищ парторг, — отрывисто сказал прораб. — Мы ждали кого-нибудь из инструкторов, даже на члена бюро не рассчитывали, они ведь нас тут не балуют... А прикатило само начальство, да еще грозное... Слышишь, что говорит?

Но Орвис, кажется, уже кончал речь. Дорофеев и Гветадзе поднялись на трибуну, стараясь не скрипеть ступеньками, и сверху Платон сразу увидел все войско строителей, собравшееся под команду каменского прораба.

Справа выстроился в две жидких шеренги весь наличный кадр прорабского пункта — приведенные Кнышем бородастые плотники, землекопы в пыльных опорках, попеременно с загорелыми практикантами изыскательской партии, — у этих за месяц в степи московские пиджачки успели выцвести до полной облычки. Из-за плеч изыскателей выглядывали безусые чертежники, платочки и кудри конторщиц, — этих Кныш демонстративно задвинул во вторую шеренгу за смешливость и тупые носы.

Слева тесно стояли молодые шахтеры. Недвижные ряды их были молчаливы и плотны, от этого людей казалось еще меньше; солнце било им прямо в лица, заставляя надвигать кепки на самые глаза; они стояли, как пришли, — с кайлами, с кирками на плечах, покуривая в кулаки и цыкая сквозь зубы. Почти все они были в чистых, наглаженных рубашках, но поверх рубах куртки и спецовки у многих отличались на солнце тусклым, как закопеченная жель, салным блеском.

В центре, прямо перед трибуной, толпились кучками парни и девушки, босые и обутые, кто с кружкой, кто с чайником на поясе, иные с красными ленточками. Вытирая рукавами лоснящиеся от пота лица, они с любопытством осматривали нового появившегося на трибуне человека, и Платон решил улыбнуться им в ответ. Ни лопат, ни другого инструмента не было видно ни у кого из колхозников, только сапоги, ботинки или лапти висели у некоторых через плечо.

Платон смотрел на всех этих людей, потом взгляд его поднялся дальше, в степь: «Где пройдет через реку трасса? Ага, вон там, где виднеются вешки... И такая кучка народу — на весь этот простор!»

Он вспомнил многоэтажную суету в управлении начальника строительства, озабоченных, снующих взад и вперед сотрудников всех рангов и возрастов, отделы и подотделы, расширяющиеся с каждым днем...

«Сюда бы их, на трассу!»

Из этой степной глуши главный строительный штаб, разбухавший где-то

далеко в областном городе, ясно представлялся Платону существом с огромной водянистой головой, на тоненьких детских ножках, вот с таким же резким и громким голосом, как у этого Орвиса, и с такой же, как у него, тощей шеей. Он усмеянулся невесело, и в этот момент Орвис, кончив речь, повернул голову. Взгляды их встретились. Опять раздалась хлопки. Товарищ Орвис застегивал свой плащ.

— Веселый ты человек, Гветадзе, — отрывисто сказал он, поправляя фуражку. — Смеёшься всё, смотри, не пришлось бы плакать... — Он старался тоже улыбаться, и в бледной этой улыбке Платон увидел едва сдерживаемую холодную ненависть. С трибуны уже говорил Дорофеев. Секретарь райкома спустился по лесенке и зашагал к своему автомобилю, Гветадзе шел за ним.

— Товарищ Орвис, ты сорвал нам митинг на участке. Ты обещал быть там, а ты — здесь.

Орвис остановился у самой машины, лицо его побелело от бешенства.

— Не учи меня, товарищ, слышишь? — сказал он сквозь зубы, оглянувшись на шофера. — Я выступаю там, где я хочу, понял? Я приехал сюда потому, что так было нужно, а сейчас я еду обратно и буду выступать на участке, понял?

— Поздно собрался, — спокойно сказал парторг. — Мы уже провели там митинг без тебя. Или ты думаешь, что надо было заставить грабарей дожидаться четыре часа?

Он стоял между машиной и секретарем, загораживая от него дверцу автомобиля; и Орвис очевидно понял, что так ему не уйти.

— Ты — смешной паренёк, Гветадзе, — сказал он с усилием, морщась и глядя на часы. — Ты же знаешь, у меня не одно дело, как у тебя, а двадцать таких дел... Ну хорошо, я признаю, что поступил неправильно, этого тебе надо, да?

— Нет, — твердо сказал парторг. — Завтра у нас в участке бюро ячейки. И если ты в самом деле искренно признаешь... Ты должен завтра притти к

нам на ячейку, товарищ Орвис, и мы поставим твой доклад обо всем, что сделал райком для магистрали. Есть?

— Хорошо, хорошо, — торопливо сказал секретарь. — Ну-ка, дай пройди...

Он юркнул в машину, стукнула дверца, — и опять из автомобиля смотрело большелобое строгое лицо руководителя.

— В райком! — коротко приказал он шоферу, кивнул Платону и уехал, и люди смотрели вслед зеленому форду, чихая от пыли и с уважением глядя на тех, с кем секретарь налету обменивался приветствиями.

Гветадзе вернулся на трибуну, когда прораб уже кончал свою короткую речь.

— ... выходит, строить будет трудно, — зычно говорил он, расставив ноги и упираясь руками в бока, — верно, товарищи?

— Верно! — дружно откликнулись из рядов молодые колхозники, хотя Савелий Кныш угрюмо оглядывался на кричавших, и даже Петруша, гордо стоявший под своим знаменем, запоздало вякнул после всех:

— Верно...

— А строить все-таки надо, — тем же голосом продолжал прораб, — верно, товарищи?

— Верно! — со смехом кричали в ответ, и в общем шуме различал прораб звонкий хохот Васёнки, тенор Богува, отрывистый смех Суркова и хриплый бас Савелия. За ними, разобрав, в чем дело, дружно загрохотали шахтеры, а инженер Дорофеев смотрел с трибуны, расставив длинные свои ноги в пыльных сапогах, почти касаясь головой натянутого над трибуной плаката, — смотрел и тоже посмеивался, поглаживая ладонью бритое широкое лицо. Но вот он поднял руку:

— А еще, товарищи, хотел я сказать вот что. Мало, что поторопился товарищ Орвис уехать, — не успели мы с вами интересную новость ему рассказать. Все вы слышали, как нас товарищ Орвис ругал за плохую подготовку, за то, что без его помощи не получить бы нам на постройку ни вас, товарищи шахтеры, ни вас, товарищи кол-

хозяники. Так ли он говорил, товарищи?»

— Так, так! — вразнобой отозвались голоса.

Дорофеев помолчал, все ждали. И он сказал внятно и громко:

— А ведь это — ложь, товарищи. Неправду сказал товарищ Орвис, видно, кто-то его обманул.

В полной тишине прораб обвел всех взглядом, теперь серые глаза его сузились, он щурил их и мигал редко, напряженно, словно сильный ветер дул ему в лицо.

— Шахтеры! — зычно крикнул он вдруг. — Комсомольцы-горняки! Разве не наш комсомолец Сурков приехал к вам? Разве не он сагитировал вас, разве не он собрал с вашей собственной помощью этот буксирный отряд и привел сюда? Вот он стоит перед вами, — товарищ Сурков, шагни вперед! И пусть тот из вас, кто не видел его вчера и третьего дня на ваших собраниях, пусть тот крикнет мне, что я лгу сам!

Шахтеры оглядывались друг на друга, передние усмехались, подмигивали Суркову. Все молчали, и только один, конопатый и низенький парень в старой кожанке, громко сказал Дорофееву:

— Суркова, товарищ инженер, мы не то, что вчера, а и тогда еще знали, когда тебя и самого-то тут не было!

— Так, — сказал инженер и стал смотреть уже не на шахтеров, а прямо перед собой.

— Колхозники! — так же неожиданно и зычно крикнул он. — А вас кто собрал сюда? Разве не этот вот товарищ с черными усиками, — Богун, выйди вперед! Ну, в чем колхозе он не был, поднимите руки!

Рослая дивчина в красном платке несмело подняла руку.

— Чего врешь, Ониска! — наперебой закричали ей Дымко, Васёнка и другие, кто был из одного с ней колхоза. Ониска покраснела до самых бровей, но руку не опускала, и Дорофеев повернулся в ее сторону:

— Из какого колхоза?

— С Красного Кута.

— Так что ж, неужно ты этого товарища не видела, когда он у вас на собрании говорил?

— Видела, — сказала Ониска, опуская руку. — Только у нас ничего он не говорил. У нас ты сам говорил, а тот только рядом сидел да записывал, кто на постройку желает...

От смущения она вся залилась румянцем, но смотрела прямо в лицо инженеру, черные глаза ее смеялись. Хотел толпы покрыл ее слова, и едва ли не громче всех хохотал сам прораб.

— Так вот, товарищи! — заговорил он, отдышавшись. — Не райком, а мы сами посылали к вам этих людей, посылали потому, что так посоветовал нам партийный организатор всего нашего строительного участка, товарищ Гветадзе. Вот он, стоит сзади меня на трибуне! Это он нам помог, да вы сами помогли, а работники райкома ничего тут не делали, они только очки втирали товарищу Орвису. Вот я и думаю: не послать ли нам с вами насчет всего этого товарищу Орвису коллективное письмо? Да не по почте, а через районную газету?

Сразу тихо стало в степи. Никто не отзывался на слова прораба.

— Ну? — громко повторил инженер. — Напишем, что ли?

Все молчали кругом. Широкое красноватое лицо инженера медленно темнело. Он оглянулся на парторга, и Платон увидел, что десятки людей вместе с Дорофеевым смотрят на него. От неожиданности он едва не растерялся.

«Что такое? Надо сказать что-нибудь... Но что?»

Платон кашлянул в замешательстве. Он хотел сказать что-то одному Дорофееву, но тот отшагнул, уступая ему место на трибуне, и Платон очутился лицом к лицу с незнакомой пестрой толпой.

«Говори спокойно!» — по привычке приказал он себе. Но слов не было. Все три последних года работал Платон Гветадзе политруком — был и в стрелковых частях, и в инженерных войсках, и хорошим считался политруком, но такого случая, как сейчас, не было с ним в армии, да и не могло быть.

— Товарищи!

Платон облизнул языком пересохшие сразу губы. — Товарищи! В газету написать можно... — Он шагнул вперед и обеими руками взялся за перила трибуны, словно так чувствовал себя крепче перед этими людьми.

— Написать канэчно можно, — повторил он тверже и опять замолчал, как будто прислушиваясь в полной тишине к своим собственным словам. — Только это всё... Это неважно, товарищи! То-есть оно важно канэчно... Когда бой идет, тогда очень важно, кто команду дает, кто приказ дает, а кто панику делает... Кто — герой, кто — трус, это очень канэчно важно, товарищи, на всяком фронте... Но самое важное на фронте — это победа...

— Чего? — переспросили из рядов.

— Победа, — тихо повторил за парторга стоявший внизу Сурков.

— Канэчно победа! — неожиданно резко и громко повторил парторг. Он выпрямился, оторвался одной рукой от перил и махнул в сторону трассы:

— Там у нас — фронт или нет, товарищи? Канэчно фронт! А победа у нас обеспечена или нет, товарищи? Канэчно нет! Мы тут с нашими силами можем драться, можем работать изо всех сил, но победить — нет, не можем! И не то сейчас важно, кто нас всех сюда собрал, а то важно, что всех нас очень мало! Разве хватит двести человек на такую громадную работу? Канэчно нехватит! А разве не можем мы собрать триста человек, пятьсот, семьсот человек? Канэчно можем!

Платон оторвался от перил и другой рукой, теперь ему не нужна была никакая другая опора, кроме той, которую он ощущал в себе самом. Он оглядел всех, ноздри у него раздувались:

— А ну, товарищи, сколько тут есть колхозов поблизости от трассы?

— Ой, много! — отозвались голоса.

Парторг поглядел сердито:

— Канэчно много. Ты скажи — сколько?

— Погодь, товарищ, сейчас сосчитаем! — бойко выкрикнула Ониска, и тут наперебой начали помогать справа и слева:

— Ярцевский!

— «Бураки»!

— «Червоный боец»!

— Ониска, Буденновский не забудь!

Помогали считать не только колхозники, — помогали шахтеры, помогали и зрители от церковной ограды, и даже плотники прорабского пункта, всего неделю назад приехавшие сюда.

Одни насчитали десять, другие — двенадцать, Ониске всё казалось мало, она называла уже такие колхозы, о существовании которых и сама знала только понаслышке.

— А «Заря»? А «Парижская коммуна»!

— Закройся! — кричали ей. — Тутда километров по двадцать будет!

— Пески, Пески забыли!

— Ничего не забыли, у них там свой прорабский пункт...

Инженер сзади сказал Платону:

— Девять колхозов надо считать, остальные — далеко.

— Товарищи, тише! — крикнул парторг, поднимаясь на носки. — Значит, девять-десять колхозов, так? Но здесь, как я слышу, — только из трех колхозов народ. Выходит, остальным магистраль не нужна! А ездить они по этой магистрали будут? Канэчно будут! Так это не позор? Канэчно позор!

Веселый шум быстро стихал вокруг трибуны; так на реке от внезапного поворота руля сразу обвисают и падают паруса, еще минуту назад туго натянутые ветром. Парторг заговорил тише, и слова его были странными для многих, потому что об этом еще никто и никогда не говорил с трибуны в степном селе Каменке.

— Мы спешим гордиться, товарищи, — говорил он. — Мы торопимся испытывать гордость от каждого нашего успеха, даже если он вот такой маленький, как мало нас, двухсот человек, против всей этой степи — от Каменки до Песков. А на самом деле, товарищи, нам совсем еще рано гордиться — и нам, и всем строителям наших советских железных дорог! Еще совсем немного мы сделали — так мало, как мало вот этого облачка, чтобы закрыть от нас всё небо, товарищи!

Васёнка внизу вздохнула, подняв на парторга затуманенные глаза. Трибуна плыла перед ней в бескрайном голубом море, она плыла и не могла доплыть к облаку, похожему на остров или спящего гуся, золотисто-розового, какими никогда не видела Васёнка своих колхозных гусей. Она вздохнула опять, так глубоко и протяжно, что парторг с трибуны оглянулся на нее. Она покраснела и отвернулась. Ей было стыдно так, словно этот смуглый человек в черной кавказской рубашке упрекал только ее одну. А на трибуне говорил уже конопатый низенький шахтер, и Васёнка поняла, что и он тоже укоряет колхозников за равнодушие к строительству магистрали:

— Стыд и срам, товарищи, всему району, — хоть и первый май, а приходится говорить такое слово! С девяти колхозов, товарищи, да чтобы народу не набрать — это что же? Выходит, сто лет прожили без чугулки, — проживем и дальше? Темнота, товарищи, неосознанность!! За лесом неделю подвода идет, в кооперативы товар с базы по месяцу ожидается, хлеб вон куда приходится возить! — Он махнул рукой вдаль. — А нам с шахт какво уголь подавать? Вон она, степь, кругом! А мы, товарищи, по ней стреноженные ползаем — позор!

— Не позор, а несчастье, — негромко сказал Сурков. Васёнка фыркнула за его спиной и посмотрела испуганно, но нет, строгий парторг не смотрел на неё. Он внимательно слушал речь горняка-комсомольца, и Васёнка увидела, что так же внимательно слушают его все и особенно — его товарищи, шахтеры. Всей душой понимая сейчас их мысли, Васёнка восторженно смотрела на этих серьезных парней.

Горняки стояли плотным строем, как средневековые воины. Их одежды от четвертого годами угля лоснились тускло, как запыленные ржавые доспехи латников. Кирки, кайла, короткие штыковые лопаты вооружали их, разнообразные, как онаряженые партизан, готовых итти на врага, не дожидаясь союзников. Но конопатый комсомолец говорил именно о союзе. От всей шахтерской

молодежи он предлагал соревнование всему комсомолу окрестных колхозов:

— Кто больше, кто шибче для магистрали подмогнет, тому и честь, товарищи! — крикнул он под конец. И тут, в первый раз за весь митинг, над степью дружно загрешили рукоплескания.

— Правильно!

— Молодцы горняки!

— Давай!! Договор давай! — громче других кричали Васёнка, Дымко и Ониска. — Красный Кут принимает, пиши договор!

Казалось, всех охватило это шумливое, радостное возбуждение, — так всегда встречают люди неожиданный и верный выход из общей беды. Гветадзе, торжествующе улыбаясь с трибуны, знаком просил тишины.

— Товарищи шахтеры, — заговорил он, — вы нас обогнали на пять минут. Товарищ Сурков, который был у вас эти дни, наверно подслушал ваши мысли. Он собрался предложить то же самое, а шахтеры предупредили его. Но товарищ Сурков нам в этом деле тоже пригодится... Может быть, не все еще знают, что он теперь здесь, на трассе, так сказать, полпред вашего комсомольского райкома, товарищи! Через райком комсомола мы его и из города обратно вытащили, — он канэчно сам так захотел, как только услышал опять про наши работы. Так вот, товарищи, поручим Суркову завтра же съездить в райком комсомола, и пусть он там обмозгует дело так, чтобы соревнование, которое мы обявим, по всему бы району пошло! Как думаете — разве тогда мы народу не доставем? Канэчно доставем! Полтысячи человек доставем, верно, Сурков?

Парторг нагнулся с трибуны вниз. Володя Сурков стоял там, скрестив на груди руки, потный и солидный в своем новом костюме и новом пальто. Ему было жарко и от одежды, и от столь частого публичного упоминания его имени. Он поднял глаза на Платона и сказал серьезно:

— Полтысячи — трудно, товарищ парторг. Человек пятьсот — постараемся, а больше не выйдет.

Сказав так, он неторопливо вытер лоб чистым платком, и дальнейший разговор его с парторгом пропал в новом взрыве кохота.

Через десять минут первомайский митинг кончился. С песнями, с гармошками, с разговорами новые строители двинулись на село, к баракам — обедать, устраиваться, разбирать вещи, принесенные с собой из дому и сложенные на время митинга во дворе конторы.

— Спасибо тебе, товарищ Гветадзе, — сказал Дорофеев, спускаясь за парторгом с трибуны. — Выручил меня, грешного.

Платон оглянулся: прораб с усмешкой смотрел ему в глаза, они без слов поняли друг друга.

— Мы немножко погорячились, друг, надо спокойней... — тихо сказал парторг. — С этим Орвисом мы еще будем иметь склоку.

Он увидел, что прораб уже не слушает его, а, прищурившись, всматривается куда-то через головы двигающейся колонны.

— Эге, да тут еще другое начальство приехало, а мы и не видим...

— Где?

— А вон, у ограды.

Пропуская мимо себя строителей, как командарм — войска на параде, в тени церковной ограды стоял Фаддей Дамианович Рыбаков. Рядом с ним был еще кто-то, высокий, весь в белом; по светлой бороде Платон с изумлением узнал главного инженера строительства. Парторг переглянулся с прорабом, — у того на лице тоже было изумление. Они быстро двинулись к приехавшим. Рыбаков заметил их, он усмехался навстречу и с той же усмешкой сказал что-то Гессу, положив ему руку на плечо.

— Фаддей Дамианыч, вы давно здесь? — с ходу крикнул Дорофеев. — Чего же вы где встали?

— Вам не хотели мешать. — Здороваясь, Рыбаков поглядывал лукаво, отвислые усы все еще раздувались в усмешке. Главный инженер тоже улыбался, рукопожатие его было крепче и длительнее обычного.

— Нет, это очень жаль, что вы спрятались, товарищи, — с искренней доса-

дой сказал Дорофеев. — Товарищ Гесс у нас в первый раз, было бы очень полезно, если бы он выступил на митинге, и Фаддей Дамианыч тоже...

— Мы бы только испортили вам всю музыку, — проговорил Гесс. — Мы ведь в этом деле, что называется, кустари, а товарищ Гветадзе — профессор, у которого я с удовольствием учился все эти полтора часа.

Холодные глаза главного инженера были серьезны, и нельзя было понять, шутит он или нет. Он стоял, опираясь на трость с каким-то необыкновенным набалдашником, изысканный и молодежь, в онежно-белом пиджаке и таких же брюках и туфлях, от него тонко пахло духами, и неизменная трубка торчала над светлой бородой в углу румяного бритого рта. Удивительно было, как это он проехал сюда, не запыхавшись, пятнадцать километров.

Дорофеев начал было докладывать ему о положении на трассе, Гесс вежливо слушал с минуту, посасывая трубку, глядя куда-то через плечо прораба. И вдруг сказал:

— Дорогой мой, я уже всё знаю от начальника участка. Вы — такой же образцовый инженер, как товарищ Гветадзе — образцовый организатор. Ему я привез за это новую книгу по мостам и письмо из обкома партии. А вам я привез награду, которую, кажется, дольше трудно скрывать...

Фамильярным неожиданным жестом он взял инженера за плечи и повернул по направлению своего взгляда. Там, прячась на траве за кучей камней, прострело что-то яркое платье, рядом — полосатая майка, потом с явным нетерпением выглянули две улыбающиеся физиономии. Дорофеев с изумлением узнал жену и дочь. Увидев, что секрет открыт, обе со смехом выскочили из засады:

— Не ждал?

— Ага, попался! Отец, это та самая церковь, да? А чего же они жаловались, что ты ее разрушаешь?

— Анка, смотри, да он совсем не рад нам!

Обе тормозили его, смеялись. Дорофеев, счастливый, смущенный, оглянулся на главного инженера.

— Это вам первомайский подарок, — вежливо улыбаясь, сказал Гесс.



С митинга с песнями уходили последние группы людей. Солнце заливало теперь всю степь — и широкую дорогу, и опустевшую трибуну среди свежих трав, примятых тысячами человеческих шагов. И под горячими лучами, под легким ветерком с реки травы кругом трибуны уже выпрямлялись опять — медленно, незаметно и неудержимо.

По вёснам, за годы и годы, за тысячи лет привыкли степные травы всюду тянуться к солнцу, всюду шелестеть по ветру, вольно и дико произрастая по каменским просторам.

Вдоль церковной ограды, безмолвием провожая строительские ряды, все еще стояла толпа зрителей. Молодые и старые, одетые по-городскому и по-деревенски, каменцы гляели тихо и чужими, равнодушными глазами смотрели на идущих; и от тишины праздничное спокойствие этой наблюдающей толпы казалось враждебным.

Мимо каменцев двигался уже хвост колонны. Впереди Дымко и Васёнка несли плакат, за ними шагали Анка с Богом и Сурковым, позади всех шли с главным инженером начальник участка и парторг и молча разглядывали стоящую у церкви толпу. Попржнему не видно было в ней старых женщин, и никто из толпы не присоединялся к идущим, не перекликался с ними — стояли отчужденно, как будто не знали никого из кучки шахтеров, пришедших с окрестных рудников, ни из молодых колхозников и колхозниц, ни из тех, кто шли в хвосте за плакатом.

Последние ряды строителей огибали церковь, когда в нагретом воздухе дрогнул гулкий удар. Воробьи стаей порхнули с ограды, на секунды не слышно стало движения и голосов колонны, — тягучая волна закачалась над флагами, над улицей, над степью.

Максим Робертович Гесс поднял голову и вынул изо рта трубку:

— Однако! — проговорил он и даже остановился на дороге.

Колокол гудел над ними, удар за ударом.

— Единоличники, — сказал Рыбаков, отвечая на его взгляд. — Я тебе писал про это село, — тут, брат, такая жанитель, весь район портят, как прыщ какой...

— Так прыщ надо лечить!

Гветадзе внимательно смотрел на обоих инженеров.

— Ничего, вылечим, — сдержанно улыбаясь, сказал он.

— Тебе все — «ничего»! — посмотрел на него начальник участка. — А небось от райкома до сих пор не добьешься, чтобы клуб тут устроили или хоть читальню какую...

— Ничего, мы и райком вылечим...

— «Мы», «мы», кто это мы? Тут нас с тобой мало, товарищ Платон!

— Магистраль вылечит, — серьезно проговорил парторг.

Колокол гудел мерно и редко. Толпа у ограды зашевелилась, сдвинулась, дружно потекла к воротам. Снимая шапки, крестясь, каменцы повалили на церковный двор, на паперть, и строители, остановившись невдалеке, видели теперь, почему в этой толпе не было старых женщин: десятка два старух, разно одетых, но в одинаковых темных платках, стояли на паперти, лицом к народу, и впереди всех — высокая худая старуха, вся в черном, с посохом в руке.

Главный инженер, увидев ее, высоко поднял брови:

— Да тут целый спектакль! Вот не думал, что у нас еще существует что-либо подобное!

— Кажется, молебствие какое-то, — тихо сказал Рыбаков. — Да место глухое, что и говорить. Между прочим, Максим... Пора управлению окончательно решить насчет этой церкви. Тут бы участку кирпича хватило на все гражданские сооружения по трассе!.. И вообще, с политической стороны...

— Ты же знаешь, что нам сказано с политической стороны. Не допускать никакого давления строительства на интересы населения, согласовывать каждое мероприятие... Вот товарищ Гветадзе тебе скажет.

— Да, да, — коротко сказал Платон

— ... И потом, насколько я помню, трассировать через церковь и с технической стороны невыгодно. Твой же собственный прораб мне говорил.

— Кто, Дорофеев?

— Ну да.

— Так это весной? Ну, брат, с тех пор тут у нас целая революция — он новый вариант у балки выдвигает... Василий Василич! — закричал Рыбаков, оборачиваясь.

Дорофеев шел с женой под руку далеко позади. Солнце било им в лица, они шли, опустив головы и тесно прижавшись друг к другу, шли, не глядя по сторонам, медленным шагом гуляющих, как ходят больные и влюбленные, и все встречные оглядывались на длинное яркое платье Магдалины.

— Дорофеев!

— Василь Василич!

Они не слышали никого, пришлось остановиться и ждать их среди улицы.

Церковь была уже позади.

Колокольный звон плыл над селом, народ шел в церковь, у хаты на лавочке крестился древний старик.

Тихо было опять в Каменке. Отголоски Первомайского праздника слышались где-то на другом конце улицы — у бараков, у конторы прораба.

Солнце, вечное степное солнце накаляло эту тишину, и под лучами его распрямлялась, как трава, вступала опять в привычное русло степная каменная жизнь, — вступала, переждав красные флаги и комсомольские песни, как случайное, короткое вторжение; по веснам, по праздникам, за годы и годы, может быть, за тысячу лет, привыкла степная глушь лежать под солнцем, под медным протяжным звоном, диким и сонным сцепением разливаясь по каменским просторам.

В конторе, когда все приехавшие уже сели обедать, Платон вышел в пустую комнату и вскрыл привезенное Гессом письмо.

«Дорогой Гветадзе. Пользуюсь «оказией», это — верней почты. Твою последнюю записку (насчет положения на магистрали с рабсилой) я показал се-

кретарю обкома. Вопрос очевидно будет решаться в масштабе всей области, — насколько мне известно, не лучше дела и на других участках. Таких, как Орвис, у нас еще немало, и тут нужно решительное слово партии. Насчет железнодорожных дел я — знаток плохой, как тебе известно. Но была у меня зимой, — как-раз в тех местах, где ты сейчас работаешь, — одна замечательная беседа с инженером-изыскателем. Он — коммунист, видимо, дельный парень, фамилия — Дорофеев. Так вот, он объяснил мне, каким образом всегда, когда строится и потом работает железная дорога, для нее создают так называемую «полосу отчуждения». И знаешь, что я подумал тогда? За сто лет всемирной железнодорожной истории, Гветадзе, это отчуждение разрослось из технического правила в социальную категорию. Задача состоит в том, чтобы уничтожить это социальное отчуждение. Понимаешь? Пиши.

Твой Берман

Недавно меня из обкома чуть было не перекинули на работу в Москву. Едва отбрыкался. С июля опять начну ездить по районам, увидимся».

Дочитав до конца, Платон долго стоял, молча глядя в окно. Потом тихо вернулся к двери на террасу, где сидели обедающие, и приоткрыл дверь:

— Дорофеев, на минутку.

— Да будет с делами возиться! — крикнул из-за стола начальник участка. Он ел крошку, аппетитно расправляя усы, и не хотел пускать Дорофеева. — Жуйте, жуйте, Василь Василич, подождет он. Опять, поди, неприятность какая-нибудь...

— Ничего, аппетита не испортит! — усмехнулся Дорофеев, вставая. Он вышел к Платону, прикрыв за собой дверь, и парторг сказал негромко:

— Дорофеев, начинается. Читай.

Сблизив головы, они вместе перечитали письмо, — про себя и вслух, и опять про себя, — впявывая глазами в строчки, сдерживая волнение.

— Здорово! — тихо сказал прораб.

В соседней комнате, тоже пустой, что-то загремело. Будто упал стол или стул. И опять стихло. Платон и Дорофеев выглянули в комнату:

— Кто тут?

У стены, далеко от двери, стоял в своем первомайском наряде Петруша Уткин. Вид у него был растерянный, в одной руке он держал за древко то пышное знамя, с которым шествовал сегодня на митинге. Больше в комнате не было никого, на полу до самой двери протянулась тяжелая овязка вешек.

— Ты что здесь? — строго спросил прораб.

— Я ничего, Василь Василич... Знамя вот принес... Стал к стене ставить, а тут вешки стояли, я и зацепил...

Ясные, старательные петрушины глаза смотрели светло и напряженно, казалось, он забыл даже, что ими можно мигать. Потом широкая улыбка стала расплзаться по его щекам, придавая всему круглому лицу молодого человека приятно-простодушное выражение.

«Эх, и простота-парень!» — хотелось сказать с усмешкой, глядя на это лицо.

Дорофеев поднял вешки.

— Надо убрать к месту, — так же строго сказал он. — Сдай Суркову, он пока завхозом будет.

Петруша Уткин ловко принял вешки свободной рукой, но уходить медлил. Взгляд его искательно и пытливо перебегал с прораба на парторга, словно не решался Петруша оставить обоих начальников в состоянии недовольства его нерасторопностью.

— А в самом деле, Уткин, знамя-то у тебя вроде церковной хоругви вышло, — с усмешкой сказал инженер.

— Ах, что вы, что вы, Василь Василич! — так и вскинулся Петруша. — Всем даже очень нравится, хоть кого спросите! Да ведь и не я один делал, мой только рисунок, а вышивали комсомолки наши, какое ж тут церковное... Ах, да! — захлебнулся он. — Насчет церкви-то! Я ведь чего вам сказать хотел, Василь Василич, потеха! Молебствие-то нынче... знаете, об чем было?

— Нет, не знаю, — коротко сказал инженер.

— Об магистрали молились!

— Что-о?

— Об магистрали, факт! — расплылся Петруша. — Поп прямо так и объявил: «За преуспевание, — говорит, — строителей дела сего»...

— Хо-хо! Товарищ Гветадзе, слышишь? Вот номер!

Петруша уже исчез из комнаты. Прораб хохотал так, что слезы выступили у него на глазах. Платон, молчавший все это время, задумчиво смотрел на пол.

— Слушай, это кто такой? — спросил он.

— Чертежник у меня. Зимой пикетажистом работал. А что?

— Так, ничего. А почему он знает про это... про молебствие?

— Сказал кто-нибудь. Ну, пойдем обедать...

Прикрывая дверь, Платон еще раз посмотрел на пол. От того места у стены, где стоял со знаменем Петруша, к обеим дверям шли белые, как от пудры, следы башмаков.



Вечер. Закат золотит черепицу на крыше. Мычат коровы, слышно щелканье пастушьего бича. На переднем плане — крыльцо дома, освобожденного под контору прораба. На ступеньке крыльца сидят рядом Магдалина и Дорофеев.

МАГДАЛИНА. Как холодно здесь после города... Впрочем по-старому — еще апрель. (Кутается в платок, в пальто.) Я совсем замерзла. (Дорофеев молча снимает с себя плащ и накрывает Магдалине ноги.) Вася... значит, ты отказываешься переезжать в город?

ДОРОФЕЕВ (устало). Нельзя, Линок. Пойми. Ты же слышала, что объявил главный инженер. Теперь, когда мне поручают не только трассу, но и мост, разве я могу проситься в управление? (Отворачивается, говорит тихо, словно самому себе.) Ведь это значит — бросить всё и сбежать!

МАГДАЛИНА. Зато тебе ничего не стоило сбежать из Москвы и бросить на два года жену и ребенка.

ДОРОФЕЕВ (долго смотрит на нее, потом осторожно обнимает за плечи).

Переезжай сюда сама, ну, я прошу тебя...

МАГДАЛИНА. Ни за что!

ДОРОФЕЕВ. Мало же я тебе нужен... Вот Анка сразу согласилась.

МАГДАЛИНА (*вставая*). Боюсь, что и Анке здесь нужен не ты.

ДОРОФЕЕВ. Лина, как тебе не известно — ей шестнадцать лет! (*Магдалина выразительно пожимает плечами и улыбается. Потом лицо ее опять становится строгим.*)

Пустынны, голы еще комнаты дома, отданного под контору каменского прораба. На другом конце дома — большая комната с окном на реку. На полу в беспорядке свалены ящики, лопаты, сбрау. У окна, на двух табуретках, лицом друг к другу сидят Рыбаков и Гесс. Оба молча смотрят на закат, и он освещает лица обонх, как далекое непотухающее пламя.

ГЕСС. Фаддей, будем откровенны, как были когда-то. Ты считаешь, что я — не на месте, так?

РЫБАКОВ (*глядит в окно*). Будет тебе... Кто не на месте, так это Гедвилло. Фразёр и шляпа. С таким начальником твоя ответственность удваивается, а она и так велика, Максим. Командовать этакой стройкой...

ГЕСС (*резко*). Вот! Ты опять не искренен. Ты отлично знаешь, что командовать мне пока нечем, — кроме твоего участка, почти всюду пустые места.

РЫБАКОВ (*смеется*). Лыстишь, Максимушка, по старой дружбе!

ГЕСС. Я говорю то, что есть, дружба тут не при чем. А вот как друг я попрошу тебя об одной жертве, Фаддей. Отдай мне Дорозеева.

РЫБАКОВ. С ума сошел! А мост?

ГЕСС. На мост найдем. А он мне нужен, хоть на месяц. В производственном секторе — ни одного партийного инженера.

РЫБАКОВ. Да он сам не пойдет.

ГЕСС. Если ты дашь согласие, — пойдет, я ручаюсь...

РЫБАКОВ. Думаешь? (*Раздувает усы, улыбается хитрово, незаметно для Гесса.*) Что ж, я согласие дам. Только не даром. Мне экскаватор нужен.

ГЕСС. Тебе же отправлен один.

РЫБАКОВ. По плану нам — два. Давай второй.

ГЕСС. Чудак-человек! По плану на всю магистраль пятнадцать обещано, а дали четыре.

РЫБАКОВ. Так вот, за согласие — давай второй...

Двор при доме, такой же пустынный, как контора. Навес. Груда тележных колес в темном углу, опрокинутая телега. К ней прислонились Богун и Васёнка.

БОГУН. Все сердисься? Васёнка...

ВАСЕНКА (*отвернувшись*). А то нет? Еще спрашивает. Сказал, на три дня, а уехал на месяц. (*Быстро взглядывает на Богуну.*) Кто тебя в городе держал, инженерова жена, что ли?

БОГУН (*смущенно*). Какая там жена, работа держала. Брось ты чудить, Васёнка...

ВАСЕНКА. Да, чудить... Вижу я, как ты на нее смотришь!

БОГУН (*тихо*). Васёнка, милушка, я же тебе нот привёз — все, какие просила. Гулять пойдем, петь будешь, брось сердиться... (*Хочет взять ее за руку.*)

ВАСЕНКА (*вырывает руку*). Не буду я тебе петь! И гулять не буду с тобой. И так надо мной девчонки смеются: что, говорят, у нас своих ребят, что ли, нет...

БОГУН. Таких нет, Васёнка. (*Целует ее сзади в шею.*)

ВАСЕНКА (*вырвалась*). Уйди, не трогай! Еще лучше есть! (*Отступает вглубь под навес, оправляя волосы.*)

БОГУН (*двигаясь за ней*). Это Дымко, что ли? Васёнка, я ему ноги переломлю!

ВАСЕНКА (*продолжая отступать*). И лучше есть, чем Дымко...

(*Теперь, в глубине под навесом, обоих уже не видно.*)

За двором, по обрыву над рекой, к дому конторы примыкает сад. Засоренные дорожки, заброшенный цветник. Скамейка. Молодыми нежными листьями шелестят старые деревья. Молодые тихие голоса ведут старый-старый разговор.

ДЕВИЧИЙ ГОЛОС. Хорошо здесь...

ГОЛОС МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА.

Очень хорошо. Вы надолго приехали?

ДЕВИЧИЙ ГОЛОС. Я? Не знаю...

Нет, наверно не надолго.

ГОЛОС МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

(тревожно). Как? (Пауза.) А я думал, надолго...

(Голоса по дорожке приближаются к скамье, между листьями на солнце вспыхивает шапка золотистых волос, и вот в закатный луч полздают полосатая майка Анки Дорофеевой и черная кавказская рубашка Платона Гветадзе. Оба садятся на скамью.)

АНКА. Товарищ Платон, а ведь мы с вами давно знакомы! Помните, я вас по управлению искала, вас главный инженер требовал?

ПЛАТОН (изумленно смотрит на нее). Разве это вы были?

АНКА. Ага! Что, разве не похожа?

ПЛАТОН. Канэчно нет. Тогда была девочка.

АНКА. А теперь?

ПЛАТОН. А теперь — нет...

АНКА. Чудной вы, товарищ Платон. Это ведь было месяц назад.

(Пауза. Оба смотрят на закат.)

АНКА. А почему вы думали, что я — надолго?

ПЛАТОН. Ваш отец говорил. Будто вы даже работать будете у нас.

АНКА. Ага.

ПЛАТОН (радостно). Значит, надолго!

АНКА. Ничего не значит! (Усмехается, пожимает плечами, как взрослая, тем же движением, как делает это Магдалина.) Мне осенью — в вуз поступать, готовиться надо.

ПЛАТОН. Вы будете доктор, Анка?

АНКА (отрицательно трясет головой).

ПЛАТОН. Учительница?

АНКА. Фу!

ПЛАТОН. Агроном?

АНКА. Ой!

ПЛАТОН. Инженер?

АНКА. Ага! (Оба, блестя глазами, смотрят друг на друга.) Правильно?

ПЛАТОН. Канэчно. (Задумчиво.)

Я тоже хочу учиться на инженера. Снача-

чала канэчно на техника... (Тихо.) Но до осени вы не уедете?

АНКА. А если мне надоест...

ПЛАТОН. Зачем надоест... (Еще тише.) Я хотел, чтобы вы... Я хотел научиться у вас в волейбол.

АНКА (радостно). Правда? Научу!! И в теннис научу, хотите?

ПЛАТОН. Канэчно хочу! (Смотрит на закат.) Только если вам надоест...

АНКА (решительно). Ерунда. (Встает, с удовольствием оглядывается кругом, звонко хлопает у себя на шее комара и, закинув обе руки, старательно чешет шею.) Ох, как здорово, проклятый... Нет, мне тут наверняка понравится!

ПЛАТОН (смотрит ей на шею, на поднятые вверх руки). А если понравится?

АНКА (оборачивается, наклоняет голову, смотрит на него из-под руки). Если понравится, тогда... Эх, и больно, товарищ Платон!

ПЛАТОН (с надеждой)... Тогда останетесь до осени?

АНКА. Ага!

(Оба смеются, откровенно и весело глядя друг другу в глаза.)

. : : :



Уходят, уходят лучи заката. Вот они исчезли с черепицы крыши, вот скользят по верхушкам деревьев в саду, трепещут последней кружевной позолотой на молодых листьях, вот ушли совсем, легли где-то на росные травы, протянулись далеко-далеко в степь...

Широка степь за Каменной!

От самого края, от багряного диска, уже коснувшегося на горизонте земли, на километры и километры ложатся, ничего не встречая, косые солнечные лучи. Пять километров, десять, пятнадцать...

На пятнадцатом километре вспыхнуло под лучами, зажглось что-то сотнями сверкающих точек. Они качаются, эти точки, они пропадают и опять вспыхивают, и плывут... Что там движется в степи?

По пыльному большаку быстро двинулись ряды вооруженных людей. Они

шли мерным шагом, в летнем военном обмундировании, шли в походном строю, с командирами во главе подразделений, и редкие встречные на большаке, пропуская колонну, думали, что это идет куда-нибудь в лагеря обычная войсковая часть.

Но нет, войско шло не в лагеря. И это было не обычное, а совсем особенное войско, это был самый редкий и в то же время самый древний на земном шаре род военной силы, предназначенной не разрушать, а создавать.

Эти войска война родила нечаянно, как гулящая женщина — приبلудного даровитого ребенка, и с тех пор всюду шли они впереди войны — трудолюбивые проводники уничтожения.

Они шли, такие войска, во время Галльских войн впереди легионов Юлия Цезаря, воздвигая деревянные мосты в Орлеане, в Пуатье, в Париже, чтобы проложить дальше кровавый путь завоевателю, чтобы ценою бесчисленных жизней создать в десять дней мост через Рейн у нынешнего Бонна — постройку, описанную самим Цезарем и увековеченную гордой фигурой его на портале нового боннского моста.

Они шли в американской междоусобной войне Севера и Юга двумя, первыми в мировой истории, специальными корпусами — эксплуатационным и строительным, чтобы устройством быстрого движения обеспечить к тысяча восемьсот шестьдесят пятому году победу северян, принесшую неграм освобождение от рабства, как «гражданам», и новую кабалу на вольном трудовом рынке, как грошовой рабочей силе.

Они шли в русско-турецкой войне впереди царской армии — первыми специальными батальонами, чтобы в пятьдесят три дня построить на театре военных действий почти трехсотверстную дорогу Бендеры — Галац, чтобы заковать ею, как кандалами, покоренный самодержавию край, а самим погибнуть почти наполовину от каторжной потогонной работы.

Они шли в великой гражданской войне полуголодными, оборванными специальными частями Красной армии, чтобы в болотах Полесья, в песках Турке-

стана, во мраке полярной ночи Мурмана напряжением последних сил возрождать разрушенные белогвардейцами и интервентами пути и мосты, обломками костылей и ржавыми болтами кое-как пришивая рельсы и скрепляя покалеченные фермы, для замены взорванной колеи разбирая и вторые, и запасные пути.

Они шли теперь степью, блестя на закатном солнце оружием и инструментами, — молодые красноармейцы нового железнодорожного батальона, торопясь первой же учебной своей практикой помочь стройке первой сверхмагистрали в стране.

Зашло солнце, уже иная потянулась степь, показались вдали древние темные курганы, и ветер, словно уставши, залег в травы, а батальон шел. Уже стало темнеть, туман журился в степи, — батальон всё шел, рота за ротой, и вот навстречу ночи взлетела над темными рядами песня:

С неба полуденного,
Жара, не подступи...

С тиком подхватил батальон, дрогнула степь, словно еще быстрее зашагали роты, словно и вправду полуденным светом озарила песня их путь во тьме.

Потревоженный степной орел юнялся с ночевки — с дальнего, самого высокого кургана. Медленно ухая крыльями, отлетел лениво и недалеко. Выбрав другой курган, долго сидел он, насторожившись, недвижно, похожий в темноте на высокий камень, и долго и чутко слушал удаляющуюся песню людей.

А когда настал новый день и еще день, и еще, и орел, кружа часами над степью, оказался опять над большаком, тогда с горной своей высоты он увидел вдали становище, какого не видел никогда. Он поплыл к нему, зоркий и недосыгаемый, и, долетев, в неудержимом любопытстве спустился пониже — широкими плавными кругами, как аэроплан.

У ручья, скрытого ивовой молодой зарослью, на рубеже, за которым степь, рыжая, переходила в пески, орел различил необычайные человеческие лица. Маленькие белые крыши прямыми рядами стояли в степи, прямо на

траве, без окон и без стен, между этими рядами люди рыли дорожки, а дальше растягивали, расставляли еще такие же крыши, и эти крыши трепетали под ветерком, как невиданные, огромные птичьи крылья. Проплыв над ними, орел сделал последний, самый низкий и быстрый круг и стал подыматься вверх. Тогда снизу, с земли, треснуло, обожгло под крылом. Орел рванулся вверх, но он уже не был птицей: роняя перья, он камнем полетел на землю, и у крайней над ручьем палатки опять приставил винтовку к ноге низкорослый красноармеец-часовой.

— Ай Панков! — кричали кругом бойцы. Побросав возню с палаточными гнездами, подбегали один, другой, третий, принесли к Панкову орла, щупали крылья, как диковину, искали рану.

— Ну и Панков, вот вмазал!

— Ребята, комвзвод идет...

Стройный, скуластый юноша в командирской форме, опоясанный крест-накрест ремнями, быстро подходил к бойцам.

— Это что такое? Кто птиц стреляет на посту? Товарищ Панков! Возьмете два наряда! И после смены немедленно ко мне в палатку... Для этого вам патроны даны?

— Товарищ командир, — сказали сразу, — да ведь он не промахнулся...

Комвзвод сделал крутой оборот: кругом. Перед ним стоял без шапки курчавый красноармеец, долговязый и худой, с веселыми влажными глазами. Толстые губы его улыбались, он протягивал командиру орла, показывая рану:

— Наповал, товарищ командир!

— Возьмите один наряд, товарищ Шефтель! И доложите командиру отделения, что командир взвода считает вас недисциплинированным бойцом.

— Товарищ командир Вахтуллин! — подбежал вестовой. — Командир батальона требует всех командиров рот и командиров взводов в штаб...

Просторная четырехугольная палатка полна командирами. Вытирая лоб пыльным платком, вода коричневым пальцем по разостланному на столике профилю трассы, отрывисто говорит комбат:

— ... первой роте завтра с утра всеми взводами занять трассу от большака до ближайшего кургана — четыре пикета... Третьей роте первым взводом стать за курганом на пески — два пикета... Вторая рота на балку станет — один пикет, но там большие земляные работы, будет экскаватор... Командир взвода Вахтуллин, почему опаздываете? И что у вас там за стрельба? После доложите. Третьей роте остальными взводами занять на трассе...

Лагерь батальона полон стуком и глосами. Часовой Панков стоит на посту, подтянутый и зоркий, как полагается по уставу. Изредка он косится на огромное крыло, распластавшееся по траве за кустом, и тогда на мальчишеском остроном лице Панкова воробьиной тенью скользит улыбка. Мимо, из штаба, проходят командиры — комвзвод Вахтуллин и временный командир второй роты Раздай-Вода, фамилию которого Панков никак не может запомнить. Этот командир невероятно высок и плечист, он шагает широко, — кажется, что Вахтуллин рядом с ним семенит, словно подросток. Пройдя мимо часового, оба замедляют шаги и незаметно для Панкова косятся на крыло, торчащее из куста. Потом неохотно и медленно, не оглядываясь, идут дальше — в степь.

— Понимаешь, Мефодий, до чего обидно... — тихо говорит Вахтуллин. — Ведь Панков разве снайпер? Панков совсем средний стрелок считается... Из этого случая можно бы такую агитацию поднять! А комбат...

— Комбат прав, а ты — шляпа, — сдержанным басом говорит Раздай-Вода. — Ты перед комбатом, как чорт перед праздником. В гражданскую войну, брат, не такие случаи сходили... Эх, ты!.. Кабы у меня в роте это случилось...

Дойдя до первого кургана, командиры останавливаются.

— А ведь мне легкое место досталось, — говорит Вахтуллин, вынув из полевой сумки клетчатку с профилем трассы. — Тут до песков — почти нулевые работы...

Он довольными глазами осматривает местность.

— Твое счастье, — гулко произносит Раздай-Вода.

— Мефодий, а кто там справа от нас работает? — спрашивает Вахтуллин, поднявшись на курган.

— На песках? А это — грабари..

В километре к северу от границы лагеря, там, где уже сплошным светлым морем наступают на степь пески, — там видна длинная, невысокая насыпь. Люди, телеги и лошади движутся вдоль нее, слабо слышны по ветерку голоса. Видно, что работают там и женщины; кажется даже, что их больше, чем мужчин.

— Завтра и нам начинать... — задумчиво говорит командир Вахтуллин. — Приказано после мертвого часа лопаты и тачки принимать. Говорил я тебе, что вручную будем работать! А ты всё — «механизация»... Тут не то, что экскаватор, хоть скрепера бы дали, и то — нет!

— Поглядим, как дальше пойдет, — отвечает командир Раздай-Вода.

Бас его солиден и спокоен.

Командир взвода Вахтуллин Кадыр оглядывает степь. Он сдвигает брови.

Трасса тянется перед лагерем, маяча редкими вежами. Непривычному глазу трудно даже найти по ним будущую линию работ. И еще труднее представить, что в этой бескрайней глухой степи уже к осени должна вырасти гигантская железная дорога.

Тем же медленным шагом командиры идут обратно. На линейке уже сменил часового Панкова другой красноармеец. Только мертвый орел попрежнему висит крыльями на кустах.

Не летать ему больше, зоркому, над степью! Осиротел дальний старый курган, и некому теперь охранять тысячелетний его покой. Уже сидят на том кургане люди — два голых до пояса человека с инструментами, биноклями и драгоценным отрезком мягкого чертежного карандаша.

У обоих от пыли и солнца черны и лица, и шеи, и руки. Блестит кожа в поту, словно под лаком коричневым; а жара в степи — всё сильней. И, высыхая мгновенно, остаются грязные струйки на

плечах и шинах, и гнутся обе спины над планом, который разостлан по жесткой траве.

— Тогда, значит... еще на запад возьмем, Василь Василич? — отрывисто говорит Богун, не поднимая головы.

— Обожди, — медленно отвечает Дорофеев. — Теперь глазами надо подумать...

Он берет бинокль и поднимается с колен. Он встает во весь рост на самой лысине кургана и наводит бинокль на юг. Там, пересекая и степь, и линию трассы, вежи которой видны вдалеке слева, открывается широкая и глубокая, как пропасть, каменная балка.

Собственно, это — не одна, а три балки: так и зовется она на плане — «Три палца». Разделяясь, словно река в дельте, расходится пропасть тремя узкими оврагами, и даже отсюда ясно видно, как нелепо и невыгодно пересекают все три оврага линию будущей дороги, провешенную там самим же Дорофеевым в тех проклятых зимних изысканиях.

— Обожди, Богун, — негромко повторяет инженер, шаря биноклем по склонам балки. — Дальше, браток, топиться уж некуда...

Потом он долго молчит, всматриваясь. И техник Григорий Богун, глядя снизу вверх на рослую его фигуру, уже знает, чувствует по долгому опыту их совместной работы: теперь, вот сейчас, рождается решение.

То, за чем шатаются они здесь вдвоем трезве утро под ряд, совсем в стороне от трассы, то, из-за чего настоял прораб Дорофеев на внезапной приостановке земляных работ перед балкой и добился новых изысканий, несмотря на состоявшееся уже утверждение проекта управлением строительства, — всё решится теперь.

Выдумка? «Шеголянье смелостью мысли», как ворчит Рыбаков? Или в самом деле миллионная экономия строительству — экономия и в деньгах, и в металле, и в камне, и в рабочей силе, как убежден, несмотря ни на что, Василий Василич?

Посвистывая, инженер Дорофеев опускает бинокль.

— На запад давай, Богун! — громко и весело говорит он. — На километр правее пересечем балку, понял?

— Обход большой, Василь Василич...

— Пускай.

— Перетрассировать ведь придется до самой Каменки... И потом — виадук-то какой громадный получится!

— Чудак, всё равно выгодно. Большой, да один, а там — три. Шестьдесят плюс шестьдесят три плюс семьдесят — почти двести метров... А здесь — сто сорок, верно?

— Сто тридцать семь.

— Ну вот. Эх, Богун, Богун! И поговорим же теперь с профессорами, а?

Техник только щурится, выразительно хмыкая. Мальчишеские глаза его светятся задором. «Профессора» — это ненавистные им обои (да и только ли им?) кабинетные инженеры-проектировщики, которых полным-полно наслало в управлении после «рассортировки» из Москвы, из недр наркомата.

Собрав инструмент, два полуголых человека быстро сбегают с кургана. Они спешат к балке, они устанавливают треногу на самом обрыве — как-раз против того места, где три соединившихся оврага образуют пропасть с широким каменистым дном. В последний раз, волнуясь и едва сдерживаясь, чтобы не торопиться, они проверяют измерения. Техник осторожно спускается вниз, камни по склону осыпаются под ним. Инженер смотрит сверху, придерживая треногу рукой. Он усмехается чему-то молча, и от этой усмешки словно светится всё широкое, обожженное солнцем лицо инженера Дорофеева... Или это пот блестит опять на скулах, на лбу, на носу?

Внезапно смолк шум камней: Богун остановился на полпути. Подняв голову, он громко спрашивает:

— Василь Василич! А... как же вы теперь?

Дорофеев отвечает не сразу.

— А что? — говорит он спокойно, принимаясь за инструмент.

— Да с переводом-то вашим... Неужто всамделе в управление уедете? Теперь ведь тут...

Он выразительно кивает на балку. Он круто смолкает, и даже сквозь загар

видно, как наливается горячим румянцем его щека, до самого уха. И тогда равнодушным тоном он произносит слова, которые молодому советскому технику труднее выговорить, чем иное признание в любви.

— Разве мы тут... без вас... справимся...

Инженер, однако не смотрит на него. Нагнувшись к инструменту, он старательно прищелкивает глазом в окуляр.

— А вместе как — справимся? — так же равнодушно, почти рассеянно произносит он.

Смеется он, что ли? Осторожно, словно не веря услышанному, техник делает шаг по крутому склону:

— Собственно, я ж понимаю, Василь Василич, что вы остаться не можете. Впервые, телеграмма есть из управления... И во-вторых, вы же Магдалине Ивановне слово дали...

— Что? — оборачивается инженер. — Какое слово?

— Мне Анка рассказала... Что вы согласились, чтобы вместе жить, и что мальчика из Москвы привезете...

Он смолкает под пристальным взглядом Дорофеева. Серые, словно пропыленные, глаза прораба смотрят тяжело и жестко.

— Напрасно, друг, беспокоишься... за семейное наше, как говорится, счастье. Мы и будем жить вместе. Только не там, а здесь.

— Да она ж сюда — ни в какую!! — изумленно вырывается у Богуна. — Да вы что, Василь Василич! Ведь она всем, Магдалина-то Ивановна, сама говорит, и в управлении даже знают... Когда я в командировку ездил, так ей там...

— Давай-ка проверим репера старой трассы, — сказал инженер.

Спокойный, сосредоточенный взгляд его уже изучал балку, как изучают командиры будущее поле сражения.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Гроб! — ясно и громко сказал командир батальона.

Он встал на гребень насыпи. Вся трасса была видна отсюда в оба конца сте-

ли — на все пять километров, отведенных батальону строительством.

Как вчера, как третьего дня, красноармейцы и командиры отделений копали лопатами степь, возили землю на тачках по длинным доскам и ссыпали ее в насыпь, а насыпи все не было. Вернее, она была, но только на первом пикете; в остальных же местах земля бугрилась небольшими продолговатыми холмиками, и холмики эти были так же далеки друг от друга, как далеко было все состояние земляных работ от планового задания. Солнце стояло над степью, пропекая потные гимнастерки, обжигая голые до пояса спины, накаляя зноем головы и под фуражками, и без фуражек, и под носовыми платками, повязанными на темя на манер узбекских тюбетеек.

— Гроб, товарищ командир второй роты! — с ожесточением повторил комбат. — Разве это работа?.. Мы так до зимы не кончим!

Командир второй роты стоял внизу, у подошвы насыпи. Но если бы на плечо каждому из них положили одним концом прямую палку, то вряд ли получился бы у палки сильный наклон, — так еще низка была насыпь, и так высок был ростом временный командир второй роты — командир первого взвода Раздай-Вода.

— Механизмы необходимы, — густым басом сказал он,ковыряя землю пыльным носком сапога.

— Э, заладил... — Комбат поморщился досадливо. — Что в самом деле, сколько раз повторять вам надо, товарищи! Механизмы, механизмы... Для вагонеток нужны рельсы — где они? Для скреперов нужны кони — где они? Обещали дать, и дадут, конечно, но когда? Выходит, покуда ждать и руки сложить?

— Эскаватора добиваться, товарищ командир.

— Эскаватора? Ну, как же, ясное дело, нам самую высшую технику подавай. Нет сейчас эскаватора, товарищ Раздай-Вода! И вместо этих разговоров потрудитесь принять меры, чтобы рота не размагничивалась, а работала тем, что есть.

— У роты лучшие показатели в батальоне, товарищ командир. — Раздай-

Вода говорил гулко, словно куда-то внутрь, басистый голос его удивительно подходил к огромному росту, широким плечам и длинным рукам комвзвода, и только по лицу видно было, что он молод — не старше двадцати трех, двадцати четырех лет. Комбат смотрел на работы. Он знал и сам, что вторая рота и в особенности взвод Раздай-Воды работают образцово. Но что мог он сказать иное, когда предстояло, может быть, еще не один месяц выполнять вручную нормы земляных работ, рассчитанные на производство обещанными батальону механизмами!

Он молча сошел с насыпи. Комвзвод стоял перед ним, как башня.

— Эскаватор необходимо требовать, товарищ командир батальона.

— Нет эскаваторов.

— Есть, товарищ командир.

— Где?

— У соседнего прораба. На-днях пришел и уже работает.

— Откуда вы знаете?

— Слышал вчера вечером разговор в станице.

— Брежня. Хотя, может быть... Но ведь там же профиль такой, что эскаватору и делать нечего!

— Значит, надо добиваться, товарищ командир.

Раздай-Вода усмехнулся, расправил плечи и качнул руками, словно эскаватор был уже добыт и можно было начинать работу. Комбат посмотрел на него снизу вверх:

— Сами вы эскаватор, вот что!

И уехал верхом в штаб, в станицу, обещав сегодня же проверить слух и принять меры.

А через два дня весь батальон уже знал, что эскаватор действительно появился у прораба и что по распоряжению строительного участка он будет передан второй роте — по специальности.

Красноармеец второй роты Остап Щербина не боялся ничего на свете, кроме того, что событие может произойти именно в тот день, когда их второй взвод будет не на работах, а в наряде

по лагерю и штабу. Однако именно это и произошло ранним солнечным утром; и всего обиднее было, что именно в этот час сам Остап Щербина вез пакет с трассы в штаб.

Не успел он отъехать полкилометра, как услышал сзади шум, похожий на шум целой тракторной колонны. Он оглянулся: на пикете второй роты бойцы уже выстроились в две шеренги, «улицей» — одна против другой, и в эту улицу везжало, грохоча и свистя, желтое облако пыли.

— Ур-ра-а-а... — нестройно кричали бойцы. Двое командиров — очевидно комбат и Раздай-Вода — шагали навстречу облаку; оттуда торчала и двигалась высокая черная стрела, похожая на длинную шею огромной птицы с некруглой маленькой головой. Как в тумане, виден был в клубящейся пыли высокий кузов, на нем — красное полотнище с золотыми буквами, не то знамя, не то плакат; командиры вскинули руки к козырькам, бойцы еще раскатистой подняли приветственный крик.

— Эскаватор... — изумленно прошептал Щербина. Удерживая коня, он заблестевшими глазами всматривался в знакомые очертания машины. — Неужто нам, братцы мои...

Железный грохот все шире стался вдоль трассы. Он рос, он врывался в уши, стремительно обгоняя самое движение, порождавшее его, словно шел по степи тяжелый, медленный танк времеа империалистической войны. Даже пыль, плотная желтая пыль, большака оседала быстрее этого движения, — уже не только стрела видна была теперь Щербине, но и весь фасад кузова, и круглая крыша его, и крутящиеся гусеницы ходовой части.

— Нам! — убежденно и громко сказал красноармеец. Он ухмылялся во весь рот, ухмылялся победоносно, хотя вокруг не было никого.

Да, это была она, долгожданная высшая техника земляных работ! Это был эскаватор, паровая лопата, работе на которой взвод Щербины вместе со всей ротой обучался весной в маленьком подмосковном городишке, выросшем около огромных транспортных мастерских.

«Ну, теперь держись, первый взвод...»

Щербина толкнул коня, ему стало невероятно обидно, что именно первому взводу посчастливилось встретить машину, и захотелось как можно скорей известить своих. Он проскакал степью до кургана, вылетел на дорогу к станции, пригнулся и гикнул, пустив поводья. Ветром полетел конь, а шум двигающейся машины несся за ним, не отставая, возбуждая в душе Щербины и радость, и тревогу, нетерпеливым волнением напрягая мускулы.

— Теперь пойдет... пошла рвать! — бормотал он насакаку, задыхаясь от счастья и ветра. — Даешь кубометры, братцы мои...

Станица мчалась навстречу белыми хатами, кованые копыта гремели на новом шоссе. Эх, и рванется теперь работа, как в сказке, станет расти насыпь — не по дням, а по часам... Уже не было досады на первый взвод, было только буйное чувство силы, захватывающее дух, удесятеренное вот этим железным шумом, который оставался позади. Вот и колодец, вот и хата штаба напротив него... Щербина на всем скаку натянул поводья.

— Второй взвод, эскаватор пришо-о! — восторженно заорал он, увидев своих.



На другой день Мефодий Раздай-Вода появился на трассе вместе с рассветом.

Степь дымилась росой, белесо голубело небо, еще мерцавшее бледными звездами. Комвзвод шагал быстро и еще издала угрюмо поглядывал на машину. Эскаватор, торжественно принятый вчера его взводом, стоял за насыпью, как-раз против того единственного места, где она была высока; виден был только черпак, высоко поднятый кверху, крыша и часть стрелы с кремальерой. Вбежав на насыпь, комвзвод увидел, что около машины нет никого. Было безветренно, красное полотнище никло на передней стенке кузова. Эскаватор выглядел, как забытый.

Комвзвод хмуро обошел его кругом, — часового не было. Он прыгнул в песчаный резерв и по доске поднялся внутрь. Кузов закачался от его шагов, — красноармеец, стоявший с винтовкой у холодной топки, шагнул навстречу.

— Снаружи надо стоять, ни чорта отсюда не увидишь! — резко сказал комвзвод и тотчас обругал себя в душе. Красноармеец был одним из лучших в его взводе, — сухощавый парень цыганского типа, скорый и бойкий на слово, самолюбивый до крайности, секретарь ротного комсомола и ко всему тому — рабочий с того самого московского завода, с которого пришел в армию сам Раздай-Вода.

— Вот что, товарищ Груздь, — переменяв тон, заговорил командир. — Надо будет нам с тобой... — Он посмотрел в лицо красноармейцу и вдруг увидел по его глазам, что тот понимает всё, всё до конца, что происходит сейчас с ним, его командиром, как понимает и то позорное, что произошло вчера.

Не сказав больше ни слова, Раздай-Вода спустился с машины на землю и опять обошел экскаватор кругом.

Длинная стена с зубчатым механизмом кремальеры торчала над тихой степью, вызываясь поднимаясь вчетверо выше насыпи; и от этого, а особенно от задранного кверху черпака, экскаватор казался Раздай-Воде похожим на опроμένου злобного зверя. Он встал перед машиной, широко расставив ноги, и, сдвинув фуражку на затылок, произнес сквозь зубы ругательство. Как тошнотное ощущение похмелья, мутило его вчерашнее шаршивое чувство, когда он — в первый раз за двадцать четыре года жизни — почувствовал себя сопляком и балдой.

Долбить два месяца про механизацию, поднять бучу и в батальоне, и на всем участке, раззвонить всем и каждому о необходимости экскаватора на этих пикегах — и вдруг таким дураком сесть в лужу...

Он скрипнул зубами от стыда. Конечно вряд ли они все поняли, но он сам видел язвительную усмешечку того старого чорта, который сдавал машину и которого все остальные величали меха-

ником. «И чорт меня дернул этак спросить по-бараньи...» Комвзвод вспомнил напряженные лица красноармейцев, поднятую бровь комбата и особенно взгляд этого Гветадзе, секретаря строительской парторганизации — внимательный, долгий и сдержанно-изумленный, словно секретарь не хотел верить тому, что услышал.

«А зря удивляетесь, уважаемый товарищ! Сам без году неделю на трассе, вот и думает, что землю копать и руками — дело плевое, а уж машиной — вовсе пустяки...» Комвзвод сплюнул и подошел к стреле сбоку, так что кремальера оказалась у него слева, а прибор управления — справа, на передней площадке кабины.

— Вот сволочь! — раздумчиво проговорил он вслух и снова испытующе уставился на необычное устройство механизма, которое испортило ему жизнь с проклятого вчерашнего вечера.

Все американские экскаваторы, на которых он учился и потом работал, были ему известны не хуже, чем устройство пулемета или винтовки.

Он знал и тяжеловесный «Маррион», и мощный «Бьюс-Айрес», и другие новейшие системы, учился работать и машинистом, и стреловым, и громадные машины скрежетали и плавно поворачивались, когда он зажимал в своих чугунных ладонях сотрясающиеся вместе со всем работающим механизмом стальные рычаги. Он любил ощущать свою умственную и физическую власть над этими рычащими, вгрызающимися в землю громадами. Он испытывал настоящий азарт боя, сидя в трясущейся кабине машиниста или наверху, на вздрагивающем от напора черпака железном седле стрелового. А когда экскаватор выгрызал вокруг себя все, что только мог достать черпаком, — и песок, и глину, и камни, и вязкие глыбы чернозема, — и надо было передвинуть его дальше, тогда Мефодий Раздай-Вода складывал на груди огромные жилистые руки и горделиво отдыхал на своей высоте, пока внизу суетились люди, готовя путь экскаватору, перекладывая вперед готовые клетки шпал и сбаливая на стыках рельсы.

«Ну, на этом не отдохнешь» — подумал он еще вчера при встрече экскаватора, увидев под ним вместо колес и рельсов тяжело крутящиеся гусеницы.

Но не это смутило его. Главное, что он увидел с первого взгляда, заключалось в том, что на стреле экскаватора не было никакой площадки для стрелового, то-есть для помощника машиниста, управляющего выдвиганием и втягиванием черпака и его опорожнением после поворота. Минутой позже он понял бы сам, в чем тут дело, но это было так неожиданно, что дурацкий вопрос сорвался у него вчера против воли...

— К дьяволу! — громко сказал Раздай-Вода. Закусив губу, он еще раз зорко осмотрел кремальеру, ее соединение с рычагами машиниста и еще раз обошел экскаватор кругом. Груздь с винтовкой стоял у нижней ступеньки, и опять Раздай-Вода показалось, что глаза красноармейца блеснули ему навстречу понимающе и сочувственно.

Он молча поднялся, прошел через всю кабину к месту машиниста и сел. Рычаги, тормоза и педали торчали вокруг него в непривычном нагромождении. Он взялся за знакомый пусковой рычаг, потрогал холодную ручку поворотного, который был почему-то расположен гораздо правее обычного, но все остальное было размещено иначе, чем на всех американских экскаваторах. «Чорт, и ноги обе работают» — сообразил комвзвод, нагибаясь к педалям. Одна из них, поставленная высоко и неудобно, казалась совсем непонятной. Вторая, круглая педаль, поменьше и ниже, была соединена с тонким металлическим тросом, и Раздай-Вода, высунувшись из кабины, стал смотреть, куда он идет. Трос шел над кремальерой прямо ко дну черпака.

— Ага... значит, опорожняет, — проговорил он вслух и быстро оглянулся на шорох. С другого конца кабины в про свете отодвинутой выходной двери виднелась голова Груздя. Поднявшись, видимо, на нижнюю ступень лесенки и вытянув шею, он смотрел на командира с выражением недоверчивого любопыт-

ства и, встретившись со взглядом Раздай-Воды, быстро опустил глаза. Комвзвод нахмурился от смущения. Сунув руки в карманы, он отошел и остановился у котла, делая вид, что осматривает илжектор, соединяющий котел с баком. В это время издали слабо донеслось пение лагерной трубы. Комвзвод поднял голову.

— Вот что, Груздь, — медленно проговорил он. — Бежи, браток, в лагерь и передай старшине — пусть немедленно вышлет ко мне пятерых бойцов из первого взвода, которые поживей. Да чтобы двое были из тех, кто обучался на кочегара и смазчика, понятно?

— Я на смазчика обучался, товарищ командир роты, — сказал Груздь, и взгляд его выразил безмолвную тревожную просьбу.

— Ага, ладно. Тогда пускай одного кочегара, а трех все равно кого, и сам вернешься. Только быстро! А роту на трассу вывести к одиннадцати, пускай сейчас проводят политзанятие, понятно?

Оставшись один, Раздай-Вода осмотрелся, как человек, готовящийся действовать в незнакомой обстановке. Вернувшись на место машиниста, он сел на короточки и принялся оглядывать, ощупывать, пробовать рычаги и педали, потом выскочил наружу и опять забежал спереди, изучая соединение управления с механизмами стрелы и черпака. Он весь ушел в это, и, когда увидел бегущих по насыпи красноармейцев, ему показалось невероятным, чтобы Груздь успел привести их из лагеря, и он подумал, что просто Груздь встретил их по дороге на трассу и что наверное вслед им движется за насыпью и вся рота.

«Чорт, неужто восьмой час...»

Все рушилось, весь придуманный им план. Со злобой оглянулся он на подбегавших, но нет, за ними не показывался никто, и красноармейцев было ровно пятеро, и бежавший впереди Груздь улыбался ему своими цыганскими глазами, как человек, который рад, что так хорошо и быстро исполнил поручение, и сам знает, как это важно.

— Рота где? — крикнул Раздай-Вода. Груздь остановился сразбегу и лихо взметнул ладонь к фуражке:

— Завтракают, товарищ командир, а потом политчас, согласно вашего приказания...

Все пятеро прерывисто дышали от быстрого бега, и на их обожженных солнцем юношеских лицах так разнообразно и ясно отражались любопытство и тревога, готовность и недоумение, что комвзвод неожиданно для себя усмехнулся им всем широкой товарищеской улыбкой.

— А ну, хлопцы, отдышись сначала, — проговорил он, глядя на них сверху, и почувствовал с удивлением, как беспокойство и раздражение утихают в нем, сменяясь деловитой бодростью. Он подошел к красноармейцам, доставая пачку папирос.

— Закуривай!

Один за другим парни потянулись к пачке. Раздай-Вода стоял среди них, такой же пропыленный и выгоревший и лицом, и одеждой, с такими же почерневшими от солнца руками, и не два кубика на петлицах, а только рост поднял его на целую голову над плечистыми, крупными бойцами. Из-за насыпи отдаленно донеслась песня.

— Первая рота, — сказал Груздь. И опять посмотрел с таким видом, который говорил: «Можно не беспокоиться, я все понимаю и знаю, что эти не помешают, и вообще все в порядке». Но теперь это не вызвало у Раздай-Воды ни досады, ни смущения, как тогда, когда Груздь подглядывал за ним с площадки. Спокойно дымя папиросой, комвзвод поднялся на откос и посмотрел через насыпь. Недалеко справа первая рота сворачивала с большака к своему пикету. Раздай-Вода затаился в последний раз, следя за мерным шагом колонны, сошел с откоса и бросил окурочку в песок:

— По местам!

Те, что пришли с лопатами и носилками, кинулись к куче с углем, кочегар и Груздь — к лесенке. Быстро вытащив из кабины две длинных, широких доски, они сделали из них сходни, и сейчас же двое красноармейцев взбежали по ним, таща первые носилки с углем. Груздь, снявший рубаху, полез с масленкой. Комвзвод поднялся в кабину,

прислушиваясь к тому, как возится кочегар у топки, как шаркают снаружи, за стеной, лопаты красноармейцев в куче угля.

Время шло.

Нетерпеливо кусая губы, комвзвод стал смотреть на стрелку манометра, — она двигалась едва заметно, и ему казалось, что время ползет еще медленнее, чем она. И когда наконец зашипел пар и стрелка, дрожа, остановилась, он твердо шагнул к месту машиниста и потянул круглую деревянную ручку. Резкий звук пронесся над степью, похожий на свисток маленького буксирного парохода. Раздай-Вода сел на место и уверенно взялся за пусковой рычаг.

Экскаватор дрогнул, заскрипел, рука командира вытянулась доотказа, потом другая спокойно легла на поворотный рычаг — и стрела повернулась, легко и плавно пронеслась налево, чертя по воздуху высоко поднятым черпаком. Комвзвод, тормозя на ходу, еще плотнее зажал в ладони рычаг и сейчас же, чувствуя, как пружинят мускулы, дал обратный ход. Стрела застыла на мгновение и с легким скрипом пошла обратно, потом опять налево, опять назад... Рычаг работал великолепно — теперь его необычное расположение казалось даже удобным Раздай-Воду. Он оглянулся внутрь кабины, увидел взволнованные, радостные лица Груздя и кочегара и отвернулся. Главное было впереди...

Комвзвод поднял руку к сигналу. Экскаватор свистнул опять, протяжно и резко, и весь корпус машины опять задрожал, заскрипел, закачался, сотрясаясь от напора своей собственной силы.

Тогда, не спуская глаз со стрелы, Раздай-Вода отыскал ногою ту высокую, незнакомую педаль. Чтобы коснуться ее подошвой, ему пришлось сильно согнуть ногу в колене, он сделал это с досадой и осторожностью и медленно, с оттяжкой стал нажимать педаль. Стрела экскаватора оставалась неподвижной; но через секунду комвзвод понял, что это и есть работа за того второго машиниста, которого здесь нет по воле конструктора механизма: черпак медленно опускался, выдвигаемый кремальерой вниз.

Остановив его почти у самой земли, комвзвод вытер ладонью вспотевший лоб и спокойным хозяйским взглядом осмотрел остальные приборы. Теперь все остальное было ясно, назначение каждого рычага и каждой педали оказывалось простым и настолько естественным, что конструктор, казалось, и не придумывал ничего особенного, руководясь одним здравым смыслом. Уверенно, почти не глядя на приборы, Раздай-Вода проделал теперь все управление черпаком, втягивая и опять вытягивая его при помощи кремальеры и шестерни, прижимая зубьями к самому откосу выемки, как бы готовясь начать постоянную работу. И трос, и ленточный тормоз работали свободно, комвзвод дал пробный подъем и сейчас же остановил машину, видя, что черпак хорошо и быстро наполняется землей. Он снял с высокой педали затекшую от непривычки ногу, встал и потянулся крепко, с наслаждением чувствуя привычную силу и бодрость во всех членах огромного тяжелого тела.

— Ы-ых!! — выдохнул он в степь, расправляя плечи и стоя у окна во весь рост. Фуражка его почти касалась потолка кабины. Он повернулся и прошел по всему экскаватору — до выхода и обратно — раз, другой, третий, наклонив голову и поглядывая на красноармейцев повеселевшими глазами.

— Вот и освоили... Долго ли, кто умеет!

Доштатый пол скрипел и гнулся под его шагами. Кочегар и Груздь, стоявшие на противоположных концах, чувствовали, как весь кузов машины наклоняется то в одну, то в другую сторону. Кочегар, пригнувшись, шуровал в топке, бледные на дневном свете языки пламени вырывались оттуда, освещая маслянистыми пятнами его вспотевшее лицо. Раздай-Вода остановился около него и тут увидел в окно, что первый взвод без пеоны быстро подходит к трассе. Он нетерпеливо спустился вниз и пошел навстречу, медленно переставляя длинные ноги, и остановился на бровке резерва, сумрачно-спокойный, как всегда, но внутри у него пела радость, и хмельное

ощущение победы пружинило мускулы и дрожало в груди.

— Взво-од, стой! — зычно и строго крикнул он.

Через пять минут подошел и второй взвод. — обоим предстояло посменно работать на экскаваторе, — и бойцы столпились вокруг машины. Так же, как и вчера, но уже без той настороженной сдержанности, которая была необходимой в торжественной обстановке приемки, все осматривали необычайное устройство стрелы и механизмов, щупали высокие гусеницы хода, обстукивая с каждой стороны все пять колес. Некоторые полезли в кузов, а отдельная кучка — с треуговльниками на черных петлицах — прошла к рулям управления и молча приглядывалась к рычагам и педалям. Это были командиры отделений — будущие машинисты незнакомого экскаватора.

Раздай-Вода разделил взводы пополам и расставил по обе стороны экскаватора.

— Товарищи, все вы учились на американских экскаваторах системы «Марион». Машина, которую нам дали, она не из Америки, а из другой страны, из Чехо-Словакии. Придется, выходит, подучиться. Сейчас покажу управление, а потом разобьемся на бригады и будем постепенно проводить практику. Собственно, кроме машиниста, вся остальная бригада тут работает, как и на «марионе», даже проще, потому что ни шпал, ни рельсов тут не надо. Так что главная учеба будет для командиров отделений...

Раздай-Вода шагнул вперед. Прищуренные глаза его ощупывали лица красноармейцев с лукавым и подбадривающим выражением, словно говорившим: «Ничего, ребята, справимся как-нибудь».

Он строго посмотрел на экскаватор — так в цирке смотрят на дрессированных зверей укротители — и, двинувшись к лесенке, махнул рукой:

— Командиры отделений, за мной!

Поднявшись гуськом в кузов машины, они прошли вперед, комвзвод сел перед рулями, остальные теснились, стоя за ним, чтобы все видеть и не мешать.

Экскаватор протрубил опять, как паровозик на реке, и опять заскрипел кузовом. Лязгнул рычаг, натянулись тросы, и комвзвод несколько раз повернул стрелу туда и обратно, пронося черпак высоко над головами бойцов. Он показал поворотное движение, работу тормоза, управление шестерней и кремальсерой — и делал все это так, словно всегда работал на экскаваторе именно этой системы. Отделкомы стояли позади, напряженно следя за его движениями.

Комвзвод опустил черпак, оглянулся на них и отрывисто сказал:

— Сейчас покажу экскавацию.

Отделкомы сдвинулись плотней.

— Дава-ай! — крикнул Раздай-Вода кочегару, и голос его утонул в скрежете и реве машины. Прижатый к откосу выемки всеми четырьмя зубьями, черпак сразу врезался в глину — и замер. Грунт был захвачен слишком глубоко.

Машина заурчала, как обозлившийся зверь. Раздай-Вода доотказа вытянул напорный рычаг, — в грохоте и реве, мгновенно возросшем, подобно ярости, экскаватор напрягся в подеме так, что весь кузов ходуном заходил на раме, и стрела резко накренилась вперед. Черпак вгрызался толчками, поднимаясь почти незаметно, он был уже до половины полон грунтом. Пронзительно шипел пар, дрожали тросы, вытягиваясь над стрелой, — бесконечные секунды продолжалась борьба машины с тяжким пластом земли, и остановившиеся глаза отделкомов не могли оторваться от закаменевшей на рычаге огромной пятерни человека, который управлял этой борьбой.

— Пошо-ол! — заорал Груздь, высушенный из входной двери, но и сам не услышал своего голоса, и все увидели нелепый взмах его руки, измазанной копотью и углем. Экскаватор оглушительно зарычал, затрясся весь и попятился на своих гусеницах: полуметровую корку земли над черпаком прорезало с боков трещинами, и черпак быстро пошел вверх.

Вырвавшись из грунта, он вознесся над степью, земля черным дождем сыпалась с его перегруженных бортов, сея густую пыль на стоявших в отдалении

людей, и сейчас же Раздай-Вода двинул поворотный рычаг.

Гул машины сразу затих, стрела с легким скрипом понесла черпак влево, слышен был даже глухой стук о землю падающих с черпака комьев. Плавно пройдя весь размах, черпак остановился над насыпью, готовясь высыпать на нее свою первую минутную добычу, над которой целый час трудились бы четыре сильных человека; и вдруг, в тот момент, когда должно было открыться его днище, черпак рухнул наискось, сбрасывая на бойцов камни и глыбы земли. Красноармейцы закричали разноголос. Двое упали, ближайшие кинулись к ним.

Один уже поднимался, сияясь улыбнуться. Другой сидел на земле, весь бледный, гимнастерка на плече висела ключьями. Это был Щербина.

Раздай-Вода с серым лицом высунулся из кабины, глаза его круглились бессмысленно.

— Жив? — крикнул он, глядя на черпак. Никто не ответил ему, люди возлились с раненым, осматривали машину. Черпак всей тяжестью зарылся в мягкий откос. Густая пыль поднималась над всем.

Тогда комвзвод поворотился опять внутрь кабины, и могучая спина его согнулась, как у старика. Один только отделком Утичев, беловолосый застенчивый парень, стоял за его спиной; остальных уже не было на экскаваторе.

— Не ту... не ту педаль!.. — глухо оказал Раздай-Вода в ответ на испуганный взгляд отделкома. И сразмаху ударил кулаком по колену и замычал, стиснув зубы, словно все они сразу заболели у него.

Вечером на экстренном собрании всех коммунистов и комсомольцев в лагере первым говорил комбат.

Он кратко объяснил происшествие, повторил, — для тех, кто еще не знал, — что на этом экскаваторе один машинист должен выполнять работу, которая на американских механизмах выполняется двумя машинистами.

Все слушали в напряженной безмолвии. Все понимали, что это — только начало, что главное будет тогда, когда комбат заговорит про временного командира второй роты, комвзвода Раздай-Воду. Все видели его огромную фигуру на самой задней скамье, и многим — ой, многим! — было жаль не экскаватора, который, по словам комбата, выбыл из строя на сутки, и даже не Остапа Щербину, который, по сообщению лекпома, выбыл из строя на пятидневку, а именно этого могучего и всегда веселого человека, который вовсе не выбывал из строя, но сидел теперь сзади них неподвижной глыбой и молча ждал приговора за свою тяжкую вину.

Но комбат очень мало сказал о нем. Он заметил только, что командир взвода произвел пробу нового механизма самовольно и преждевременно, так как по приказу командования для этого был вызван механик из конторы участка, и что за это на комвзвода будет наложено строгое взыскание. Потом комбат сообщил, что происшествие уже обсуждено партийным бюро, и предоставил слово политруку второй роты.

— Товарищи, — тихо сказал политрук. — Не те нынче годы, когда победы нам слету доставались... Прошло то времячко. Мы вот с вами два месяца экскаватора добивались, сколько шуму на трассе оделали, а вот получилось-то как...

Он поднял голову и обвел всех взглядом, ясным и даже как будто спокойным, только чуть бледнее обыкновенного было худое, скуластое лицо политрука. Люди слушали его так, что он мог бы говорить еще тише, и все равно было бы слышно всем на широкой лагерной площадке. Высморкавшись, политрук заговорил о преступлении командира Раздай-Воды. Он так и назвал происшествие, тем же размеренным глуховатым голосом, глядя прямо туда, где сидел обвиняемый им человек, и многим, которые сочувствовали командиру, от этих спокойных слов стало беспокойно, и вина Раздай-Воды — и перед порученным ему делом, и перед раненым красноармейцем — вдруг показалась такой грозной и тяжелой, как если бы не по-

литрук, а сам Климент Ефремович Ворошилов метнул в комвзвода гневные рабочие слова.

— Большевику не уметь нельзя, — говорил политрук. — Чего не умеешь, за то, известно, и браться нечего, а мы, большевики, за всё беремся, за всё, что ни есть на свете такого, что трудящемуся человечеству на пользу может пойти. А раз за всё беремся, значит, всё и уметь должны! И кто этого не понимает, тому нет места в рядах большевиков, нет места в рядах большевистской армии! Что нам толку в машинах, товарищи, если мы не сможем ими управлять? Да не как-нибудь, не на-авось, не сналету, а всерьез, досконально, так, чтобы все до последней гаечки чувствовать и за каждый оборот ее отвечать, как вот и мы все отвечаем за то, что сделал командир взвода товарищ Раздай-Вода. Партбюро считает, что он заслуживает самого строгого взыскания. Экскаватор же должен быть освоен нами в кратчайший срок, и для этого вторая рота должна выделить специальную бригаду во главе с лучшим командиром взвода...

Он кончил и сел. Собрание напряженно молчало. Бойцы второй роты переглядывались недоуменно: что это сказал политрук? И когда взял слово Роман Груздь, секретарь ротного комсомола, многие поняли по его лицу, что он скажет именно об этом.

— Я про бригаду, — неуверенно сказал Роман Груздь. — Пусть меня покроют, товарищи, если я скажу не так. Бригаду конечно командование назначит... Но кто у нас не знает, товарищи, что лучший командир взвода во второй роте — товарищ командир Раздай-Вода?

Шопот, как ветер, зашелестел по рядам. И опять стало стихать, потому что политрук снова поднялся в президиуме.

— Вот я и думаю, что следует поставить во главу бригады товарища Раздай-Воду, — просто сказал он.

— Правильно!! — закричали из рядов.

Кто-то захлопал неуверенно, и вдруг такой дружный треск рукоплесканий прокатился над площадкой, что на время не слышно стало голосов. Люди улыба-

лись, блестели глазами, оглядывались на комвзвода, — он сидел все так же неподвижно, опустив плечи и голову, и от этого словно еще жарче разгорались аплодисменты вокруг него. Но вот встал комбат и поднял руку:

— Товарищи, вы не дослушали. Бригада будет осваивать экскаватор под руководством товарища Раздай-Воды. Это — экзамен, которого наш батальон еще не имел никогда. Тут мне перед собранием один коммунист из командиров пробовал намекать, что, мол, надо требовать такую машину, на которой раньше учились, а коли нет, так лучше и вовсе не надо, останемся при тачках. Это, товарищи, овца и то постеснится вслух выговорить, а не то, что командир Красной армии. И если есть кто из партийных бойцов, у кого этак же мысль поворачивает, так вместо такого мы лучше беспартийного ударника поставим на экска-

ватор! Командование роты должно выделить в бригаду самых лучших, самых передовых бойцов. Кого новая машина пугает, тому нет места в бригаде...

— Только с первого взводу или с других тоже будут? — вдруг спросил кто-то хриплым голосом сзади президиума.

— Будут лучшие бойцы из всей второй роты, — оглянулся политрук, — поскольку все они должны знать экскаватор...

Он искал взглядом того, кто спрашивал, и, найдя, смолк на полуслове: перед ним стоял красноармеец второго взвода Остап Щербина — бледный, в шинели, накинутой прямо на нижнюю рубаху, с забинтованной до плеча рукой.

— Тогда назначьте мне в бригаду, товарищ политрук, — смущенно и хмуро сказал он.

(Продолжение следует)

Клад

НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ

Из горной Шории горластый
Орет поток — то напролом
Сквозь грунт скалистый мечет Мрассу
Волну в опаловую Тоть.

Взрывая кварцевые скалы,
Дробя гранит, кричит река.
Река не клад ли отыскала
На неоткрытых рудниках.

О том ли кладе, не смолкая,
Твердили шорцы, стар и мал,
Что богатырь их Бузыкая
Под недром где-то закопал.

Ах, этот клад — сундук богатый —
Добыть не волен водоем,
Ни корни кедра, ни хвостатый
Глухарь-токарь на кедре том.

И помнят шорцы отголоски
Преданий древних: под курган
Без сундуков сошел монгольский
С ордою золотою хан.

Был день, когда сверкнули кремни,
Как волчий глаз во мгле пещер.
На крик реки, на берег древний
Пришел затейный инженер.

Ему прились места по сердцу.
Зардел мечтою взор, когда
Попал он ссыльным поселенцем
За мысли вольные сюда.

Кора земли казалась кожей...
Ведь скалы — скулы старика,
Ведь берег — дед, седой такой же,
Как борода его — река...

Следил глазами следопыта:
Легли глубокие лога —
Следы, что выбили копытом
Олени древние — века.

Порой казалось: следя эти —
Лишь двери в погребя земли,
Где смолы огненных столетий
Сапропелитом залегли.

Открыть бы двери эти надо
И в погребя пустить лучи.
Замки висят над каждым кладом,
И к ним не кованы ключи...



Дом Черновых

Главы из романа

СКИТАЛЕЦ

I

Странное, дивное солнце в Давосе: кругом лежат глубокие, бездонные снега, сухие, как бы искусственные, сугробы рассыпаются под ногами, словно сахарный песок, деревья стоят в инее, как в серебре, высокие полозья саней увязают в снежной дороге. Стоит глубокая альпийская зима, а между тем солнце печет, как летом. Над балконами больших каменных домов опущены холщевые маркизы; люди ходят, одетые по-летнему: мужчины без верхнего платья, в соломенных шляпах, женщины — во всем белом, под зонтиками; лица у всех бронзовые от загара.

Городок состоит почти из одной большой улицы, заставленной шикарными зданиями отелей, пансионов, санаторий и магазинов. Дома, обращенные лицевой стороной к югу, все с обязательными балконами вдоль каждого этажа; на балконах — лежащие люди. В этом и заключается лечение в Давосе: дышать с утра до ночи абсолютно чистым, разреженным воздухом альпийских гор на высоте тысячи двухсот метров над уровнем моря.

На первый взгляд Давос кажется городом умирающих: неподвижными рядами лежат они на балконах, в меховых мешках, закрывающих все тело, кроме головы, молча впитывают в себя целебный воздух и ликующие лучи давосского зимнего солнца. Лежат и вечером, после заката, когда альпийская ночь го-

рит крупными, ясными звездами, а на балконах тихо теплятся разноцветные огни электрических лампочек у изголовья каждого больного.

Это настойчивое лежание называется здесь по-немецки «лиге-кур».

Долина Давоса окружена со всех сторон высокими снежными горами, задерживающими ветры, покрытыми густым хвойным лесом. Из-за леса, по откосу горы, со дна пропасти поднимается железнодорожный поезд, на минуту задерживается у Давосского озера и затем торжественно подходит к небольшому вокзалу.

... С этим поездом в Давос приехал художник Валерьян, привез для лечения жену свою Наташу. Они сели в парные сани на очень высоких полозьях и через несколько минут подехали к большому отелю «Кургауз», против которого в садике играл в это время струнный оркестр. Оркестр исполнял что-то веселое, солнце смеялось с прозрачного, солнечного неба, сияя искрами на сугробах снега.

Устроившись в гостинице, Валерьян долго говорил жене, как здесь все удивительно, красиво, и как она быстро поправится в Давосе.

У Наташи врачи в России не признавали чахотки, но уже несколько лет лечили — и никак не могли вылечить — катарр легких, находя неблагополучие в «верхушках». Кто-то из знакомых, бывавших в Давосе, посоветовал им этот курорт. «Верхушки — это начало чахотки, — говорили знакомые, — и, пока

еще болезнь не зашла далеко, можно залечить ее в один год в Давосе». Художник бросил все свои дела и решил во что бы то ни стало вылечить жену. Он сам поехал проводить ее и устроить в лучшую санаторию. Он поживет здесь вместе с нею некоторое время, пока она привыкнет, а потом вернется к своей работе. Художник уверен, что к весне Наташа поправится.

Наташа слушала его, молча улыбаясь печальной улыбкой.

С тех пор, как она заболела, художник не мог сосредоточиться ни на одной большой работе: начинал — и не оканчивал, разбрасывался на мелких вещах. Его известность стала понемногу тускнеть, имя все реже появлялось на столбцах газет, давно отсутствовали работы на выставках. Все мысли его были теперь сосредоточены на излечении жены, вся его энергия, все воодушевление уходило на разезды по лечебницам и санаториям, на возню с докторами: всякое ухудшение болезни приводило его в крайнее волнение.

Валерьян верил докторам, верил в быстрое исцеление Наташи, но шли месяцы и годы, а она все не поправлялась.

— Ты пока отдохни с дороги, — нежно и заботливо сказал он, — а я на минуточку спущусь вниз, мне говорили, что в «Кургаузе» помещается русская библиотека: не встретится ли кто-нибудь из русских? Надо разузнать насчет санатории!

Наташа чувствовала себя виноватой перед Валерьяном и боялась, что если болезнь затянется, то он и вовсе забросит работу... Вся надежда была теперь на Давос, где, быть может, удастся освободить его от забот о ней: он уедет обратно в Россию и вернется к своему творчеству. Она останется в этой чужой стране, будет на целый год заперта в давосской больнице... Ребенка оставили у родных... другой умер. Теперь вот и муж вынужден бросить ее.

Она наружно улыбалась и шутила, когда Валерьян с воодушевлением утешал ее надеждами на чуда Давоса, но, когда дверь закрылась за ним, Наташа припала к подушке дивана с глубоким

вздохом. Ей не нравился Давос, а предстоящая одинокая жизнь в санатории заставляла ее сердце заранее содрогаться от страха и тоски.

Доктора и здесь будут лечить «верхушки», но никогда не поймут ее глубокой печали о покинутом ребенке и неизлечимой скорби о другом, умершем. Не поймут, что надо лечить не легкие, а душу, вынуть скорбь из сердца: эта скорбь, как червь, жила в нем чуть ли не с детства...

Прежде, до замужества, она часто думала о самоубийстве: невыносима была жизнь в могильном склепе, каким был для нее дом богатых родителей... Надеялась найти выход в замужестве, в семейных радостях. Может быть, так бы оно и было: муж хороший, любит ее, но смерть ребенка, затяжная болезнь и тревога за мужа, который вместо счастья нашел мучение и, быть может, свою гибель с ней, давно уже исковеркали ее жизнь.

Проводив мужа, Наташа долго и грустно стояла перед громадным окном, за которым виднелся узкий балкон, смотрела через улицу на почти отвесную снежную гору, стеной отгородившую Давос от остального мира.

В долине, где уже не было построек, виднелся обширный каток; там, под звуки оркестра, кружились конькобежцы. Наташа вспомнила, что в Давос приезжают не только больные, но и здоровые — для отдыха и зимнего спорта. На противоположном склоне гор, покрытом глубоким снегом, ползали лыжники, — карабкались вверх, до самой вершины, потом спускались оттуда, как на крыльях, раскинув руки, и скатившись вниз, непременно квыркались в мягкий, пушистый снег...

Валерьян спустился в нижний этаж и долго блуждал в богато отделанных залах, гостиных и кабинетах, почти пустых в утренние часы, но библиотеку так и не нашел.

Он вышел на улицу и зашагал по тротуару, прислушиваясь, не раздастся ли русская речь, не попадет ли навстречу какая-нибудь несомненно русская физиономия. Но попадались только несомненные немцы с их закрученными вверх

усами и бритые англичане в альпийских костюмах, в спортсменских вязаных фуфайках, в огромных башмаках на толстых подошвах, с лыжами или коньками в руках.

Валерьян прошел Променад, единственную большую улицу в Давосе.

«Где же чахоточные?» — спрашивал он себя, всматриваясь в загорелые, румяные лица встречаемых. Он видел, как лежавшие на балконах больные люди вставали с коек и, франтовски одетые, выходили на Променад: утренний «лигекур» кончился. Они были все такие же бодрые, здоровые на вид, как и другие, которых он встречал на улице. Слышался веселый говор и смех. Но Валерьян нигде не услышал русского языка и не встретил ни одного русского, хотя знал, что в Давосе существует русская колония. Может быть, они избегают говорить здесь на родном языке?

Возвратившись в «Кургауз», он случайно попал в читальный зал, который был в то же время одной из комнат обширного ресторана. Посреди зала стоял длинный стол с европейскими и русскими газетами. За столом, углубившись в чтение, сидели два человека: один — элегантный, красивый, с «золотой» бородой, блондин, а другой — смуглый, бритый, худой, высокого роста и с таким морщинистым лицом, что невозможно было определить: молод он или стар. Они читали русские газеты. Художник заговорил с ними.

— Да, мы — русские! — в один голос ответили они, вопросительно оглядев фигуру приезжего.

— Я только-что из России, никого не знаю и до сих пор не мог встретить здесь ни одного соотечественника!

— Странно! Русских здесь — хоть отбавляй!

— До восьмисот человек приезжает каждую зиму, да многие безвыездно живут!

— Вы где изволили остановиться? — галантно спросил человек с золотой бородой.

— Пока здесь, но мне нужно устроить в санаторию жену. Посоветуйте, как бы это сделать. Есть в Давосе русская санатория?

— Вот именно, русской-то санатории и нет! Есть английская, немецкая, французская, есть конечно швейцарская, несколько частных, но чтобы русская, — этого нет!

— Как же быть?..

— Устроиться можно! Я как-раз заведу русским справочным бюро, и моя обязанность — помогать приезжим из России! Позвольте представиться: Абрамов, эмигрант!

— Галин, — отрекомендовался другом, — тоже эмигрант, студент!

Валерьян пожал им руки, назвал себя.

— Семов? — удивились они. — Художник Семов?

— Да, да, это я!

Собеседники, видимо, обрадовались.

— Очень приятно для нас и для всей здешней эмиграции, милостью царя выкинутой из России!.. — взволнованно заговорил Абрамов. — Давайте, сядемте за столик, поговорим!.. Жену вашу устроим в немецкой санатории, — это самая лучшая! Галин, — обратился он к товарищу, — идите сейчас к доктору Шнеллеру, переговорите с ним...

Студент вышел, слегка сгибаясь и раскачиваясь на длинных ногах.

Валерьян и Абрамов сели за столик около зеркального окна, спросили кофе.

— Я двенадцать лет болен чахоткой, — начал Абрамов, — а здесь живу с девятьсот пятого года, доктора меня не отпускают отсюда, ну и приходится как-нибудь жить. Организовал это самое бюро, состою редактором здешней русской газетки «Давосский вестник», — не видали?

— Нет.

Редактор вынул из кармана свежий номер маленького листка на глянцевиной бумаге и подал художнику.

— Так, медицинский курортный листок, издается на субсидию города, выходит раз в две недели, хе-хе! Надо же что-нибудь делать!.. Положение наше, знаете, эмигрантское!.. Нудная жизнь! Поживете — сами увидите! Вы надолго к нам?

— Побуду немножко, пока жена обживется, а потом конечно вернусь в Россию...

Абрамов с завистью посмотрел на приезжего.

— Счастливец вы! Можете вернуться в Россию, а ведь мы все — приговоренные царским правительством. Мне например и носа нельзя туда показать, вот и живем здесь, — задыхаемся, как рыба на берегу.

Редактор давосской газеты провел рукой по своей густой золотой бороде и посмотрел на собеседника красивыми голубыми глазами. Кожа лица у него была нежная, фигура изящная. Вероятно он нравился женщинам и сам любил их.

— Жизнь здесь скучная, неестественная, — продолжал он, — русских много, и две трети из них — эмигрантская беднота, нужда вопиющая, средств никаких. В целях самопомощи существует «Русское общество», у которого тоже ничего нет: так, ходят по домам, собирают пожертвования деньгами, платьем, придут вероятно и к вам, устраивают раза два в сезон благотворительные вечера и в результате дают человеку пяти-шести пособия не свыше ста франков в месяц в продолжение трех или четырех зимних месяцев, а число нуждающихся от этого только растет: слышат, что в Давосе дают пособия, и едут в надежде «как-нибудь» устроиться, — ведь умирать-то не хочется, — а из-за этих нищенских подачек кипят интриги, дразги: 1905 год выбросил за границу множество элементов, не всегда доброкачественных, и вот эти-то элементы бросают тень на всех. Европейцы вообще относятся к русским с пренебрежением, обидным для нашего национального самолюбия. Что поделаешь? Одному бедняку-эмигранту дали пожертвованный хороший костюм, а он опять ходит в прежних лохмотьях. Его спрашивают: «Маслий, — украинская такая фамилия, — отчего вы не носите нового костюма?» — «Та я ж не дурак! — отвечает украинец. — Я его буду носить, колы вернусь до Украины, а здесь треба воздействовать на буржуазную мораль!» Ха-ха! Ей-богу, ведь так и сказал! Другой живет в Давосе уже три года, все время хитритается получать пособия, а теперь выписал совершенно здоровую жену и ей тоже выхлопотал стипендию. Между тем масса нуждаю-

щихся больных остается без всякой помощи.

Редактор погладил бороду и усмехнулся.

— А то приехал один шикарный молодой человек, поселился в «Кургаузе», кутил, играл в карты, занимал деньги у всех, даже у лакеев, по счетам не платил, а потом положил кирпичей в пустой чемодан и без чемодана удрал из Швейцарии. Далеко не уехал, арестовали где-то в Италии. Конечно это — единицы и не эмигранты, а просто жулики, но европейцы все ставят в счет эмигрантам, не любят русских, слишком уж бедны мы и безалаберны при этом. Общая картина такая: болезнь, полная беспомощность, праздность, лень, бедность, тунеядство и наконец нежелание выйти из этого состояния.

Валерьян, с интересом слушая красивого человека, возразил, что ведь не все эмигранты таковы, что в эмиграции жили крупные деятели, знаменитые революционеры, представители различных политических партий, оставившие Россию после разгрома революции 1905 года.

Абрамов отпил кофе, покачал бородой и согласился:

— Ну конечно не все! Вот и я например ведь тоже бедняк-эмигрант, болен серьезно и давно, голодал здесь годы, но никогда не обращался за помощью к «Русскому обществу»! Слишком уж это унижительно! Брался за работу, не симпатичную мне, занимался коммерцией и все-таки ухищрялся обойтись без общественной благотворительности. Живу, работаю и даже, можно сказать, устроился! Тут нужны не эти обидные подачки, нужна русская дешевая санатория. Я давно ношусь с этой мыслью и верю, что когда-нибудь она осуществится, — слишком больно видеть, как страдают здесь русские. Нужно поднять этот вопрос в России, в печати, привлечь к делу людей с именами, известных врачей, профессоров, писателей, общественных деятелей, изыскать средства...

Абрамов долго говорил на эту тему — о создании санатории, о бедствиях эмиграции, о мечте начать за границей русский художественный журнал, причем

намекнул, что при содействии Семова можно было бы и денег достать на это дело.

— Не торопитесь с отъездом, — сказал он просительно. — Вам, как художнику, Давос даст новые впечатления, возбудит новые чувства и мысли... Может быть, даже вдохновитесь на новую картину... Если же побываете в Женеве или на Ривьере, вероятно встретитесь с большими людьми: там совсем не то, что в Давосе, — здесь мелочь, отработанный лар.

Валерьян с невольным сочувствием слушал этого живого, кипучего, энергичного человека, приговоренного к пожизненной добровольной ссылке в Давос.

В это время вернулся Галин и сообщил, что виделся с доктором. Художник с женой сегодня же может переселиться в его санаторию.

— Прекрасно! — сказал Абрамов, вставая. — Устраивайтесь, а вечером соберемся у меня в редакции: ведь надо же отпраздновать ваш приезд!

Санатория отличалась от гостиницы только тишиной и строгим режимом. Доктор — серьезный немец — долго выстукивал и выслушивал грудь Наташи, определил у нее начало туберкулеза, о чем и заявил совершенно спокойно.

Когда они остались вдвоем, Наташа неожиданно заплакала, прижавшись головой к плечу Валерьяна. Лицо ее приняло жалкое, детское выражение. Это плачущее, беспомощное лицо невозможно было видеть равнодушно.

— Одного ребенка отняла могила, — рыдала Наташа, — другого отняли люди... ты уедешь... бросишь здесь... я не поправлюсь, умру!

Валерьян прижал ее лицо, облитое слезами, бесконечно любимое, к своей груди, гладил ее золотистые густые волосы и утешал, как мог. Чувствовал, что и сам не может бросить ее здесь: ехать? куда? зачем?.. Работать? Вряд ли что выйдет: разлука с больной Наташей будет постоянной мукой... ребенок отдан на попечение такого человека, как безумная мать жены... Работать по-настоящему можно только в здоровой и нормальной обстановке, возврат которой зависит от выздоровления Наташи. Когда

Наташа будет у него на глазах, можно хоть что-нибудь делать, в крайнем случае — издавать этот журнал, о котором говорил Абрамов, да наконец пусть лучше пропадет еще один год, деньги пока еще есть, лишь бы спасти ее от смерти, лишь бы она жива осталась!

— Ну, не плачь же, не плачь! — утешал он ее, как ребенка. — Я уже решил... никуда не поеду, буду работать здесь!..

И начал рассказывать о художественном журнале, о том, что эмигрантская жизнь интересует его как материал для будущих картин, что он сумеет работать здесь лучше, чем оставшись один в Петербурге, что, обжившись здесь, можно и ребенка выписать.

Лицо Наташи просветлело. В мечтах и разговорах они просидели до звонка к общему ужину. Но Наташа попрежнему боялась большого стечения людей.

Она ужаснулась, когда узнала, что за ужином в столовой собирается полтора человека. Валерьян пошел просить, чтобы ужин подали в комнату Наташе, как больной, это было разрешено, но Валерьяна попросили спуститься в столовую.

Шумный ужин за громадным столом во весь зал, залитый электричеством, подходил к торжественному банкету. В столовой стоял смутный, разноязычный гул.

После ужина Наташа обязана была лежать в меховом мешке на балконе при свете электрической лампочки. В одиннадцать двери санатории запирались. Над городом рано спустилась темная зимняя ночь, но весь Давос сиял от электрических огней, которыми вдруг осветились многоэтажные ярусы балконов...

Валерьян отыскал редакцию в небольшом, простеньком пансионе: редакция и «бюро» помещались в одной маленькой, тесной комнате-мансарде, под чердаком третьего этажа, а в соседней комнатке оказался и сам редактор, кипятивший что-то на керосинке; приход художника он встретил веселым смехом.

Кроме Абрамова и Галина, в редакции оказался высокий и худой человек в сером пиджачном костюме, с бледным,

сурово-добродушным лицом, украшенным пушистыми, закрученными сверху усами.

— Евсей Тимофеев, — представился огромный человек хрипатым голосом, — приват-доцент зоологии и эмигрант конечно!..

Абрамов поставил на стол четыре больших кружки темного мюнхенского пива и несколько бутербродов с ветчиной.

— В честь вашего приезда — выпьем! — сказал он, поднимая кружку и чокаясь со всеми. — За Россию, за ее будущее, за наше возвращение!..

— Эх! — задумчиво воскликнул приват-доцент, отхлебнув из кружки и крепко стукнув ею о стол, — хоть бы помереть, да в России, а не здесь, среди европейских культурных отельщиков!.. Надоела эта жизнь эмигрантская, треугольная: куда ни кинь — все клин!..

— Нет, Евсей, — возразил Абрамов, — если доживем до возвращения в Россию, то не умирать туда поедем, а бороться за новую жизнь!..

Евсей помолчал и мрачно добавил:

— Вторая революция? Да! Если умирать, то лучше на баррикадах, чорт возьми!..

— У вас героическая наружность! — сказал ему художник. — Вы похожи на баряга или викинга: что-то северное, скандинавское...

Доцент засмеялся.

— Фантазия художника! Честь имею рекомендоваться — потомственный русский крестьянин Вологодской губернии, окончил Харьковский университет и оставлен при нем доцентом... Не случись 1905 года, был бы профессором теперь... Впрочем вы чутьем что-то угадали: я действительно плавал по Ледовитому океану, — участвовал в научной экспедиции, довольно неудачной.

— Как же вы в эмиграции оказались?..

— Обыкновенно!.. Нашумели в пятом-то году, и пришлось убежать... Когда через границу переходил, на кордон наткнулся... ранен был в грудь... иначе зажил, як на собаці!.. Живу теперь на Ривьере, в Виллафранке, наукой торгуем... есть там, знаете ли, русской мор-

ская лаборатория... да вот что-то гайка ослабла, и кишка не действует: приехал сюда немножко починиться...

Разговор сразу разбился на две группы: Абрамов и Галин заспорили о России.

— Ну, пусть она некультурна, бедна, дика, — горячо возражал студент, — много там великого свинства, ужаса и рабства, но ведь все это утопает в страдании, а недостатки русских людей искупаются их незащищенностью! Ах, эти чеховские герои, мягкотелые русские люди! Насколько они все-таки выше душой всех этих здешних культурных мешан, для которых комфорт и деньги — все!.. Покажите европейцу настоящий русский рубль, и он побегит за вами, будет услужлив, вежлив, галантен! И все за рубль! Ну, а когда нет рубля, тогда он и груб, и невежлив, и презирает вас! Ненавижу Европу!

— Ну, на чеховских героях далеко не уедешь! — качал Абрамов золотой бородой — Жалкие герои!.. Жизнь создаст новых, настоящих, полную противоположность им!.. Их даст народ! Выдвинется новый слой снизу, из тех пластов, которые еще не жили, но хотят жить!..

— А вот мы спросим свежего человека! — вмешался Евсей. — Вы — художник, следовательно, человек беспристрастный и наблюдательный!.. Как живет интеллигенция больших городов, что можно уловить нового в искусстве, литературе, каковы там настроения?

Валерьян смутился.

— Право, мне трудно ответить на ваши вопросы!.. Я несколько посторонний человек для общественных настроений, многого в них не понимаю!.. Например не понимаю успеха новых исканий в живописи и литературе: знаете, что в них воспевается? Худосочие, умирание, одним словом, декаданс! В моде песенки Вертинского: «Ваши пальцы пахнут ладаном», и так далее!.. Это нравится, этим увлекаются, почему-то принимают близко к сердцу!.. Модные художники рисуют не живых людей, а удавленников каких-то! Нравятся стихи и рассказы о смерти и безумии!.. Я из другой области художник, мне нравится сильное тело, солнце и жизнь, но мое твор-

чество и мне подобных ценится не интеллигенцией, не утонченными знатоками, а какими-то другими слоями публики, на которую принято смотреть сверху. То же и в музыке... У нас есть великие музыканты, их уважают, но ими не увлекаются, зато многих волнует музыкальный декаданс, разложение стиха, размера, искажение гармонии. В театре идет искание нового, ломка старого; Шаляпин первый сломал оперные ходы, но он сделал это органически, вследствие своей огромности, а сам принадлежит к старому искусству, появился на переломе, расчистил путь. Вообще в искусстве и литературе идейно происходит революция. Рядом с подлинным обновлением чувствуется умирание старого... Публике лож и партера по душе мучительные пьесы, изображающие разложение души, семьи, морали: это почему-то нравится, это любят до страдания, до психопатии... Одним словом, буржуй потерял своего старого, доброго бога, который всегда прощал его. Приближается сердитый пророк Илья, никого не прощающий, несущий отмщение...

— Ага! — сверкая глазами, вскричал студент, — корчится буржуазная публика! Это хорошо!..

— Но, с другой стороны, — продолжал художник, — когда попадаешь в провинцию, невольно ощущаешь необыкновенный рост жизни!.. Растут и богатют города, насколько я заметил, земля от дворян-помещиков переходит к купцам и кулакам... Чувствуется огромный процесс, происходящий в глубине страны... жадный аппетит к жизни... все кругом как будто трещит от пробудившихся желаний. Дети ссорятся с отцами в каждой русской семье: не только интеллигентской или буржуазной, но и в крестьянской, идет развал и, пожалуй, тоже разложение, но потому и развал, что новые силы выпирают из-под земли! Странно, все чего-то ждут: одни — беды, другие — молочных рек с кисельными берегами... Любимые разговоры — грядущая революция!

— Это — добрые признаки, так сказать, первый звонок! — раздумчиво сказал Абрамов.

В наступившем молчании студент тихонько мурлыкал куплет из старой студенческой песни:

Россия, Россия, жаль мне тебя,
Бедная, горькая участь твоя!..

— Да, Россия! — со вздохом оказал Абрамов. — Отсюда, из чужбины, кажется она неизменно прекрасной, и все ей прощаешь... Лежишь иногда здесь в нелепом меховом мешке между небом и землей, думаешь: куда это она нас выгнала, наша милая родина? Вспоминается Петербург, петербургские знакомые, разговоры о русской жизни, литературе... опера, любые пьесы, собрания, лекции... кипучая жизнь... Или вдруг вспомнится Волга, волжские пароходы, Жигулевские горы, широкие степи, волжские и степные люди и молодость наша, погибшая там... вспомнится крымское море, дикий берег... виноградники... и кажется, что опахнуло тебя теплым, бархатным, южным ветерком... представляется, что и природа-то там красивее, ласковее, чем в этой прославленной Европе!

— В стране отелей и отельщиков, всемирных лакеев... Эх!.. — взволнованно подхватил студент. — Вот приехал человек из родных краев, и повеяло прежним!

— А мы создадим новое! — возразил Абрамов.

В маленькой комнате немецкого пансиона в Швейцарии, на высоте тысячи метров, за тысячи верст от России, Валерьяну странно было слушать глухие, надорванно-чахоточные, вечно спорящие голоса русских людей.

Он вышел на балкон. Весь Давос сиял маленькими разноцветными огоньками: на балконах все еще лежали больные, каждый со своим огоньком, — делали вечерний «лигатур». Не разглядеть в этом море мерцающих огоньков, который из них — Наташа...

Один за другим огоньки начали гаснуть в черном океане тьмы. Было грустно среди глубоких снегов и холодных гор молчаливой, равнодушной чужбины.

II

Лазурная морская даль горит под солнцем, а по ней, то появляясь, то исчезая, мелькают белые гривы волн.

Залив образуется между маленьким зеленым полуостровом Сен-Жен с белым маяком на конце, выдающимся в море, и с другой стороны — мысом, где на берегу стоит бывшая итальянская тюрьма — мрачное средневековое здание. К заливу, по склону горы, до самых волн, спускается крохотный городок — Виллафранка.

Это — рыбацкий поселок с целым рядом кабачков, специально для солдат и матросов, которыми по временам наводняется Виллафранка, когда на рейде стоит корабль или с гор спускается батальон.

Вдали, в нескольких верстах, белеет Ницца, а за полуостровом начинаются виллы и санатории, виден высокий берег княжества Монако.

Там идет иная жизнь: жизнь «блестящей» Французской Ривьеры, жизнь богатых, нарядных, «отдыхающих», играющих в рулетку. Отголоски этой жизни доносятся сюда: ежеминутно мчатся поезда, трамваи, автомобили. Эта жизнь проносится мимо Виллафранки, как нечто чуждое ее тишине и бедности.

С моря Виллафранка очень красива: она словно высечена ступами и террасами в крутой горе. Старые, грязные, прокоптелые здания тесно громоздятся одно над другим, плоские кровли нижних домов служат улицами для верхних. Улицы — узкие, как щели, неправильные, кривые, темные, иногда имеющие вид туннелей, так как над ними устроены своды, а на сводах — опять дома.

Есть в этом гнезде своеобразная живописность: от него веет романтикой старой Италии. Говорят, что начало ему положили пираты. Это они построили мрачные здания с темными кривыми переходами и маленькими, словно потайными, дверями.

На набережной, выложенной большими каменными плитами, изъеденными временем и волнами, ширина которой — пять шагов, в ряду кабачков и кофеен

стоит маленький — в два этажа — отельчик «Maison d'or» («Золотой дом») с двумя столиками у дверей на набережной.

В каменные плиты, поросшие влажным зеленым мхом, плещут ярколазурные волны. В бухте качаются рыбацкие лодки, а на рейде стоит французский броненосец, черный, стройный, словно вылитый из цельной стали.

... Валерьян проснулся в маленькой комнатке наверху «Золотого дома» и некоторое время лежал без движения.

Потом он встал, открыл окно: в комнату врывается волна золотого света, море плещется в нескольких шагах от крыльца, и тут же разостланы для просушки тонкие и частые рыбацкие сети. У берега на своем месте стоит «бото» — утлый челн, взятый им напрокат у старого рыбака.

Вдали, как сказочный замок, белеет дворец бельгийского короля, обнесенный зубчатой стеной. Король выбрал самое красивое место на полуострове, видно, не лишен был вкуса этот буржуа с длинной бородой, который хорошо играл на бирже, плохо заботился о подданных и был не в ладах со своими дочерьми.

Художник оделся в легкий летний костюм, взял шляпу и спустился по лестнице, рассеянно напевая собственную импровизацию: «Хорошо быть королем!»

Сел у дверей за одним из столиков, закурил дешевую сигару, взглянул вверх, на окно Наташи: ставень закрыт; значит, еще не проснулась. Антонио — единственный лакей отеля — принес утреннее кофе. Это — старый итальянец, еле передвигающий ноги, но во фраке и с нафабранными черной краской усами. Объясняется с Валерьяном, как с глухонемым, — мелкими выразительными жестами.

По набережной бегают сын, Ленька, гоняя палочкой обруч.

Кончена давосская жизнь! Наташе разрешили спуститься с гор и провести весну на Ривьере. Но она конечно мечтает совсем увильнуть от возвращения в Давос. Журнал в Давосе влачит жалкое существование и вряд ли дотянет до осени: дивиденды грошевые. Из России

обещали выслать пятьсот рублей—в последний раз: требуют прибытия — для распутывания запутанных денежных дел. Придется поехать, как только вышлют деньги.

Ленька бросил обруч и залез к отцу на колени. Он раскраснелся, глаза блестят и смеются. Наклоняется к уху: — Поедем на лодке, куда мамка спит!

— Пожалуй! Только куда бы нам съездить? На отлогий бережок или к дяде Евсею?

Решили ехать к Евсею, в лабораторию, которая существует теперь в здании прежней тюрьмы. Там занимается наукой их общий друг Евсей.

Сели в бото, отчалили, опасно глядя на закрытое окно: Наташа боится отпускать Леньку в море.

Мальчик схватился за весла, — гребет стоя, опираясь ногой о скамейку. Отцу предоставил руль и сам улыбается от счастья.

Они отехали далеко, когда открылось окно, а в нем появилась ленькина мама, всплеснувшая руками.

Через полчаса они осторожно причалили к маленькому молу угрюмого здания с двумя рядами продолговатых окон, привязали бото и через калитку железных ворот вошли во двор, поросший травой. За стеклом двора виднелся маленький садик. Спустились в нижний этаж, в пустой продолговатый сарай с истертым каменным полом. Когда-то здесь томились закованные в цепи узники, теперь здание уступлено под русскую морскую лабораторию.

В полуподвальной комнате, находящейся ниже уровня моря, устроен аквариум: в одной стене ее, в особых помещениях, за толстыми стеклами, плавают жители моря: именно по этой причине Ленька любит ездить «к дяде Евсею».

— Пойдем смотреть осьминогов, — говорит он отцу.

Дверь из соседней комнаты открывается, и в ней показывается огромная худая фигура Евсея в вечном сером костюме.

— А! гости, — улыбаясь в белокурые усы, хрипло говорит он. Широким жестом длинной руки он манит их к себе.

Гости поднялись по каменным ступеням в светлую комнату, расположенную над морем: в высокие окна видно, как в них заглядывают гребни пенистых волн. В комнате — длинный стол с непонятными приборами, стеклянный шкаф и продавленный диван. В смежной комнате за дверью слышатся голоса: там занимаются студенты, приехавшие из России на практические занятия в лабораторию.

— Время к завтраку! — говорит Валерьян, вынимая часы. — Поедем к нам на лодке!

— Подождите немножко! — Евсей убирает что-то со стола в шкаф. — Сейчас у нас кончится!

Гости сели на диван. Евсей у стола набивает табаком свою коротенькую трубку.

— Эх, ты, жизнь треугольная! — говорит он тоном вступления.

— А что?

— Да фрака нет! Жду свой старый фрак из России — и все нет!

— А на кой чорт тебе фрак?

— А разве я не говорил, что я тоже, как все здешние профессора, приглашен на ежегодный обед к монакскому князю?

— Нет, не говорил.

— Ну, вот. Приглашен. Если получу фрак, — поеду. Там, брат, все во фраках будут! Да! Дело, видишь ли, в том, что за меня хлопочут у этого неограниченного монарха: можно заделаться придворным зоологом!

— Не верится мне что-то!

— Да я и сам мало верю в успех, уж сколько раз так срывалось: как узнают, что русский эмигрант, так и атаде! Но чем чорт не шутит, и чего не выдумает наш брат, мастеровой? Ведь я здесь занимаюсь, так сказать, из любви к науке: разве что настроишь научную статейку, вот и весь заработок, на табак!

Леньке неинтересно слушать. Он залез к Евсею на колени, уселся поудобнее и погладил пальцами его усатое лицо.

— Скушно! — капризно затынул он. — Расскажи что-нибудь!

— Гм! Что же я тебе расскажу?

— Ну, сказку!

— Гм! Сказку! Легко сказать!

Евсей, подобно всем бродячим бесе-
мейным людям, не помнит ни одной дет-
ской сказки, но не хочет ударить в
грязь лицом.

Он покрутил ус, помолчал.

— Ба! Расскажу тебе про Ледовитый
океан! Хочешь?

— Хочу!

— Гм!

Раскурил трубку и начал, выпуская
дым в сторону:

— Вот, знаешь ли, отправились мы
на Север, в научную экспедицию. За-
прягли в сани много собак, взяли про-
визию, оделись в оленьи шубы мехом
вверх, — знаешь, как у шоферов, —
надели шапки с наушниками, меховые
сапоги: там холодно, брат, везде снег и
даже море около берега на много верст
замерзло, а по морю агромадные
льдины плавают — с гору каждая льди-
на. Поехали мы по льду. Ехали-ежали,
вдруг, глядим, а лед оторвало от бере-
га и понесло в открытое море! Испуга-
лись мы, а ничего не попишешь, — унес-
ло! Плыдем по Ледовитому океану на
льдине! Кругом волны, как холмы,
океан мечется, будто седой, взбешенный
такой старик.

Евсей развел руками, сделал страшное
лицо, изображая взбешенный океан.

— Кидается такими водяными гра-
мадами, только гул идет! Моржи игра-
ют и на нас поглядывают: лысые такие,
усы у них вниз, с головы-то на людей
похожи!

— На тебя! — дружески вставляет
Ленька.

— Отчасти!.. Морж, он вот такой,
большой, у него клыки есть, случается,
схватит клыками за лодку с охотника-
ми — и лодку перевернет!

Евсей отклоняется от рассказа, сам
увлекаясь описанием моржа. Ленька
смотрит ему в лицо и внимательно слу-
шает.

— Ну-с, носило нас таким манером
целый день и ночь и еще много дней и
ночей. Прошло три недели, а нас все
носит по океану... А океан очень боль-
шой, много больше вот этого моря! Лета
там не бывает, а всегда зима, одним

словом, очень ледовитый океан! С'ели
мы всю провизию, с'ели всех собак...

— Собак не едят! — возражает
Ленька.

— Едят, брат, в некоторых случаях...
Ну, вот!.. С'ели собак. Осталось не-
много собачьего мяса. А нас было восем-
надцать человек. Голодные все и страсть
как озябли. Видим, скоро все нам с го-
лоду помирать придется. А был у нас
старший, набольший, вроде начальника.
Вот он и говорит: «Метнемте жребий,
кому помереть, кому жить оставаться!
Нужно, — говорит, — только шесте-
рых оставить, а остальные пускай сами
себя из ружья убьют!»

— Зачем?

— Чудак! Да ведь шестерым-то на-
дольше провизии хватит! Ну, вот тут я
и сказал: «Братцы! Коли помирать, так
уж лучше всем вместе, а не этак! Нехо-
рошо этак-то! Может быть, еще не все
пропало, как-нибудь выкрутимся из
беды!»

Меня все послушали. Действительно,
в этот же день переменялся ветер, и нас
неожиданно к берегу прибило, да прямо
к человеческому жилью! Все мы спас-
лись и остались живы, только мно-
гие простудились и захворали. Я тоже
грудь тогда застудил и сейчас все
еще немножко кашляю, но в общем
зажило, як на собацы! Теперь у тепло-
го моря из кулька в рогожку поправ-
ляюсь!..

Евсей выколотил погасшую трубку и,
набивая новую, закончил так:

— Жизнь, брат Ленька, играет чело-
веком: человек норовит ускользнуть, а
она его ловит: поймает, — и кончена
игра; жизнь, брат, она треугольная, ку-
да ни кинь, все клин!

Валерьян, тоже внимательно слуша-
вший, при последней фразе расхохотался,
но на мальчика этот кусочек жизни, рас-
сказанный вместо сказки, произвел не-
ожиданно сильное впечатление. Он гла-
дил руку Евсея и внимательно рассма-
тривал его усатое, большое, исхудалое
лицо.

В соседней комнате сразу поднялся
шум, говор, смех, шарканье ног и хло-
панье дверей: студенты кончили заня-
тия.

Вышли прежним путем к молу, сели в лодку и отчалили. Теперь уже Валерьян сидел на веслах, Евсей правил, а мальчишка чинно сидел на лавочке лицом к Евсею: он все еще был под впечатлением рассказа и по-новому, с интересом и удивлением, рассматривал сидевшую против него огромную фигуру.

Наташа сидела на каменной скамье на берегу залива против дверей «Золотого дома».

С тревогой посматривала вдаль на морские волны и перечитывала только что полученное письмо:

«Мы опять в Лондоне, — писала Варвара. — Наконец-таки возвратились в нашу старую, добрую Англию, но возвратились, как я и ожидала, ни с чем!

С родителем расстались в Париже, откуда он отправился во-свояси. Представь себе, положил в Лионский банк двести тысяч, а нам не дал ни гроша, только на дорогу! До сих пор не могу притти в себя от омерзения к собственному родителю: Плюшкин! Иудушка! Ростовщик! Кажется, у Гоголя есть фантастический рассказ о портрете ростовщика с глазами дьявола, так это — он! Посоветуй твоему мужу взять эту тему, но вероятно и ему противно будет изображать отвратительную физию скряги, продавшего деньгам свою душу, если только она когда-нибудь была у него! Ну, что тут особенного — помочь хоть немного дочери-эмигрантке, ведь мы живем, как нищие! Но если бы ты видела, как он испугался за свою мощну, как затрясся от омерзительной злости! Все пошло к чорту, весь Париж, со всеми его достопримечательностями, до которых ему конечно, как до прошлогоднего снега! И ни капли чувства к родным детям, перекаленным им из-за гнусной скверности, больным, беспомощным, не приспособленным к жизни благодаря его бессердечию и бездушию!

Знаешь ли ты, что он почти все свои деньги роздал в рост, под заклад дворянских имений! О, как рада я буду, если грянет революция (ведь грянет же она когда-нибудь!) и у него отнимут все эти имения, дома и единственного его

бога — деньги! Пусть ни мне, ни всем нам ничего не достанется, что мы теряем? Все равно я всю жизнь прожила в нужде и бедности, ты тоже ни гроша в приданое не получила, как голодные собаки, униженно получаем грошевые подачки, лишь бы с голоду не умереть! А ведь все нас считают богатыми!

О, если бы революция сделала его нищим, собирающим милостыню, какое было бы в этом справедливое отмщение судьбы за нас за всех, кого он разорил и обидел! Прости меня, но такого отца я бы, кажется, собственными руками задушила! Никогда еще я не ненавидела его так, как после этой поездки! Он власть наиздевался над нами!.. Если бы дело было только во мне одной, — наплевать, не привыкать стать!.. Но он унизил человека, страдавшего за великую идею, которого я люблю и уважаю, которого знает весь мир! Этого я никогда не забуду и не прощу!.. Ведь ему ничего не стоило вышвырнуть какую-нибудь тысячу! Но он отказал грубо, как пощечину дал! О, я отомщу ему за это, за всю мою изломанную жизнь, лишь бы представился случай! Не удастся отомстить мне, — отомстит сама судьба за его служение дьяволу денег, отомстит, к сожалению, быть может, нашей гибелью и гибелью наших детей до десятого колена!.. Тьфу, как мерзко на душе!..

Я больна: развивается ревматизм от прекрасного климата старой, доброй Англии».

... Жаль было озлобленную Варвару, но ведь и наташино положение не лучше: Валерьян совсем выбился из сил, не может работать, денежные дела расстроены, зовут в Россию... Ах, если бы и ей поехать вместе с ним, но без разрешения докторов ее туда не пустят ни муж, ни родные!.. Как только уехала из Давоса, опять похудела... Поведут к докторам — и так без конца. А отец? Надо же войти в его положение: в семье — давнишний разлад, все больны, братья тоже сюда едут, — всем нужны деньги... Надоело ему: всю жизнь замужние и женатые дети деньги с него тянут, а его самого никто не любит...

Наташа не могла разобраться в нудной канители отцовской семьи, знала только одно, что, выходя замуж, надеялась обойтись без помощи отца, но ее болезнь как-то вышибла Валерьяна из колеи, и он не зарабатывает теперь прежних больших гонораров. Жил здесь для нее до тех пор, пока были деньги. Теперь денег нет.

Братья поженились и как-то отделились от нее. Жен их она совсем не знает... От Мити была недавно открытка... Едут с женой в Ниццу...

Наташа склонила голову на руки. Глаза ее затуманились слезами.

... Кто-то подехал к «Золотому дому» на извозчике: Наташа подняла голову и ахнула. Из экипажа вылезал длинный Митя, Анна выскочила раньше и кивала ей головой, улыбаясь...

Наташа пошла им навстречу. По обычаям черновской семьи, родственная встреча произошла без всякой чувствительности.

— Хотим немножко пожить с вами, а потом куда-нибудь в санаторию! — говорила Анна. — Ждите еще другую пару: недели через две Костя приедет с Зинаидой!..

Димитрий был попрежнему худ, молчалив и с виду мрачен. Наташа любила брата и была искренно рада его приезду. Анну она едва знала и плохо помнила... Приходилось знакомиться ближе. Повела их наверх, где только одна комната оставалась свободной.

— А где же твое семейство? — спросил, озираясь, Димитрий.

Наташа показала в окно: из лодки вылезали на берег Валерьян, Евсей и Ленка.

Димитрий из окна помахал им шляпой.

Через десять минут все они сидели внизу, в столовой, за завтраком.

Больше всех говорил Евсей.

— Я, собственно, живу в «Эдене», — объяснил он приезжим, — но там кормят так, что в рот ничего не возьмешь: поковыряешь вилкой и уходишь голодным!..

— Как же вы живете в таком отеле? — спрашивала Анна.

— А ничего! Обтерпелся! Зимой и весной здесь еще с полгоря: иностранец какой ни на есть водится — отельщики торгуют и пансион держат. А вот летом прямо жутко, — тишина мертвая, эскадры нет, батальон уходит в горы, кабатчики плачут и стонут: отели закрываются, остается местная публика и ждет нового прилета. Это нечто вроде зоологической спячки, только не на зиму, а на лето. Одним словом, жизнь наступает треугольная! Прошлым летом я так-то и остался один во всей Вилла-Франке: «Эден» закрылся, — я переселился в лабораторию. Пока были кое-какие франки, — питался яйцами и молоком. Потом франки прекратились. Дошло дело до того, что хошь в петлю: ниоткуда ни сантимата, да и задолжался кругом! И стало мне весьма огорчительно. С голодухи, что ли, открылось кровохарканье, температура тридцать девять, гайка ослабла, кишка не действует! Свалился, лежу один в пустой лаборатории, напиток подать некому, губы запеклись, нет ни души кругом, околевай, как собака!

Евсей рассказывал все это совершенно спокойно, обращаясь главным образом к Анне и запивая завтрак дешевым, дрянным вином, какое пили они обыкновенно с Валерьяном.

Димитрий спросил себе бургундского и, плохо слушая рассказы Евсея,пил один, никому не предлагая из своей бутылки: ему не приходило в голову, что ученый и художник пьют дешевое вино из-за безденежья.

Сидя за одним столом с приезжими и дружелюбно с ними разговаривая, они чувствовали себя пролетариями в обществе беспечных буржуа, ощущали как бы классовую рознь в скрытом виде.

Евсей все чаще и выразительнее поглядывал на осанистую бутылку Димитрия, переводя недоумевающий взгляд на Валерьяна.

— Ах, как это несправедливо! — с равнодушным участием отозвалась Анна на рассказ Евсея.

— Да, мадам, на свете нет справедливости! Я — зоолог и в мире людей вижу такую же зоологическую борьбу, как и в мире зверей! Редко встречаются до-

брые самаряне, освежающие запекшиеся уста мытаря!

— Ну, и что же, вы все-таки поправились? Кто-нибудь помог вам?

— Конечно! — вдохновенно воскликнул Евсей. — Отвалился! Зажило, як на собаки! Встал на ноги и задумал одно дело: стал торговать наукой! Чего не выдумает наш брат, мастеровой? Стал я заготавливать у моря всякие препараты, материалы и продавать их сухопутным ученым: из водяных-то ведь только один я тут остался! И как-раз приехал старый приятель, московский профессор. «Ты, — говорит, — водяной, что ли, теперь?» — Водяной, мол! Ну, и выручил меня: сделал заказ, аванс дал!

«Водяной» набил трубку табаком, аппетитно ее раскурил и переменял тему разговора.

— Сегодня с двух часов на полуострове около маяка будет авиация! — обратился он к Анне и Димитрию. — Вам, как приезжим, да и тебе, Валерьян, и вам, Наталья Силовна, — всем советую посмотреть, давно здесь авиации не было! Из Ниццы прилетят аэропланы, обогнут маяк и полетят обратно. К маяку соберется толпа: будут петь уличные певцы, играть музыканты... Не упускайте случая! Давайте разделимся на две группы: мы с Валерьяном перемахнем через залив на лодке, а так как лодка мала и Наталья Силовна боится за Леньку, то все остальные жарьте трамваем! Сбор назначим в ресторане у маяка!

План Евсея был единогласно принят, и по окончании завтрака Валерьян с зоологом сели в бото.

На середине залива их неожиданно задержало приключение: лодка зацепилась рулем за рыбацкие сети, и они долго кружились на месте, пока не выпростали руль. Поэтому, когда поднялись к маяку, там уже оказалась густая толпа зевак, а на условленном месте компанию они не застали.

Толпа оновала взад и вперед по лужайке, усыпала изгороди, тропинки, уступы скал. Ходила продавцы прохладительных напитков, торговцы раковинами, открытками, безделушками, было

много мальчишек, в разных местах слышались музыка и пение.

Под тягучий аккомпанемент фисгармонии звучал прелестный женский голос: певица пела арию Джильды из «Риголетто». Пела она с большим искусством, чувствовалась школа: голос лился просто, свободно и плавно. Фисгармония с той же простотой и вкусом давала всю сложную музыку оркестра: замечательно пели эти неведомые, скрытые за густой толпой уличные артисты.

Евсей послушал и сказал:

— Мне кажется, я где-то уже слышал эту певицу!

Они протолкнулись сквозь густую толпу, потную, пеструю, залитую щедрым, ликующим солнцем, поближе к пению.

За клавишами старой маленькой фисгармонии, приспособленной к тому, чтобы ее носить на складной скамейке, сидел и играл слепой старик, бедно и грязно одетый. Рядом с ним лицом к толпе стояла и пела худая старуха в черном, бедном и запыленном платье, в дешевой соломенной шляпке, с истомленным, бледным лицом.

— Так и есть, это они, — сказал Евсей, — я их знаю, этих стариков, мне рассказывали их биографию: это, видишь ли, бывшие знаменитости, — она была когда-то примадонной королевского театра, а он — дирижером. Потом пришла старость, дирижер ослеп, у нее спал голос, оба сошли со сцены, и вот — конец.

Когда певица умолкла и стала обходить слушателей с тарелкой, в другом конце толпы раздались звуки арфы и запел другой женский голос: молодая девушка в ярком, кричащем наряде и сама ярко-красивая, смуглая, с черными глазами, пела сильно и страстно, принимая бравурные позы. Позади нее спокойно стоял давно небритый мужчина и аккомпанировал певице на плохой уличной арфе.

— Это — испанка! — сказал Евсей. — Я ее тоже знаю!

Едва умолкла испанка, как где-то в другом месте снова зазвучали струны: в толпе виднелся высокий молодой красавец-юноша с черными усиками, улыбаю-

щийся, в картузе с прямым козырьком, ухарски сдвинутом на затылок, и, аккомпанируя себе на звучной, гулкой гитаре, артистически, неподражаемо свистел соловьем. Его белые, ровные зубы сверкали, на здоровом, пышущем румянцем смуглом лице было написано беззаботное веселье. На самых высоких нотах он вдруг заливался канарейкой, а на нижних кричал селезнем.

Все это под гулкие аккорды металлических струн выходило у него великолепно, а беззаботная улыбка вызывала такие же улыбки у толпы.

Это был несомненно итальянец. Подражания птицам оказались только прелюдией к настоящему пению: обратив на себя внимание слушателей, он вдруг запел звучным баритональным тенором.

От Ниццы по морю приближалось к полуострову несколько миноносок, следовавших гуськом одна за другой, а над ними, высоко в небе, чуть виднелось прозрачное насекомое.

Все певцы и музыканты умолкли. Взоры толпы обратились туда. Евсей, посмотрев из-под ладони в даль блестящего моря, воскликнул:

— Стрекоза! Французский аэроплан впереди всех! Возьмет первый приз!

Стрекоза быстро увеличивалась в объеме, и уже слышно стало в воздухе ее ровное жужжание. Вслед за ней показались еще несколько летящих насекомых иной формы, а под ними, внизу, по лазурному шелку моря ползли друг за другом пять или шесть черных миноносок. Жужжание насекомых наконец превратилось в мощный гул, и к маяку с неожиданной быстротой подлетел дракон на распростертых крыльях. Около зеленой головы его, напоминавшей голову кузнечика, сидел неподвижно человек в жокейском картузике.

Дракон снизился, круто завернул к маяку, так, что одно крыло опустилось ниже другого, и, как птица, обогнул его над головами толпы.

Лица всех были подняты к небу. Мелькали шапки и поднятые руки, которыми махала ревущая толпа.

— Bravo! — с восторгом выла она. Француз был неподвижен, сидел в напряженной, согнутой позе. Толпе были видны только его голова и плечи. Почти никто не рассмотрел лица.

Авиатор быстро умчался, опускаясь к морю, а внизу, на море, миноноски заворачивали обратно, чтобы поспеть за ним.

Высоко под облаками появилась крохотная четырехугольная клетка и, все увеличиваясь, стала спускаться над маяком.

Послышалось жужжание мотора.

— Это наш, — объяснял Валерьяну зоолог, — русский аэроплан! Летит известный пилот. Знаю я его, простой рабочий, из машинистов, но отчаянная башка: всегда на высоту берет! Во время ветра никто из авиаторов не решается брать на высоту, только один он поднимается в облака. Из бахвальства поднимается, чтобы удаль свою показать! Когда-нибудь сломит шею!

Русский, следом за французом, круто и низко обогнул маяк, пролетая почти над самыми головами толпы, так что всем видно было его скуластое и крепкое лицо, большие руки рабочего. На оглушительные крики толпы нашел время сделать «ручкой».

— Знай наших! — гордо сказал вслед ему русский ученый Евсей. — Возьмет второй приз, а может быть, еще и стрекозу обгонит, разбойник!

Пилот, по своему обычаю, опять взмыл на необычайную высоту, его клеткообразный аэроплан сказочно превратился в комарика, едва заметного в облаках.

Началось волнующее состязание между комаром и стрекозой, летевшей низко над морем, как чайка, распластав неподвижные крылья. Казалось, что вот-вот она заденет крылом за серебряный гребень волны.

Вдруг что-то случилось. Высокий белый столб воды взметнулся над стрекозой, миноноски, следовавшие за ней, в беспорядке обгоняя друг друга, оставаясь за собой хвосты черного дыма, бросались вперед и сбились в кучу, как мухи. Стрекоза тонула.

Четырехугольная клетка, похожая на прозрачное насекомое, высоко в небе хищно промчалась над ней и скрылась из вида.

В публике началось волнение. Замелькали бинокли.

Но вот через две минуты над миноносцами в воздухе опять взмыла стрекоза и помчалась вслед за комаром, уже спускавшимся к Ницце. Между тем к маяку приближался новый аэроплан, за ним на некотором расстоянии плыли в небе и другие.

Авиация продолжалась.

— А ведь наш возьмет первый приз! — торжествовал Евсей. — Не догнать его теперь француз!

— Как быстро развивается авиация! — заметил Валерьян.

— Да, и все для войны! К войне готовятся! Будет каша когда-нибудь!.. Не проста упражняются.

— Пойдем поищем наших! — прервал его Валерьян.

— А и впрямь поищем! — лукаво прищуриваясь и нащупывая сантиметры в жилетном кармане, ответил Евсей. — Пойдем-ка в садик ресторана: чуется мое сердце, что твой свояк опять бургундское пьет!

Евсей наконец получил старый фрак из России — и весьма кстати: как-раз на этот день был назначен парадный обед у князя монакского.

В «Золотом доме» зоолог появился вечером, когда уже совсем стемнело и компания сидела в столовой за ужином. Евсей походил в этом костюме на утомленного трактирного официанта: вид у него был жалкий, измученный. Сразу было видно, что карьера придворного зоолога прошла мимо Евсея.

— Сорвалось? — кратко спросил художник.

— Полное фиаско! — прошептал Евсей, почти без чувств опускаясь на стул. — Куда ни кинь, все клин!..

Валерьян молча налил ему полный стакан вина — не бургундского, бургундское пил Митя. Освежившись вином, Евсей немного приободрился, но ненадолго: слишком уж мрачен и жалок

был вид его. Он расправил растрепанные белокурые усы и глубоко перевел дух.

— Сначала все шло хорошо, — тихим, слабым голосом начал он, — хлопотали за меня влиятельные лица, но как только обнаружилось, что я беглый, — крышка! И так везде и давно уж! Эх, жизнь треугольная!

Все молчали. Наташа с тревогой и болью на лице смотрела на несчастного зоолога. Дмитрий и Анна недоумевали.

Все поведение и вид Евсея выражали тихое, сдержанное отчаянье, которое, казалось, вот-вот вырвется наружу. Он мрачно посмотрел на митино бургундское и вдруг ни с того, ни с сего разразился неудержимой тирадой:

— Жрать нечего, — мрачно воскликнул Евсей при общем молчании, — да, я, не стыдясь, откровенно говорю: мне нечего жрать! Ведь вот все видят, что я прилично одет — и воротничок на мне, и галстук, и даже — ха-ха! — фр-рак, чорт его поберит-то! Я — приват-доцент зоологии, занимаюсь наукой, студенты относятся ко мне с почтением, профессора со мной в дружбе, но никто не знает, что мне нечего жрать, нечего! И нет никаких надежд ни на что! Семь лет мучаюсь за границей! Сначала помогали из России, теперь бросили! Был избран профессором в Харьковском университете и — пропадают здесь, как собака! Чорт бы побрал совсем эту культурную Европу! Хоть бы выбраться как-нибудь в Россию да отдаться в руки правительства: легче опять в ссылку пойти, чем голодать в этой шикарной Ривьере!

Лицо Евсея искажилось: он делал отчаянные усилия, чтобы не разрыдаться, и — не мог: схватил со стола салфетку, закрыл ею лицо и заплакал навзрыд: этот большой, могучий человек, не раз в своей жизни спокойно смотревший смерти в глаза, сердился на свои неуместные слезы, но не имел сил сдерживать их, — нервы его натянулись до предела еще, должно быть, на злополучном обеде у монакского князя, а теперь сразу ослабли!

Все растерялись.

Валерьян начал что-то бормотать, как бы извиняясь за него перед родственниками: это взорвало Евсея.

— Да молчи уж ты лучше, — крикнул он.

Наконец Евсей успокоился, стал извиняться: всему виной нервы, они у него начали пошаливать за последнее время.

Он встал, чтобы идти домой. Валерьян пошел проводить его.

Над заливом ярко светила луна. Море уснуло и сквозь сон бормотало что-то прибрежным камням, словно ожившим от лунного света.

Где-то в кабаке светился огонек, и оттуда ясно доносились дрожащие, нежно-певучие, хватающие за сердце, грустные трели мандолины.

Евсей остановился.

— Зайдем? — вопросительно сказал он Валерьяну.

Они вошли под темную арку и по каменной лестнице поднялись в верхнюю улицу, узкую, как туннель. Тусклый фонарь горел над входом грязного кабака. Он был полон солдат местного гарнизона. Все они сидели за маленькими столиками по-двое, по-трое, пили пиво и буднично коротали вечер: играли в домино, в карты, некоторые писали письма. Разговаривали вполголоса.

Пиво разносили две молодые, красивые девушки итальянского типа. В глубине комнаты — стойка с буфетом, на стойке — мандолина. В соседнюю комнату, в которой тоже виднелись солдаты, вела лестница в несколько ступеней.

Русские сели в уголок, за свободный стол. К ним тотчас же подошла одна из девушек — высокая, тонкая, с римским профилем. Евсей поздоровался с ней за руку, заговорил по-французски и представил художника. Она, улыбаясь, протянула руку Валерьяну. Рука была большая, сильная, шероховатая от куховной работы.

— Грог американ! — сказал Евсей кельнерше.

— Ого! — удивился художник.

— Ничего! Давай, брат, выпьем сегодня горячительного, чтобы в голову ударило, а иначе я не засну: совсем нервы не слушаются. Тяжелый у меня сегодня день, подкузьмил монашеский князь,

а главное, от жены из России плохое письмо получил.

— Что с ней?

Евсей махнул рукой.

— Э! Лучше не спрашивай!

Он закрыл глаза ладонью и тихо сказал, вздыхая:

— Помирает, — чахотка у нее!

Итальянка принесла два бокала, кипяток в кувшинчике и большой штоф американской марки с густой темновинищевой жидкостью. Третью бокалов она наполнила из штофа, остальное долила кипятком.

Они стали пить этот горячий и крепкий напиток маленькими глотками, и тотчас же по их жилам заструилась огненная теплота. Лица их зарумянились, повеселели.

— Скоро в России настанут лучшие времена! — мечтательно говорил Евсей. — Реакция должна дойти до своего предела, начнется революция: вот тогда-то, коли доживем, встретимся мы с тобой. Ты когда уезжаешь?

— Как только деньги получу.

— С женой?

— Неизвестно. Если отпустят доктора. Не отпустят, — один поеду: денежные дела плохи.

— Знаю. Но ведь у тебя тесть — купец богатый, у него бы занял?

Валерьян усмехнулся.

— Он дает ей, сколько нужно, на лечение, а я с ним денежных дел не имею... Не хочу одолжаться!..

— Это, положим, хорошо... Да ведь ты, если вернешься, сразу кучу денег заработаешь...

Евсей допил грог, спросил еще и, вздохнув, сказал:

— А старик-то у вас оригинальный, не купеческого типа, на Победоносцева похож... Государственный ум! Хе-хе!

— Да! С ним поговорить интересно, если только денег не просить!

— Хе-хе! А все-таки буржуазная родня у тебя! Димитрий в свое время почище тятеньки будет. Вот жена у тебя — действительно ангел, не от мира сего! И в кого только уродилась такая?

— В купеческих семьях это бывает — отщепенцы родителям: Алеша Карамазов в юбке!

— Верно! Странная русская жизнь, странные русские люди! Поглядишь, купец какой-нибудь всю жизнь деньги копит, а под конец в монастырь уйдет и все деньги попам завещает... Ваш впрочем не таков, но что-нибудь да отмочит. По-моему, капитал и земля должны принадлежать государству, а капиталистов в будущем совсем не надо!

— Ничего не имею против! — иронически согласился художник. — Не-приятный народ в личной жизни — ни себе, ни людям; ты не представляешь себе, какая у них всегда драма в семье!

— Желал бы я им мою драму испытать! — желчно воскликнул Евсей. — Ну, по третьей, что ли? Больше трех порций грогу не дадут, подумают, что мы — самоубийцы... А я бы и по четвертой выпил!..

Итальянка получила новый заказ, а Евсей впал в задумчивость.

— Поедешь в Россию, в Харьков на денек заверни, зайти к матери моей, я тебе адрес дам. Милейшая старушенция! Простая крестьянка, но сочувствует всем нашим идеям — понимает! Господи! Какой тебе будет почет, когда ты произнесешь ей мое имя! Да она не будет знать, где тебя посадить, чем тебя ублаготворить! Только ты ей ничего не говори о моей треугольной жизни — ни-ни! Ты ври ей! Ведь ты — художник, фантазии не занимать стать! Великолепно можешь наврать ей что-нибудь хорошее про меня! Будешь врать?

— Буду! — покорно сказал Валерьян.

Головы их слегка затуманились, на душе стало тепло и бодро. Валерьян уже чувствовал себя одной ногой в милой России и плохо слушал Евсея. Как сквозь туман, доносился до сознания длинный рассказ друга о жизни в ссылке, о девяťсот пятом годе, о бегстве через границу, когда в него стреляли солдаты...

А солдаты в кабаке продолжали игру в кости и карты. Итальянка брэнчала на мандолине. Один из молодых солдат встал в позу и запел веселую песенку. Голос у него был небольшой, и пел он, как поют на открытой сцене: жестикулируя, обращаясь к слушателям и поворачиваясь то в одну, то в другую сторо-

ну. Песенка была грациозна и, повидимому, легкомысленна. Кончив, он поклонился, и весь кабак ему зааплодировал.

Тотчас же встал другой.

Этот был постарше, с воинственным лицом и закрученными кверху широкими усами. Он пел военную песню, похожую на сигналы солдатского рожка, играющего утреннюю или вечернюю зорю. Ему тоже аплодировали. Кабак оживился.

Один за другим выступали новые певцы.

В кабак вошел, весело остановился на пороге красивый небольшой солдатик бравого вида, с живым, выразительным лицом, с фуражкой на затылке.

Он изобразил на лице комический вопросительный знак и на момент застыл в разудалой позе. При его появлении раздалась дружные хлопки. Очевидно это был общий любимец, «душа общества». Он тут же, около двери, запел хорошим тенором, с теми же плавными, красивыми жестами, как и все они, запел что-то любимое, заветное... Солдаты не выдержали и дружно подхватили припев.

Певец закончил эффектной нотой и красивым жестом руки, которая к стати обвилась вокруг талии проходившей мимо итальянки.

— Сразу видно талантливую личность! — с улыбкой заметил Валерьян! — Я рад, что случайно увидел образчик французской армии в ее мирном, гарнизонном быту!

— Как все это не похоже на неуклюжую и мрачную русскую жизнь! — откликнулся Евсей. — Всегда у нас там свара, злоба, ненависть всеобщая! Нигде в мире, ни в одной стране нет такой классовой — не борьбы, нет, а ненависти, как у нас в России! Ведь мужики и дворяне — это даже не классы, а расы, взаимно ненавидящие одна другую! Уж какая там свобода, какой свет, какой воздух? Ночь одна сплошная, ночь незакатная! Все эти славные парни и наши мужики в солдатских шинелях будут когда-нибудь пушечным мясом для разрешения международных вопросов.

Евсей встал, — во фраке и белом галстуке, — и обратился к солдатам с речью. Говорил долго, с пафосом, непонятным для Валерьяна, не знавшего французского языка.

III

Возвратясь из-за границы в Петербург, Валерьян с жаром принялся за работу. Между тем для художников реалистической школы, к которой примыкал Валерьян, наступало трудное время: за годы его отсутствия выросло еще прежде начавшееся течение в искусстве, совершенно отвергавшее реализм, и это течение сделалось модным, отвечавшим новым настроениям «передовой» публики, ценителей искусства и покупателей картин. Теперь художники писали призрачные, истощенные, болезненно-зеленые тела искривленных женщин с грифом скрипки взамен головы или мертвым черепом вместо улыбки. В живопись вошел призрак умирания, вырождения, бреда, безумия: это вызывало недоуменный интерес к новой, загадочной школе.

В моде были странные настроения мрачных, болезненных предчувствий: высшая часть образованного класса, для которого, в сущности, только и существовало такое искусство, как живопись, требовала от художников, музыкантов, писателей новых мотивов, близких ей. Неизвестно было: спрос породил предложение или художники чутьем угадали настроение упадочничества, к которому пришло фешенебельное общество, но художественные выставки и репродукции иллюстрированных журналов в момент возвращения Валерьяна были заполнены загадочными, непонятными, бредовыми произведениями молодых художников, как бы возненавидевших жизнь и возлюбивших смерть.

Успех этих неприятных, умышленно-несимметричных произведений, поднимавших бунт против реализма в живописи, показывал, что новые художники отражают нечто действительно существующее в настроениях общества, что они, как барометр, означают близость резкой перемены в погоде.

Рядом с ними реалистическая школа художников казалась хотя еще сильной, но устаревшей, не отвечавшей настроениям «новой» эпохи. Солнце, тепло, жизнь и радость красок прежних художников уже не совпадали с настроениями уныния и страха: в предсмертной тоске металась душа людей, потерявших спокойный аппетит к жизни, — от новых картин веяло запахом увядания, тлена.

Широкая публика не понимала этих произведений, пресса издевалась, но все невольно занималась тем новым и злобующим, что так быстро появилось на горизонте искусства.

Эти новые настроения сказывались не только в искусстве и литературе, но и в повседневной жизни: никогда еще в столице не было такого снобизма и обилия кутящей публики, — всюду деятельно работал новый вид богатых кабаков, где рекой лилось шампанское, танцовали «танго», звучали томительно-грустные или бесшабашно-протасальные романсы и «песенки Пьеро». Расплодился театр фарса с полным обнажением женского тела и совершенно скабресным содержанием. Нравы упали катастрофически: интеллигентные дамы и барышни напивались допьяна, отдавались случайно, кому попало, первому встречному и даже занимались проституцией, — не от нужды, а за наряды, за красивую шляпку. С вершин недавнего идеализма жизнь внезапно покатилась вниз, в примитивную, пошлую плоскость. Казалось, что все лихорадочно спешат в самой грубой форме насладиться жизнью в последний раз, как бы перед надвигающейся катастрофой.

А между тем не замечалось никаких определенных, осязательных причин для подобных настроений. Не было ни внутренних, ни внешних событий, которые грозили бы нарушением мирного течения застоявшейся жизни.

Предчувствия шли из области подсознательного, поддерживались искусством и литературой. На серьезной сцене шли «пьесы настроений», символически изображавшие людей пониженной психики. В литературе было то же, что в кабаре и фарсе: царила «половая про-

блема», заслонившая собою все остальное.

Невеселый разгул беспричинного отчаяния, чувствовавшийся в лихорадочном темпе мирового города, можно было определить известным изречением: «Хоть день, да наш!» или «После нас — хоть потоп!»

Валерьян редко появлялся на пирушках художественной богемы, где преобладала молодежь, начинавшая свысока смотреть на «стариков», трактовать искусство по-новому. Выставив мелкие, хотя и мастерски написанные, эскизы, он значительно уронил и без того потускневшее свое имя. От него долго ждали, с чем он выступит в такое переходное время, а художник отделался красивыми пустячками, повторением пройденного. Это развязало языки и перья газетных обозревателей. От Валерьяна перестали ждать, а ревнивые молодые соперники стремились затушевать, похоронить, заслонить его собою, развенчать даже прежний, заслуженный успех. По поводу его новых работ вспоминали старые, недоумевая, почему они когда-то нравились, — теперь не находили ничего особенного даже в лучших, нашумевших произведениях Валерьяна, а то, что он выставил, считали возвратом назад, оговариваясь, что если это не закат таланта, то во всяком случае временная усталость.

Упадок душевных сил чувствовал и сам художник. Причиной могла быть его изломанная, разбитая семейная жизнь: душа болела от постоянной, неотвязной тревоги за больную жену, за отосланного в провинцию на попечение стариков маленького сына.

Его преследовал страдальческий образ Наташи. Написав ряд незначительных вещей «для денег», он работал теперь по памяти над ее портретом, но не хотел его ни выставлять, ни показывать кому-либо: писал «для себя», упивался собственным спаданием.

Часами стоял он перед мольбертом в запертой на ключ мастерской и мучительно смотрел в созданные им необыкновенной красоты и силы глаза. Он сам не знал, что они выражают и чего с таким упорством доискивается в них? О

чем они хотят сказать глубоким, грустным, укоряющим и скрывающим какую-то тайну молчанием своим? Оставалось неразгаданным необыкновенно трогательное выражение, от которого с болью сжималось сердце, но художнику не удавалось поймать и выразить что-то очень реальное, простое и вместе неожиданное, что он давно чувствовал в глазах Наташи, чем был поражен тогда, когда впервые увидел ее и за что полюбил.

Ранней весной он, подавленный внешним неуспехом и внутренне опустошенный, уехал в Крым, чтобы уединиться в глухом углу природы, в забытом и брошенном своем доме в глубине тихой долины. Художник потерял себя и тот путь в жизни, которым шел до этих пор. Ему казалось, что он уже не напишет ничего хорошего, что он надолго и, быть может, навсегда умер для искусства. Являлась мысль о самоубийстве, но останавливал грустный, укоризненный образ Наташи. Все зависело от нее: если она вернется здоровой, тогда он воспрянет духом.

В Севастополе он оставил багаж на хранение и с альпийским мешком за спиной, в плаще, гетрах, с палкой в руке доехал дилижансом до знакомой харчевни, стоявшей на шоссе южного берега около горной расселины, где была ему известна выючная дорога «Шайтан-Мердвень», или «Чортова лестница»: этим путем можно было пробраться в долину, пройдя ущельем всего только семь верст.

В теплую ночь Валерьян сошел около харчевни. Против нее, у подножия горы, терялась в кустах знакомая тропинка. Было темно, но он хорошо помнил дорогу. Между двух отвесных гор виднелась расселина, напоминавшая седло: здесь, тысячелетия назад, вырублена в скалах знаменитая историческая «Чортова лестница»... еще во время переселения народов. Путеводным признаком всегда служила одинокая сосна, росшая на неприступной окале и видная издалека. Валерьян безошибочно попал на «Шайтан-Мердвень» и долго поднимался по высоким ступеням при помощи своей альпийской палки с железным

острием на конце. Сосна сначала была в вышине, потом наравне с ним; наконец, оказалась внизу, а до вершины еще было далеко. После часа трудного пути, тяжело дыша и обливаясь потом, путник выкарабкался на гребень горы, очутившись на небольшой каменной площадке. Здесь он сел, чтобы перевести дух. В темном небе горели крупные звезды. Кругом стоял вековой буковый лес, деревенская лесная дорога шла между густыми деревьями, спускаясь медленным, едва заметным уклоном.

Валерьян взглянул вниз: пройденный путь казался пропастью, на дне которой едва белело шоссе, харчевня со своим огоньком походила на игрушку, а еще ниже, при свете ярких звезд, лежало беззвучное ночное море. Он вынул из мешка недопитую бутылку красного вина, выпил все, съел кусок хлеба и прилег на гладком камне, еще теплом после жаркого дня. Сердце его тяжело билось, во всем теле была усталость. Долго смотрел на звезды и вдруг зану.

Проснувшись, он долго лежал на скале, на самом краю ее, над пропастью. Необычайно яркая луна освещала лес, горные скалы и беззвучное море у подножия гор. В лесу кто-то хохотал сумасшедшим, истерическим, клохчущим хохотом: это кричал филин.

Художнику казалось, что никогда еще он не видал такой яркой, лунной ночи: светло, как днем, от деревьев простирались черные тени, каждый лист видно, и такая тишина, что посеребренный лунным светом лес стоял, как зачарованный.

Валерьян пошел по знакомой дороге. Она заметно спускалась все ниже и наконец привела к узкой, глубокой ложбине между отвесных скал. По дну ложбины бежал ручей, иногда сверкавший по уступам мелодичным водопадом. Тропинка шла над краем обрыва, а над головой высились гладкие, причудливые скалы, наверху покрытые ветвистыми, сочными деревьями в несколько обхватов.

Луна становилась все бледней и прозрачней, потянуло холодком, близилось утро.

Через час ходьбы рассвело. Появился нежно-матовый просвет между двух конусообразных гор, снизу доверху заросших кудрявым миственным лесом, и вдруг за поворотом открылась широкая зеленая, ласковая долина. Она вся застилалась густым, как вата, тяжелым туманом, из которого высывались голубые головки маленькой сельской церкви и тонкого минарета мечети. Вдали, на приторке, у подножия зеленой, лесистой горы, краснела черепичная кровля серого каменного дома с крытым балконом в верхнем этаже и двумя стройными пирамидальными тополями, доросшими до кровли за время скитаний Валерьяна.

Он остановился на спуске с горы и долго смотрел на свое одинокое, печальное, давно покинутое жилище.

Туман лежал низко на земле, расстилаясь белыми волнами, и вся овальная долина казалась призрачным озером, затопившим чуть заметные деревни на пригорках по краям ее. Кое-где виднелись татарские кладбища и высокие скифские камни, стоймя врытые в землю, — могилы древних скифских богатырей.

По этой дороге, которую только-что прошел он, тысячелетия назад шли миллионные толпы переселявшихся народов, устилавших могилами таинственный путь свой. Быть может, здесь же будет и его могила — неувдавшегося художника, слава которого мелькнула и погасла так быстро.. Талант его преждевременно угас. Почему? Из-за чего? Что случилось с ним? Исчерпался материал? Нет. Появилось новое течение в живописи? Какие пустыки! Валерьян погиб из-за женщины, которую любил и хотел спасти от смерти. Для нее пожертвовал он своим талантом, успехом, карьерой, добровольно бросил кисть и палитру, ибо в душе не оставалось более места для вдохновенного огня: он сам погасил свой жертвенник! Все силы, все чувства, все вдохновение отнял у искусства и потратил на любовь к ней, на заботы о ней, на борьбу за ее жизнь!

Правильно ли он поступил? Конечно неправильно! Жестоко и нечестно поступил с собой. С самой первой встречи с

Наташей, связавши свою судьбу с ее судьбой, он встал на этот могильный путь. Она родилась в «темном царстве», враждебном ему, ненавистном для него, и томила там. Но он всю жизнь мечтал именно о такой женщине, как она... и не его вина, если то, что искал, нашел во враждебном лагере.

Валерьян — выходец из мира труда и бедности, у него — наследственно большие руки, созданные для молота и плуга, но получившие в дар от судьбы кисть и палитру. Его путь — свободный и трудный под открытым небом живой жизни, посылающей не только славу, но и неудачи. А она — оранжевый цветок, тянувшийся к солнцу и не способный к жизни вне оранжереи: не освободил он ее, а оторвал от корня. Вот в чем была ошибка.

Она завяла на переменчивом, суровом воздухе свободы, в тревожном пути труда и борьбы. Лучше было бы нежный цветок оставить под стеклом. Но

не бросать же его теперь на каменистую дорогу!

Она — такая хрупкая, прекрасная болезненной красотой умирания, а он — художник ярких красок и сильных тел, полнокровный талант; как, в сущности, не схожи они друг с другом!

Валерьян медленно спускался с гор в безлюдную, беззвучную, словно вымершую долину. Из-за зеленых вершин поднималось солнце.

Туман редел и клочьями полз по лугам, как ранней весной тающий снег на полях. Все кругом казалось призрачным, принимало изменчивые, фантастические очертания, — в горы как бы поднимались полчища вооруженных людей в серебряных шлемах с копьями и алебардами на плечах, беззвучно, во весь опор, летели воины на белых конях, тянулись бесконечной вереницей арбы, запряженные большими белыми быками: словно все еще шли тени давно ушедших народов.

(Окончание следует)

Три повести

А. ВОРОНСКИЙ

(Окончание ¹)

БУДНИ

I

Устроиться Владимиру удалось статистиком в больничной кассе при железопрокатном и сталелитейном заводе. Завод и рабочий поселок расположены были на берегу Днепра, верстах в тридцати от крупного промышленного губернского центра. Прописался Владимир по чужому паспорту и первые месяцы работал в кассе спокойно, приглядываясь к рабочим. Из единомышленников с ним вместе работали Генрих, Максим и Василий. Генрих, студент, из немецких колонистов, руководитель статистическим отделом, отличался рассудительностью, правда, чересчур медлительной. Его считали лучшим советчиком, когда требовалось хладнокровие. Был он в работе требователен и обстоятелен, говорил мало и с весом. Максим, старший бухгалтер, в недавнем петербургский токарь, успел провести к тридцати двум годам лет десять в тюрьмах и в изгнаниях. В заключениях его изрядно били, увечили, морили голодом, Максим имел даже штыковую рану, но и это не убавило в нем ни подвижности, ни заразительного смеха, ни балагурства, неудачи с ним легко переносились, и взгляд его на мир и на людей был прост и ясен. Работал он споро.

Слесарь Василий Сергеев сидел обычно в приемной кассы за высокой кон-

торкой, выписывая ордера больным на получение пособий. Большоголовый, плотный, плечистый, но бледнолицый, с тонкими, почти бескровными губами, Василий нигде подолгу не уживался: не спускал он ни мастерам, ни инженерам, ни другим начальникам. Выступал Василий всегда неожиданно, пожалуй, даже и для себя. Глаза у него, синие и холодные, легко делались неистовыми. Но иногда среди приятелей и товарищей Василий улыбался странной, как бы несвойственной ему улыбкой, наивной, даже совсем простодушной, и тогда ничего не стоило взять его в руки. Ему приходилось содержать большую семью: жену и пятерых ребят, один одного меньше. Нужду, и не малую, Василий переносил без жалоб, а если и сетовал изредка, то только на свою «супружницу», женщину неграмотную, голосистую, разбитную и сварливую.

Металлист Коростелев входил от рабочих в правление кассы. Он умирал от чахотки. Было жутко смотреть в его глубоко запавшие глаза, слушать ужасное хрипение в груди, наблюдать, как он, двадцати восьми лет, задыхаясь, через силу, еле-еле поднимался по лестнице. И все же Коростелев продолжал помогать товарищам, уверяя, что на миру и смерть красна.

Генрих, Максим, Владимир, Василий, Коростелев составляли ядро группы. За исключением Генриха, всем пришлось много учиться. Владимир никогда не

¹) См. «Новый мир», кн. 9 с. г.

работал статистиком. Максим не занимался бухгалтерией, а Василий держал ручку в закорючлых пальцах, будто боялся ее раздавить. Коростелев являлся в правлении кассы единственным представителем группы, малограмотным и неопытным. По вечерам брали работу на дом, стучали на счетах, выводили колонки цифр, цифирь, разносили по книгам данные о денежных выдачах.

Рабочие приходили в кассу за дачными листами, за талонами к врачам, за пособием. Василий обычно первым вступал с ними в беседы, обсуждал жизнь-бытьё. Справлялся он со своей «письменностью» худо, и товарищам по группе нередко приходилось его заменять, между тем как сам он то собирал слушателей около своей конторки, то тайно и уводил собеседника в укромные места и там долго и горячо с ним шептался, то одевался и «исчезал» куда-то «по делу», то вступал в пререкания с заводскими служащими, коих он сильно не жаловал. Всюду у Василия обнаруживались приятели, «знакомцы». С одними он работал в шахтах, с другими в Таганроге, третьего «спервоначалу» встречал на плотях: «Помнишь, еще выпимши были!» Земляки и знакомцы иногда тщетно пытались вспомнить встречи с Василием. Василия это несколько не смущало, и он не скупился на воспроизведение сомнительных подробностей. После убедительных «обхаживаний» Василий отзывал в полутемный коридор Генриха, Владимира, либо Максима, скривив губы и приложив ладонь ко рту горсточкой, заговорщицки шептал: «Вечером ко мне, туды-сюды, придет один из новеньких. Ничего парень... согдится... Загляните... передам его вам...» Острым языком Василий облизывал губы, шурился и щипал пряду волос у правого виска.

Из «обхоженных» больше других «сгодились» монтер Клименко и литейщик Валохин. Клименко любил помолчать, слово у него было трудное. Валохина в цеху уважали за правдивость. Группа прочла их обоих в правление при новых выборах.

С их помощью, и с помощью, конечно, Василия, удалось составить два

кружка. Еженедельные беседы в них проводили Генрих и Владимир.

В конце апреля у днепровской кручи собрались на первое, после объявления войны, губернское совещание. Прибыло пять делегатов. Выяснилось: вся организация насчитывает не больше семидесяти человек.

— Не много нас, — вымолвил Василий и покачал кудлатой головой.

— Бывает и хуже, — успокоительно заметил Максим, попыхивая трубой.

Участники совещания тоже нашли, что дела за последние месяцы поправились. Владимир предложил поставить подпольную типографию. Представитель губернского центра, товарищ Николай, видимо, превосходный оратор, сообщил: «Нужные охваты с рабочими-типографами имеются, шрифта можно достать сколько угодно. Есть и станок». Наладить типографию поручили Николаю. Решили, далее, приступить к лучшему охвату больничных касс, прежде всего на больших заводах; был разработан и утвержден подробный план. После совещания, которым остались очень довольны, Максим тайно заявил, что у него «есть нечто». Тут он извлек из кармана бутылку: «Чистый, будто детская слеза», — победно присовокупил он, вынимая также и закуску. Спирт разбавили днепровской водой. Апрельская южная ночь над рекой, луга, месяц вызвали в памяти Владимира строки из Алексея Толстого:

Вот и месяц из-за лесу кажет рога,
И туманом подернулись балки,
Вот и в ступе поехала баба-яга,
И в Днепре заплескались русалки.
В Заднепровье послышался лешего вой,
По конюшням с дозором пошел домовый,
Вот и ведьма уж пологом машет...

«Удивительно, — думалось Владимиру, — как вся эта нежить чудесно передает самую душу украинских ночей; но, пожалуй, еще более удивительно, что этот сказочный мир-символ все еще трогает и вызывает отклик. Бедное, зверушечье, отсталое сердце. Как часто оно погружается в наивное и смутное прошлое!»

Развели костер. Запахло дымом, водой, весенними травами. Обнаружились таланты. Генрих мастерски играл на гребешке. Василий проявил себя ловким и неустанным плясуном. Николай глотал водку, ничем не закусывая. Когда возвращались домой, подвыпивший Максим разбил камнем зеркальное окно в магазине. Из будок ночные сторожа бросились вдогонку за виновниками и стали свистками вызывать на подмогу городских. Пришлось во весь дух улепетывать. У Максима хватило озорства криками подзадоривать погоню. Он едва от нее ушел. Генрих устроил Максиму головомою: так ведь непрудно было провалить и все совещание. Максим поднял его на смех из-за игры губами на гребешке. Генрих надулся.

— Мы не монахи, дружище, — примирительно сказал Максим и хлопнул Генриха по плечу.

II

Руководил больничной кассой секретарь Давид Розенталь, сторонник Плеханова, значительных познаний и политического опыта. Правление с председателем Лошиным шло за Давидом. Генрих, Владимир, Максим, Василий сначала притеснений от Давида и Лошина не испытывали, несмотря на резкие споры с ними о войне. Мирное сожительство продолжалось впрочем недолго. Давид заметил, что группа Генриха и Владимира собирается на стороне и ведет работу в кассе и на заводе. Секретарь сделался суше в обхождении, чаще стал теревить себя за всякие «хотлацкие» усы. Между ним и Василием уже произошли недоразумения. Группа поддержала Василия. Потом пришлось выступить против председателя Лошина. Лошин имел немалые заслуги в прошлом: в девятьсот пятом году он руководил местным советом рабочих депутатов, был арестован, высладался, работал в союзах. Во время войны Лошин объявил себя оборонцем, занял место председателя кассы, старательно оберегая ее от попыток превратить в опору для подполья. Он не однажды давал

понять и Генриху, и Максиму, и Владимиру, что ему известно о работе ихней группы и что он этой работы не одобряет. Тогда группа решила свалить Лошина на ближайших перевыборах правления. Василий собрал по заводу против Лошина большой обличительный материал. Лошин дружил с крупными служащими заводоуправления: с инженерами, с мастерами. Бывал он на приемах и у директора, жестокого и скупого самодура. Правление Лошин подобрал из бесцветных и малограмотных рабочих, из покорных заводских старожиллов. Часто Лошин подсмеивался над «догматиками» и «начетчиками». Его насмешки коробили даже Давида; однако, Давид продолжал держаться за Лошина: он считал Лошина рабочим европейской складки. Перед Европой Давид преклонялся: о свободе собраний, слова, союзов и партий он говорил, брызгая слюной, размахивая руками и не слушая собеседника.

Группа составила свой список правления. Председателем наметили Коростелева, его помощником Василия; вошли также в список Клименко и Воложин. Василий на заводе не работал, а служащих кассы закон предусмотрительно лишал избирательных прав. Василию пришлось оставить кассу; кое-как удалось его зачислить на завод, где он повел подготовительную работу. Давид и Лошин, понято, скоро об этом дознались. Распря сделалась открытой. Правление больше не допускало на свои заседания ни Генриха, ни Владимира, ни Максима. Коростылев тоже, якобы по оплошностям конторы, своевременно не оповещался о заседаниях. К тому же он слег, харкал кровью.

Общее годовое собрание было назначено на воскресенье. Владимир, Генрих, Максим отправились вместе на завод, но у ворот их встретила пешая и конная полиция. В ворота им удалось пройти, но при входе в цех, куда рабочие сходились на собрание, сивоусый с утиным носом околодок задержал их и направил к «господину приставу». Пристав разъяснил: «Означенные служащие к заводу не относятся» и присутствовать на общем собрании прав не имеют.

— Лошины проделки! — процедил брезгливо Генрих и тряхнул длинными пальцами, точно сбрасывал с них грязь. — Подговорил администрацию, а та известила охранников. — Он и Максим отправились домой. Владимир еще раз решил попытаться проникнуть в цех. На его удачу сивоусый околодок уступил место другому сослуживцу; подошла толпа рабочих, и, замешавшись в нее, Владимир прошел в помещение.

III

Доклад правления, приготовленный Давидом, сделал Лошин. Лошин, небольшого роста, коренастый, чернявый с густою проседью и сильно помятым лицом, говорил вначале невнятно и заикаясь, но потом овладел речью. Цель его доклада состояла в том, чтобы ограничить обсуждение вопросами, связанными с узко-деловой жизнью больничной кассы. Он удачно с этим справлялся. Он рассказал, сколько в кассе денег, упомянул о балансе, пожалел, что доля заводоуправления во взносах не велика, перечислил виды пособий и их размеры.

Слушали Лошина внимательно. Многие знали о борьбе двух групп, догадывались, что собрание не пройдет гладко, поэтому сошли дружно и в большом числе. Облепили машины, подоконники, стояли плотной толпой, сидели на полу, некоторые забрались на балки под самый потолок. За столом около Лошина деловито шуршал бумагами Давид. Слева, широко расставив ноги, грузно «исполнял обязанности» в кресле пристав с бакенбардами николаевских времен. Позади кресла в непосредственной близости к своему начальнику переминался с ноги на ногу сивоусый околодок, вполне готовый к услугам, отчего утиный нос его все время куда-то неустанно устремлялся. Пристав, слушая Лошина, наклонялся в его сторону, прислонял ладонь к уху, видимо, туговатому, таращил на собравшихся склерозистые глаза и строго поводил ими, как бы предупреждая «нежелательные явления».

После доклада у стола неожиданно появился Василий, окруженный группой рабочих. Лошин сумрачно оглядел его. Василий был бледен, губы у него дрожали. Он попросил слово и, не дожидаясь разрешения у председателя, старика-литейщика Вахрушина, проворно взобрался на табурет, услужливо ему подставленный, звонко, тревожно и даже зловеще крикнул:

— Товарищи рабочие!..

Кашель, перешопоты, шарканье по асфальту прекратились. Пристав приподнялся, стал вертеть толстой пупырчатой шеей. Нос сивоусого околодка готов был отделиться от лица. Всем сделалось ясным, что Василий скажет нечто, совсем на лошинский доклад не похожее. Что-то непокорное, своевольное, злое и вызывающее таилось в его напряженно-приподнятых тяжелых плечах, в горящих из темного подлбья глазах, в спутанных волосах, во всей его коренастой фигуре.

— Товарищи рабочие, — повторил обращение Василий и потряс над головами собравшихся крепким кулаком. Этот кулак был выразительнее слов. Он угрожал, он готов был опуститься на врага...

— Нам, товарищи, говорили здесь о разных делах, туды-сюды, но, между прочим, о главном нам ничего не выразил докладчик. А если начать с главного, то надо наперед спросить, как живется теперь рабочему человеку.

— Прошу строго держаться повестки дня и обсуждать только дела больничной кассы, — поспешно перебил Василий пристав.

Блюститель порядка приподнялся, надул щеки и постучал по столу кулаком, туго затынутым в белую перчатку.

— Ловко! — грозил кто-то по адресу пристава из задних рядов, даже как бы и с восхищением. Сивоусый околодок вытянул шею, поглядел строго направо, откуда послышался возглас, зашевелил беззвучно губами.

— Я и хочу, господин пристав, обсуждать дела кассы. — Василий повел глазами в сторону пристава так выразительно и насмешливо, что кое-где сдержанно засмеялись.

— Наша касса, — продолжал Василий, — рабочая касса, потому я и говорю о рабочих. — Василий язвительно взглянул на пристава.

— Пра-ашу в пререкания со мной не вступать. Делаю первое предупреждение.

— Вот это ловко! — опять как бы восхищенно прожнул кто-то позади, и опять сивоусый околодок вытянул шею, хотел ринуться туда, откуда послышался возглас, но не знал, кому он принадлежал, только покачал головой: «Ах, какие невежи, какие неучи есть на белом свете. Сам господин пристав распоряжается, а они перебивают». Лицо околодка выражало неподдельное негодование.

По собранию прошел волной угрюмый гул. Кто-то осторожно свистнул.

— Слушаю-с, господин пристав, — смиренно по виду, но на самом деле с очевидной издевкой, ответил зелено-желтый Василий, покрутил головой, будто освобождая шею от петли. Опять он оглядел собрание, на этот раз приглашая участников его во свидетели: смотрите, мол, как обращаются с нашим братом. Собрание общим натиском, точно его кто-то сзади толкнул, подалось к Василию.

— Итак, — говорил Василий, набираясь голосу, — хочу я вам сказать, товарищи рабочие, что живется нам на заводе, туды-сюды, даже совсем дрянно.

— Пра-ашу не касаться, — перебил жестко пристав и еще больше надулся. — Делаю второе предупреждение...

— Братцы мои, да что же это такое? — раздался на задах тот же самый хриплый голос, какой слышался и раньше.

Готовый к услугам и ко всякой неукоснительности сивоусый околодок не выдержал, его утиный нос полетел в толпу, но толпа угрюмо и неподатливо сдвинулась, сделалась зловещей, околодок отступил к креслу, нос возвратился на место.

— Если будут продолжаться подобные безобразия, — пригрозил пристав, поднимая руку, — вынужден буду закрыть наступающее собрание. Вы не в питейном заведении.

— Вот именно, — крикнул кто-то двусмысленно из передних рядов.

По собранию вновь прошел невнятный гул. Василий стоял на табурете, еще более зеленый. Тонкие губы его резко кривились. Он тяжело дышал. Успокоившись, он продолжал:

— Возьмем для примера наше заводоуправление. Каким манером оно с нами обходится, как он себе держит? Оно себе держит царем и богом.

— Пра-ашу... — совсем испуганно закричал пристав. Стоя, он в смятении обдергал книзу серую шинель. Рядом с ним метался сивый околодок, нос его нырял в толпе. Околодок горел самоотверженностью, но не знал, что ему предпринять.

— Хорошо, господин пристав, — вполне примирительно сказал Василий.

— ... Нет, неправильно я сказал, товарищи, про наше заводоуправление, что оно себе держит царем и богом. Оно держит себе в двадцать разов хуже...

Василий, видимо, довольный поправкой, повел плечами и бросил на собрание веселый взгляд.

— Лишаю вас слова... Прекратите... — не своим голосом, визгливо и задыхаясь, заорал пристав и поднял вверх правую руку. Группа городских бросилась к Василию. Толпа закачалась, но напору полиции не поддавалась. Полицейским пришлось пробираться около стены, где проход был свободнее. Вдотонку им неслись шутки, брань, крики, острые, едкие словечки. Председатель собрания беспомощно дергал головой, силился безуспешно внести порядок. Звонил в колокольчик. Давид что-то шептал на ухо Лошину, Лошин щипал жесткие, темные усы, лицо у него дергалось, точно в тике. Выдавили окно, звон осколков еще больше взбудоражил полицию. Сивоусый околодок, орудуя всеми конечностями, рвался к Василию. Утиный нос околодка угрожал, он даже стал острее и вытянулся. Ревнителя не пропускали. Околодок отчаянно оглядывался на пристава: «Сами, мол, видите, господин пристав, как я стараюсь, но что же поделаешь с этими башибузуками...» Василий все еще стоял на табурете и вертел головой, наконец, сощурился бли-

зорукie глаза, развел широко руками: ничего не поделаешь — волей-неволей приходится убираться; как будто с нарочитой медлительностью он слез с табурета. Толпа, рукоплеща Василию, скрыла его в своих недрах. Пристав, не зная, что предпринять, обессиленный, пожимая плечами, сердито глядел на президиум. Наконец, председателю удалось несколько уюмонить собрание. Он спросил, кому угодно взять слово. Никто долго не отзывался. Председатель повторил предложение.

— Прошу слова, — вымолвил Владимир, не называя себя; он с трудом протиснулся к столу и поднялся на табурет, с которого говорил Василий.

IV

Владимир не предполагал выступать, но после того, как пристав лишил Василия слова, после того, как председатель тщетно приглашал высказываться по докладу Лошина и над собранием повисло напряженное и угрюмое ожидание, он, Владимир, понял: рабочие хотят выслушать то, что думал сказать Василий и что ему не удалось сказать. Повинуясь этому молчаливому приказу, Владимир взял слово. Владимир давно не выступал на больших, открытых собраниях, с девятьсот шестого года. Он испытывал волнение, но скоро с ним справился. Собрание сосредоточило на Владимире овой тысячеглазый взгляд. Куда ни обращался Владимир, он встречал глаза, поощрявшие его, спрашивающие глаза, изнуренные работой и нуждой, усталые давней, постоянной усталостью, глаза с темными провалами, с синими и черными подглазниками, затененные, тщательно хоронившие сокровенные думы. Какое разнообразие оттенков, чувств, настроений! Но было во всех этих взглядах и что-то общее, объединяющее, единое и цельное. Без слов, но вполне выразительно, участники собрания говорили Владимиру: «Ничего, не бойся, мы тебя не выдадим, ложись на нас». Покоренный доверием и поддержкой, Владимир еще больше успокоился. Одиночества будто никогда не было. Человеческая, трудовая сти-

хия захватила его, и он отдавался ей с доверием и с радостью.

Хотя и не знал еще Владимир, какую он скажет речь, но он уже знал, что он скажет хорошо и что общий план придет ему сам собой, без особых усилий. Пушкин однажды заметил: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следовательно, к быстрому соображению понятий». Вот это расположение и вот это быстрое соображение и переживал сейчас Владимир. И действительно, план речи пришел в голову как-то сразу, легко, и он, Владимир, без напряжения начал говорить.

Да, надо строго придерживаться доклада. Доклад председателя правления обстоятелен, он изобилует цифрами, но многое в нем и отсутствует. Нет сведений о росте заболеваемости среди рабочих. Между тем, количество туберкулезных за отчетный год заметно увеличилось, показатели по увечьям и по другим болезням тоже отнюдь не утешительные. Средняя заболеваемость стала более продолжительной. Эти данные подробно разработаны больничной кассой, но почему-то Лошин о них забыл упомянуть. Денежные пособия понизились, понизилась, следовательно, и заработная плата.

Пристав сначала не спускал с Владимира глаз, теребил бакенбарды, онимал и надевал фуражку, но «оратор из рамок не выходил» и все время упоминал только больничную кассу. Владимир говорил свободно и плавно, и на лице пристава почил даже отсвет некоей благожелательности и снисходительности, смешанной, впрочем, все еще с большой настороженностью. Сивоусый околодок, глядя на начальника, тоже прекратил устремляться, замер за креслом и, слушая Владимира, держал руки по швам. Нос его тоже мирно опочил. Все идет чинно, благородно: тут уж ничего не скажешь худого...

... Владимиру пора было перейти к тому, что делалось за стенами завода. Он видел, рабочие хотят слушать о главном, о войне. Владимир подготовил их к этому главному: сведения о болезнях, о пособиях, о заработной плате ка-

сались военного времени и наводили на мысли о войне. Эту подготовку собрания поняли и Давид, и Лошин. Давид пытливым следил за Владимиром, похрустывал пальцами. А Лошин наступил и наклонился низко над столом. Поняли Владимира и некоторые из собравшихся. Направо у стены, скосив плечи, художавый рабочий, в глубоких шрамах, внимательно слушая Владимира, двусмысленно улыбался, приподнимал брови и разглаживал с довольным видом усы. Дальше на подоконнике сидел пожилой литейщик; его Владимир встретил недавно в больничной кассе. Время от времени литейщик поощрительно, украдкой кивал головой. Из разных углов на Владимира глядели с сочувствием и поощрением. Продолжая речь, Владимир делался похожим на канатного плясуна: он все время балансировал. «Бесспорно, — развивал он свои мысли, — рабочий день тоже удлинился, и напряженность труда повысилась. Виновны в этом не рабочие, а заводоуправление, но одно заводоуправление обвинять тоже нельзя. Есть общие причины. То же самое делается среди рабочих повсюду и в других странах». Тут пристав с тревогой посмотрел на Владимира, Владимир поймал его взгляд и немедленно прибавил к сказанному, что он не имеет возможности более подробно осветить этот темный вопрос и должен поневоле ограничиться указанием на законы, свойственные современному обществу. Услышав о законах, пристав успокоился, а у сивоусого околodka появилось на лице даже этакое масляное выражение. Владимир стал говорить о законах. И здесь началось для него самое трудное.

V

... Владимир говорил о законах рыночной борьбы, о прибылях, о росте и победах гигантских предприятий, о банках, о финансовой олигархии, о монополиях и колониях, обо всем том, что он считал действительными причинами современных войн. Когда пристав начинал беспокойно возиться в кресле, кашлять,

поглядывать с сомнением на Владимира, он упоминал Австрию, Германию, — пристав тогда остывал. Надо было продолжать речь, надо было следить и за приставом, и за собранием. Владимир чувствовал, что выступление удачно. О войне он не сказал ни слова, и, однако, он говорил только о ней. Слушатели, по крайней мере многие из них, понимали, куда клонит Владимир. Щуплый рабочий со складками-шрамами улыбался и шурился все язвительнее и язвительнее. Пожилой литейщик продолжал поощрительно кивать головой, а впереди литейщика, в первых рядах, молодой парень со светлым пушком на губах и в необычайно прязной фуражке, не сводил с Владимира глаз, шевеля непроизвольно губами. Этим трех слушателей Владимир держал в поле своего зрения и через них проверял действие речи и на других слушателей.

Собрание понимало Владимира, но слушателям хотелось услышать более ясные слова, сказать же эти более ясные слова было невозможно. Но невозможно было и от молчаться. И это одинаково чувствовали и Владимир, и рабочие и одинаково мучились и искали выхода. Мучился Владимир, стараясь удовлетворить собрание и в то же время найти сокровенные для полиции слова, мучились рабочие, желая эти слова непременно услышать и следя за Владимиром. Художавый рабочий перестал язвительно улышаться и не сводил теперь с Владимира выжидательного взгляда. У него был такой вид, будто он хотел что-то подсказать Владимиру. Испытующе смотрел на него и бородач, а молодой парень, очевидно, незаметно для себя, все ближе и ближе придвигался к Владимиру.

... Владимир обратил внимание собрания на противоречия в современном обществе: именно они, эти противоречия, расширяясь и углубляясь, приводят «к различным столкновениям». Услышав «о различных столкновениях», пристав встревожился, схватился за баки, приподнялся, хотел сказать что-то пресекающее, но Владимир, следивший за ним, поспешил перейти к делам больничной кассы, связав этот переход замечанием:

«Возвращаясь к докладу председателя, считаю нужным отметить...» Пристав опустил в кресло.

— Поближе к делу, — явно иронически сказал неведомый голос из задних рядов, тот самый, который раньше говорил «ловко» и который доставил так много огорчений сивоусому околодку. Многие засмеялись. Они заметили и неестественный переход Владимира от общих вопросов к жизни завода, и движение пристава. Владимир сказал несколько фраз о больничных делах и опять упомянул «о разных столкновениях». И опять пристав затревожился, и опять Владимир сделал резкое и на этот раз подчеркнутое, механическое отступление к докладу Лошина... Сдержанный, но уже более дружный смехок прошел по собранию. То, что искал Владимир, было нечаянно найдено и им, Владимиром, и слушателями. Что-то веселое, что-то озорное пробегало по рядам, все дальше и шире распространялось, происходило какое-то скрытое, нарастающее движение; что-то теплое, горячее шло от толпы на Владимира, дышало на него, обнимало и захватывало. Между ним и слушателями уже происходил разговор, понятный им одним и непонятный ни приставу, ни околодку, ни городовым. Этот разговор о главном происходил с помощью повторения одной единственной случайной и пустой фразы: «Возвращаясь к докладу председателя, я хотел бы отметить...» Неуместность этой фразы, ее настойчивое повторение получали особый злонамеренный смысл; фраза означала: «Дальше, товарищи, правду о войне говорить мне нельзя, это вы отлично видите, и вы должны понимать мои недомолвки... Но я все время говорю о войне, я ее осуждаю, выход — в борьбе с войной. Посмеемся над приставом с николаевскими бакенбардами...» И слушатели понимали Владимира. Смешки, улыбки, двусмысленные покашливания, одобрения усиливались. Владимир уже играл повтором: «Возвращаясь к докладу председателя, возвращаясь к докладу председателя...» Слова о председателе звучали гротеском, издевательством и над Лошиным, и над Давидом, и над

приставом. Щуплый рабочий ухмылялся во весь рот, литейщик положительно держался за бороду и сжимал ее, точно собирал в нее слова Владимира, а молодой парень в грязнейшем картузе в такт речи Владимира двигал плечами. Пристав испытывал неопределенное беспокойство, но не мог понять, что же такое происходит, между тем как нос околодка совсем поглупел.

Закончил свою речь Владимир указанием: общие условия, ведущие ко взаимным обострениям, надо устранять тоже общими же, народными силами, а не вразброд и не в одиночку, как вздумается каждому. Возвращаясь к докладу председателя, надо отметить, что в нем этих общих выводов нет и в помине и что рабочим надо о них подумать самим.

Председатель долго звонил, стараясь поскорее затушить увесистые хлопки. Давид совещался с Лошиным, лицо у него было непроницаемо.

Владимир ожидал, что Давид возьмет слово, но вместо него с бесцветной речью выступил старший бухгалтер Савченко, после него говорили член правления Книжный, рабочий Федоров. Они ни словом не обмолвились ни о речи Владимира, ни о речи Василия, обсуждая исключительно кассовые вопросы. Их слушали рассеянно.

Владимир сначала не понимал поведения Давида и Лошина. Понял он это поведение, когда Лошин, ссылаясь на поздний час и на то, что дела больничной кассы требуют длительного обсуждения, предложил перенести собрание на очередной воскресный день и когда председатель, смяв голосование, объявил заседание закрытым. Владимир спохватился поздно, рабочие уже расходились. На заводском дворе молодцеватый городовой, придерживая на боку болтавшуюся шашку, подбежал к Владимиру, приложил руку к козырьку.

— Их высокоблагородие, господин пристав, просят вас в контору.

Владимир хотел было затеряться в толпе около ворот, но передумал и пошел за городовым. Почему-то он уверил себя, что пристав на этот раз его не тронет.

Пристав и в самом деле встретил его любезно:

— Слушая вашу речь, — объявил он снисходительно, разглядывая в то же время Владимира, точно он впервые его увидел, — могу сказать: ученая речь... скажу прямо... даже не для такого собрания: нашему народу надо попроще. Гм... Конечно, и у вас были места... так сказать, скользкие, так сказать, туманные... однако... какое же сравнение может быть с этим, простите за выражение, вихрастым вертопрахом?.. Никакого сравнения не может быть... Полная необразованность... и туда же лезет поучать других... нахватался разных верхушек... но совершенно не переварил, совершенно... Учиться надо с самых простых азов...

— Учиться никому не вредно, господин пристав, — неожиданно вернул слово Василий, неведомо откуда появляясь из-за спин служащих, рабочих и городских, окруживших пристава и Владимира. Пристав от удивления, а может быть, и от негодования даже не нашелся, что ответить, сердито надулся и замигал белесыми ресницами. Василия тем временем и след простыл.

— Да... знаете... — еле вымолвил пристав. — Желаю здравствовать, — прибавил он уже сухо, небрежно поднес руку к козырьку и монументально направился к выходу. Рядом с ним мелькнул утиный нос сивоусого околодка.

Возвращался домой Владимир усталый и счастливый. Редкая удача! Жизнь не часто его баловала, совсем не часто.

VI

Новое общее собрание состоялось только спустя три недели. Василия за это время рассчитали с завода, и он, опасаясь ареста, перебрался в город. Владимир не всегда ночевал дома и тоже собирался уехать. Уход его, а также уход Генриха и Максима ускорили Давид и Лошин. Они обнаружили у Максима в бухгалтерских книгах оплошности и предложили ему оставить кассу. Генрих и Владимир, понятно, вступились за Максима и были уполнены Ма-

ксим зло и весело поиздевался над Давидом, и тот кусал свой длинный ус, а Василий перед отъездом прижал Лошина в конторе к стене и едва его не избил.

Проникнуть на годовое собрание никому из группы не удалось. Коростылев лежал в больнице, а он был единственным, кто имел право на собрании присутствовать. Давид и Лошин провели свой список правления. Список группы собрал четверть всех голосов. Лошин и Давид опирались на обеспеченных рабочих и на служащих конторы.

Перебравшись в город, групповики старались пристроиться по старому примеру в больничных кассах. Генриху удалось занять место секретаря кассы на самом крупном машиностроительном заводе. Максим с его помощью поступил в ту же кассу старшим бухгалтером. Владимир тоже стал скоро секретарствовать в объединенной кассе заводов эстампажного, печного и железопрокатного. Помощником себе он взял Василия. Дела пришлось принимать от товарища по группе Лентовского, на вид до чрезвычайности положительного, говорившего всегда с большим достоинством. За последний год Лентовский отстранился от подпольной работы. Избегая воинского призыва, он решил уехать в Минск, в Союз городов, где ему пообещали отсрочку. Он спешил с отъездом, и, когда Владимир пришел принимать дела, Лентовский объявил, что дела больничной кассы в совершенном порядке, Владимир примет их от товарища Евы. К сожалению, товарищ Ева простудилась, а он, Лентовский, должен незамедлительно завтра же уехать, у него рассчитан каждый час. Побеседовав еще несколько минут, Лентовский сердечно распрощался с Владимиром, пожелав ему успехов и удачи.

Дня два спустя Владимир принимал от Евы дела... «Дел» по-настоящему никаких не обнаружилось. Бухгалтерские книги отличались непорочностью. Лентовский не потрудился завести даже черновой кассовой книги: денежные выдачи значились только на корешках ордеров. Статистика болезней не разрабатывалась. С переписки копий не снима-

лось, протоколы заседаний правления долей были утеряны, долей представляли собой крайне неопрятные и неряшливые черновики.

Товарищ Ева, скромная девушка лет двадцати трех, усыпанная веснушками, точно кукушечье яйцо, работала в кассе, не жалея ни здоровья, ни сроков, но не знала, как и за что приняться, и потому вела дела вкривь и вкось. Владимир пригласил Василия разобраться в канцелярском хаосе, но Василий, потрудившись до холодного пота несколько дней, вошел однажды в комнату Владимира с зеленым лицом и с зелеными глазами и объявил: он предпочитает самую тяжелую, самую черную работу на заводе, но надсаживаться над этими мерзопакостными, над этими подлыми, над этими гнуснейшими бумагами он больше не намерен, провалились они в тартарары к Вельзевулу в преисподнюю. Он, Василий, честный революционный пролетарий, еще не оплоумел и не рехнулся. И вдобавок он желает предупредить: попадись ему в руки Лентовский, живым он от него, Василия, не уйдет. Это уж вернее верно, своему слову доблестные пролетарии никогда не изменяют. Владимир с трудом уговорил Василия не уходить из кассы.

Текущая работа не ждала. В то же время надо было торопиться с приведением в порядок запущенных старых дел. Осенью предстояло годовое общее собрание с отчетами, а Владимир не умел вести бухгалтерских книг, да и в статистике не отличался опытностью. На помощь пришли Генрих и Максим. Генрих указал, как упорядочить общее делопроизводство, а Максим взялся обучить Владимира бухгалтерии и для этого переселился к приятелю с чемоданом, выдавшим многие и разнообразные виды, и с лампой. Лампой Максим гордился необычайно. Лампа стояла четырнадцать рублей пятьдесят копеек. Ее украшали замысловатые виньетки, наяды, русалки, цветы. По вечерам Максим отдыхал на кушетке, любясь лампой, ее зеленым абажуром, осененный мягким, ровным и ласковым светом. Перебираясь к Владимиру и сидя в тряской пролетке, Максим бережно держал лам-

пу в руках, точно мать — грудного ребенка, и все видели, что лампа стояла полумесячного оклада.

Совместные странствования по ухам и закоулкам двойной итальянской бухгалтерии, по книгам ресконтро и главной кассовой были изнурительны. Максим, и сам не сильный в счетоводстве, путался и ошибался, но признаваться в том не любил, старался ошибки свалить на недогадливость Владимира, а когда это не удавалось, то обычно говаривал, что ошибаются даже самые опытные бухгалтера, и что «по существу» мировая революция едва ли заметно пострадает, если буржуазная отчетность не будет усвоена как следует «тем или иным профессиональным революционером». В конце концов и учителю, и ученику сплошь и рядом приходилось доходить до истины своим умом.

Иногда, открывая давно открытое, они радовались, бросали книги, начинали тужить друг друга, либо мирно раскуривали трубку, причем Максим уже принимал снисходительный вид, воображая себя истинным наставником.

Добытые знания Владимир передавал Василию и Еве. Василий с натугой усваивал «интеллигентские выкрутасы» и готов был на «этих загогулинах и крючках» повесить их изобретателей. В забытии он выражался порой до того тяжеловесно, что Ева вздрагивала плечами и либо жалобно смотрела на своего сослуживца, либо старалась не расслышать его проклятий, приправленных такими солеными словечками, что даже сезонные рабочие, проходившие мимо «сострументом», делали стойки и предвольно улыбались.

Ева отличалась преданностью и усидчивостью. Она ранее всех приходила на работу, она засиживалась до позднего вечера, тихо рылась в папках, и никто из больных не слышал от нее резкого слова...

На работу и на обучение уходило пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. Не заметили, как прошло лето. Владимир отощал. От худосочья по телу пошли болячки. Сводить их пришлось несколько месяцев. Заводоуправление догадалось, что дела больничной кассы за-

пушены, и не прочь было прищемить правление и в особенности служащих кассы: дирекция считала кассу учреждением крамольным, имело в правлении своих соглядатаев — членов из конторского состава. Эти доверенные надоедали расспросами, придирками, указаниями. Владимиру стоило больших усилий обезвредить их влияние. Больше других досаждал главный кассир Кронов. Он ловил Владимира на крупных и мелких канцелярских погрешностях, вступал с ним в разговоры о социализме, о войне, видимо, выясняя образ мыслей его, а стороной старался посеять к нему недоверие среди рабочих-правленцев; кто он, этот секретарь, — не известно: не то шатун какой, не то и того хуже. Владимир возненавидел его сухую на тонких, длинных ногах фигуру, его цепкие взгляды, узловатые, длинные пальцы, закопченные табачным дымом, с жесткими ногтями, лошадиные, выпирающие из рта гнилые зубы.

Максим прожил у Владимира около шести недель.

Переезжая к себе, он больше всего заботился о своей знаменитой лампе.

VII

Пособия выдавались по пятницам. В правление кассы тогда набивалось много больных и увечных. Больные кашляли, хрипели, шептали невнятные слова, стонали, задыхались, подолгу отсиживались на некрашенных скамьях, еле переводя изнуренные, страдальческие глаза, легко раздражались, бранили заводские порядки. Приходили землистые, желтые, с запавшими, подведенными животами, преждевременные сорокалетние старики и старухи, в коростах, в чирьях и нарывах, забинтованные, пропахнувшие идоформом, с увечьями ног, рук, с перебитыми костями. Было жутко смотреть на эти сборища замордованных, полуживых людей, обессиленных работой и нуждой. В пасмурную, дождливую пору, когда в приемной гнила полутьма, больные напоминали фантастический гофмановский мир, жуткий и бредовый; а иногда Владимиру мерещилось, будто он в море и перед ним — трупы, по стран-

ности не утратившие еще способности передвигаться.

Надо было терпеливо выслушивать придирки и грубости. Жалобы и недовольства рабочих на больничную кассу касались прежде всего низких размеров денежных пособий. Главные удержания в кассу производились из заработной платы, от себя заводоуправление вносило весьма умеренную долю. В среднем пособия не превышали и половины рабочего заработка, а дороговизна от войны все росла, и жить делалось все труднее. Владимир и Василий старательно разъясняли рабочим, что в нищенских пособиях надо винить не правление, а тех, кто издавал закон о больничных кассах; надо помогать, чтобы повышенные взносы целиком ложились на хозяев. Тут разговоры, сами собой, переводились на войну. Нужно было вести себя очень осмотрительно: жандармы, заводоуправление не спускали глаз с кассы. И для себя, и для Василия, и для Евы Владимир выработал особое поведение — не отвечать прямо самим на вопросы, задаваемые рабочими без обиняков, а, спрашивая их самих, наводить на желанные ответы. Василий хвалил эту практику, но в то же время нередко срывался и начинал «разутюживать», не жалея ни сил, ни вдохновения. Иногда он до того расплялся, что огрызался на предупредительные и осторожные замечания Владимира и упрекал его в оглядках и в излишней умеренности. Наступая на Владимира, сжимая кулаки, Василий зло спрашивал:

— До каких же это пор будем мы ходить округ да около? От ожиданок и лопух не растет. Сколько веков только ими и занимались. «Они», небось, не дожидают, а гонят себе народ, мильон за мильоном на колючую проволоку, на пулеметы и пушки. Всех бы их надо безусловно... — Василий ударял крепким кулаком по столу: чернильницы, карандаши, ручки, папки прыгали на столе. Ева осторожно отодвигалась и еще ниже склонялась над больничными листами.

Приглядываясь и прислушиваясь к рабочим, Владимир удивлялся их выносливости. Еще поразительнее было то, что

эти люди, внешне порабощенные, сохраняли достоинство, честь и внутреннюю независимость. Несмотря на тяжелые условия быта, на нищету, на отсталость и невежество, они не продавали ни ума, ни своего сердца. Общность труда охраняла их, общность труда их облагораживала, выпрямляла, воспитывала стойкость... Стойкость! Как мало было этого свойства наверху, в том интеллигентном мире, из какого вышел Владимир. Как быстро и легко там сдавались, едва только мелькала тень какой-нибудь беды, неудачи! Сколько было вздорного чванства, непомерного самолюбия, неуравновешенности и дряблости, страха жизни, высокопарных и бессильных слов и речей!..

... Рабочие-правленцы приняли Владимира сначала сдержанно, но мало-помалу ему удалось сойтись с ними ближе. Председатель правления литейщик Кравченко, обладая природной сметкой, с трудом, однако, подписывал свою фамилию. В нем было много широкого добродушия, даже, пожалуй, снисходительности, нисколько, впрочем, не обидной иронии, очень умеренной и располагающей к нему, было много нерушимого чувства превосходства над господами жизни и над охранителями устоев. Неизвестно, когда и как, но совершенно твердо Кравченко осудил и эту жизнь, и этих господ настолько, что даже и не возмущался разными непорядками, подлостью, обманом и глупостью, а все свое внимание обращал на то, как от всего этого избавиться. Что следует делать, Кравченко знал еще смутно, но то, что усваивал, больше никогда им не забывалось. С Владимиром он сошелся из правленцев первым и свел его с печником Семеновым и кузнецом Нефедом, тоже членами правления. На них и опирался Владимир в кассе. Однако, попытки составить из них и их товарищей нелегальный кружок были пока неудачны. Где-нибудь за городом назначалось собрание, но обычно на него являлись только Владимир да Кравченко, — правленцы-рабочие в оправдание своих неявок ссылались на семейные и житейские дела и на усталость. Очевидно, одни еще опасались связать свою судьбу с подпольем,

другие не совсем доверяли Владимиру. Василий, нередко нападая на правленцев, «пушил» их за «почесыванье» и за трусость. Те в свою очередь жаловались Владимиру.

— С вами и потолковать можно тоже, — говорил рыжебородый кузнец Нефед. — Понятия к человеку имеете, а Василий Васильевич иной раз так ошпарит, прямо даже обидно делается.

Председатель Кравченко прибавлял:

— Нашего брата товарищ Василий знает! Это верно. Но обхождение у него с нами трудное.

Владимир такие отзывы иногда передавал Василию. Василий хмурился. Склонив над бумагой лобастую голову и расставив локти почти на весь письменный стол, он желчно отвечал:

— Я их, чертей, не так еще школить буду, в рот им дышло! У меня они попрыгают!.. — Помолчав и неожиданно стчего-то повеселев, Василий откладывал в сторону ручку, сильно потягивался и, бледно улыбаясь, с хитрецей прибавлял:

— Иначе с ними нельзя... Потачки им не будет. Не дождутся.

VIII

На фронтах поражение следовало за поражением. Газетный и журнальный шум давно уже стих, и хотя обычные слова и повторялись изо дня в день, но через эту мишуру явно были заметны тревога, неуверенность, недовольство. Устно передавали о гибели армий, о панических отступлениях, о корпусах, сдавшихся в плен без боя, о крепостях, с необычайной легкостью занимаемых немцами, о нехватке снарядов, о том, что винтовку приходится ожидать в очередь, пока убит стрелка. Рассказывали о чудовищных интендантских хищениях, о небывалом дезертирстве, о свирепых расправах военно-полевых судов. В правительственных кругах росли сумятица, интриги; министерская «чехарда» вошла в поговорку. Уверяли, будто за кулисами ведутся тайные, сепаратные от союзников, мирные переговоры с Вильгельмом. Зловеще множились дикие, средневековые слухи о неграмотном мужике-

проходимце с дикими очами, забравшем власть над царицей и царем. Мерещилось нечто растленное, погибельное, замыкались некие исторические круги, свершались последние сроки, брезжились неясные очертания прозного грядущего.

Владимир внимательно следил за настроениями рабочих. Никто уже не верил в победу «русского оружия», большинство к тому же этой победы и не желало. Исход войны делался очевидным. Теперь правленцы-рабочие уже сами часто начинали говорить о войне. Кузнец Нефед пришел однажды в кассу с библией, долго прилаживал очки к корявому лицу, мусолил пальцы, шелестел страницами и, наконец, со значительным и сосредоточенным видом медленно и вразумительно прочитал Владимиру из Апокалипсиса:

— «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой».

«... И купцы земные восплачут и возрыдают, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссон, и порфиры, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и мрамора...»

«Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру, украшенный золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство».

«... И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и повергнул в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет...»

Подняв указательный палец, кузнец внушительно закончил:

— «Се, гряду скоро!»

Василий, стоя в дверях, с кривой усмешкой спросил:

— Это кто же грядет и куда?

Нефед неторопливо взглянул на Василия, погладил ладонью библию, пожевал губами.

— Мы грядем: кузнецы, шорники, молотобойцы, маляры, литейщики, а куда грядем, о том ты лучше нас знать должен.

Василий подошел к Нефеду, взял библию, перелистал несколько страниц, отложил ее, крикнул:

— Пора бы, батя, — он показал глазами на библию, — пора бы на чердак оттащить: грухлевата книжица.

Кузнец разгладил жесткие усы, благодушно ответил:

— За книгу не держусь. Ученые откупают ее. А про Вавилон дюже хорошо сказано. Проторговались... Пожалуй, Дарданеллы-то эти самые жерновами и повиснут на толстых шеях.

Кравченко, только-что побывавший в банк, с размягшим, красным лицом, спокойно заметил:

— Карачун пришел. Это верно.

Василий жестко предупредил:

— Не говори гоп, пока не перескочишь.

— И это тоже правильно.

Возвращаясь домой вдоль железнодорожного полотна, Владимир вспомнил ссылку, родной город и — как ему пришлось идти наперекор. Перемена разительная, но Владимир думал о ней, как о чем-то обычном. Он давно перестал удивляться. Он пережил подъем девятьсот пятого года, время упадка, отходоу, измен. В подполье тогда остались немногие. Наступило новое оживление, его пресекла война. Идет еще более грозный шквал. Владимир терпеливо ждал, терпеливо работал. Он знал цену повериям, временным отступлениям, хваленным авторитетам и знаменитостям. Он верил бесстрашной мысли, революционному чутью и небольшому кругу зарубежных и здешних друзей. Развязка приближалась.

Владимир пересек пустыри. В темноте тускло блеснул Днепр. Владимир подошел к реке, сел на камень. Он вспомнил, как в детстве мать с подругами по вечерам певала песни о широком Днепре, о золотистых осетрах, о степях и кручах, о койданах, о вражьей крови. Владимир сидел у матери на коленях, она тихо гладила его по голове, у нее был вкусный и подвижный рот, и пахло от нее,

точно от перьев только-что пойманных птиц.

... Да, отчего же все-таки тоска?

Была жажда подчинить, покорить мир, внести в хаос нечто закономерное, человеческое, живое; было еще что-то, не передаваемое словами. И вдруг Владимир почувствовал: эта тоска всегда пребудет с ним, что бы ни случилось. И именно она неустанно гонит его все к новым берегам и не дает успокоиться...

Дальняя дорога...

Вечные странники...

... Около своей квартиры, густо обсаженной пирамидальными тополями, Владимир по привычке внимательно осмотрелся: переулок был пустынен.

IX

Ночью Владимира разбудила жена Василия — Мария Митревна. Судорожно всхлипывая без слез, сухо блестя глазами, она сообщила: мужа схватила полиция.

— Доигрались, добегались! Кто теперь содержать будет мою ораву, кто ее накормит, напоит, обует, оденет? Пушай и берет их всех ваш комитет, пушай и делает с ней, что хочет. Хучь в тюрьму сажайте, желторотых, хучь бумажки дайте им трескаться... Все вы, мужики, хорошие. Что же это за порядки такие: каждый год по ребенку. Я ему, прокурату, говорю: стодил бы. А он только... пошвыстывает себе... Вот и досвистался...

Владимир с трудом уговорил Митревну.

Спустя два или три дня арестовали Генриха. Вслед за ним взят был кружок рабочих, пять человек, а еще через несколько дней к Владимиру явился встревоженный Максим и рассказал: у него на квартире, в его отсутствие, произвели обыск, оставили засаду; о ней он случайно узнал от соседей. Надо было немедленно уезжать. Максим передал Владимиру связи, адреса, попросил выручить у хозяйки, если возможно, вещи, когда все уgomонится. «Лампу жалко, — промолвил он в заключение, крепко-накрепко сжимая на прощанье руку Владимиру, — важнецкая, брат, лампа была... И вдобавок кушетку купил. Ку-

шетка — преотличная. Лежишь себе на ней и млеешь. Не говори: культура — великая вещь... Люблю тихую жизнь...»

С предосторожностями Максим выехал в Петроград.

Скоро Владимир заметил за собой усиленное наблюдение. Сыщики дежурили у кассы, провожали по улицам, торчали около квартиры. В контору под сомнительными предложениями заглядывали неопределенного вида личности, оглядывали внимательно шкафы и столы. Громяхая сапожищами, вломился огромный городской и без обиняков объявил: пристав поручил узнать адреса служащих кассы.

Ночью пришли с обыском. Владимир был к нему приготовлен, встретил охранников почти радушно. Обыском руководил пристав, правая бровь у него была выше левой, к тому же он как-то странно дергал головой. Пристав старался держаться галантно, прикрикивал на городских, мрачно и с изуверским видом ворошивших вещи. В коробке на столе лежало несколько пуль, вынутых из обшивки вагонов с фронта. Пристав долго допытывался, откуда пули. Владимир был уверен, что его возьмут, но его оставили на свободе. Утром хозяин дома, железнодорожный рабочий Тарасенко, выразил Владимиру сочувствие, обозвал жандармов и полицию «анчутками», взяточниками, после чего понес туманную околесицу о трудных временах, жаловался на обремененность семьей, на перепуганное до смерти «женское сословие» и в конце концов попросил Владимира освободить комнату.

Медить не приходилось. Сыщики следили неотступно, аресты продолжались... Брили служащих кассы, брали рабочих, членов правления. На улице агенты охраны задержали Клименко, он приехал в город по делам группы и успел сообщить, что Коростылева, совершенно больного, тоже взяли в тюрьму. Было очевидно, Владимира оставили «на развод», чтобы лучше обнаружить его связи. Владимир спешно оставил работу у эстампажников и печников, переселился на другую окраину и выходил теперь только по вечерам.

Нужно было наметить новое руководство, связать между собой разрозненные кружки в районах и в предприятиях, куда «центр» состоял из одного Владимира. После упорных поисков удалось сговориться с двумя рабочими машиностроительного завода: с Никитенко и с Андроновым, но Андронova арестовали, а Никитенко оказался очень неповоротливым. Связи налаживались с большим трудом. Одни были запуганы, другие не доверяли малознакомым товарищам. Заминками и неудачами воспользовались противники, меньшевики и социалисты-революционеры: они захватывали кассы и союзы.

Работала невидимая, но опытная рука предателя. Тщетно Владимир перебирал в памяти всех, кого знал, проверял, собирал осторожно о товарищах сведения. Догадки, намеки, подозрения ни к чему не приводили. Следы терялись. Мерещились больные, мучительные сны; Владимир просыпался от собственных стонов и криков и уже не мог более заснуть. И все время его не покидало ощущение, что за ним кто-то наблюдает, кто-то преследует его, хитрый и жестокий, наглый и темный. Встречаясь на явочных квартирах с товарищами, Владимир невольно спрашивал себя: не он ли, не он ли? Это было хуже всего. Усилиями мысли и воли Владимир старался отогнать подозрения, но они, забытые, пришибленные, продолжали свою изнурительную работу в закоулках души.

До позднего ночного часа Владимир посещал собрания, проводил совещания, привлекал новых товарищей. В этой мелкой и кропотливой работе ему помогала Ева. Только теперь он оценил как следует эту невзрачную девушку. Ева никогда не отказывалась ни от каких поручений, выполняла их с редчайшей точностью. Была она некрасива, знала это, стеснялась, но, видимо, она не знала, что иногда ее лицо невольно обращало на себя внимание сдержанным и затаенным сердечным трепетом и человечностью. О личной жизни ее никто в группе ничего не знал. Ева жила одиноко. Отца и мать она давно похоронила. Сестер и братьев не имела. Не было у нее и близких подруг. В группе Ева жила только

работой и близко ни с кем не сходилась из-за своей скромности и крайней застенчивости. Она обрекала себя на безвестность и одиночество. Между тем порою Владимир замечал в Еве большие запасы нежности и женственности, но все это она хоронила в себе, тщательно оберегая от нескромного или досужего глаза. Когда работнику угрожала опасность и надо было его предупредить, посылали Еву, и не одного товарища спасла она от засады, облав, от обысков и арестов.

Х

Мысли Владимира неизменно возвращались к тому, что делалось на фронтах и что не передавалось никакими самыми выразительными понятиями и образами. Уговариваясь где-нибудь с товарищем о собрании, поджидая у заводских ворот Никитенко и хоронясь от сыщиков в толпе рабочих, Владимир вспоминал: «А там идет война...» — и линия горизонта вдруг оживала, делалась зловещей и прозной. Занимался ли Владимир, отдышал ли он, просыпался ли на рассвете, или менял извозчиков, трамваи, чтобы замести за собою следы, — он неизменно находился под гнетом того огромного и ужасного, что называлось войной. Он был измучен одними и теми же думами. Порой его преследовали неотвязные дикие представления. Луна, напоенная кровью, вдруг рассыпалась на мелкие осколки, глаза застлались кровавой, звездной пылью. Земля тряслась и содрогалась в непереносном грохоте; наступала особая гулкая, живая тишина, еще более страшная. Смертоносные поля влекли к себе, воображение отравлялось и угнеталось осколками трупов, зияющими и кровотокащими ранами, упрощенным молчанием, проклятиями. Все чаще и чаще Владимир стал думать, что надо отправиться на фронт. Надо было почему-то «это» самому увидеть глазами, услышать, осязать...

... Приехал член государственной думы, социал-демократ, сторонник обороны. В роже за городом собралось с разных фабрик и заводов до сотни рабочих. Депутат, невысокий и коренастый, с усталыми и умными глазами, в потертом

пиджаке, выступил вяло и неубедительно. Слушали его хмуро. Он говорил, что стране угрожает разгром, безразлично к этому разгрому относиться нельзя: страна может сделаться немецкой колонией. Необходимо собрать демократические силы. Владимир, Никитенко и товарищ Николай легко справились с депутатом; их резолюция собрала больше двух третей голосов, на собрании преобладали члены правлений касс и союзов. Депутат ушел расстроенный и даже не простился с Владимиром, хотя перед собранием они успели побеседовать и поспорить...

О сходке по городу ходило много слухов. Передавали, что Владимир выступил с необыкновенной речью; это было явным преувеличением. Жандармы и полиция справлялись о нем в кассе эстаппажников. Надо было торопиться с отъездом и поскорее найти заместителя. У железнодорожника Матвеева во время ночного совещания дом стали окружать охранники и полиция: кто-то предал собрание. Патруль успел предупредить участников совещания, и они скрылись, попрыгав через забор, между тем пешие и конные городовые, с ротмистром и приставом во главе, уже почти оцепили дом. Владимир замешкался, его заметили на заборе, зашикали, засвистали, бросились наперерез в соседний переулок.

Тем временем Владимир успел соскочить на землю, пересечь пустырь, забежать во двор и спрятаться в пустом хлеву. Погоня промчалась мимо. Владимир слышал, как по булыжникам процокали звонко копытами лошади. Матвеева взяли в тюрьму.

... Владимиру указали на Тулейникова как на заместителя. Тулейников недавно возвратился из-за границы и дал охотно согласие принять от Владимира дела, но затем передача затормозилась. То Тулейников опаздывал на явку и после ссылался на неотложные занятия, то оправдывался, что лежал больным в кровати, то заявлял, что его преследует сыщик и пришлось долго его «водить» по городу. Он шурил подслеповатые глаза, косил правым плечом, потирал потные руки, обещал непременно притти в следующий раз и — опять не приходил.

А кольцо вокруг Владимира смыкалось все тесней. В некоторых частях города он уже не решался появляться. Вместо Тулейникова дела принял нерасторопный Никитенко. Уехать Владимир решил в Петроград, но пришло шифрованное письмо, и он вместо столицы, где ему давно хотелось поработать, направился в один из губернских городов средней черноземной полосы по новому, чрезвычайному и неотложному делу.

ОЛЬГА

I

Чрезвычайным и неотложным делом были заняты, помимо Владимира, еще пять человек. Из них Владимир постоянно встречался только с Ольгой и с Соколовым.

Странное лицо было у Ольги, продолговатое, неправильное и даже будто перекошенное. Запомнился также ее рот, большой и, с первого взгляда, некрасивый. Когда же она его раскрывала, обнаруживался такой ярко коралловый и необыкновенно правильный овал верхних десен и такой ослепительный, вкусный и крепкий ряд зубов, что прекрасный делался и рот, и все ольгино лицо. Глаза у Ольги были большие, напряжен-

ные, меняли цвет, чаще казались светло-зелеными. Ольга гладко причесывалась. Владимир считал Ольгу северянкой. Одевалась она просто, но хорошо, почти изысканно, носила платиновые часы-брашлет, в алмазах, очень чистой воды.

В Ольге поражало природное целомудрие, оно, казалось, таилось в каждом ее мускуле, движениях, точных и сдержанных, в складках ее платья, в ровном и спокойном ее голосе. О прошлом Ольги Владимир почти ничего не знал. Ничего неизвестно было о родителях ее, о воспитании, о среде. Привлекая к делу, Владимиру сообщили, что Ольга состояла в группе боевиков-максималистов, принимала участие в разных террористических предприятиях, но от макси-

малистов отошла, сохранив личные связи. Она высказывалась за поражение русских войск. Лет ей было двадцать пять — двадцать восемь.

Ее товарищ по группе, Соколов, приземистый, коренастый, очень угрюмый, всюду, где появлялся, вносил нечто тревожное, таинственное и опасное. Люди себя чувствовали с ним стесненно, будто в чем-то перед ним были повинны. Соколов никогда не смеялся, не улыбался, да и не подходила улыбка к его темному и неприветливому лицу. Говорил он крайне неохотно, с натугой, тщательно подбирая слова. Газет не любил и редко в них заглядывал, занимался физикой, химией, технологией.

... Дело требовало сноровки и отваги. Предстояло освободить из тюрьмы трех заключенных. Один из них, Никандров, недавно осужденный за пропаганду среди солдат на двенадцать лет каторжных работ, являлся среди большевиков одним из самых ценных работников. Он сидел в одной камере с бевеками-максималистами Климовым и Яковлевым. Они обвинялись в убийстве жандармского ротмистра, им угрожала смертная казнь. Яковлев и Климов ждали суда, Никандров — отправления в каторжный централ. Все трое заявили товарищам на воле, что хотят бежать. Решили подвести подкоп под тюрьму, под камеру в нижнем этаже, где они содержались. Когда Владимир приехал в город, многое было уже сделано. Около тюрьмы у купца Овчинникова сняли пустой мучной лабаз и вели отсюда подкоп. Работали техник Соколов, Ольга и еще два максималиста. Шахта велась на глубине двух аршин. Соколов нагружал ломовую подводу кулями с землей, обильно испачканными мукой, земля вывозилась за город. Уже успели пройти улицу и приблизились к тюремной стене. Работали посменно днем и ночью. Чем дальше рыли, тем труднее было вести шахту. Нехватало воздуха; от дождей накоплялась вода, ее приходилось отводить. А надо было спешить. Никандро́ва каждый день могли отправить, а Яковлева и Климова осудить военным судом и повесить. Максималисты обратились к большевикам

с просьбой помочь им. Им дали Владимира. Он охотно согласился принять участие в деле: опасность привлекала его к себе; настроение, которое у него создала война, находило выход. Но не дрогнет ли он, хватит ли сил и умения? Владимир наблюдал за общим ходом предприятия, добывал деньги через подкупленного тюремного надзирателя, вел с заключенными переписку, надо было много предвидеть, как, когда взломать в камере асфальтовый пол, чтобы не заметили дежурные надзиратели, куда и где их поместить после побега. Все эти вопросы подробно обсуждались Владимиром и Ольгой, между тем Соколов с двумя товарищами продолжали работу кротов. Работала в шахте и Ольга, но главное ее назначение состояло в том, чтобы помочь арестованным во время побега оружием, если бы это потребовалось.

II

Ольга пришла к Владимиру усталая: около пяти часов она проработала под землей. Тюремную стену удачно прошли; подкоп велся уже во дворе. Владимир приготовил на спиртовке чай, разложил хлеб, яйца, масло. Ольга неподвижно отлеживалась на кушетке. В открытое окно вторгался выгон, кладбищенская роща, часовня, поля со снятым урожаем, деревянные хибарки на взгорьях. За чаем Владимир прочитал Ольге расшифрованное письмо от Никандро́ва. Заключенные надеялись на скорое освобождение, находили обстановку благоприятной. Ольга рассеянно мешала ложкой крепкий, почти черный чай, думая о чем-то своем и будто постороннем делу. Решили прогуляться. Шли широкими, тихими улицами. По обеим сторонам привольно раскидывались сады, тронутые осенью. Низкое солнце мешало остывшие лучи с прохладной желтой листвой. На деревьях блестели длинные паутинные пряди. Пахло тем свежим, бодрым, отрадным и в то же время грустным и радушным запахом, какой бывает в садах черноземной полосы сентябрьскими вечерами. Откуда-то издали, с задов, с гугмен несет мякиной, из

огородов — укропом, а из самых садов — увяданием, дымом. На яблонях серебрились последние, редкие яблоки.

Ольга негромко сказала:

— У дяди, где пришлось мне расти, я очень любила выбегать в сад по утрам. Сад еще свеж и росист, он седой, и нет ничего отраднее, как найти в траве любимое яблоко в пятнышках, покрытое серебристым налетом, и тут же съесть его. Чудесные были у дяди антоновки и бергамот.

Ольга опустила голову, погладила правую бровь:

— Сказано: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых богов его. И еще сказано: зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое древо зеленеющее... не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга и до севера... И вот — огонь пожирающий, и вот я сделалась опытной в убийствах.

— Жалеете об этом?

Ольга пожала плечами.

— Не люблю людей: много надменности, чванливости, алчности, невежества, рабства... Обращали вы внимание, как некрасив, как уродлив человек, если сравнить его с кошкой, с волком, с птицей? До чего неуклюж, неповоротлив он. Вялые мускулы, отвислые животы, короткие ноги у женщин, длинные руки у мужчин. Как редко попадается красивое тело, одухотворенное лицо. С каким трудом находят прекрасное в человеке даже такие мастера, как Рафаэль, Рубенс, Пушкин, Гете... А прославленный человеческий ум... Все истины условны; все истины крайне недолговечны. Да и много ли их? Сколько мучений, крови, смертей аа кострах инквизиций, на эшафотах и как же, однако, тощи и убоги откровения человеческого разума.

— Значит, вы отдаете себя ради избранных, ради героев?

Ольга, прищурившись, смотрела в остывающее густосинее небо.

— О героях прекрасно однажды сказал Ницше: «Может быть, во всех великих случаях происходило одно и то же: толпа молилась на бога, а этот бог

был сам только жертвенным животным...» — это очень верно.

— Следовательно, вы оделись опытной в убийствах ради будущего человечества?

Ольга пристально глядела на кремевые груды облаков, позлащенных по краям закатными лучами...

— Скажите: отчего такую власть имеют слова? Я всегда с каким-то необыкновенным внутренним упоением произношу про себя: «свет вечерний». Да, о будущем человечестве... Не люблю его. Будущий человек обо мне и не вспомнит. Да и какой он будет, этот человек, неизвестно. Может быть, он будет хуже нас... — Помолчав, Ольга прибавила:

— Я — мстительница. Я — оружие.

— Это неправда,—заявил Владимир.

— Может быть, и неправда. Мы еще почти ничего не знаем о себе.

— Что же побудило вас, Ольга, сделаться опытной в убийствах?

Ольга слабо улыбнулась.

— Призвание... Мне незнаком страх смерти... Я — не храбрая, я просто-напросто лишена человеческого страха смерти... Жизни я боюсь больше, чем смерти... боюсь грязных, корявых лап действительности... В детстве я боялась смерти... а потом перестала бояться; когда перестала, не заметила... Это — большое несчастье не бояться смерти... огромное несчастье. Это, должно быть, со стороны очень страшно... Все большие, все гениальные люди боялись смерти: Христос, Толстой, Гете. Помните моление в Гефсиманском саду—«Да миует меня чаша сия»....

— Мне с вами не страшно, — сказал задумчиво Владимир.

Ольга ничего не ответила...

Миновали кладбище. За кладбищем поля разламывал глубокий овраг. Солнце на краю горизонта напоминало червоный татарский шатер. Кладбищенская роща попружалась в сумерки, но на верхушках сосен, кленов, тополей еще трепетала и скользила прощальная солнечная позолота. Владимир и Ольга присели у оврага. Внизу по песчаному дну его журчали неторопливые родниковые ручьи. Ольга сорвала несколько су-

хих былинок, стала оббивать ими тонкий и гибкий указательный палец. Владимир в первый раз обратил внимание на ее руки, короткие, почти детские, но мускулистые и очень живые. Что-то они напоминали Владимиру, но что же именно? Вдруг в сознании всплыло: несколько лет назад Владимиру пришлось быть на приеме у хирурга. Хирург, молодой, тщательно выбритый, худой, в ослепительно белом халате, расспрашивал его, положив руки на стол. Отвечая на вопросы, Владимир не мог отвести взгляда от этих рук: были они бледные, тонкие, женственные и вместе с тем крепкие и подвижные. Чувствовалось, что они постоянно имели дело с жизнью, отвечали за жизнь, эти локви, опытные и страшные руки, игравшие со смертью. Такие же, как у хирурга, были и ольгины руки. Владимиру представилось: Ольга держит браунинг и целится; револьвер сливался не только с ее рукой, но и со всей ее фигурой, он составлял как бы часть ее существа, был ее органом.

... Ольга спросила Владимира:

— Вы боитесь смерти?

Владимир долго не отвечал.

— Не знаю. Должно быть, боюсь.

— Смерть упопительна, — медленно сказала Ольга. Она поднялась, отряхнула платье. Недалеко, за поломанной оградой, серели кресты. Ольга молвила:

— Люблю деревянные кресты на могилах.

Они подошли к черному кресту, на железной доске Ольга вслух прочтала: «Здесь покоится прах Николая Чупракова. Убит в 1909 году. Жития его было 27 лет».

— За что убит, кто убил?.. Вероятно, уже все забыли об этом Чупракове... Мой ровесник...

III

Из дневника Владимира (Даты тщательно зачернены.)

... Вести дневник... Да простится мне мой проступок.

... Я люблю Ольгу. У меня ощущение, что Ольгу я скоро потеряю... Ольга — человек с судьбой... И мне хочется как можно больше сохранить о ней в памяти...

Ольга говорила:

— ... Любовь и смерть связаны таинственными узами. Вспомните из «Фауста»: «Его любить, и тихо млеть, и целовать, и умереть». А Лермонтов с его стихами: «Выхожу один я на дорогу». А Гоголь, у которого Хома влюбился в мертвячку. А смерть мадам Бовари у Флобера с песней слепого о юбке, задираемой ветром кверху? А смерть Рафаэля в «Шагреновой коже»... О Тютчеве не говорю... Не вспоминаю и Пушкина с его влечением к смертельному. Вчитайтесь также в некоторые рассказы Бунина... в стихи молодого поэта-футуриста Маяковского... Прослушайте последний акт «Хованщины»... Не состоит ли высшая поэзия в этом соединении жизни и смерти?.. Прекрасное не только жизнь, прекрасное не только смерть; прекрасное — это таинственное сплетение жизни и смерти, тела и духа...

... Ольга сказала о смерти:

— ... Смерть лучше всего названа Львом Николаевичем в предсмертном сне Андрея Волконского: помните, — в двери вламывается «он о». Смерть есть «он о». Жизнь — это Я. Смерть — это когда Я превращается в «не я», в «он о», в другое. Смерть — все, что я вижу, слышу, обоняю, осязаю. Это — небо, облака, звезды, леса, реки, животные, птицы, все застывшее, делимое, непонятое, внешнее... «Он о»...

Жизнь — это внутреннее, это — я, понятное.

... Проходили мимо театра. У главного подъезда на мокром асфальте сидела девочка — нищая, лет восьми, в тряпках, полуголая. Молча она протягивала синюю от холода руку. Лица из-под грязного платка почти не было видно.

— Как все торопятся на зрелище, — молвила Ольга. — И никто даже и не взглянет на ребенка. Сейчас будут жалеть Ленского, Татьяну, думать о судьбе Онегина, наслаждаться музыкой, мечтать, грустить, а рядом помирает ребенок. Все это омерзительно. А еще считают себя честными, добрыми, умными,

ведут идейные разговоры. Иногда мне кажется: красота и искусство — это дьявольское навождение, они существуют лишь для того, чтобы прикрывать все отвратительное, злое, себялюбивое. Гете благословлял за это поэзию. Не честнее ли, однако; заглянуть в лицо жизни, не набрасывая на это лицо чудесного, преобразующего покрывала Майи... Придет время, и будут удивляться, что люди когда-то увлекались добром, забывались красотой и в то же время допускали, чтобы на их глазах от голода и холода погибали дети. О нас будут думать, как мы думаем о людоедах, о худших временах рабства, о попытках инквизиции. Добром, красотой, моралью, философскими системами, верованиями люди ограждают себя от хаоса, от боли, от ужаса жизни. С системами и верованиями куда легче. Лев Толстой построил себе систему успокоения, или по крайней мере притворился, будто нашел ответ и успокоился; он окостенел, вообразил себя проповедником, учителем жизни... Так спокойнее. Все проповедники — люди крайне бессердечные...

Она подошла к девочке...

... Возвращались домой сонными улицами. Шаги звонко отдавались по деревянным мосткам. Осенний холодок бодрил. Дома быстро загасили свет...

... Мне хочется как можно больше записать об Ольге: томят тяжкие предчувствия. От Ольги я скрываю их. Знаю, есть они и у нее. Она их тоже скрывает. Иногда ловлю на себе ее взгляд, упорный, странный, огромный, как бы вбирающий меня всего в себя.

IV

Из дневника Владимира.

Ольга:

— Порою вы и ваши товарищи, Владимир, представляетесь мне самыми страшными людьми. Слишком вы деловиты, слишком все взвешиваете на весах разума.

— В России, Ольга, как-раз недостает таких дельцов. В России самое страшное — мечтатели.

— Есть нечто выше и мечты, и вымеренной деятельности, — это страдание. Не люблю людей, но человеческие страдания меня угнетают.

Ольга — хирург, но хирург с огромной болью в душе.

... — Не вижу с Ольгой несколько дней... Бессонные ночи, глухой стук сердца, смятые подушки, недокуренные папиросы, головная боль, вереница изнурительных мыслей, неизвестность, темные ожидания... Не с кем побеседовать...

... О прошлом Ольги попрежнему ничего не знаю. Жила у дяди. У дяди был сад. В нем — вкусная антоновка и бергамот... Меня Ольга тоже ни о чем и ни о ком не спрашивает. Это и хорошо, но как-то даже и обидно... У Ольги пристрастие: читать книги о животных, о птицах, о рыбах. Во время чтения лицо ее делается детским, губы раскрываются; иногда несколько раз надо ее окликнуть, прежде чем она отзовется...

... На людях всегда остро чувствую, насколько мы с Ольгой одиноки и враждебны окружающему. Отщепенцы, отверженные, странники. Известность, слава художника, писателя, ученого, семья, уверенный, спокойный труд — как все это далеко от нас! Мы — безымянные, безродные, бездомные... Такими и уйдем из жизни... Жалеем об этом? Нисколько...

... Кому-то надо поддерживать, укреплять, расширять житейское: трудиться, сажать деревья, снимать жатву, плоды, рожать и воспитывать детей. В «Бесах» Шатов бессвязно и чадно бормочет: «Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете», Может быть, это и правда, но мы, я и Ольга, рождены для другого. Таков удел наш. Иногда, однако, я завидую простой непреложной жизни. Мускулы тоскуют по труду, по здоровой усталости

сти. Хотелось бы походить за плугом, поплотничать, вдыхая запах горячих сосновых стружек, освободиться от одних и тех же мыслей... В городском саду однажды я подметил восхищенный и голодный взгляд Ольги, направленный на девочку лет трех, светлокудрую, голубоглазую, в сиреневом платье и коротком осеннем пальто. Малышка бежала за спицей, называя ее вместо собачки седячкой: «Седячка, седячка!» Замечив, что я гляжу на нее, Ольга потушила взгляд, ускорила шаг...

... Оба мы заметно похудели... Долго беседовали о друзьях...

... Ценю в Ольге сдержанность, с какой она говорит о войне. Нет лишних слов, но она очень внимательно следит за событиями, все превосходно понимает и помнит. Она легко разбирается в том, что происходит на фронте, по сухим, путаным и лживым сводкам воспроизводит истинную картину передвижений, боев. Удивительно, откуда у нее такое чутье к военному делу? Может быть, это от предков? Но кто были ее предки? Зрительная память у Ольги небывающая. Она превосходно запоминает местность, дорогу и уже потом никогда не сбивается.

... Ольга:

— Заметили вы, Владимир, как изменились люди за время войны? Они очень изменились. Повсюду появились проныры и пролазы, алчные и жадные дельцы, нахалы, оборотистые и на все готовые юноши, люди с меткими, цепкими взглядами, вьюны, развязные говоруны, ловкачи и шантажисты. Их ни что не смущает. Нет никаких представлений о морали, о достоинстве. Лови момент! Они не теряются ни при каких обстоятельствах и всегда сумеют приспособиться. Без прошлого, без роду, без племени. Бессовестные, лупоглазые. Они — в газетах, в журналах, в учреждениях, в тылу, на фронтах, в гимназиях, в науке, в искусстве... Старая Русь уже стерта войной с лица земли. Она окончилась. Не знаю, худо это, или хорошо, но я себя тоже чувствую

уже в прошлом. Вы лучше, чем я, приспособлены к жизни... Вы ограждены вашим марксизмом. Я из последних...

Это — правда... Ольга из последних...

V

Лабаз, низкое, длинное здание, помещался против тюрьмы через улицу. Владимир вместе с Ольгой зашел в помещение поздним вечером. Внутренность лабазы тускло освещалась ночником: боялись, что свет, хотя двери плотно завешивались парусиной, проникнуть может на улицу через двери или через какую-нибудь щель.

Владимир с трудом разглядел обстановку. В одном углу были навалены почти до потолка мучные мешки, набитые землей. Пахло свежим и могильным. В другом углу, ближайшем к мешкам, зияла широкая яма; кучи щебня, мусора, песку загромождали вход в нее; у стены стояли снятые половицы. Ими, когда прерывалась работа, закрывали вход в шахту. Напротив, у стены, на камнях лежали широкие и короткие доски, подбие стола. На полу три свернутые тощих тюфяка, набитых сеном, на них подушки-думки. На стенах висели платье, три браунинга.

Двое работающих, Шорников и Кузьмин, жили в лабазе затворниками и уже около месяца почти не выходили из него, дабы не навлечь подозрения.

Кузьмин был худощавый юноша, лет двадцати двух, тихий, застенчивый. Он давал объяснения Владимиру, между тем как Соколов и Шорников работали в шахте.

— Шахта у нас трехгранная, — пояснял Кузьмин, — призматическая, по примеру народвольской на Московско-Курской железной дороге. Такая шахта — самая удобная: требует меньше труда. Работать мешает недостаток воздуха, хотя нам приходится легче, чем восьмидесятикам-террористам. Помните описание работы под землей у Александра Михайлова, как над ними пронобились поезда, дрожала и сотрясалась земля, трещала деревянная обшивка, сыпались камни, угрожая обвалом. У нас спокойнее. В общем работа идет

успешно. Правда, и у нас бывают сюрпризы...

Кузьмин подвел Владимира к углу, где лежали мешки с землей, и показал пять человеческих черепов.

— Нашли почти под самой тюремной стеной. Очень странно, что, кроме черепов, не было обнаружено никаких других костей; очевидно, кого-то обезглавили и туловища похоронили в одном месте, а головы — в другом. Обратите внимание еще на одну странность: у всех пяти черепов — проломы с правой височной стороны: должно быть, их умерщвляли одним и тем же способом... Тюрьма старинная, ей, по утверждению историков края, больше трехсот лет... Она видала виды...

Черепы, набитые землей и положенные Кузьминым в ряд на один из кулей, слепо глядели черными впадинами, щерясь дикими и страстными оскалами. Действительно, у всех у них была проломлена правая височная кость. Ольга взяла один из черепов, но тут же положила его обратно.

— Загадочная история, — согласился Владимир, больше приглядываясь не к черепам, а к Кузьмину.

Про Кузьмина Владимир знал от Ольги, что он живет в особом, фантастическом мире. Все свободное время Кузьмин отдавал революционной литературе семидесятых и восьмидесятых годов. Он читал и перечитывал «Былое», мемуары, истории разных революционных предприятий, автобиографии, литературу «Земли и воли». «Народной воли». Он знал, как никто, хронологическую канву событий тех лет, мог сообщить, когда, при каких обстоятельствах был взят тот или иной работник средней руки. Лучшими моментами в его жизни являлось получение книги о революционном прошлом. Может быть, ему следовало бы не рыть шахту, а заниматься в стенах университета, в архивах, так как, бесспорно, из него вышел бы превосходный историк революционного движения, с тем, однако, существенным отличием от обычных историков, что минувшему Кузьмин отдавался со страстью, всеми помыслами. Так жил этот милый юноша в сыром, темном и

холодном амбаре, работая под землей. Ольга сообщила, что Кузьмин, несмотря на запрещение хранить в лабазе что-нибудь лишнее, прятал где-то под полом пачку любимых изданий.

Из ямы показался Соколов, за ним Шорников. При слабом освещении лица их едва-едва выделялись из темноты. Оба поднялись отдохнуть и выпить чая. Оба были в одних рубашках, в коротких штанах до колен и в сандалиях на босу ногу.

О Шорникове Владимиру было известно немного. Духовного звания, уволенный за бунт из семинарии, Шорников несколько лет прослужил в земстве и потом ушел в террор и в экспроприации. Он до конца был предан Ольге и следовал за нею повсюду, принимая участие во всех ее боевых предприятиях. Он довольствовался тем, что видел Ольгу, мог с ней говорить, делить опасную и кровавую участь. Был он по виду очень угрюм, говорил мало, но эти его свойства как-то не тяготили людей. Ольга относилась к Шорникову, как сестра к брату. Они с полуслова понимали друг друга, и часто им одного взгляда довольно было для взаимного объяснения.

Соколов и Шорников устроились на мешках у стола с колбасой, хлебом и чаем. Их лица были ужасны, утомление доходило почти до изнеможения. У Шорникова дрожали руки, и он должен был делать усилия, чтобы не расплескать стакана. Соколов тяжело горбился.

После чая устроили совещание. Шахтеры заявили, что работы осталось всего лишь на четыре-пять дней. Владимир со своей стороны сообщил, что по уговору с заключенными пол в камере можно будет ломать, когда они дадут световые сигналы в окно; их в лабаз передает Ольга. Владимир хотел было спуститься в шахту, но нужно было спешить на явочную квартиру.

На явочную квартиру шли вместе, Ольга с Владимиром. Ольга сказала:

— И Шорников, и Соколов, и Кузьмин — замечательные люди. С ними я забываюсь. Я живу тогда в особой среде, совсем не похожей на окружающую суету сует, — и мне лучше и легче...

Владимир ответил:

— И вы, Ольга, и Кузьмин, и Шорников, и Соколов — люди исключительной силы и красоты духа, преданности революции, героизма, но вы не умеете правильно разрешить некоторых коренных вопросов революции. Кузьмин знает, как умирал Валерьян Осинский, как ходил в народ Александр Михайлов, а Мышкин в Вилуйске пытался освободить Чернышевского, но и он, Костя, и вы, Ольга, не учли опыта прошлой революционной борьбы. Краеугольным в русской революции является вопрос об отношении стихии к сознанию, большинства к меньшинству, класса к партии, толпы к героям. Вспомните: шестидесятники проповедывали критически мыслящую личность; потом бунтари-бакунисты растворяли эту личность в народной стихии, преклоняясь перед мужиком-общинником. После неудач бунтарей народовольцы провозгласили в противовес стихии заговор решительного меньшинства. А правду открыл автор брошюры «Что делать», сочетав стихийность с сознательностью, класс с партией, толпу с героями. Его тип профессионального революционера и психологически, и теоретически, и практически разрешает собою дилемму, которая так мучила несколько революционных поколений, приводила их к гибели и которая не разрешена ни вами, Ольга, ни вашими товарищами. Тут ваша беда. Вы больны человеческими страданиями, живете в искусственной среде. Кузьмин грезит прошлым, Шорников вами, вашей судьбой, Соколов полон мрачной жизни. Вы — одиночки.

— Вы тоже очень одиноки...

— Это правда, но я одинок по-другому. Революционер всегда должен быть готовым к одиночеству. Он — против течения, он ведет войну не только с заведомыми врагами, но и в своем кругу, с косностью, с предрассудками, с трусостью. Но я и люди моей складки никогда не теряем ощущения связи с народом, с жизнью. Вы этой связи не ощущаете.

Ольга замедлила шаг.

— Когда нет примирения в жизни, его ищут в смерти. Может быть, я найду его...

Всю остальную дорогу до конспиративной квартиры Ольга и Владимир шли молча.

VI

... Ольга пришла к Владимиру с опущенным лицом.

— Их перевели в другой корпус; Никандрова отделили от Яковлева и Климова. Соколов сообщит дополнительные сведения.

Владимир и Ольга долго сидели неподвижно. Казалось, они забыли друг о друге.

Хозяйка квартиры, старушка Матрена Николаевна, приоткрыла дверь:

— Что же это, родные, вы без огня сидите? Не надо ли чайку?

— Давайте, бабуся, — ответила рассеянно Ольга, не шевелясь.

Матрена Николаевна знала, что Владимир живет с Ольгой, и очень одобряла обоих. Старушке нравилось, что Владимир не пьет, не водит лишних знакомств, много читает и обходителен в обращении. Ольгу Матрена Николаевна считала богатой и осторожно спрашивалась у Владимира о приданом.

— Чтой-то вы больно невеселы, — говорила старушка, внося лампу. От этих простых слов Владимиру сделалось легче. Матрена Николаевна внимательно оглядела Ольгу, вытерла губы концом платка, каким была повязана, хотела еще что-то прибавить, но ничего не прибавила и только сокрушенно покачала головой.

Пришел Соколов. Он узнал, что Климова и Яковлева через месяц будут судить. Несомненно, их повесят. Защитник в этом совершенно уверен. Жандармы и тюремщики что-то подозревают: недаром они разобшили заключенных и смертников поместили отдельно. Продолжать подкуп бессмысленно, арестованные сидят теперь в третьем этаже.

Соколов говорил толково и положительно. Слушателю со стороны можно было подумывать, будто в комнате ведет-

ся обычная житейская беседа. Ничто не выдавало волнения Соколова, и только по редким, мгновенным судорогам, искажавшим его лицо, можно было догадываться о целых потрясениях, переживаемых этим человеком с темным лицом, с угрюмым и упрямым лбом.

Что делать дальше? Владимир предложил выяснить, нельзя ли бежать заключенным во время прогулки через стену. Еще раньше, осматривая тюрьму, он отметил, что стены не высоки, и тогда же у него мелькнули мысли о побеге с прогулки. Легкий по своей организации, этот побег являлся, однако, более опасным для заключенных. Очевидно, поэтому его и не выбрали с самого начала. Теперь он оставался единственным. Ольга и Соколов согласились с Владимиром. Соколов, далее, рассказал: когда в лабазе узнали о неудаче, Кузьмин упал в обморок. Ольга слушала Соколова спокойно, только немного побледнела, да еще взгляд ее сделался более глубоким. Передавая Соколову зашифрованную записку для арестованных, Владимир заметил, что рука у Соколова дрожала, и пытливо посмотрел на него. Соколов отвел взгляд, заторопился, долго не мог найти фуражки, хотя лежала она у него почти на глазах.

Владимир подошел к окну. По стеклу медленно катились крупные, темные капли. Он распахнул рамы. Ночь обняла его сырими, осенними запахами. Владимиру вспомнились ольгины антоновские яблоки, и тут он почувствовал: прежние пути пройдены, наступает новая, неведомая полоса: прошлое утратило связь с настоящим. «Распалась связь времен»... Он закрыл окно, оглянулся на Ольгу. Она сидела у стола, подпирая рукой тонкий подбородок. Ресницы у нее были низко опущены. Владимир, не отрываясь, смотрел на женственный и в то же время сильный изгиб ее руки. О главном, о неудаче подкопа, о товарищах, которым угрожала смерть, говорить почему-то было трудно, но и молчание делалось тягостным.

Ольга медленно поднялась, постояла: — Пойду... Не провожайте... Пойду одна...

VII

... Владимир вышел на улицу и невольно отдался очарованию: такие легкие, прозрачные дни осень дарит только напоследок, уступая зиме. В необъятных небесах белые, негустые облака вставали обетованными странами. Был звонок и по-ноябрьски ломок воздух. Прохлада оседала на плечи, щекотала ноздри.

Пересекая улицу, Владимир, по привычке, осторожно оглядел ее. Тащилась старушка в черном чепце, в облезлой, шоколадного цвета, ротонде; тарыхтела пустая водовозная бочка; группа мальчишек «заносила» змей, хотя ветер еле-еле шевелил последние, желтые листья на деревьях. Мальчишки, впрочем, скоро убежали на выгон. Редкие пешеходы шли, поеживаясь и сутулясь.

Обнесенная серыми стенами, нелюдно нависала тюрьма: два трехэтажных корпуса, невысокая и невидная церковка, мастерские, пристройки. Тюрьма казалась опустевшей. Было непонятно и удивительно, как могло существовать это мрачное, грязное здание под таким чистым, непорочным и свободным небом.

... К побегу приготовились. Никандров сидел отдельно от Яковлева и Климова, но гуляли они вместе. Из веревок, простынь и белья были сплетены «кошки», лестницы с трехлапными якорьками; на них пошли ручки от параш. Во время прогулок заключенных сторожили два тюремных надзирателя; у стены ходил часовой. Гулять выводили по восемь-десять человек. Предполагалось, кто-нибудь из гулявших займет разговором тюремщиков, беглецы выберут время, когда часовой скроется за углом корпуса, закинут на стену «кошки», вскарабкаются наверх, перебросят «кошки» на другую, наружную сторону стены, спустятся и добегут до пролеток. Две пролетки и лошадей Владимир добыл под городом у знакомого агронома, близкого к подпольным кругам. Одной пролеткой управлял Соколов, другой — Шорников. Ольга и Саша Кузьмин дежурили около тюремных боевиками. Гулять Никандрова, Яковлева и Климова выводили во втором часу.

Уже четыре дня выезжали Соколов и Шорников, а Ольга, Кузьмин и Владимир занимали свои посты. Кузьмин обычно гулял около лабаза, Ольга скрывалась в небольшой роще за выгоном. Впрочем, они менялись местами.

Удобный момент для побега все не наступал. Обстоятельства складывались не совсем благоприятно: «кошки» приходилось хранить в камере, где часто производились обыски. Никандров недавно перенес лихорадку. Хуже всего обстояло дело с пролетками: на тихих, захолустных улицах они бросались в глаза. Тюремная охрана и сыщики могли на пролетки обратить внимание. Наблюдение за сыщиками вел Владимир. Ему же принадлежало и общее руководство. Он выяснил, что около тюрьмы обычно дежурят два охранника, два молодых парня в жепках. Дежурили они, к счастью, не постоянно и к полудню куда-то уходили часов до четырех, а иногда и совсем не появлялись.

Из тюрьмы, с третьего этажа, Никандров, Яковлев и Климов перед прогулкой открытием форточки давали знать, что они готовы к побегу. Сотни непредвиденных случайностей могли повредить и без того чрезвычайно рискованному предприятию.

VIII

... Владимир выходил «на дело» первым. И сегодня еще за час до прогулки он тщательно осмотрел выгон, улицы, переулки, сады и дворы. Из главных тюремных ворот показался начальник Копылов, жестокий, костлявый старик, известный кровавыми расправами над заключенными. Экипаж его, на дутых шинах, сверкнул спицами.

— Вероятно, отправился с докладом к губернатору, — подумал Владимир, довольный отъездом Копылова.

Последние дни Владимир выпал из житейского круга. Людей, дома, деревья, предметы, улицы он видел как бы в отдалении. Все стало чужим. Спал Владимир не больше трех-четырёх часов в сутки тревожным сном, но усталости не ощущал. Приходилось много ходить, и он удивлялся своей бодрости.

Помыслы Владимира были целиком сосредоточены на заключенных, на предприятии, на Ольге и на смерти.

Никандрова Владимир знал по немногим встречам; Яковлева и Климова он никогда не видел. Но теперь он с ними сжился, точно они были близки ему, издавна, с раннего детства. Владимиру ясно представлялось, как они томилась долгими, осенними ночами, скаким трепетом ожидали очередной прогулки, как прятали «кошки», следили за тюремщиками и часовым. Больше всего Владимир боялся за Никандрова. Никандров был почти вдвое старше Яковлева и Климова. Тюрьма и болезни сильно его истощили. Между тем участие Владимира в побеге объяснялось стремлением помочь прежде всего именно Никандрову. Владимир припомнил выступления Никандрова в девяносто пятом году против либералов. Никандров тогда обнаружил себя природным вожаком и трибуном. Друзья и товарищи по партии ждали от Владимира удачи, и он сделал побег делом своей чести. Владимир всегда во всякую работу, за которую брался, вносил личную заинтересованность. Тем более подавляла его теперь ответственность. И он собрал все свои силы.

... Ольга... Несколько дней назад он застал ее у себя за чисткой браунинга. Отложив браунинг, Ольга спросила:

— Думали вы, Владимир, когда-нибудь, что профессия мстителя, даже тогда, когда она освещается самой возвышенной и самой благородной идеей, накладывает неизгладимое клеймо?

— Я думаю, что это не так, — ответил Владимир, внимательно приглядываясь к Ольге.

— С каждым убийством что-то отнимается. Мир делается более пустым и бесцветным. Жизнь теряет смысл. — Она поднялась с кушетки, взяла браунинг и, опустив голову, стала рассеяно гладить его ладонью. И тут Владимир с новой и необычной остротой почувствовал: «Завтра ее могут убить...» Мысль была чудовищна и в то же время проста и естественна.

С тех пор он стал много думать о смерти, о своей смерти, но еще больше о

смерти Ольги. Он увидел и убедился, что к смерти он не готов. О ней надо было думать большими и окончательными думами; но таких дум у него не было. Все было как бы вчерне. Был смысл отдельных действий, поступков, но малые смыслы не покрывались одним главным, решающим смыслом. Не находя этого главного смысла, Владимир даже растерялся сначала. «Непрененно надо все обдумать до конца, сделать все ясным», — говорил он себе. Но оказалось столько неотложных дел, мелочей, что заниматься размышлениями никак не удавалось, и он мало-помалу примирился с тем, что, может быть, придется умереть, не постигнув самого важного.

Боялся ли Владимир смерти? Он считал, что он боялся смерти. Больше он, однако, боялся за Ольгу, за Никандрова, Яковлева и Климова, за боевиков, хотя этого он и не сознавал, а, наоборот, думал, что боится за себя...

IX

... Владимир, стараясь быть незаметным, прошел в запущенный, обширный сад. Сад примыкал к лабазу, откуда раньше вели подкоп. Наблюдательный пост находился в полуразрушенной беседке. Отсюда через ветхий, невысокий забор с выломанными досками хорошо были видны тюрьма, луг, слобода, Зеленая улица, переулки. Владимир внимательно вновь все это оглядел. Довывода заключенных на прогулку оставалось минут двадцать. Чем ближе приближалось урочное время, тем увереннее делался Владимир. Подобно всем людям, наделенным живым воображением, он беспокоился больше всего, когда бездействовал; когда же надо было что-нибудь предпринимать, он быстро овладевал собою.

От беседки пахло гнилушками. Желтые, опавшие листья на запущенных дорожках лежали густыми пластами. Владимиру припомнилось: у лесной опушки прикурнула убогая деревня в десять-двенадцать дворов, старая, подслеповатая, с соломенными крышами, окруженная прошлогодними скирдами и ометами. Яркий и жаркий день пахнул ме-

дом, полевой кашкой. У дороги на лугу собирала цветы деревенская белокурая девочка лет шести, босая, в холщевой, домотканной рубаше. Прикрывая рукой глаза от солнца, она безотчетно улыбнулась проезжавшему мимо Владимиру. И эта улыбка, и вся ее тоненькая и серая фигурка с цветами точно воплощали собою все лучшее в погожем дне.

«Что же это мы делаем? — с неожиданным удивлением подумал Владимир. — Какой силе, какому закону мы повинемся? Вот отдаем свою жизнь, идем на кровавое дело. А ведь совсем недавно было детство, игры, смех; и еще более недавно цвела юность». На мгновение он закрыл глаза, и так сильно захотелось ему, чтобы все настоящее оказалось сном, наваждением, и такой горячей и мощной волной захлестнула его жажда жизни, что у него закружилась голова, и на какое-то краткое мгновение он, может быть, потерял сознание.

«Что же это я! Что же это я!..» Огромным усилием воли Владимир подавил в себе смятение и глубоко, всей грудью вздохнул...

... В тюремном окне на третьем этаже открылась форточка. Почти одновременно из Знаменского переулка показался Соколов. На углу Зеленой улицы он спрыгнул с козел поправить упряжь. Пегай, невысокая, но, видимо, сильная лошадь изредка поводила ушами и встряхивала гривой. Оправив упряжь, Соколов сел опять на козлы и стал изображать незанятого извозчика.

Вслед за ним появился и другой извозчик — Шорников.

Через выгон медленно шла к роще Ольга, одетая в серое осеннее полупальто. Владимир вынул папиросу и закурил — подал Ольге условный знак. Ольга еле заметно наклонила голову.

Об Ольге надо было тоже подумать в последний раз, но думать уже было некогда. Саша Кузьмин, одетый мастеровым, заглядывал осторожно через забор в сад. Владимир и ему подал знак. Саша передал знак Соколову и Шорникову и сел около лабазы на скамейку. Лицо у Саши было измученное.

Все находились на своих местах. Владимир напряженно оглядывал тюрьму, стены, выгон, боевиков. Из тюремных ворот вышла группа надзирателей. Протрусил мешанин, в пальто до пят, с мешком картофеля. Город напоминал о себе отдаленным, сдержанным гулом. Иногда, точно по сигналу, все звуки сразу затихали. На тюрьму, на улицы, на луг наваливалась сторожкая тишина.

Владимир, продолжая оглядывать окрестности, время от времени безотчетно трогал в правом кармане браунинг. В холоде стали чувствоваться неотвратимость. Никакого страха не было. Все прошлое отодвинулось, сделалось посторонним.

Х

... Было двадцать пять минут второго... Вдруг над тюремной стеной, выходящей на выгон, взвилось что-то серое. Владимир поспешно привстал с перил беседки. Взметнулись темные фигуры: одна, другая, третья. И тут же Владимир увидел Ольгу; она поспешно шла от роши к углу Зеленой улицы, где дежурил Соколов. Беглецы перебрасывали «кошки» с внутренней стороны стены на наружную сторону. Владимир подавал сигнал, Ольга уже стояла на тротуаре, засунув правую руку за борг пальто. Недалеко от нее, впившись взглядом в беглецов, перебирал вожжами Соколов. Саша Кузьмин прислонился плечом к старой ветле у лабаза, как-то странно закинув голову и опустив руки по швам. Лицо его походило на белую маску.

Яковлев и Климов уже успели прыгнуть на землю, в то время как Никандров только собирался спуститься по перекинутой им лестнице.

«Ну, скорее! Ну, поскорей же!..» — торопил его мысленно Владимир. Время словно куда-то провалилось... Его не было...

... Владимир услышал сухой щелк... за ним последовали другие выщелки...

«Начинается... А ведь я и ранее знал, что будут непременно стрелять...» Владимир судорожно сжал браунинг, втянул голову в плечи. На мгновение он

опять растерялся: он не знал, что дальше делать с собой: бежать ли на помощь, стоять ли на месте, или, быть может, надо отдать какие-то распоряжения. Ольга взглянула через забор на Владимира. Взгляд ее показался Владимиру суровым. Владимир пришел в себя. Яковлев и Климов бежали от стены через выгон. Владимир махнул платком. Но еще раньше сигнала Соколов, натянув вожжи, с искаженным, черным лицом уже помчался навстречу беглецам. Поровнявшись с ними, он крикнул им и осадил лошадь. Яковлев и Климов вскочили в пролетку. Она понеслась по улице. Климов и Яковлев то и дело оглядывались назад. Это были молодые, здоровые парни, похожие друг на друга, — или такими они показались тогда Владимиру. Соколов нахлестывал кнутом лошадь, хотя надобности в этом не было никакой: пегая лошадь, точно отлично понимая происходившее, не жалела сил. Прохожий в поддевке и в бараньей серой шапке, заподозрев, очевидно, неладное, махнул на лошадь с тротуара палкой, крикнул: «Держи, держи!» — но пролетка уже скрылась за поворотом.

... Тем временем Никандров прыгнул на землю. В то же мгновение распахнулись тюремные ворота и выбросили группу надзирателей и солдат, человек двенадцать. Позже выяснилось: товарищи, гулявшие с Никандровым, Яковлевым и Климовым, удачно «заговорили» дежурных дядек, и они не заметили побега. Но на беду солдат-часовой не сделал своего обычного маршрута, обернулся, увидел Никандрова на стене, поднял тревогу и стал стрелять...

XI

... Никандров, пригнувшись и потянув фуражку, бежал в сторону Зеленой улицы. Он бежал зигзагами, чтобы помешать целиться в себя, и изредка оглядываясь. Шорников по сигналу Владимира спешил беглецу на помощь, понукая лошадь. Надзиратели и солдаты преследовали Никандрова, находясь в трехстах-четырёхстах шагах. Расстояние это быстро уменьшалось, но еще

быстрее к Никандрову приближался Шорников.

— Лови-и!.. Держи-и!.. Эй!.. О-о-ой!..

Преследователи сначала не стреляли по Никандрову, видимо, уверенные, что он от них не уйдет. Но, когда Никандров был уже недалеко от пролетки, они открыли пальбу. Стреляли беспорядочно, не целясь: бежали врассыпную, стараясь перерезать Никандрову и Шорникову дорогу. Выстрелы звучали зловеще и жарко. Тогда Владимир увидел: Ольга, распахнув пальто, что-то крикнула Шорникову, бросилась к пролетке, одновременно с Никандровым вскочила в нее и тут же выхватила револьвер системы «Парабеллум»; обернувшись к преследователям, она откинула левый локоть, согнув его острым углом, и несколько раз выстрелила. Сухопарый и жилистый надзиратель в мундире, с наганом, опередивший остальных, запнулся и, загребая руками, точно пловец, плюхнулся лицом в землю. Фуражка съехала на затылок, он стал сильно дергаться. «Но почему она стреляет из парабеллума, когда она хотела взять с собой браунинг» — пронеслось в голове у Владимира, точно вопрос о револьвере во всем происходящем и был самым важным.

... Раздались учащенные выстрелы. Пролетка неслась уже по Зеленой улице. Ольга, все так же держа парабеллум на локте правой руки, продолжала отстреливаться.

Рыжеволосый солдат в длинной, сильно поношенной шинели, отбросив винтовку, присел и свалился на бок. Владимир успел схватить лицо Ольги, синее, с огромными глазами, и черное дуло парабеллума. Пролетке оставалось до поворота за угол всего шагов пятьдесят. «Ну, скорее же, скорее... — торопил мысленно седоков Владимир. — Сейчас они уйдут, и я тоже скроюсь в соседний двор... Ну, скорее же, скорее...» Но тут Владимира точно хлестнуло по глазам:

... Ольга уже лежала посредине улицы... пролетка уносила дальше, все дальше. Шорников, согнувшись и натянув вожжи, гнал лошадь, не замечая, что Ольги в пролетке нет. Никандров

звтал Шорникова за пиджак, но тот не оборачивался...

Ольга лежала посредине улицы...

«Что же это она?» — Владимир еще не понял происшедшего, но уже бросился от беседки к забору, к Ольге. Ольга медленно приподнялась и, опираясь правой рукой, обратила голову в сторону пролетки. Пролетка как-раз была на повороте, в следующий миг она скрылась. Ольга откинулась назад. По ее телу прошла длинная судорога. И только тогда Владимир понял, что с нею случилось. Ноги его налились тяжестью и приросли к земле.

XII

... Ольгу уже окружили. Из соседних домов и улиц бежали обыватели. Мимо забора, где находился Владимир, промчался парень с задорным хохолком; на бегу он что-то дожевывал. Пожилой чиновник в распахнутом мундире, в пуху, топтался у себя на крыльце: его разбирало любопытство, и в то же время он боялся «попасть в историю». На Зеленой улице пронзительно верещал полицейский свисток. Заливались собаки, кудахтали куры. Мальчишка в рваном картузе козырьком назад летел к месту происшествия с отчаянным лицом, точно за ним гнались.

... Владимира преодолимо потянуло к Ольге. Он понимал, что это безрасудно, что его могут взять, но противиться влечению был не в силах. Он вышел на улицу, точно лунатик. Браунинг он, впрочем, сунул в угол беседки, под гнилую, отставшую половицу. Машинально он принял спокойный вид.

... Ольга лежала навзничь, откинув правую руку. Глаза ее были закрыты. Спутанные, тонкие пряди волос разметались по траве. На лице уже лежала темная землистая тень. Губы посерели. Пальто было распахнуто. Шерстяная блузка под левым соском набухла черной кровью. От крови шел легкий парок. Тяжелое, прерывистое дыхание мучительно распирало ее ребра, грудь, и все тело ее судорожно и неистово напрягалось. Что Ольга была еще жива, Владимир отметил это себе почему-то с

ужасом и внутренне похолодев. Он даже пошатнулся. Тошнота подступила к горлу, он еле овладел собой.

... Сгрудившиеся вокруг Ольги солдаты, надзиратели, обыватели, мальчишки, торговки глазели на ее кончину с жадным, тяжелым и враждебным любопытством. Низкорослый солдатик, нескладный, лупоносый, хрипло вымолвил, ни к кому не обращаясь:

— Двоих... наповал...

В голосе его прозвучала почтительность. Уже распорядился городской уса, приглашая разойтись, но никто не трогался с места. Откуда-то сбоку вынырнул совершенно лысый человек, лет тридцати, с сильно покатым лбом, с вытянутыми тонкими губами, с нагло-ваато бегающими глазами.

Он крикнул фальцетом:

— Люди на фронтах погибают... а они здесь... какими делами занимаются... Стерва...

Носком грязного и закорюзлого ботинка лысый человек пнул Ольгу в бедро и тут же юркнул в толпу.

— Убёгли! — сказал громко кто-то позади...

Ольга вытянулась, медленно открыла глаза и повела ими по небу, потом ее взгляд перешел на толпу... Толпа затаила дыхание.

... Ольга нашла и узнала Владимира. Подобие бессильной страдальческой улыбки и какого-то в то же время удовлетворения обозначилось вокруг ее рта, уже скованного смертью. Взгляд Ольги стал всеобъемлющим. В нем было прощание, ободрение, ласка, нечто такое человеческое и всепобеждающее, что Владимир задохнулся и уже ничего не видел, помимо ольгиных глаз. И он ответил ей тоже последним прощальным взглядом. Им он сказал ей: побег удачен; он, Владимир, с ней, с Ольгой, навсегда родной, единственной; невыразимо прекрасна и выше жизни ее смерть, так как смерть порою оправдывает жизнь лучше, вернее и правдивее самой жизни, и умирать ему, Владимиру, уже никогда не будет страшно, — он знает: есть смерть, утверждающая жизнь... И нет также больше и одиночества...

Навсегда запомнились: ольгины глаза... синее, всепринимашее небо... великая безмерность.

Владимир и Ольга были в окружении чужой, враждебной и косной толпы, бесильной, однако, над ними, над их оправданием жизни и смерти, над их непонятным им пока великим и трагическим счастьем.

... Все перенесенное и испытанное Владимиром за последние годы: утрата друзей, семьи, Наташи, мытарства, отщепенство; работа в кассах, жизнь с Ольгой и то, что она лежала теперь умирая, — все это получило высший смысл и высшее оправдание. Будто все происходило с ними только для этого страшного и прекрасного мгновения, чтобы найти в нем последнее завершение.

... Все это Владимир пережил в одно кратчайшее мгновение.

Точно кто-то изнутри толкнул Ольгу. Глаза ее круто закатились. По телу прошла глубокая судорога... Началась агония... Потрясенный жалостью к последним трепетаниям тела, Владимир тяжело глядел на белый и чистый лоб, так много знавший дум, на эти глаза, еще недавно созерцавшие целые миры, на этот рот, который он целовал, на руки, опытные в обращении со смертоносным оружием, не ведавшие трусости, маленькие и твердые руки мстительницы... теперь уже беспомощные...

— Упокой, господи, душу рабы твоея, — неожиданно сказала старая женщина, по-деревенски одетая. Женщина чстово перекрестилась и надвинула глубже на лоб, по самые глаза, черный платок. Никто не поддержал ее.

... Мелькнуло белое лицо Саши Кузьмина... Он дергал Владимира за рукав, стараясь увести его.

Владимир, шатаясь, пошел за Кузьминым.

Оба не заметили, что за ними последовал охранник.

Ночью Владимир и Кузьмин были взяты. Подозревали их участие в побеге.

Сидеть пришлось недолго: их освободила февральская революция.

Рассказы

НИК. СМИРНОВ

1. ПЕРВЫЙ РЕЙС

I

В городе праздник — приход первого парохода.

Никон Егорыч, семидесятилетний старик, волжский капитан, живущий на покое, еще вчера вечером получил телеграмму: «Будем после полудня» — и теперь, с утра, волнуется, томится странно-молодой, возбужденной тревогой.

Утро звонкое и ясное, апрельское. Солнце, чуть отуманенное одуванчиковыми облаками, притравляет, сушит горные долины, где, среди шумных, распяченно-холодных ручьев, еще лежит последний снежок, на Волге, слышно, летят, горестно и нежно скликаются чайки.

В доме радостно от света, от прохладного весеннего неба, в раскрытое впервые окно сладко тянет сыростью, влажной, теплой липой.

Никон Егорыч, невысокий и крепкий, седой и бородатый, с улыбкой смотрит в окно, счастливо прикрывая ослепляемые солнцем глаза, счастливо и грустно видит, — мысленно, — как, где-то там, за лесами и туманами, от пристани большого и веселого города отваливает, уходит в синий, бесконечный простор белый, нарядный пароход...

Как легко, с плеском и гулом, плывет он среди этой чуть трепетной сини, как раскатисто разносится по реке его переливный, кажущийся зубчатым, родной, зовущий свист!

Весна, половодье, радость — и грусть: ведь вся жизнь Никона Егорыча, с юно-

сти и до старости, прошла на пароходе! Он, выбиваясь постепенно из матросов в штурвальные, из штурвальных — в речную школу, достиг-таки, уже после революции, капитанского мостика: уверенно стоял на нем, властно и строго покрикивая в изогнутый медный рупор бодрое и крепкое «вперед до полного»... уверенно водил пароходы по всей Волге: от хлебного Рыбинска — к зеленому Нижнему, от Нижнего — к жаркой, пахучей, как дыня, Астрахани, к шумному, полному ветров, Каспию.

В комнате, над кроватью, висят пробочный «спасательный» круг, обтрепанный, бесцветный флаг, тяжкий бинокль в чехле, а вокруг, по стенам, — фотографии: весенний затон, где, подобно готовой сняться с заповедного озера лебединой стае, белеют суда, уже набирающие пары, таинственная штурвальная каюта, — сумрачные, лохматые люди, мерно повертывающие рогатое колесо, — светлая рубка в тихий летний день и надо всем этим — моложавый, крепко обожженный солнцем помощник капитана: совсем младший брат Никона Егорыча.

— Мать, — бодрим, глуховатым басом говорит, распахивая дверь, Никон Егорыч, — поторапливайся, доставай дослехи.

Жена, Вевея Пахомовна, еще бойкая и легкая старушка (она моложе мужа на десять лет), весело откликается: «Готово, Егорыч» — и приносит, бережно кладет на стол старый, стемневший, обветренный в несметных плаваньях голу-

бой китель с блестящими пуговицами, с червонным литьем по зарукавьям и такую же обтрепанную, так же красиво расшитую фуражку с лакированным шегольским ремешком.

Никон Егорыч внимательно подстригает, подравнивает перед зеркалом бороду, неторопливо облачается в капитанский костюм — и, неожиданно, молодеет, легко и размашисто шагает по комнате, туго поскрипывая сапогами, зорко, как и в те времена, когда он стоял на пароходном мостике, смотрит в бинокль, наводя его на высоко проходящее лиловое облако.

II

День сияет мягко, нежно, радует теплом, свежестью. Чуть тянет ветер, — древний, южный, — приносит запахи талых полей, цветущей ивы. Нагорные улицы, по которым проходят Никон Егорыч и Вевея Пахомовна, уже сухи и гулки: влажно, чисто лоснится янтарная мостовая, далеко, с широкой, стеклянной звучностью, раздается грохот проезжающей телеги. На пригорках, где подсохшая земля кажется тугой, резиновой, весело кричат ребятишки, — с ореховым треском дробят свинцовой «битой» крашенные разноцветные «бабки».

На старой горе, в березовом парке, еще голом и открытом, кричат, шалуют, беспорядочно носятся, огромными углями сыплются грачи.

Старый капитан слушает их с волнением, с затаенной нежностью: радостны и сладки их крики весной, в апрельский день, в тишине любимых родных мест!

Он смотрит вниз: там, в долине, по взгорьям, разбросались знакомые с младенчества белые и розовые дома, — оглядывает соседнюю гору, где, вокруг церкви, лежат под крестами, под круглыми камнями, обросшими бархатным мохом, почти все его ровесники, почти все его друзья и куда в свой, уже надвигающийся, срок отнесут и его, одетого в этот вот, облитый бронзой, китель... и вдруг, ощутив на лице ни с чем несравнимую свежесть, забывает все: в глаза бьет, крепко, как и встарину,

пьянит волжский простор, бесконечный синий разлив.

Волга безмерно затопила луга, залила «нижние» улицы, их сады и дворы: лодки подплывают теперь к самым крыльцам домов, насквозь пропахнувших острым, льдистым, рыбным холодком.

По реке, далеко-далеко, ныряет одинокий рыбацкий челн, и медлительно тянутся, раздумчиво кагакают в облаках тревожные, сторожки гуся.

Никон Егорыч долго не может оторвать глаз от этой безмерной речной синевы, сливающейся с небом, от этого вольного челна, от этого звучного гусиного каравана...

— Поплавать бы теперь, хоть бы до Казани пройтись, — задорно говорит он жене, тихо стоящей рядом с ним в своей старомодной персидской шали, напоминающей опять-таки о далеких плаваниях, о ее молодости, о ее забытых русских косах и влекущих темных глазах.

— Поплавал, хватит с тебя, не до смерти же маяться, — отвечает с кажущимся безразличием (и внутренним сожалением) Вевея Пахомовна.

Капитан сердится.

— Как это так — маяться? Рыба маятся на суше, а не в воде. Я своего парохода никогда не забуду. А умирать придется, и смерть приму, как сдавал, бывало, вахту: «Стоп, машина!»

— Ты, Егорыч, послушай лучше, не шумит ли в самом деле пароход? — мягко перебивает жена.

Никон Егорыч наклоняется, прикладывает к влажной, теплой земле обросшее плюшевой сединой ухо.

— Нет.

Вевея Пахомовна улыбается.

— Так-то, видно, лучше слышно?

Капитан, поднимаясь, говорит настойчиво:

— По полой воде я таким манером за десять верст услышу.

III

Пароход слышно действительно далеко: где-то, за лесом, в тумане, рождается, хрустальной мельницей начинает расти, наплывать переплескивающий шум... показывается красный флаг, высокая,

раздольно-погнутая мачта, белая палуба, остро блестящие стекла, темная, дымящая сиреневым дымом труба.

Пароход плывет легко и быстро, веселит своей весенней волжской чистотой, гордостью, рассыпчатым гулом волн, лохмато накатывающихся на берега.

Поровнявшись с пристанью, встречающей его флагами, народом, сдержанно-бодрым говором, он гудит, ревет, — с какой-то, почти звериной, торжественностью, — плавно и круто, отсылая от колес целые горы искрошенного серебра, делает просторный, широкий полукруг.

На пристани вкусно и тонко пахнет нагретой смолой, тиной, нефтью, — Никон Егорыч вдыхает эти, с детства тревожащие, запахи всей своей еще могучей, чуть похрипывающей грудью. Он, подтягиваясь, оправляя фуражку, проходит к борту: пароход, оглушая грохотом малиновых распененных плниц, обдавая брызгами бурлящей радужной воды, подплывает шумно и мягко, с приятным, чуть слышным стуком обрушивается на пристань своей нарядной громадой, своей, дрожащей и клокочущей где-то внутри, тяжестью.

«Славный причал» — с улыбкой думает Никон Егорыч, смотря туда, наверх, на мостик, где возле блистающего рупора стоит, машет ему рукой по-военному статный, в распахнутой шинели, капитан, бритый сорокалетний человек — сын Никона Егорыча. Он, наклонясь к рупору, говорит что-то отрывистое, окончательно смиряющее пароход: на пристань летит, широко раскручивается, гулко шлепается крутая просмоленная «чалка», бесконечной стерлядью ползет канат, с пристани весело сбрасываются новенькие, атласно оструганные, пахнущие лесом, можжевелью, гулкие сходни.

Никон Егорыч, строго, хозяйственным глазом, оглянув пароход, одобрительно кивает головой: чистота и порядок. Пароход, на котором с такой томительной и зовущей тревогой красуется дощечка: «Идет первым рейсом», лучисто расчищен, вымыт, заново окрашен: запах дыма, толчки так приятно мешаются с запахом лака, олифы, сурика, медянки. Он смотрит на палубу, в рубку, — там, за окнами, огромной виноградной кистью

тяжелеет электрическая люстра, — сморщит на пассажиров, столпившихся у перил...

Где эти, так знакомые когда-то по «первым рейсам», туристы с биноклями и картами, в широкополых альпийских шляпах и их спутницы в серых спортивных костюмах, где все эти чванливые и презрительные богатые господа в деловитых «котелках» и цилиндрах, эти осанистые и благообразные, гордые и жестокие, с притворным смирением крестившиеся на каждую проходящую мимо церковь, волжские бородачи, хлебные и полотняные воротилы?

От них здесь уже не осталось и следа: кругом, и на пристани, и на пароходе, — новый, простой, трудовой люд, среди которого так много молодых, веселых лиц. Вон по борту пристани с птичьей легкостью рассеялась толпа студентов, будущих агрономов: смуглые деревенские подростки, простодушно-ласковые сельские девушки, шутливая песня, бодрый, по-весеннему радостный смех. В их толпе — внук Никона Егорыча, пятнадцатилетний румяный Сергунык, который, запрокинув голову, кричит отцу что-то зазорное, грубовато-ласковое. Потом он пробирается на пароход, навстречу отцу и матери (совсем еще молодой, миловидной женщине, прозрачно и мягко, как майская береза, обвитой зеленым шарфом). Капитан и жена подходят к «старикам», триократно, по-старинному, целуются с ними, торпливо-радостно беседуют, непрерывно оглядываясь на пароход: уже бьет, литой золотой каплей падает в воду колокол, уже плывет, оглушая пристань, тяжкое, неторопливо-мерное трубное гудение...

Прощаясь с отцом, капитан хлопает его по плечу.

— Не грусти, батька: летом жду в гости, пройдем вместе полным рейсом до самой Астрахани.

Он спешит, ловко взмахивает на мостик, склоняется к медногубому прохладному рупору — и опять гремят сходни, опять летят в воду, налету подхватываются и свиваются канаты: пароход вздрагивает, содрогается, клубится внизу сырым, масляно-горьким паром,

медлительно и глухо перебирает плечами.

Белая, гудящая и звенящая громада постепенно отдаляется, усиливает ход, капитан, возвышаясь на своем мостике, прощально помахивает фуражкой, за кормой огромной меховой бородой ходят-распускаются волны, и густо развевается над рекой, в клочья обрывается ветром пахучий жочевой дым.

IV

Грустно провожать первый весенний пароход старому капитану, который — как теперь его сын, — стоял когда-то на вахте, дышал эфирным, насквозь проветрившим теплом, привычно подплывал к пристаням, курил с матросами и штурвальными острую, кисло-приятную «полукрупку», любовался лазурными водными равнинами, узорчатыми городами, затопленными просторами лесов, фиолетовыми облаками на закате, сладко отдыхал в своей, по-домашнему мирной, каюте и постоянно, всю жизнь, чувствовал силу, здоровье, свежесть!

Сил уже не так много: слабеют глаза, с орлиной зоркостью озиравшие перекаты и мели, ноют перед непогодой руки, крепко повертывавшие штурвальное колесо, болит, сутулится широкая спина, перетаскавшая, в матросские времена, целые Жигули клади, но сердце и до сих пор не может сродниться и сжиться с «сушей»: луна, смотрящая в окно, всегда напоминает ночной вахтенный огонь, а веселый, раскатистый гром — прохот свергаемой якорной цепи.

Как жаждет скитаний не считающееся с годами человеческое сердце!

На берегу, у пристани, Никон Егорович встречает старого приятеля, — одного из немногих, оставшихся в живых, — сапожника Галмана, старого «зарезного» охотника. Он, могучий, дремуче обросший, смеется, шутит:

— Пароход встречал, Егорович... Видно, у кого что болит... У меня вот тоже не вытерпело ретивое: правимся с Ванькой, с внучонком, на охоту, на поддубновские сечи.

За плечами Галмана — ружье, старая, памятная двухстволка, на боку —

тяжелая, широкая, в пятнах крови сумка, на ногах — огромные, густо смазанные сапоги. «Не сапоги, а дом, ночь простою в болоте, а ноги будут, как в горнушке» — говорит о них Галман.

Рядом с Галманом гордо шагает Ванька, семнадцатилетний красавец с нежным румяным лицом и голубыми глазами. Он туго перепоясан патронташем, на который с охотничьей небрежностью свисает сетка, — в ней темнеет мохнатый, обгорелый чайник, — новенькое его ружье щеголевато покачивается на левом плече. В руках у него корзина, в корзине тяжело ворочается, раскатисто и страстно побрякивает «подсадная» утка-крикуша.

— Значит, до утра? — радостно спрашивает Галмана Никон Егорович.

— Считаю дальше, — посмеивается Галман, — денька два повольготничаем: погода — на заказ.

Они беседуют, курят, — Вевея Пахомовна, не дожидаясь мужа, уходит домой, — потом Галман и Ванька садятся в пахучую, только-что засмоленную лодку, — Ванька на весла, Галман за руль, — и легко, быстро летят, несутся по стихающей, убаюкивающей синеве. Никон Егорович долго смотрит на удаляющуюся лодку, думает о том, как оба они, и старик, и подросток, будут с одинаковой радостью стоять на тяге, в холодной и мгле весеннего лесного вечера, потом — ночевать у костра, а утром — ждать на болоте нарядных, в брачном пере, селезней или хвостатых, голубых тетеревов, токующих по тальм опушкам, по тихим, туманным долинам...

Никон Егорович слышит дальний, уже мягкий и глухой, свист парохода, мирный, сладостно-весенний крик петухов в заволжской деревне, смотрит, как поблизости, рядом с огромным, словно дворец, купеческим домом, ныне домом отдыха, строят новый дом, — там, жужжа пилами, громко переговариваются русобородые мужики, весело ходит рубанок, летят, завиваются тонкие шелковые стружки, — и неторопливо шагает по улице, спокойно поднимается в гору, в парк, переполненный грачами и солнцем.

V.

День течет, длится, вечереет.

Город сохнет на солнце, шумит березами и липами, готовится к цветению, к пушистому зеленому теплу, смотрится в полноводную речную глубину, зыбко отражается в ней свои дома с балконами, с цветистыми старинными окнами.

Окна старых домов распахнуты: пусть больше влывает в них волжской свежести, пусть шумнее и просторнее гуляет в их комнатах душистый весенний ветер!

В город, в его старые дома нахлынут скоро новые, прежде незнакомые здесь, люди — рабочие и работницы, веселая и разудалая молодежь. Они будут целыми днями пропадать на горах, на Волге, — с молодой силой плавать в ее солнечной прохладе, с молодым задором жариться на спеченных оливковых песках. Вечерами они будут играть на гармонике, — Никон Егорыч допоздна любит слушать ее то грустные, то залихватские перемены: он сам когда-то носил в руках ее певучую тяжесть... подпевал иногда, в лад ей, в свободный матросский час, где-нибудь на длинной стоянке — в Казани, в Саратове...

Он так и заснят на одной фотографии: смеющийся курчавый матрос в распашной, с широким воротом, рубахе, с гармонией в молодешки раскинутых руках.

Гремучие, далекие годы!

Старый капитан долго рассматривает фотографии, — и те, что раскиданы по стенам, и те, что сложены в заветном сундуке, рядом с кителем, опять, до будущей весны, бережно спрятанным в нафталиновый мрак, — долго рассматривает ветхие «расписания» и «путеводители», долго, как и утром, стоит у окна, приложив к глазам бинокль.

В доме тихо, спокойно, привычно-ласково: Всея Пахомовна или сидит за своим вязаньем, или хлопочет на кухне, изредка появляющийся Сергунька все куда-то спешит, торопится: он живет своей жизнью — учится, ходит в соседний совхоз... шатается вечерами по горам: у него в ящичке стола хранятся — такие уж его годы! — девичий портрет,

алая лента, коротенькие записки, трогательные своим ломким полудетским почерком.

Вот он, наскоро выпив стакан чая, опять убегает куда-то, беззаботно (с добродушной насмешливостью) отмахивается от стариков, от их вопросов:

— Работы по горло: весна для нас, будущих агрономов, — самое горячее время.

Уходит, следом за ним, и Никон Егорыч.

— Опять пароходы выслушивать? — спрашивает жена.

Капитан, надевая седой, звонкий, ихлестанный волжскими дождями плащ, отвечает с горькой шутливостью:

— Само собой, не молодушку приглядывать... года не те: копыта давно отморозил.

Он бродит по той же старой горе, на которой в полдень встречал пароход.

Сырой апрельский холодок, креткий, красный закат, над закатом — легкие облака, похожие на стаю задремавших, потревоженных огнем чаек.

Река, яркая к закату, кажется еще опрощеннее, чем днем. Ни одной лодки не видно в ее, теперь совсем недвижимом, просторе: весенняя грусть, вечерняя волжская тишина.

Тих и город, только шумят — непрерывным, завораживающим шумом — потоки в горных долинах.

На соседней горе, на логосте, чуть светятся от заката кресты и раскатысто-по-охотничьи, ухает филин в овраге, в его гулкой, еще снежной пустоте.

За Волгой, слышно, перекатываются выстрелы, — стреляют вероятно Галман и Ванька: хорошо им в весеннем лесу, на березовой поляне, где тянут, посвистывают, тяжело и приятно хлопаются иногда на землю, в талый снежок, вальдшнепы, а в стороне, в соснах, накинаны груды сушняку, который вот-вот запыхляет, овевая охотников теплом, уютном, шмелиным звоном закипающего чайника.

VI

Темнеет, близится безлунная, звездная, гулкая от гусяного кагаканья апрельская ночь.

Опять, как и днем, издали слышится пароход: плывет откуда-то с низовьев, — от Пучежа, от Юрьевца, — весь в фосфорическом блеске, в ветвистом переливном пламени, стоцветно отраженном в реке, доносимом почти до берега; наплывающие волны кажутся щетинистыми — в играющих золотых гребешках.

Опять торжественное, в темноте особенно звучное и отзывное, гудение, опять короткая остановка у пристани — и постепенно смолкающий гул, постепенно уплывающий и тающий блеск... видно лишь, как грустно мерцает, острым алмазом вздрагивает мачтовый огонь — скитальческая жизнь старого капитана.

2. ГОРЕЧЬ

I

Случилось нечто дикое, нелепое, противоестественное: Артемьев, приехавший на неделю к своей жене Наташе, работавшей еще с зимы, здесь, в совхозе, стоял над могилой, в которую ее опустили только вчера, в полдень, когда он с такой счастливой тревогой носился по шумной, солнечной, людной Москве.

Он, почти ни о чем не думая, тупо и тяжело смотрел на глиняный холм, осыпаемый березовыми листьями, пробовал представить в гробу, среди холодных цветов, изумленно-присмирившее любимое лицо, осеняющий мертвую красный флаг, гневные речи о «темных силах проклятого прошлого» — и только еще больше тупел от недоумения, от горечи, от злости.

Артемьев огляделся вокруг: сельское кладбище казалось в этот сухой осенний день тихим и мирным, березы и вязы стояли как бы в лимонном и розовом дыму, а в небе, в прохладной его синеве, сияли, менялись, серебром и ртутью оплывали облака.

Он опять стал смотреть на нелепый и чуждый, в соединении со всем этим разноцветным осенним миром, глиняный холм... стоял долго, обнажив голову, а потом, резко повернувшись, пошел по тропе, к воротам, — в просторное, голубеющее поле. Бритое, острое, молодое лицо его было бледно и внешне спокойно.

II

Крутая, накатанная дорога, зовущие паровозные гудки, ровно осыпавшийся грохот поезда за ближним лесом...

С какой молодой радостью сходил Артемьев — так еще недавно: сегодняшним утром! — с московского поезда, всего на минуту остановившегося на этом глухом лесном полустанке, как бодро шагал потом по этой дороге, ведущей к селу, к совхозу, к ожидавшей там Наташе, которую он после летнего отпуска не видел уже около двух месяцев.

От летнего отпуска у него осталась неделя, — он приберегал ее к осеннему охотничьему сезону, — и вот, оставив одну из московских новостроек, за роством которой он следил с такой же любовью, как за расцветом весеннего дерева, он уже через ночь был здесь, в солнечном осеннем мире, в его, матерински благостной, тишине.

Он, шагая полем, представлял, как Наташа, посмуглевшая от ветра и солнца, совсем помолодевшая от полотняной кофточке, от его неожиданного приезда, весело будет водить его по совхозу, рассказывать наедине — в комнате, в лесу, в поле — о своей жизни... он, думая о ней, радуясь отдыху, вольным охотничьим дням, ощущал ту полноту переливавшихся человека чувств, когда все кругом — и небо, и кружившийся в нем ястреб, и дорога, и бегущий по ней, рядом с ним, бодрый, мохнатый рыжий сеттер — вызывает великую любовь, заставляет с остротой и благодарностью ценить каждый взгляд, каждое движение.

Артемьев прожил вместе с Наташей всего каких-нибудь полтора-два года.

Все это было, было: и случайная встреча на катке, — ее пунцовый берет, ловкий бег по зеркально ускользающему, как бы падающему в огнистую, переливную глубину, льду, — и вчера в те-

атральной зале, певучей от убаюкивающей, уносящей музыки, и счастливые дни на даче, — ведрами вливающаяся в окно прохлада, душистые охапки цветов в комнатах, — и женственный холодок милых рук после купанья, и бесконечно любимые, устало-огромные от теплого лунного света, грустно озолочивающего их, глаза в глухой ночной час!

Думать и вспоминать обо всем этом сейчас, в пустом и покинутом осеннем поле, было мучительно и радостно-безнадежно. И совсем нестерпимо было думать о покойной Наташе, о том, что для него навсегда оттрепетали ее руки, навсегда закрылись ее темные глаза. Тяжело было и смотреть на совхоз, на огромный каменный дом и окружавший его сквозной, горький осенний лес, где, по дорожкам, засыпанным палыми листьями, всего каких-нибудь три дня назад, бродила, отдыхала Наташа в своей потрепанной желтой кожаной куртке, смотрела на потопленные солнцем светлые, обьялые поляны, глубоко и жадно дышала сырým, грибным, валерьяновым холодком низин и ображков.

Здесь, в совхозе, как писала, шутиливо извиняясь за «избитое выражение», Наташа, за ней сразу стал «волочиться», а потом «тяжко и сложно» полюбил ее некто Меркурьев, лесничий, «сумрачный, одинокий, непонятый черноусый человек, похожий или на цыгана-конокрада, или на разбойничьего атамана, как изображали их на старых наивных картинах».

Этот Меркурьев и застрелил позавчера Наташу — случайно или намеренно, не знал никто.

III

Подруга жены, комсомолка Настя, сказала Артемьеву:

— Отношения между Наташей и лесничим были, знаете, какими-то неопределенными и неровными: она то подолгу не виделась с ним, избегала его, то сама искала встреч с ним. Лесничий же, как выяснилось, был совсем чужим человеком.

Они с Настей сидели в комнате На-

таши, где еще во всем чувствовался ее след, ее отпечаток, ее дыхание. На столе лежала недочитанная книга, рядом — бесприютная черепаховая грелка, дремотно остановившиеся часики в зеленой браслетке... на спинке стула одиноко висела, чуть шевеля рукавами, кожаная куртка, а над кроватью тудились платья, от которых веяло недавним женственным теплом.

Скоро все это будет убрано, в комнате поселится кто-то другой — и от Наташи останется только одно: память в нескольких человеческих сердцах да ее имя в стенной газете или на красной доске.

Артемьев, оставшись один, стал разбирать вещи жены, — держал в руках полотняную кофточку, на груди которой бледно краснел сухой и легкий георгин, просматривал книги, нашел сложенную отдельно пачку своих писем к ней, тех, что писал зимой и летом.

В окно врывал укусно-острый холодок, на подоконник летели изредка березовые листья, на стенах оранжевыми зеркалами растекалось солнце: день был попрежнему светел, чист, ясен.

Артемьев, сидя на соломенном диване, представил рядом с собой ее, уже несуществующую, превращенную лишь в воспоминание, почувствовал, как бы в действительности, запах волос, смуглых щек — и, злобно стиснув зубы, вслух сказал:

— Какая несусветная чепуха!

Потом он неожиданно нашел в ящике стола, в самом потайном уголке, записную книжку, и в ней незаконченное и неотправленное, позабытое письмо.

Оглушенный и растерянный, он прочел:

«Дорогой Алексей!

Я измоталась вконец, и единственное, что сейчас могло бы успокоить меня, — ты, твое присутствие. Ты же далеко, и ты, родной мой, ничего, ничего не знаешь и не подозреваешь!

Вот что я хочу тебе рассказать: я сошла — прости опять за банальщину! — с тем человеком, о котором я тебе не раз писала. Произошло это при таких обстоятельствах: не так давно мы, он и

я, вместе поехали в командировку, в район, — совместная поездка, заверяю тебя, была только случайностью. Ехать вначале было очень приятно: зимний полдень, солнце, бубенчики, иней на телеграфных проволоках (так хотелось послать тебе по ним теплый и нежный привет!), но скоро погода испортилась, подул ветер, поднялась такая пурга, что мы в конце концов, как только стемнело, принуждены были остановиться на ночлег в какой-то деревне. В избе нам, по-старинному, отвели «чистую половину», довольно, надо сказать, холодную, и мы неожиданно оказались с Меркурьевым с глазу на глаз. Впереди была длинная, бесконечная ночь. Вьюга разгрязалась все сильнее, за окном слышался как будто вой несметных волчьих стай, изба наша, казалось, куда-то плыла, уносилась (у меня чуть кружилась голова). Нам соорудили самовар, мой спутник напоил меня чаем с коньяком, я согрелась, легла, закутавшись шубами, на лавку, а он сел в ногах, стал, как обычно, говорить о своей любви ко мне, жаловаться на свою тяжелую жизнь (что у него была за жизнь и кто вообще он, я не знаю до сих пор). Было темно, по-детски страшно от вьюжного воя за окном, — я дремала, думала о тебе, отвечала Меркурьеву, помимо своей воли, мягко и лаково, и в конце концов произошло то, что обычно не описывается в подробностях. Что стало со мной, я никак не могу понять: я, опять-таки помимо своей воли, уступила его силе (подчеркиваю: силе, а не насилию, его не было), его страстности.

Я, мой Алексей, пишу тебе одну только правду. Я не защищаюсь, я хочу только сказать, что попрежнему люблю тебя, что я...»

Письмо на этом заканчивалось. Артемьев ошалело прочел его еще раз. Сердце его колотилось, лицо пылало. «Так вот оно что, вот каковы были дела» — задумался он и, увидев мысленно Наташу, почувствовал ту же родственно-дружескую теплоту, в которой была теперь оттенок болезненного ощущения. Затем ко всему этому примешалось новое — обида за Наташу, за то, что она все-таки не понимала его до

конца, за то, что во-время не отправила письма...

— Чушь, дикость, какая-то шелепая страница из запоздалого романа, — опять сказал он, с той же растерянностью и горечью.

IV

В сумерки Артемьев шел перелесками к полустанку.

Все вокруг было по-осеннему пахуче и мягко: и вишневые облака над закатом, и осиновые чащи, кострами пламеневшие по сторонам, и молодая луна над бором, и дымки овинов, и чуть доносившийся из дальних болот отлетный гусиный гогот.

Было прохладно, с дубов, уже облетающих, багряных от заката, падали смуглые свинцовые жолуди.

Год назад, в такой же вечер, они с Наташей бродили среди таких же дубов, красовавшихся перед их подмосковной дачей. Наташа обрывала расписные ветви, пригоршнями брала обмокшие жолуди, — «они тяжелы, как револьверные патроны!», — была весела и радостна, неожиданно пускалась бегом по какой-нибудь глухой дорожке, звонко крича: «горю, — лови!», резво и шумно, как подросток, дурачилась с сеттером, бойко болтала о каких-то милых пустяках. Потом они долго сидели на балконе, слушали грохот пронесившихся в долине поездов, смотрели на их дорожно-влекущие, долго мелькавшие в лесу гранатовые огни. Золотился, как и сейчас, месяц, голубели первые звезды, тонко и остро пахли падающие листья: осенняя красота, осенняя горечь.

Наташа, поднимая к луне и звездам свое оживленное лицо, говорила:

— Как все-таки мы с тобой счастливы, Алексей! У нас, у обоих, много сил, здоровья, у нас — любимая работа, мы даже можем гордиться перед самими собой: ведь и наш труд какими-то маленькими искорками теплится на красных знаменах, а перед нами — длинная-длинная жизнь!

И вот жизнь ее кончена, и с такой противостественной, ненужной и глупой нелепостью! Если бы что-нибудь подоб-

ное случилось с кем-нибудь из ее подруг, Наташа наверное сказала бы с сожалением, но и с осуждающей твердостью: «Сама виновата, — дань прошлому в нас самих».

Артемьев остановился, посмотрел на закат, приласкал сеттера, весело махнувшего на его грудь, обдавшего его шумным, жарким дыханием... В глазах собаки, скошенных на луну, на ее древний и грустный лик, вспыхивали легкие золотинки.

Артемьев оглянулся назад, туда, где осталась навсегда родная могила, туда, где жил своей жизнью совхозный дом, который так приветливо звал бы его после счастливого охотничьего дня человеческим теплом озаренных окон, и, весь внутренне подтянувшись, решительно и быстро зашагал вперед — на блеск бессонного семафора, на звон и свист неутомимого, из дали в даль несущегося поезда.

Май 1934, г.

Люди и факты

1. Д. АРАНОВИЧ — Планировка и архитектура социалистической Москвы. 2. Кнх. РОССОВСКИЙ — Люди колхозных полей

1. ПЛАНИРОВКА И АРХИТЕКТУРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОСКВЫ

Д. Аранович

В перестройке города мы должны вести борьбу на два фронта. Для нас неприемлема и позиция тех, кто отрицает самый принцип города, кто тянет нас к оставлению Москвы большой деревней, и позиция сторонников излишеств урбанизма, тех, кто предлагает строить город по типу капиталистических городов, с небоскребами, с чрезмерной переуплотненностью населения.

Л. Каганович.

В июне исполнилось три года со дня исторического постановления июньского пленума ЦК партии 1931 г. о социалистической реконструкции Москвы. В июле текущего года особым совещанием Центрального комитета партии одобрен в основном разработанный, согласно этому постановлению, генеральный проект перепланировки Москвы.

Попытки социалистической реконструкции Москвы возникли уже в первые годы после Октябрьской революции. Последнее диктовалось прежде всего тем, что старая капиталистическая Москва ни в какой мере не соответствовала идеологическим и хозяйственным запросам советского города. Размещение правительства и многочисленных центральных учреждений поставило перед Москвой целый ряд новых планировочных и архитектурных требований. К сожалению, первые попытки перепланировки Москвы ни в какой мере не справились с этой задачей.

Еще в самом начале революции при Наркомпросе был создан специальный

«Архитектурный отдел», в состав которого входили наши крупнейшие архитектурные силы (академик архитектуры И. В. Желтовский, проф. Н. А. Ладовский и др.). Однако в условиях гражданской войны и блокады он не смог развернуть практической деятельности. Созданная в это же время по инициативе «Архитектурного отдела» Наркомпроса «Комиссия по планировке Большой Москвы» при Моссовете тоже не могла дать осязательных результатов своей работы. С точки зрения практической, деловой, перепланировка Москвы, которая представляла тогда собой огромный город без нормального завоза хлеба и топлива, без возможностей нормальной эксплуатации трамваев и т. п., казалась в значительной мере утопичной. Тем не менее комиссия архитекторов работала довольно активно. В 1921 г. результаты работы были показаны на выставке в Наркомтруде. Поскольку руководитель комиссии, академик архитектуры И. Желтовский, исходил при разработке нового проекта Большой Москвы главным образом из

частных решений отдельных ансамблей в стиле городов Ренессанса, предложенный проект перепланировки не заключал в себе главного — специфических особенностей революционной столицы.

В следующий раз вопрос о радикальной перепланировке Москвы был поставлен в связи с проектом инж. С. С. Шестакова (1925 — 27 гг.). Однако проект С. С. Шестакова отвечал требованиям социалистической реконструкции Москвы в еще меньшей степени. С. С. Шестаков исходил из чисто капиталистических принципов перепланировки городов. Прежде всего С. Шестаков предложил совершенно нецелесообразную гипертрофию территории Москвы: с 20.000 га, которые она занимала в то время, до 200.000 га (в 10 раз больше). Подобные размеры территории Москвы с неоправданно-низкой плотностью заселения (25 человек на га) создали бы крайне неблагоприятные экономические условия не только строительства, но и эксплуатации города. Одновременно, вопреки нашим политическим установкам, проект С. Шестакова предусматривал расселение рабочих новых предприятий не в центральной части города, а в спутниках, расположенных в 10 — 15 километрах от Москвы. Вся система планирования Большой Москвы не имела под собой в проекте С. Шестакова должного технико-экономического обоснования, вследствие чего проект его был справедливо назван т. Кагановичем чисто чертежным планом. Проект перепланировки Москвы акад. А. В. Щусева, предлагавший перенести правительственный район Москвы в Петровский парк и ряд тому подобных мероприятий, тоже не соответствовал задачам социалистической реконструкции Москвы.

В полном объеме вопросы социалистической реконструкции Москвы были поставлены только в 1931 г., на историческом июньском пленуме ЦК ВКП(б).

В докладе Л. М. Кагановича о социалистической реконструкции Москвы и городов СССР и в резолюциях пленума ЦК ВКП(б) от 15 июня 1931 г. по докладу Л. М. Кагановича получили

исчерпывающее освещение все основные вопросы, касающиеся радикальной перепланировки Москвы, переделки ее из старого капиталистического города в столицу социалистического государства. В соответствии с исчерпывающими установочными данными июньского пленума ЦК партии специально созданному Архитектурно-Планировочному управлению Моссовета была поручена разработка нового проекта перепланировки Москвы, — на основе социалистической реконструкции. В целях исчерпывающей творческой переработки основных архитектурно-планировочных принципов перепланировки Москвы был создан конкурс с привлечением крупнейших сил в области планировки. В результате этого конкурса в 1932 г. были представлены семь различных проектов перепланировки Москвы, авторы которых исходили из следующих основных предложений.

1. Проект архитектора Эрнста Мая предложил децентрализованное решение планировки Москвы. Полагая, что компактная радиально-поисная система планировки Москвы является неприемлемой для социалистического города, Э. Май предложил реконструировать Москву в групповой город. Под последним Э. Май понимал решение новой Москвы в виде группы городов-спутников, городов-спутников, которые автор проекта почему-то называет «городами-коллективами». Считая экономически невыгодным реконструировать основной массив существующей Москвы, Э. Май предложил использовать все капиталовложения в освоение новых сельтебных территорий в 10—15 километрах от Москвы.

2. Проект бригады Г. Б. Красина предложил решить перепланировку Москвы в виде своеобразных лент рабочих колоний, поддерживающих связь с основным массивом города посредством усовершенствованного скоростного транспорта. Предлагаемые им основные принципы перепланировки Москвы Г. Красин формулирует следующим образом: «Развитие Москвы, даже и для самого близкого будущего, должно быть организовано не как «вырастание из соб-

ственной кожи» старой Москвы, а как свежие молодые побеги новой социалистической Большой Москвы, в которую старая войдет лишь как часть, подлежащая в дальнейшем коренному и относительно дорого стоящему переустройству». (Г. Красин. «Будущее развитие Москвы и основные положения ее планировки». «Советская архитектура». 1931 г. № 4. Стр. 15.)

3. Проект бригады Ганнеса Майера предложил тоже сателлитную систему перепланировки. Однако Ганнес Майер, в отличие от Э. Мая, предлагал сохранить радиально-кольцевую систему в отношении существующего массива города. В отличие от других проектировщиков, Ганнес Майер запроектировал развитие города в восточном направлении. Именно на восток располагает он и все сателлиты Москвы (кроме Кунцева). Подобное расширение города в одном направлении потребовало бы соответствующей перепланировки восточной части старого массива и тем самым сделало бы сохранение радиально-кольцевой системы планировки лишь номинальным.

4. Проект планировки Москвы архитектора Курта Майера трактует Москву как единый компактный город с пригородами. К. Майер предложил сохранить не только существующую радиально-кольцевую систему планировки Москвы, но и сложившееся зонирование московской промышленности. Весь городской массив К. Майер предложил расчленить на ряд районов-комплексов, в каждом из которых имеются своя промышленность, свой жилой район и свой административный центр. Все эти районы имеют тяготение к общегородскому центру Москвы. Границами районов-комплексов должны были быть полосы зеленых насаждений.

5. Проект арх. Н. Ладовского исходил из отрицания существующей радиально-кольцевой системы планировки. Полагая, что замкнутая кольцевая система планировки исключает возможность нормального расширения города, Н. Ладовский разрывает замкнутый круг старой планировочной системы Москвы в направлении от центра по северо-западной оси Ленинградского шоссе. По

проекту Н. Ладовского, территории Москвы следовало бы придать форму параболы с осью по направлению ул. Горького — Ленинградское шоссе. Всю территорию Москвы Н. Ладовский предложил дифференцировать на следующие зоны: политико-просветительную, промышленную и жилую.

6. Проект бригады арх. Кратюка предлагал расширение существующей Москвы одновременно в нескольких направлениях, неравноценных по своему объему и интенсивности, с сохранением основного направления, подчиненного основному фактору — промышленности, на восток. Районирование Москвы бригада Кратюка трактовала как сумму своеобразных специализированных городов: жилой город, включающий в себя общественный и административный центр, промышленный город, агро-индустриальный, научно-технический, военный, большие городки, зеленые (дачные) города и др. Каждый из этих городков должен был расти в своем направлении.

7. Проект бригады ВОПРА предлагал трактовать Москву как непрерывный комплексный город, состоящий из пяти районов-комплексов, связанных в один цельный городской организм. Каждый из этих пяти районов они предлагали трактовать одновременно и как сравнительно самостоятельный район, и в то же время как составную часть целостного городского организма. Расширение общегородского и административного центра Москвы было запроектировано бригадой ВОПРА в направлении диаметра аллея Ильича — Ново-Мясницкий проспект, пересекающем исторический центр города. Реконструкцию существующей системы магистралей Москвы бригада ВОПРА предлагала осуществить посредством наложения на существующую радиально-кольцевую систему улиц новой прямоугольной системы улиц.

Тщательный научный анализ всех указанных систем перепланировки Москвы показал, что при наличии в каждом из предложенных проектов ряда интересных предложений ни один из них не является исчерпывающим проектом, который мог бы лечь в основу социалистической реконструкции Москвы. На

основе всех семи описанных проектов перепланировки и ряда других предложений Архитектурно-Планировочным управлением Моссовета было приступлено к разработке нового проекта социалистической реконструкции Москвы. Работа была расчленена на два этапа. На протяжении 1931 — 1933 гг. была разработана схема перепланировки Москвы. Во второй половине 1933 г. были созданы при Моссовете в соответствии с числом районов десять планировочных мастерских, которые занялись реконструкцией каждого отдельного района в объеме генерального проекта перепланировки города. В июле 1934 г. генеральный проект социалистической реконструкции Москвы был подвергнут обсуждению на специальном совещании ЦК партии при участии тов. Сталина, тов. Кагановича и крупнейших архитектурных сил Москвы. Все основные положения последнего генерального проекта перепланировки Москвы были на этом совещании одобрены. В каком же направлении перестраивается Москва согласно последнему генеральному проекту перепланировки нашей столицы?

Схемы перепланировки Москвы

Самым основным, принципиальным положением, исходным положением принятого и находящегося в действии проекта является сохранение территории Москвы как единого компактного пятна, то-есть отказ от трактовки новой социалистической Москвы с ее населением в пять миллионов человек в виде группы небольших городов, в виде системы сателлитов вокруг одного большого города и т. п. Вторым исходным положением является социалистическая реконструкция старой системы расселения внутри города. При количестве населения в 5 миллионов человек расширение территории Москвы мыслится, по утвержденному генеральному проекту перепланировки, до 40.000 га. Для того, чтобы разместить пять миллионов человек на территории в 40.000 га, необходимо исходить из внутриквартальной плотности населения в 500 — 600 человек на га. При

пяти-семиэтажной застройке подобная плотность заселения жилых кварталов потребует отведения непосредственно под застройку зданиями только 22 проц. территории жилого квартала. Вся остальная территория жилого квартала будет отведена главным образом под внутриквартальные зеленые насаждения. В виду того, что Москва является политическим и научным центром всего Союза, нормальное размещение всех центральных правительственных, общественных, культурных и соответствующих московских учреждений требует также довольно значительной части общей территории новой Москвы. В силу этого при запроектованном количестве населения Москвы в 5 миллионов человек отношение площади жилых кварталов к общей территории города будет равняться 1 : 3. Таковы самые общие принципы перепланировки Москвы по утвержденному генеральному проекту. Что же касается разработанных в связи с этим утвержденным генеральным проектом отдельных звеньев социалистической реконструкции Москвы (водная система, ж.-д. транспорт, схема планировки улиц, районирование города и др.), то они представляются в след. виде:

Для социалистической реконструкции всей водной системы Москвы как крупнейшего промышленного центра и столицы Союза с населением в 5 миллионов жителей июньским пленумом ЦК ВКП(б) 1931 г. был утвержден грандиозный проект соединения Москва-реки с Волгой. Строительные работы по осуществлению этого проекта в настоящее время развернуты в полном объеме. Согласно историческому постановлению июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 г., строящийся канал должен разрешить три основные задачи: 1) создать глубоководный путь, связывающий Москву с Волгой и с Мариинской системой, путь, годный не только для пассажирского, но и для грузового движения; 2) обеспечить полностью снабжение водой всей московской промышленности и хозяйственно-бытовых нужд населения города Москвы и его спутников; 3) оздоровить воды московской речной системы. О том, насколько строительство канала

Москва — Волга является неотложным, хотя бы с точки зрения создания соответствующего источника забора воды, можно судить по тому, что уже в 1932 г. Москва ежедневно поглощала 35 миллионов ведер. Строящийся канал будет ежедневно забирать из Волги 660 миллионов ведер воды. Из них 252 миллиона ведер предназначены к поступлению в водопроводную сеть Москвы. Это даст возможность довести душевую норму водопотребления с 168 литров до 500 литров (водопотребление в крупнейших мировых центрах в 1927 г. составляло: Нью-Йорк — 545 литров, Париж — 440 литров и Лондон — 340 литров в сутки на каждого жителя). Подача волжской воды от Волги до водораздела будет производиться пятью мощными, расположенными у шлюзов насосными станциями. Всего канал будет иметь протяжение в 128 километров (длина Суэцкого канала без озер — 147 км, Панамского канала — 81 км). Канал будет иметь глубину в 5,5 метра и полезную ширину — в 55 метров (В. Каплан, «Москва — Волгострой», «Строит. Москвы», 1934 г., № 1, стр. 14—15).

Подобная ширина канала даст возможность использовать его для прохода самых больших волжских судов, что значительно облегчит доставку всевозможных грузов для промышленности и для потребления Москвы. В связи с работами по обводнению Москва-реки столица будет иметь грандиозный порт, равного которому нет даже на многих крупных реках. По берегам водохранилища р. Химки с плотиной с. Ивановка решено построить так называемый Северо-Западный верхний порт. Отметка горизонта воды в этом порту определяется от 157 до 162 метров. Здесь будут производиться, без спуска в Москва-реку, основные погрузочно-разгрузочные операции большинства судов, пришедших по каналу Волга — Москва. Уже из одного того, что по каналу будут курсировать крупнейшие волжские пароходы, можно заключить о размерах порта.

Второй порт, которому дано название Юго-Восточного, должен быть построен у Сукина Болота. Здесь за-

проектировано сооружение различных затонов, причальных линий и т. п. элементов крупной портовой системы. Пристани московского порта будут расположены по обоим берегам Москва-реки от Сукина Болота до Шелепихи. В будущем в виду значительного развития грузооборота на Москва-реке в пределах города Москалестрой намечает еще одно крупное сооружение — Андреевский обводный канал, задача которого — принять на себя частично разгрузку реки от судов. Андреевский канал возьмет начало у Ленинских гор. Одновременно обводнение Москва-реки, которое должно в конечном счете увеличить существующее зеркало открытой водной поверхности до 100 кв. км, будет иметь огромное значение и в смысле архитектурного преобразования города. Схема планировки Москвы уделяет этому вопросу огромное внимание, так как набережные Москва-реки мыслятся в самом ближайшем будущем как центральная и наиболее выразительная в архитектурном отношении часть столицы.

В полном соответствии с социалистическим характером реконструкции Москвы запроектирована и осуществляется реконструкция Московского ж.-д. узла. В отличие от буржуазных городов, где то или иное решение ж.-д. узла города определяется противоречивыми интересами частных владельцев отдельных железных дорог, одна из основных задач проводящейся реконструкции Московского ж.-д. узла заключается в том, чтобы увязать его с экономическими и культурными требованиями перепланировки социалистической столицы. К разработке схемы реконструкции Московского ж.-д. узла НКПС и Архитектурно-Планировочное управление Моссовета приступили в 1932 г. Работа велась обеими организациями параллельно над двумя проектами реконструкции ж.-д. узла. Несмотря на то, что оба эти проекта, предлагающие два различных варианта, частично противоречат один другому, они дают очень ценный материал, выявляющий спорные моменты решений. Какие конкретные задачи выдвиг-

гают перед собой разработанные проекты реконструкции ж.-д. узла Москвы? Все запроектированные в этом направлении мероприятия по реконструкции ж.-д. узла Москвы можно отнести к трем задачам, каковыми являются: перепланировка существующего ж.-д. узла в соответствии со схемой новой планировки города, реконструкция станций дальнего, пассажирского движения и реконструкция пригородного движения.

Общая перепланировка ж.-д. узла Москвы связана с проведением следующих основных мероприятий: 1) сокращение территории, занимаемой ж.-д. сооружениями, до 5,5 проц. вместо занятых сейчас 10 проц. территории города; 2) электрификация пригородного и дальнего пассажирского и товарного движения в пределах городской зоны в целях обезвреживания Москвы от дыма; 3) перепланировка всех тупиковых вокзалов, которые занимают значительные территории и оказывают сильное влияние на неравномерную загрузку городских магистралей, особенно пригородным сообщением; 4) новое размещение вокзалов в диаметральных направлениях, так как при существующем расположении вокзалов наблюдается неравномерное распределение их по территории города; в Москве среднее расстояние от вокзала до центра составляет 3,4 км, в то время как в Париже среднее расстояние от вокзала до центра составляет 2,2 км, в Лондоне — 2,3 км, в Берлине — 2,5 км (инж. П. Куренков, «Реконструкцию узла увязать с социалистической перепланировкой Москвы», «Строит. Москвы», 1934 г., № 5, стр. 14 — 17); 5) вынесение за город расположенных на его территории узловых товарных, сортировочных и технических станций, депо, мастерских, прирельсовых складов и т. п. ж.-д. устройства; 6) вынесение за черту города транзитного грузооборота. Реконструкция ж.-д. узла Москвы в отношении станций дальнего пассажирского движения предусматривает ликвидацию Октябрьского, Северного, Балтийского вокзалов, которые, как известно, являются тупиковыми вокзалами. Снимаемое с ликвидируемых тупиковых вокза-

лов движение передается на два сквозных диаметра: Курско-Октябрьский и Саратовско - Белорусский с новыми шестью вокзалами. В разрезе реконструкции пригородного пассажирского движения запроектировано, помимо его полной электрификации, создать такие условия, при которых не нужно будет пересаживаться с поезда на внутригородской транспорт и обратно. Последнее будет осуществлено тем, что все пригородное движение намечено пропустить через два глубоких ввода. Первый глубокий ввод запроектирован по следующему направлению: Абельмановская, Таганская, Ногинская, Дзержинская, Трубная площадь и оттуда, вдоль Трубной и 4-й Мещанской улицы, к Балтийскому вокзалу. Второй глубокий ввод намечено направить следующим образом: Р.-Уральская ж. д., Октябрьская площадь, Дворец Советов, Пушкинская ул., ул. Горького, Белорусский вокзал. Предполагается оба глубоких ввода осуществить по принципу тоннельного типа. Выход поездов глубокого ввода на эстакады предполагается только при переходе р. Яузы выше Яузских Ворот. Вопрос о принятии тоннельного или тоннельно-эстакадного прохождения глубокого ввода еще окончательно не решен.

Не менее грандиозной по своему масштабу является социалистическая реконструкция всей системы внутригородского движения Москвы. В пределах первой пятилетки реконструкция внутригородского транспорта ограничивалась расширением трамвайного движения и частичным развитием автобусного и автомобильного сообщения. Быстрый рост Москвы заставил уже с начала второй пятилетки подойти к реконструкции внутригородского движения с совершенно иными масштабами. Проблема внутригородского движения Москвы решается с 1932 г. посредством системы четырех основных мероприятий, каковыми являются: 1) новое районирование всех основных функциональных элементов города, связанных с большой посещаемостью (парки, вокзалы, крупнейшие универсальные магазины и др.);

2) перераспределение потоков движения посредством перепланировки всей системы и структуры отдельных уличных магистралей и площадей, 3) реконструкция отдельных улиц и площадей, 4) отведение основных потоков коммунального пассажирского транспорта с поверхности переполненных улиц под землю посредством сооружения метрополитена. Первое мероприятие реализуется в значительной мере описанной выше реконструкцией ж.-д. узла Москвы, перемещением вокзалов, сооружением глубокого ввода и, кроме того, проводящейся реконструкцией торговой сети и др. Проводящаяся и в значительной мере уже осуществленная перепланировка всей системы уличных магистралей и площадей заключается в следующем: 1) создается новое центральное полукольцо улиц, 2) кольцо «А» получает свое развитие по ту сторону Москва-реки, 3) по направлению наиболее напряженных магистралей создаются параллельные улицы, 4) создаются новые периферийные кольцевые магистрали. Создаваемое центральное полукольцо идет по линии: площадь Ногина, Спасо-Глинищевский пер., Кузнецкий Мост, проезд Художественного театра, улица Огарева, Большой Кисловский переулок, Крестовоздвиженский пер., аллея Дворца Советов. Кольцо «А» расширяется и захватит часть Замоскворецкого района. Из новых радиальных магистралей следует выделить улицы, запроектированные параллельно существующим улицам Горького, Мясницкой, Арбату и др. Новотверская улица начнется у Триумфальных ворот и закончится между нынешней улицей Горького и Никитской. Новый Арбат пройдет от Арбатской площади через Собачью площадку, через Кречетниковский и Новинский переулки к новому мосту через Москва-реку, а отсюда — по прямой улице на Можайское шоссе. Из двух новых запроектированных кольцевых магистралей одна пройдет по Камер-Коллежскому Валу, а другая — за ним. Кольцо Камер-Коллежского Вала запроектировано как огромная магистраль, рассчитанная на транспорт больших скоростей.

Независимо от прокладки новых улиц,

реконструируются все существующие магистрали Москвы, ширина которых, в виде общего правила, ни в какой мере не может удовлетворить запросы современного и особенно ближайшего будущего внутригородского транспорта Москвы, даже при учете того, что значительная часть этого движения будет направлена благодаря метрополитену под землю. Об этом свидетельствуют следующие данные, касающиеся ширины основных московских улиц. Улица Горького имеет в ширину 16 метров, Арбат — 20 метров, Солянка — 17 метров, Б. Дмитровка — 19 метров, Мясницкая — 21 метр, ул. Герцена — 23 метра и т. д. Если учесть еще, что целый ряд магистралей московских улиц при крайне незначительной их ширине, криволинейном направлении в плане отличаются еще часто крутыми уклонами и большим числом пересечений, вся неотложность реконструкции старых магистралей станет особенно наглядной. Как проводится реконструкция старых магистралей Москвы? Направленная к увеличению ширины и по возможности к выпрямлению пролегания улиц в плане, реконструкция проводится самыми разнообразными способами, в зависимости от характера и ценности существующей застройки улиц, от степени раздробленности жилых кварталов, от количества тупиков и т. п. Так, для расширения ул. Горького придется ломать дома и переселять тысячи людей ради того, чтобы уширить ее до 40, местами до 60 метров. Арбат предполагается расширить до 30 метров, Большую Лубянку и Сретенку — до 42 метров и, соединив ее с 1-й Мещанской, создать, таким образом, большую магистраль, ведущую к зеленому массиву Останкина и Лосиноостровской. Все набережные будут расширены до 60 и более метров. В целях уменьшения стоимости реконструкции старых улиц сносение зданий на них предполагается большей частью только с одной стороны. При таких условиях и после реконструкции ширина старых улиц все же будет не более 40 — 50, а в некоторых случаях 25 — 30 метров. Наиболее широкие улицы Москвы будут созданы

совершенно заново. Из них на первом месте — аллея Ильича, которая пройдет от площади Дзержинского до Дворца Советов и будет иметь от 50 до 140 метров ширины. Не приходится говорить о том, что ни один капиталистический город, ни одна столица капиталистических стран не могут и мечтать хотя бы об одной подобной реконструкции старых магистралей. Лучшее тому доказательство — соответствующие попытки реконструкции некоторых магистралей Москвы до революции. Ту реконструкцию Садового кольца, которая проведена сейчас в Москве, пытались неоднократно осуществить еще до Октября, но из этого ничего не вышло. Для того, чтобы отобрать у частных владельцев участки их дворов с палисадниками и заборчиками, нужна была социальная революция, отменившая собственность на землю. Правда, городская дума еще в 1906 г. постановила: «Расширить проезды и устроить бульвары при условии изъятия палисадов из частного пользования и передачи их городу для общественного пользования», но этого своего постановления, как и многих других, она не могла реализовать.

Не менее грандиозным мероприятием МК партии и Моссовета по реконструкции системы внутригородского движения является сооружение метрополитена, первая очередь строительства которого в настоящее время уже подходит к концу. Вопросу о сооружении в Москве метрополитена предшествовала длительная научная дискуссия. В качестве одного из основных «принципиально-теоретических» доводов против строительства в Москве метрополитена указывалось, что метрополитен вызовет сильный дальнейший рост города со всеми отрицательными последствиями урбанистической концентрации населения, промышленности и управления. Так как при этом сторонники подобной точки зрения не учитывали, что в условиях планового социалистического хозяйства метро не может быть фактором произвольного роста города, и так как метро имеет огромное значение в смысле отвлечения от поверхности узких улиц Москвы огромных потоков коммуналь-

ного транспорта и создания быстрого сообщения, эта точка зрения была отвергнута. Заканчивающаяся к 17-й годовщине Октября первая очередь строительства перерезает город диаметром по направлению от северо-востока на юго-запад (Сокольники, Комсомольская площадь, Охотный ряд, Арбат, Смоленский рынок и ответвление этого диаметра — Охотный ряд — Дворец Советов — Крымская площадь). Общая протяженность первой очереди строительства метро — 11,9 км. Несмотря на осуществление строительства впервые, без наличия специально подготовленных кадров, и на неблагоприятные геологические условия, строительство московского метрополитена осуществляется в два раза быстрее, нежели в капиталистических странах. Одновременно разрабатываются варианты второй очереди строительства метро, по которой намечаются четыре линии: 1) новый Горьковский радиус от Охотного ряда до Белорусско-Балтийского вокзала, протяжением около 4 км, 2) линия от Охотного ряда до Павелецкого вокзала, которая пройдет через Москва-реку; видимо, под рекой; 3) линия от Смоленской площади до Брянского вокзала протяженностью в 1,5 км и 4) линия от центра до Курского вокзала и далее, до парка имени Сталина и Международного стадиона. Одновременно на очереди — проблема сочетания метрополитена с пригородным сообщением Москвы.

Наконец необходимо отметить, что очень много сделано за последние годы в отношении реконструкции системы внутригородского движения Москвы в плане создания фонда автобусов, троллейбусов и т. п. обеспечения условий нормальной эксплуатации автотранспорта. Здесь прежде всего необходимо отметить радикальную реконструкцию внешности московских улиц. Так, с 1926 года покрыто усовершенствованными мостовыми около полутора мил. кв. метров, в 1933 г. было покрыто асфальтом и брусчаткой 426.000 кв. метров. В 1934 г. еще 680.000 кв. метров площади улиц Москвы распростятся навсегда с булыжником дореволюционных мостовых. Ряд улиц Москвы реконстру-

ирован специально в автомагистрали (ул. Горького, Арбат, ул. Коминтерна и др.) со снятием с них трамвайного движения. Однако этим реконструкция улиц Москвы не исчерпывается. Параллельно создаются усовершенствованные внегородские пути. По постановлению последней московской партийной конференции все районные центры области, в радиусе 100—150 км, соединяются с Москвой усовершенствованными дорогами.

Комплекс сложных мероприятий по реконструкции системы внутригородского транспорта Москвы несколько заслоняет собой ту большую и интересную работу, которая ведется параллельно в разрезе социалистической реконструкции всей системы расселения Москвы. Правда, поскольку Москва представляет собой старый, давно сложившийся город и поскольку положение с расселением не является столь напряженным, как с внутригородским транспортом, — здесь самый процесс реконструкции осуществляется медленнее. Тем не менее и в отношении реконструкции системы расселения вопрос поставлен не менее радикально — как в социальном разрезе, так и материально-техническом. Социальная сторона реконструкции расселения заключается в том, что индивидуальное жилище комплексируется с элементами общественного культурно-бытового обслуживания. Детские ясли, детский сад, детские площадки, физкультурные площадки для взрослых внутри жилого квартала, столовая, клуб и т. п. все больше внедряются в систему прежних хаотически застроенных участков и преобразуют замкнутое, обособленное жилье в органический, целостный как в социальном, так и в архитектурном отношении жилой комплекс определенного трудового коллектива.

Исключительно широкие размеры приобрела в течение последних трех лет материально-техническая реконструкция всей системы расселения г. Москвы. Последняя идет в направлении как реконструкции существующей застройки, так и в отношении освоения новых территорий внутри города и за пределами ста-

рой городской черты. Полученный нами в наследство от старого режима жилой фонд Москвы отличается большой пестротой и крайней неравноценностью отдельными разбросанных сооружений: к 1932 г. в Москве было 62 проц. домов деревянных и лишь 33 проц. каменных. В отношении же этажности этот жилой фонд к 1932 г. составлял: 45 проц. одноэтажных зданий, 41 проц. двухэтажных и только 14 проц. зданий выше двух этажей. Материально-техническая реконструкция этого жилого фонда ведется в двух различных направлениях. С одной стороны, все малоценные здания сносятся и территория их используется под озеленение, под сооружения общественного обслуживания или под новое жилищное строительство. С другой стороны, ценные жилые здания достраиваются еще одним-двумя, иногда тремя этажами. Достигнутое благодаря этому общее уменьшение территории под застройкой опять отводится под зеленые насаждения.

Архитектурная реконструкция Москвы

Одна из существеннейших отличительных особенностей социалистической реконструкции Москвы заключается в том, что в основу реконструкции столицы положены требования не только политического и инженерно-технического, но и художественного характера. В отношении перепланировки Москвы это обстоятельство имеет сугубое значение. Как известно, именно в архитектурно-художественном отношении Москва с ее хаотической застройкой уступала не только дореволюционной столице — Петербургу, но и целому ряду других городов — Киеву, Одессе и др. Даже в самых идеализирующих старую Москву описаниях она не имела других эпитетов, кроме «белокаменной». Сравнивая Москву с Петербургом, один современный писатель писал: «Петербург построен был по плану, построен волей. Петербург сделали, а Москва случилась». В отношении старой архитектурной структуры Москвы это замечание является безусловно правильным. На-

чина с 1932 г. положение резко изменилось. Уже через год после исторического июньского пленума ЦК наряду с технической перепланировкой началась и архитектурная реконструкция Москвы. Началась она со сноса случайно расположенных зданий, с освобождения площадей и пересечений бульваров от прилепившихся зданий, пристроек и т. п. Только в последние годы в тесно застроенной Москве расширяются ее площади (Арбатская и др.), распутываются узлы улиц.

Однако архитектурная реконструкция Москвы сводится отнюдь не к расчистке отдельных кварталов и площадей города ради создания перспектив на отдельные здания. Вопросы архитектурной реконструкции Москвы ставятся и решаются несравненно глубже. В связи с социалистической реконструкцией Москвы поставлен вопрос о создании органической схемы архитектурной композиции города. Причем, в отличие от аналогичных попыток в отношении целого ряда других городов, схема архитектурной композиции Москвы строится не в виде отвлеченно-геометрических принципов, а на основе создания крупных целостных архитектурных ансамблей. Из них в первую очередь следует выделить тот совершенно исключительный по своему пространственному масштабу ансамбль, который постепенно осуществляется в связи с сооружением Дворца Советов. Архитектурный подход к зданию Дворца Советов, которое располагается на берегу Москва-реки, неподалеку от б. Зачатьева монастыря, должен получить начало еще от площади Дзержинского. Застроенная различного стиля зданиями площадь Дзержинского должна быть радикально реконструирована, ей должна быть придана форма монументального истока начинающейся от нее аллеи Дворца Советов. Аллея Дворца Советов запроектирована одной из самых широких магистралей в мире. Увечанное грандиозной скульптурой Ленина, величиной в 80 метров, здание Дворца Советов запроектировано высотой в 415 метров и будет самым высоким сооружением в мире. Вокруг зда-

ния Дворца Советов запроектирована система архитектурных площадей. Перед главным фасадом Дворца Советов запроектирована площадь для демонстраций, примыкающая с другой стороны к Александровскому саду. Фасад Дворца Советов со стороны Малого зала выходит на другую площадь, которая расположена по Саймоновскому проезду. Один боковой фасад Дворца Советов выходит на набережную и дает оформление Москва-реке. Наконец другой боковой фасад его выходит в сторону предполагаемой новой площади, расположенной за Волхонкой, перед проектируемым Институтом Маркса — Энгельса — Ленина. Таким образом, величайший памятник Ленину — Дворец Советов — будет возвышаться над всем городом и будет служить опорной осью всей архитектурной композиции центральной части столицы. Кроме того, аллея Дворца Советов по проекту должна омывать с двух сторон площадь Дворца с тем, чтобы отправиться отсюда к Камер-Коллежскому Валу и образовать здесь большую новую площадь. Аллея свяжет мостами площадь Дворца Советов с Домом правительства, недалеко от которого будет построен новый широкий мост через Москва-реку. Второй мост предполагается построить на «стрелке». Значительная территория от Дома правительства до «стрелки» в ближайшие годы будет освобождена от старых зданий. Обрастая на своем пути многочисленными зданиями, аллея Дворца Советов закончится у Ленинских гор мощным зданием гидростанции. Вся аллея от площади Дзержинского до Ленинских гор (ширина ее вдоль Александровского сада достигнет 120 метров) будет оформлена, помимо зданий, фонтанами и скульптурой.

Одновременно создается целый ряд более или менее значительных архитектурных ансамблей на основе радикальной художественной реконструкции всех главнейших площадей, магистралей и набережных Москвы. Красная площадь уже сейчас сильно преобразена по сравнению с ее дореволюционным состоянием. Трактванный компактным монолитом, мавзоль Ленина с трибунами

правительства величественно выделяется своими массами красного и черного мрамора на фоне белых уступов всего комплекса трибун и кремлевских стен. Так как размеры Красной площади давно уже не соответствуют ее назначению в дни демонстраций и парадов, в ближайшее время Красная площадь будет значительно расширена. В связи с этим здание Верхних торговых рядов (ГУМ) сносится. На месте них и целого ряда других сносимых зданий, расположенных в сторону площади Дзержинского, будет сооружен грандиозный дом Наркомтяжпрома, проектирование которого уже заканчивается. Дом Наркомтяжпрома одновременно включается и в архитектурное оформление площади Свердлова. Выходящая на площадь Свердлова, против Большого театра, Китайгородская стена будет снесена. На месте стены с ее чахлым сквером будет сооружена огромная лестница, поднимающаяся на высоту в 6 метров к нынешней Никольской улице.

Триумфальная площадь реконструируется как площадь театров. В настоящее время в центре ее расположен старый, беспорядочно разбитый сквер. Сквер этот уничтожается. Территория его превращается в четкую горизонтальную площадь. Архитектурно площадь оформляется новым зданием театра Мейерхольда, зданием театра Межраблота и др. В центре площади разбивается новый сквер, который будет несколько приподнят в отношении кольцевой магистрали. По направлению Садовой-Кудринской от него пойдет широкая лестница. Разность уровней между магистралями и скверами будет использована для создания подземного гаража для легковых машин. В отличие от хаотической застройки площадей старой Москвы отдельными участками, вся архитектурная реконструкция Триумфальной площади проводится по единому художественному замыслу и под единым руководством академика архитектуры А. В. Щусева.

Пушкинская площадь реконструируется как площадь литературы и печати. В развитие мотива современной вертикальной архитектуры с противополо-

жной стороны площади возводится дом ТАСС. Все остальные здания площади сносятся или достраиваются и архитектурно реконструируются. Реконструируется также другая площадь, выходящая на ул. Горького, — Советская площадь. Старое здание Моссовета (бывший дом генерал-губернатора) значительно расширяется. В реконструированном виде здание Моссовета должно занять целый квартал — от Брюсовского до Гнездиковского переулка. В этом мощном сооружении будут собраны все основные учреждения Моссовета, рассеянные сейчас по различным районам города. Находящиеся ныне напротив два дома (где помещаются аптека и др.) сносятся. Сама площадь, где сейчас стоит обелиск, расширяется в соответствии с теми новыми пропорциями, которые диктует реконструируемое здание Моссовета. Находящееся напротив здание Института Ленина реконструируется.

Одновременно ведутся работы по реконструкции привокзальных и районных площадей. Комсомольская (б. Каланчевская) площадь основных московских вокзалов реконструируется одновременно в трех направлениях. Прежде всего ее корявый рельеф подвергается вертикальной планировке и пыльная поверхность булыжников превращается в ровную, асфальтированную. Во-вторых, реконструируются опорные точки, обрамляющие застройку площади, которая пока поражает всякого приезжающего своей пестротой (первое впечатление от Москвы!). Основная задача архитектурной реконструкции существующей застройки — увязать между собою в композиционном отношении ее три диссонирующих вокзальных здания: Северной, Октябрьской и Казанской дорог. Так как Ленинградский вокзал намечено вынести на линию Ярославского шоссе, Северный и Ленинградский вокзалы будут соединены в один. Оба вокзала предполагается на площади соединить путем пристройки временного здания для центральной городской станции. Наконец предполагается уничтожить уродующий архитектуру площади виадук. Соединяющая Курский и Северный вок-

залы железная дорога будет опущена под землю в туннель.

При сооружении нового вокзала на месте существующего Курского запроектировано поднять расположенную перед ним площадь с тем, чтобы уничтожить существующий спуск к ней со стороны магистрали. Новое здание Курского вокзала не только поднимается до уровня горизонтальной поверхности магистрали. Первый этаж здания будет возвышаться над путями таким образом, чтобы пассажиры, входя в здание по специальной лестнице, спускались на платформы нужных им поездов. Возле вокзала проектируется сооружение гостиницы-небоскреба. Площадь Белорусско-Балтийского вокзала также выравнивается, а самое здание вокзала будет перестроено в соответствии с его значением — как вокзала для поездов, идущих в Западную Европу, и применительно к архитектуре пересекающей площадь магистрали ул. Горького — Ленинградское шоссе.

Размеры статьи не дают возможности остановиться на описании архитектурной реконструкции Трубной площади, площади Коммуны (б. Екатерининской) и площадей районного значения — площади у Серпуховской заставы, у Крестыанской заставы, у заставы Ильича и др., которые разрабатываются начиная с 1931 г.

Поскольку архитектурная реконструкция Москвы осуществляется по принципу создания больших пространственных комплексов, естественно, радикально реконструируются также все важнейшие магистрали и набережные города. Выше уже говорилось о застройке создаваемой заново аллеи Дворца Советов. Параллельно, разумеется, в меньшем масштабе, ведется напряженная работа по архитектурной реконструкции улицы Горького, Арбата, Мясницкой. Одна из главнейших магистралей Москвы — улица Горького — уже сейчас приобретает новое лицо в результате постройки гостиницы Моссовета, домов ИТР и т. д. Узкое горло улицы в 20 метров расширяется до 40 метров, описанная реконструкция Советской, Пушкинской и Триумфальной площадей, через

которые проходит ул. Горького, должна вносить разнообразный ритм пространственных пауз в повторяющуюся систему застройки магистрали. Площадь Белорусского вокзала должна подчеркнуть непосредственный переход улицы Горького в Ленинградское шоссе, ширина которого, как известно, достигает 100 метров. Основные архитектурные мотивы этого шоссе — зелень, скульптура и зеркальный асфальт. Трамвайные мачты на шоссе сняты, электросеть подвешена на боковых столбах. Шоссе электрифицировано и т. д. На Мясницкой, неподалеку от нового здания Госторга, возведено огромное здание Наркомлегпрома по проекту одного из самых популярных современных архитекторов — Корбюзье. Далее, на углу Садового кольца возвышается новое грандиозное здание Наркомзема, представляющее собой одно из наиболее зрелых произведений акад. архитектуры А. В. Щусева.

Огромный интерес представляет осуществляемая сейчас в большом масштабе, начавшаяся по инициативе т. Сталина, архитектурная реконструкция московских набережных. «Всем, кому доводилось разезжать по этим набережным, — говорил т. Каганович в своей речи на пленуме Моссовета 16 июля 1934 г., — прежде всего бросалось в глаза, что у культурного центра страны набережные совершенно запущенные, непроезжие, неровные и крайне плохо использованные. Если там имеются дома, то они, как правило, карликовые, неказистые. Берега не укреплены, оползают». На основе этой критической оценки старых набережных Москвы т. Кагановичем они подвергнуты полной реконструкции. Работа по реконструкции московских набережных ведется одновременно в трех направлениях. Прежде всего грязные земляные откосы Москва-реки покрываются гранитом. До революции из всех берегов Москва-реки, находящихся в черте города, только четыре километра были облицованы камнем. В основном эта облицовка выполнена из бутového камня, и только часть набережных, прилегающая к Кре-

млю, между Каменным и Москворецким мостами, облицована песчаниковыми плитами. Между тем общее протяжение зигзагов, которые делает Москва-река, извиваясь по территории столицы, составляет около 52 километров. Всю эту огромную береговую ленту Москва-реки необходимо обработать набережными не только из архитектурных соображений, но и в целях подсыпки берегов применительно к подьему уровня воды в связи с осуществлением канала Волга—Москва. Под непосредственным руководством тов. Сталина и тов. Кагановича проектирование и строительство новых набережных Москвы ведется в таком направлении, чтобы путем соответствующего архитектурного оформления берегов, озеленения их и разбивки бульваров создать из набережных Москва-реки основные архитектурные проспекты города.

Строительство набережных началось в 1933 г. Объектами строительства 1933 г. были Котельническая, Гончарная, Причальная, Ростовская и Смоленская набережные. В течение восьми месяцев 1933 г. (май—декабрь) удалось построить 2,5 километра новых гранитных берегов Москва-реки. Для облицовки этих набережных употреблялись гранитные плиты, поступающие из Украины и частью из Карельской республики. Выполнение работ 1933 г. потребовало около 30.000 кв. метров гранита, уложенного на монолитном бетонном основании. Одновременно с облицовкой самих берегов были сооружены пять причалов-сходов, решенных в одних случаях в виде монументальных прямоугольных, в других — в виде полукруглых террас с гранитными парапетами и ступенями. При проектировании террас и самих набережных огромное внимание уделялось их архитектурной форме. В отличие от характера набережных целого ряда других городов, в Москве были применены в архитектурном оформлении набережных следующие два основных приема. Во-первых, для московских набережных в целях оптического увеличения простора водной поверхности Москва-реки принята оригинальная конструкция типа откосной стены.

Это очень важно при сравнительно небольшой ширине русла Москва-реки. Об этом свидетельствуют старые вертикальные набережные Москва-реки, например у Каменного моста, которые снижают впечатление речного простора. Во-вторых, в целях усиления монументальности выразительности набережных отвергнуты какие бы то ни было мегаллические решетки, все они заменяются сплошным гранитным парапетом.

Одновременно была проделана большая работа и в направлении архитектурно-художественной отделки поверхности набережных. В этом отношении очень серьезным оказался в частности вопрос о подборе пород граниты—в смысле наилучшего использования фактуры и больших цветовых возможностей этого материала. Для этой цели была создана специальная комиссия под руководством академика архитектуры Желтовского, разработавшая ряд мероприятий по повышению архитектурного качества исполненных работ. Несмотря на целый ряд весьма значительных достижений, так как до того опыта строительства подобных набережных в СССР не было, ряд архитектурных решений неизбежно носит частично экспериментальный характер. В строительстве набережных 1934 г. они пересматриваются и углубляются.

Строительство набережных 1934 г. предусматривает окончание работ по Ростовской и Смоленской набережным и обрамление в гранит Дорогомиловской набережной, Бережковской и набережной Центрального парка культуры и отдыха, где в архитектурном решении набережных выдвигаются совершенно особые задачи. Набережная Центрального парка культуры и отдыха должна быть решена как органический составной элемент самого парка. С этой целью предполагается максимально ослабить функцию набережной как сооружения, изолирующего от воды; предполагается решение парковой набережной в виде сплошной гранитной террасы, позволяющей в любой ее части спуститься непосредственно к воде.

Второе существенное мероприятие по реконструкции московских набережных

направлено на превращение примыкающих к ним проездов в 11—15 метров в широкие архитектурные магистрали (шириной в 60 метров), покрытые асфальтом и обрамленные зелеными насаждениями.

Наконец третье огромной важности мероприятие — радикальная архитектурная реконструкция современной застройки к набережных. В этом отношении реконструкция заключается не только в том, что сносятся старые хибарки и заменяются новыми многоэтажными сооружениями. Для того, чтобы избежать сплошной ленты монотонной застройки наподобие старых улиц, вся территория вдоль московских набережных зонировается, дифференцируется для размещения жилых массивов, парков, спортивно-водных станций, общественных зданий, промышленных сооружений и т. п. Подобное районирование московских набережных по признаку выявления специфического назначения отдельных зон дает возможность более целюно решить каждый из этих районов реки в виде целостных архитектурных ансамблей. Из них особенно разработаны в настоящее время проекты застройки набережных грандиозными жилыми массивами. Таковы проекты архитектурного оформления жилым комплексом Ростовской набережной арх. А. Щусева, А. Куровского, М. Ростовского и Е. Чернова проект застройки Смоленской набережной арх. З. М. Розенфельда, два варианта застройки Смоленской и Ростовской набережных арх. Д. Фридмана, Н. Прусакова, Ю. Неймана и В. Воронова и второй вариант арх. Л. Гриншпуна, проект застройки Котельнической и Гончарной набережных арх. К. Мельникова, рассчитанный на общую кубатуру застройки около 1 миллиона кубометров (937.000 кубометров), рассчитанный на 20.000 чел. населения, и др. Благодаря огромному пространственному интервалу между линиями застройки обоих берегов жилые комплексы московских набережных запроектированы в пределах 8, 9 и даже до 15 этажей. Общее протяжение отдельного жилого комплекса по линии фасада — 800 метров и больше, что в корне отличает новую социалистическую

застройку Москвы от старой застройки капиталистических городов с их пестрыми ключьями фасадов отдельных зданий, расположенных на изолированных малых участках.

Такое тщательное архитектурное оформление набережных Москва-реки выдвинуло неизбежно и вопрос о соответствующем архитектурном решении и мостов, пролегающих через Москва-реку. Работа в этом направлении ведется начиная с 1921 г., когда на конкурс, объявленный городским отделом коммунального хозяйства по разработке проектов Краснохолмского, Крымского и В. Каменного мостов в числе других проектов был представлен тщательно проработанный в архитектурном отношении проект Б. Каменного моста академиком архитектуры Желтовского и А. Щусева. Так как в связи с обводнением Москва-реки предполагается прохождение по ней крупных судов, требующих больших пространственных габаритов над уровнем воды, архитектурное решение как новых, так и старых, реконструируемых мостов сопряжено с большими трудностями. При существующем рельефе московских берегов возведение мостов через Москва-реку возможно только при помощи системы эстакад, специальной перепланировки предмостных площадей путем их значительного расширения и т. п. Работа в этом направлении ведется как районными планировочными мастерскими, так и специальными коллективами мостостроителей.

Исключительное заострение внимания на архитектурных вопросах реконструкции Москвы со стороны Московского комитета партии и в частности со стороны тов. Кагановича не могло не включить в орбиту архитектуры нашей столицы и такие вопросы, как архитектурное оформление элементов не только водного, но также наземного и подземного городского транспорта: эстакад глубокого ввода и станций метрополитена.

Что касается эстакад глубокого ввода и возможных эстакад метро, то протяженность их в целях предупреждения загромождения ими площадей и улиц Москвы будет самой минимальной, в то время как например в Берлине и в Па-

риже протяженность эстакад метрополитена довольно значительна. В отношении же тех отдельных участков, где эстакадный выход является совершенно необходимым по инженерным соображениям, предполагается большая архитектурная проработка формы эстакад. Равным образом ни один город в мире не может соперничать с Москвой в отношении качества архитектурного оформления павильонов и вестибюлей станций строящегося метрополитена. В целях лучшей ориентации пассажиров метро станции метрополитена будут оформлены различными архитекторами. Так, станция «Мясницкие ворота», строящаяся по проекту проф. Н. Колли, решена большими массивными плоскостями, которые композиционно связываются между собой по принципу контраста и взаимного дополнения их цвета и фактуры. Станция метро «Красные ворота», строящаяся по проекту акад. архитектуры И. Фомина, решена по принципу использования ряда типичных композиционных приемов классической архитектуры (уступчатые карнизы, арки, кессонированные своды и др.) Не меньше внимания уделено внешней архитектуре павильонов станций. Так например входной павильон станции «Сокольники» тщательно продуман не только в смысле соотношения его масс, но будет также художественно оформлен фризом и круглой скульптурой на физкультурные темы.

Архитектурно-планировочные приемы реконструкции Москвы восполняются параллельно широким использованием скульптуры и планомерного цветового оформления города. Внесение скульптуры в архитектуру города осуществляется одновременно в трех направлениях. Прежде всего скульптура в виде барельефов и отдельных элементов полукруглой и круглой скульптуры органически внедряется сейчас в самую архитектуру отдельных зданий вместо тех аскетических зданий-коробок, которые строились, к сожалению, в первые годы революции. Вторая линия включения скульптуры в архитектуру города

относится к созданию насыщенных скульптурных комплексов в качестве своеобразного преддверия, раскрытия начала композиции крупнейшего архитектурно-пространственного комплекса, каковым например будет главная площадь перед Дворцом Советов с грандиозным памятником Карлу Марксу. Наконец в целом ряде других случаев скульптура должна быть использована в качестве самостоятельного активного фактора художественной организации пространства площади города, партера и аллей в парках и т. п. В течение ближайших пяти лет лишь на площадях и бульварах Москвы должно быть установлено около двухсот монументальных произведений скульптуры, в том числе — памятник Ленину (помимо Дворца Советов), памятник Ф. Дзержинскому, монументы «1905 г.», «Октябрьское восстание» и др. Одновременно разрабатывается архитектурная система точек города, подлежащих оформлению посредством скульптурных фонтанов. О размерах скульптурных работ по Москве в течение ближайших лет можно судить по следующему плану работ на один лишь 1934 г., в течение которого должно быть приступлено к осуществлению следующих скульптурных работ: 1) Для новой гостиницы Моссовета — десять круглых скульптур в 3—4 метра высотой, барельефы для фасада той же гостиницы (30 п. м.), статуи и барельефы для внутреннего убранства. 2) Для оформления Свердловской площади — несколько десятков выдающихся драматургов и актеров для оформления колоннады, проектируемой на площади перед Большим театром, скульптурное оформление обширной монументальной лестницы, которая соединит Свердловскую площадь с Китай-Городом (около десяти скульптур), фигурный фонтан для площади. 3) Для скульптурного оформления аллеи Ленина — целый ряд статуй на площадях и скульптур на фасадах зданий. 4) Скульптуры на зданиях Триумфальной-Садовой площади (Межрабпома и др.). 5) Скульптурное оформление метро — входы в павильоны станций, вестибюли и др.

Исключительный сдвиг по сравнению

с тем, что делалось в этом направлении в дореволюционной Москве, наблюдается и в работах по цветовому оформлению Москвы, которое приняло характер планомерной художественной деятельности. В этой области архитектурной реконструкции Москвы начиная с 1931 г. наблюдаются три последовательных этапа серьезных исканий: формалистический, функционалистический и комплексный. Формалистическое направление 1931 г. в цветовом оформлении было характерным подходом к цветовому оформлению улиц Москвы, хотя и с комплексной, но с отвлеченно-эстетической точки зрения. Делались попытки окраски двух сторон одной и той же улицы в два таких цвета, из которых один, например, красно-фиолетовый, рассматривался как «действующий активно, возбuditельно», а другой, зеленый, — «пассивно, успокоительно», и т. п. Второе направление в цветовом оформлении Москвы, согласно принципам которого была окрашена в 1931—32 гг. значительная часть города, характеризуется однообразной окраской улиц, независимо от архитектуры отдельных зданий. При цветовом оформлении улиц и площадей Москвы по этому принципу преследовались две основные задачи: ослабление пестроты старой застройки улиц Москвы и облегчение ориентации по городу (каждому архитектурному району города придавалась определенная цветовая тональность). Опыт однако показал, что наряду с некоторыми положительными моментами подобное цветовое оформление города является слишком однообразным и, главное, носит характер несколько механистической окраски, которая не только затушевывает характерные особенности отдельных сооружений, но и вообще игнорирует специфические требования цветового оформления именно архитектуры фасада, трактует фасад как однообразную поверхность, в то время как на самом деле последний представляет собой сложный композиционный организм. Под влиянием этого опыта, далеко не бесполезного опыта экспериментального цветового оформления Москвы, мы сейчас перешли к комплексной системе цветового оформ-

ления столицы, которая строится на должном выявлении посредством цвета наиболее существенных принципов архитектурного построения фасада. По этому принципу осуществлялось цветовое оформление Москвы в 1933 и в 1934 гг. Серьезное художественное обоснование цветового оформления Москвы вызвало два дополнительных мероприятия, касающихся внешней архитектуры города: оформление настенной рекламы и светоцветовое оформление города. Оформление настенной рекламы улиц (вывески) направлено в сторону строгого подчинения вывесок в каждом отдельном случае не только архитектуре и цветовому оформлению зданий, но и к соблюдению определенных масштабов, к использованию определенных видов материала (живопись по стеклу) для всего города в целом. Светоцветовое оформление Москвы направлено, в отличие от кричащих реклам капиталистических городов, к умеренно яркому по своим краскам декоративному освещению главнейших улиц и площадей. Исключение делается лишь в дни революционных празднеств, когда вся Москва превращается в озаренные красочным светом и преображенные декоративными сооружениями оригинальные архитектурные светоцветовые ансамбли.

Зеленые насаждения

Отдельно следует остановиться на той огромной роли, какую играет в общей планировочной и архитектурной реконструкции Москвы реконструкция ее старой системы зеленых насаждений. Прежде всего в этом направлении следует отметить огромный размах зеленого строительства в советский период, который просто не поддается сравнению с соответствующей практикой дореволюционного периода. Об этом свидетельствуют хотя бы следующие цифры. В 1931 г. в Москве насчитывалось 3.284 га скверов, садов и парков. Помимо этого, в том же году было обсажено молодыми деревьями 227 улиц, озеленены школы, дворы, промышленные предприятия и т. п., в связи с чем было посажено 300 тысяч деревьев и миллион ку-

стов. Весной 1932 г. было посажено 171.600 деревьев и 374.800 кустов. Программа осенних посадок 1932 г. — еще 150 тысяч деревьев и 500 тысяч кустов. Таков же приблизительно объем посадок 1933 г. Всего же посажено на 1934 г. 717 тысяч деревьев и 3 миллиона кустарников. Вторая пятилетка парков и цветов представляется по Москве в следующем виде. Прежде всего пятилетний план предусматривает озеленение не только старого городского массива, а территории в пределах 25 километров. Начиная с 1933 г. по 1936 г. намечена постройка 8 новых парков с площадью в 435 га. Независимо от этого, создается четкая система зеленых насаждений столицы, в основу которой положены мощное зеленое кольцо вокруг всей Москвы площадью в 20 тысяч га и объединение зеленых насаждений центра города с его периферийными парками и загородными зелеными массивами посредством своеобразных зеленых коридоров. Таких зеленых коридоров будет не менее пяти.

Первый из них пройдет от Сокольников через Черкизово и Хапиловские пруды, по Яузе, к Центральному парку культуры и отдыха и отсюда в Кунцево. Вторая зеленая магистраль начинается на Неглинной улице и через Цветной бульвар, Самотеку идет к Екатерининскому парку, соединится с Петровским парком и с Останкином, затем через Лианозово пройдет к берегам Клязьмы. Третья зеленая магистраль, начинаясь от Александровского сада, пройдет к существующему Зоопарку, отсюда к зеленому пятну Красной Пресни у фабрики Трехгорной мануфактуры и далее в Кунцево и Рублево. Четвертая зеленая магистраль пройдет от Котельнической набережной вниз по Москва-реке. Наконец, пятая зеленая магистраль запроектирована от Таганской площади через Рогожское кладбище и Карачарово болото в Кусково. К концу 1937 г. внутри кольца «Б» должно быть 173 га зеленых насаждений вместо прежних 25 га. Кроме того, запроектировано широкое озеленение по третьему бульварному кольцу вокруг Камер-Коллежского Вала и по четвертому бульварному кольцу — по

Окружной железной дороге. Реализация запроектированных зеленых насаждений лишь в пределах второй пятилетки даст на каждого москвича около 15 кв. метров зеленой территории. При населении в 5 миллионов человек это составит 7.500 га зеленой территории, или 18,75 проц. запроектированной территории Москвы в 40.000 га. Для сравнения любопытно отметить, что до революции ежегодные посадки Москвы исчерпывались сотнями, в лучшем случае — несколькими тысячами деревьев. Однако дело заключается не только в объеме работ по озеленению Москвы.

Июньский пленум ЦК партии 1931 г. поставил перед руководящими организациями по реконструкции Москвы целый ряд задач в направлении создания определенной социалистической системы зеленых насаждений. Эта новая система зеленых насаждений заключается не только в том, что создается четкое сочетание всех отдельных бульваров, скверов и парков во взаимно связанный между собой целостный планировочный комплекс. Одновременно выдвинуты специальные задачи по озеленению промышленных территорий. Уже осуществлено озеленение завода «Шарикоподшипник», хлебозаводов и ряда других промпредприятий. Созданы специальные зеленые зоны между вредными промышленными предприятиями и прилегающими к ним жилыми массивами (например вокруг Химкомбината Пролетарского района и др.). Специальные мероприятия осуществляются в направлении береговой зоны Москва-реки в целях урегулирования разлива реки и уровня воды в течение летнего времени. Наконец планомерно озеленяются магистрали, идущие за пределами Москвы (например Можайское шоссе и др.), которые в связи с развитием автотранспорта раскрывают большие перспективы загородных путешествий и прогулок.

Отдельно следует остановиться на основных элементах этой системы зеленых насаждений Москвы, каковыми являются наши парки культуры и отдыха. В настоящее время Москва насчитывает шесть больших парков общегородского

значения (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, Сокольнический парк им. Бубнова, Измайловский парк им. Сталина, Останкинский, Краснопресненский и Фили-Кунцевский) и целый ряд парков районного и подрайонного значения (Введенский, завода «Клейтук», Калитниковский и др.). За исключением одного из них — Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, который, как известно, возник целиком в советские годы на бывшей территории свалки, все остальные парки связаны с использованием старых зеленых массивов Москвы. Тем не менее парки культуры и отдыха Москвы, как тип сооружения, являются учреждением совершенно новым, не имеющим прецедентов ни в одной другой стране. Основная отличительная черта наших московских парков культуры и отдыха, которые послужили образцами для всех остальных парков СССР, заключается в том, что они созданы целиком и полностью для широких масс трудящихся. Последнее сказывается в одинаковой степени как на содержании работы московских парков культуры и отдыха, так и на принципах их планировки и архитектуры.

В отношении содержания работы наиболее интересным является Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Наиболее содержательна и многообразна, естественно, работа парка летом. За пять лет существования Центрального парка культуры и отдыха его посетило 37 миллионов человек. Его ежедневная посещаемость достигает 120.000 человек. В дни отдыха посещаемость одного Центрального парка достигает 250.000 человек. 2.000 книг выдается в парке за день. 10.000 человек охватываются ежедневно техпропагандой. За два года в парке сдали различные нормы «ГТО» 207 тысяч человек, больше 13 миллионов человек занимались различными видами физкультуры («Парки культуры и отдыха», М., 1934 г., стр. 3). Уже одни эти грандиозные цифровые показатели говорят о совершенно исключительном культурном охвате самых широких масс трудящихся нашими московскими парками. А между тем эти цифры относятся

к одному лишь Центральному парку культуры и отдыха. Кроме него, в Москве имеются, как указывалось, еще пять больших парков, десятки садов, сотни рабочих клубов и т. д. Подобный исключительный успех московских парков у самых широких кругов трудящихся объясняется тем, что, в отличие от капиталистических парков, они создают самые благоприятные условия не только для пассивного отдыха, но и для самого разнообразного развития творческих способностей и для расширения кругозора его посетителей.

Трудно перечислить все разнообразие работы московских парков с посетителем. В области физкультуры парк охватывает целый ряд видов и различных ступеней работы — от самой элементарной физкультурзарядки до прыжков на лыжах с 40-метрового трамплина. В области политики — от популярной групповой беседы до грандиозных 20-тысячных митингов на площади Смычки с выступлением тт. Кагановича, Калинина, Енукидзе, Микояна и других выдающихся политических деятелей нашей эпохи. В области музыки — от импровизированной самодеятельной хоровой песни среди гуляющих до серьезнейших симфонических концертов под управлением крупнейших в мире дирижеров. В области науки — от примитивной викторины до изучения сложнейших машин под руководством квалифицированнейших специалистов. В области аттракциона — от простейшей сшибалочки до парашютных прыжков и т. п.

Все многообразные виды работы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького укладываются в работу шести основных секторов парка, каковыми являются: 1) отдых и физкультура, 2) театры, зрелища и развлечения, 3) массовая культурно-просветительная работа, 4) оборона СССР, 5) детский городок и 6) база Ленинских гор. Сектор отдыха и физкультуры строит свою работу на базе следующих учреждений: а) городки однодневного отдыха, б) база отдыха, тишины и покоя, в) массовки и экскурсии, г) площадки отдыха, д) отдых рабочей семьи, е) центральная физкультурная база и ж) водная

база. В городках однодневного отдыха к услугам отдыхающих рабочих солнечные и воздушные ванны, купанье и гребные лодки, тиры, читальни, души, гамаки, танцы, игры, концерты, выступления поэтов, экскурсии в городок науки и техники, лекции, беседы по самым разнообразным вопросам социалистического строительства, консультации врачей и т. п. База отдыха, тишины и покоя рассчитана на индивидуальный отдых в течение части дня. Специальная аллея гамаков базы насчитывает 200 гамаков. Кроме того, база отдыха, тишины и покоя имеет еще лужайку отдыха и свой самостоятельный физкультурный сектор, состоящий из нескольких теннисных кортов, волейбольных площадок, площадок для городков и для крокета. В состав водной базы входят: купальни, школа гребли, школа плавания, пристань гребных лодок и др.

Сектор театров, зрелищ и развлечений складывается из работы обычных театров, цирка и кино, специальной массовой работы в Зеленом театре, массовой работы по музыке и песне, аттракционов, тачцев и игр. Из них следует особо выделить работу Зеленого театра на площади Ударника (б. Смычки), который рассчитан на 20.000 мест для зрителей и на демонстрацию массовых зрелищ.

В сектор массовой культурно-политической работы входят специальный городок науки и техники, университет культуры, культбаза, дом интернационального воспитания, выставки, консультации по социально-бытовым вопросам, беседы, массовая работа с книгой и газетой, творческие консультации дома писателя и др.

В состав сектора обороны СССР включены: дом обороны, военно-морская станция, военизированный лагерь однодневного отдыха, конно-спортивный стадион, филиал аэроклуба, тир, питомник служебных собак и учебно-дрессировочная площадка, камера газоокуривания и др.

Работа детского сектора в специальном детском городке делится на самостоятельную работу с пионерами (с детьми младшего школьного возраста) и с ребятами дошкольного возраста. В распоряжении ребят — массовые игры и пляс-

ки, спортивные игры, катание на байдарках, специальные зрелища, детские аттракционы и т. п.

Вся эта сложная и разнообразная работа Центрального парка культуры и отдыха им. Горького укладывается на сравнительно небольшой территории в 196 га (не считая Воробьевых гор). Парк тянется по берегу Москва-реки на 3 километра. Несмотря на то, что значительную часть территории парка составляет бывшая территория Сельскохозяйственной выставки (за ней следуют б. Нескучный сад, б. сад Коммунальников и Воробьевы горы), которая, за отсутствием необходимых средств, пока еще мало реконструирована, уже на сегодня планировка и архитектура Центрального парка культуры и отдыха имеет много своеобразных моментов, вытекающих из социалистической природы нового парка. Последнее прежде всего относится к районированию Центрального парка. Правда, до сих пор для парка используется в основном старые выставочные помещения, оставшиеся от Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1923 г. Тем не менее это не исключает определенного принципа самостоятельного районирования его основных учреждений, которые становятся общими и при строительстве парков в других городах. В этом отношении прежде всего является характерным для социалистического парка создание сейчас же за входом в парк огромного партера, где размещаются все наиболее выдающиеся мероприятия парка (зрелища, аттракционы, музыкальные эстрады, физкультурные площадки и др.). Показательной является групповая планировка физкультурных площадок одного типа (волейбольных и др.), создающих атмосферу соревнования большого коллектива участников. Почти полностью расположение детского сектора у одной из ближайших к главным входам границы парка, распределение потоков посетителей по магистралям и т. п. Правда, все эти моменты районирования работы парка еще отнюдь нельзя считать окончательно сложившимися и решенными. В этом направлении проводится и предстоит еще в дальнейшем большая работа экспериментального

и исследовательского характера. Тем не менее основные черты нового социалистического парка выкристаллизовались не только со стороны его совершенно своеобразного содержания работы, но и в основных архитектурно-технических принципах его существующей планировки. Еще более яркие и показательны в этом отношении архитектурно-художественные моменты планировки Центрального парка культуры и отдыха. Последнее бросается в глаза еще при подходе к Центральному парку с улицы, где основные мотивы парка — цветы и зелень — остроумно вынесены за пределы ограждения парка, врываются в самую улицу, в толпу и тем самым как бы насильственно вовлекают в парк. Далеко не сложившейся следует считать схему архитектурной композиции Центрального парка, но основные ее элементы — партер и распределяющие основные потоки посетителей магистрали — решены довольно четко и выразительно. Правда, слишком прямолинейно вытянутые и магистрально трактованные основные аллеи парка не отличаются архитектурными перспективами. Раскрываясь постепенно, они не поражают прогуливающихся по ним художественными эффектами. Но и в этом направлении наблюдаются в последние годы существенные сдвиги. После установки статуй античной скульптуры Главная аллея благодаря их последовательному уменьшению в перспективе получила пространственную глубину. Обобщенная по своим формам, античная пластика много выигрывает на фоне яркого газона. В то же время и газон воспринимается ярче и активнее при сочетании его со скульптурой. Очень эффектны и занимательны своими равномерно распределенными и уходящими в глубину световыми точка-

ми две аллеи Ландышей, названные так по ландышеобразной форме нависающих над аллеями осветительных фонарей.

Удачно осуществлена в 1934 г. перепланировка идущего сейчас же за главными входами партера — площадь Пятилетки. Благодаря удачному использованию незначительного подъема территории партера к главным входам примыкающая к ним площадка рельефно выделена в виде просторной террасы (площадь Ленина), от которой по обе стороны идут спокойные, просторные лестницы к основной территории партера. Все пространство между лестницами заполнено яркими цветами с газонными интервалами. Благодаря подобному использованию рельефа, от любой точки партера открывается радостная перспектива на грандиозный цветник партера и на балюстраду верхней террасы, завершенную плоскими вазами. И обратно: с верхней террасы открывается динамическая живописная перспектива на потоки и группы людей, рассеянных на площадках и на дорожках партера. В 1934 г. в Центральном парке культуры и отдыха насчитывалось полтора миллиона цветов. Под газоны и цветники парк отвел в этом году 25 гектаров. Кроме того, цветами окаймляются отдельные аллеи и площадки, а также широкие лестницы, соединяющие верхнюю террасу с нижней частью партера и др. Размеры статьи не позволяют остановиться на остальных парках культуры и отдыха Москвы, из которых Краснопресненский парк с его бесчисленным количеством миниатюрных озер и прудов представляет собой своеобразный гидропарк. Измайловский примыкает к грандиозному Международному стадиону, Сокольнический выделяется большими обрамляющими его сосновыми лесами и т. д.

2. ЛЮДИ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

Мих. Россовский

(Отрывки из книги «Записки политотдельца», ч. II)

Сомнения

1

В самом центре Покровского, над озером, стоит высокая пятиглавая церковь. Она окружена широкой каменной оградой, а в ограде — столетние, чуть не вровень с куполами, липы, березы и сосны. Меж деревьев — погост. На самом почетном месте, как-раз против входа в церковь, — серого и розового мрамора памятники над могилами основателей церкви, купцов Жерядовых, Рогунковых, Батлашовых.

Купцы не зря потратились на храм божий. Громадные деньги выколачивали они из сапожников Покровского и окрестных деревень. Только в их лавки стекались сапоги и башмаки знаменитых на всю Россию сапожников.

Церковь была разрисована лучшими владимирскими богомазами. Войдешь в нее — сразу охватит трепет перед величием господним и лучшими его слугами — богобоязненными и щедрыми купцами, думавшими не только о животе, но и о душе покровцев...

Покровцы трепетали до революции. В революцию они разобрали барские усадьбы Жерядовых, Рогунковых и Батлашовых. Церковь не тронули, она продолжала стоять над озером, окруженная каменной оградой и деревьями. Только на белых стенах у водосточных труб появились рыжие пятна. Из года в год все меньше прихожан насчитывал покровский поп, а однажды он куда-то исчез, вслед за ним сбежал и дьякон. Закрылась церковь. Никто, кроме стариков и старух, не печалился, даже не думал о ней.

Когда в Покровском организовался колхоз, потребовались амбары. Собрались покровцы, обсудили, как быть, и постановили: использовать церковь под колхозный амбар. Направили свое решение в район — в Ельники. Там разрешили.

Покровские колхозники разбили громадину церкви на закрома, поставили в ней триеры, весы, все, что полагается. Сначала было удивительно: стоит алтарь со всеми причиндалами, святые смотрят со стен и потолков, а колхозники ссыпают, перелопачивают, взвешивают и очищают зерно. Никто не дотрагивался до церковной утвари. Посеребренные кадильницы и раки, ковровые дорожки и парчевые епитрахили — все было в полной сохранности. Даже лампы попрежнему недвижно висели перед резными золочеными рамами, в которых — за густой пылью — все труднее было различить святых...

Нынешней весной покровцы построили новые амбары и освободили церковь. Всю весну простояла она пустая, запечатая и никому ненужная.

Однажды начполитотдела Ордынов проходил мимо церкви: хорошее помещение, а пустоет... Дело было к вечеру, колхозники возвращались с поля через церковный двор. Остановились потолковать с начальником политотдела. Заговорили о полевых работах. Вот кончатся поставки государству, озимый сев. Остается поднять зябь и отрепать лен. А там зима... А зимой — большая массовая культурная работа. А какая это будет работа, если нет клуба. Разве в избе-читальне можно развернуться?

Колхозники согласились с Ордыновым: невозможно.

— А церковь пустоет...

Колхозники переглянулись: действительно, церковь пустоет. И будет пустоеть, пока не рухнет. А когда еще рухнет! Она до социализма доживет. Наступит социализм, а жерядовская и рогунковская церковь с погостом будет торчать посреди Покровского. Пропадает церковь.

А какой мог бы быть клуб!..

На следующий день общее собрание всех граждан села Покровского едино-

гласно постановило просить ельницкий райисполком разрешить им устроить в закрытой церкви клуб.

После собрания пошли среди стариков разговоры:

— Церковь закрывают...

— Да ведь она и была закрыта...

— То была на запоре, а сейчас испакостят...

Молодые посмеивались: не испакостят, а украсят.

Недовольны были старики... Но что поделаешь, когда их не во всем слушают, особенно, что касается бога...

Через два дня было получено разрешение, а еще через день в церкви застучали молотки, завизжали пилы. Из Ельников приехали маляры и электромонтеры, принялись перекрашивать и освещать будущий клуб. С погоста были убраны памятники. За каких-нибудь два часа перепахали всю площадь внутри церковной ограды. Ловкие комсомольцы проложили дорожки, поставили скамьи, — настоящий парк!



Поздно ночью 19 сентября статистик МТС дал сводку: по официальным данным, колхозы и единоличники Ильинской МТС полностью выполнили государственные поставки по всем культурам, кроме льна. Засеяна озимь, засыпаны страховые и семенные фонды.

К вечеру 20 сентября со всего района деятельности Покровской МТС прибыли ударники. Их встретили комсомольцы покровской колхозной ячейки, повели в бывшую церковь, из высоких окон которой лились желтые потоки света.

Церковь неузнаваема изнутри. Куда исчезли мрачные стены, лики святых, алтарь, вся купеческая позлащенность церкви? Да разве это церковь? Где это видана церковь со зрительным залом, фойе, комнатами игр, сияющими белозной потолками, голубоватыми стенами, сценой, ровными рядами скамеек, библиотекой, роялем и даже буфетом! И не удивительно, что после первого смущения (все-таки здесь была церковь!) люди чувствуют себя, как в

благоустроенном клубе. Пионервожатая, Паша Шпанова, и наш политотдельский секретарь, Игорь, поочередно усаживаются за рояль.

Гремят польки, вальсы и русские плясовые. Делегаты образовали большой круг, по которому несутся сначала робко, потом все смелее парни с девушками. Руководит танцами помощник начальника политотдела по комсомолу Степа Юрченко.

Танцы прекращаются к великому неудовольствию молодежи, когда Ордынцов открывает торжественное заседание. Доклад делает Ордынцов.

— Колхозы и единоличники района Покровской машинно-тракторной станции закончили уборку всех культур. Надо сказать, что мы понесли немалые потери. А все потому, что растерялись во время дождей. А остатки кулачья воспользовались этим, попытались нам повредить. Вместо того, чтобы использовать каждый подходящий для уборки час, мы полностью прекратили уборку на целых десять дней. Кроме того, мы часто плохо организовывали работу, невнимательно следили за колхозным урожаем. Мы не всегда выполняли указания товарища Сталина — беречь колхозное добро. Ошибки нынешнего года должны послужить нам хорошим уроком.

... И все же мы неплохо закончили уборку. Мы выполнили свои обязательства перед государством — закончены поставки зерновых и картофеля. Остается обработать, сдать льноволокно, что мы, надеюсь, проведем по-боевому. Мы засыпали страховые и семенные фонды, засеяли — тоже с некоторым опозданием — озимь, заканчиваем подъемку язи. Сегодня мы собрались по случаю окончания государственных поставок и начала распределения колхозных доходов. Все, что осталось после выполнения поставок и создания фондов, идет колхозникам. По предварительным подсчетам, на трудодень в среднем придется три килограмма ржи. Это значит, что если, к примеру, семья имеет четверта трудодней, то она получит в свое полное распоряжение около восьмидесяти пудов одной ржи.

— Каждый получит восемьдесят, — раздается чей-то голос, и зал отвечает ему шумом и смехом.

— Как же! И ударник, и лодырь!

— И ты, и твоя баба — по восьмидесяти!

Ордынов улыбается:

— Нет, не каждый. Не в каждом колхозе придется по три кило на день, не каждый колхозник хорошо работал.

Из рядов поднимается весь обросший, грязно-седой старик, мой старый знакомый, Иван Васильевич Фомин из Макова. Он прерывает Ордынова.

— Подожди, товарищ, дай спросить.

Иван Васильевич пробирается через весь притихший зал. У него в руках трудячки.

— А если у меня пришлось на семью четыреста пятьдесят семь трудодней, сколько я получу?

— Ты из какого колхоза?

— Из Маковского.

— А, знаю. Там председателем Шаталов, Федор Иванович, хороший председатель. Ты здесь, Федор Иванович?

— Здесь!

— Сколько у тебя придется ржи на трудодень?

Шаталов поднимается со своего места:

— Не меньше трех килограммов.

— Будем считать три. Сейчас... — Ордынов подсчитывает. — Ты, товарищ Фомин, получишь восемьдесят пять пудов и два с половиною фунта.

— Восемьдесят пять пудов и два с половиною фунта? — сдавленным шопотом повторяет Фомин и растерянно оглядывается.

— И все твое собственное, никому ни зерна не должен, — добавляет Ордынов.

— Быть этого не может! — не верит Фомин.

— Будет! — твердо говорит Шаталов, и он подходит к Фомину. — Я тебе перед всем народом говорю: ты честно работал, Иван Васильевич, и ты получишь в полное свое распоряжение столько хлеба, сколько сказал наш товарищ начальник политотдела, Николай Алексеич. А может, еще больше.

— Федор Иванович, завтра же выдай ему по трудодням.

— Выдам!

— Мы проверим, — улыбается Ордынов, — не обманешь ли его в весе. Смотри, нехватит — придется тебе из своего добавлять.

Зал грохочет смехом и аплодисментами.

Пока шло заседание, в фойе были расставлены столы. Холодные закуски, чай, конфеты, печенье. Делегаты выходят из зала, недоуменно посматривают на расставленное угощение.

— Садитесь, товарищи, — приглашает Ордынов. — Выпьем чайку.

До поздней ночи длится веселье в бывшей церкви бывших купцов Жерядовых, Рогунковых и Балташовых...

Утро приходит веселое, бойкое. Со всем летнее. Будто и природа знает, что Покровская МТС празднует победу, будто и она радуется вместе с колхозниками. А чтобы еще веселее было политотдельцам, приходит телеграмма: «Выслана легковая машина».

После полудня приезжает зеленый верткий «форд». Все Покровское выходит посмотреть, как начальник политотдела обновляет машину. Ну, и летит она! Никакая лошадь, даже птица, не угонится за нею.

— Вот когда наступает настоящая жизнь, — улыбается Ордынов, — за день можно побывать во всех колхозах!..

Мы все отправляемся в колхозы. Ордынов наказывает: проследить, чтобы ударникам в первую очередь выдавали по трудодням. Да не просто, а с почетом. И остальным колхозникам выдать все, что причитается.

— И ты едешь? — спрашивает Степа Юрченко.

— А то как же!

— На машине?

— На машине!

— Хорошо быть начполитом!

— Неплохо, — улыбается Ордынов, — садись, подвезу...

2

Правление Маковского колхоза подсчитало все до зерна, и получилось, что на трудодень приходится:

ржи — три кило восемьдесят граммов,

овса — два кило,

льносемян — триста пятьдесят граммов,

гороха — двести граммов,

картофеля — тринадцать с половиною кило,

сена — один пуд десять фунтов.

Начинается распределение доходов.

Первыми получают Иван Васильевич и Елена Андреевна Фомины. Им полагается получить:

девятью один пуд двенадцать с половиною фунтов ржи,

без пятнадцати фунтов шестьдесят

пудов овса,

десять пудов семнадцать фунтов льносемян,

шесть пудов гороха,

четыреста два пуда картофеля,

пятьсот пятьдесят восемь пудов сена.

Когда председатель колхоза, Шаталов, объявляет, сколько им причитается, старики испуганно переглядываются. Не может этого быть!

— Мне... Столько? — тихо говорит Иван Васильевич...

— Девятью один пуд ржи? — не верит Елена Андреевна.

— И еще двенадцать с половиною фунтов, — поправляет Шаталов.

— Четыреста пудов картошки? — дрожащим голосом спрашивает Иван Васильевич.

— Четыреста два, — поправляю я.

— И еще восемнадцать и три четверти фунта, — уточняет счетовод.

— И все, как я сказал, получишь, — говорит Шаталов. — Насыпай, товарищи, отвезем Фоминым их долю.

— Что ты, что ты, батюшка, мы сами! — пугается Елена Андреевна.

Но уже несут мешки, взвешивают тару, насыпают крепкую, звонкую на зуб, рожь, скрипящий овес, выскальзывающее из рук льносемя, полновесный горох.

Старики Фомины растерянно-счастливы. Они таскают мешки, тихо переругиваются между собою:

— Не сюда, в этот — горох!

— Горох в другой пойдет, сюда семя!

— Что ты знаешь? — вырывает мешок Елена Андреевна. — Это тебе не пару сделать...

Иван Васильевич покорно умолкает. Действительно, он лучше разбирается в том, как пошить первосортный сапог, чем в сельском хозяйстве. Но через минуту он забывает о своей сельскохозяйственной малоопытности и снова вмешивается:

— Хватит насыпать-то, не завяжешь.

Елена Андреевна молча, с глубоким презрением смотрит на него: опять лезет не в свое дело!.. И сурово говорит замешкавшемуся кладовщику:

— Сыпь, говорю, не слушай старого...

Колхозная телега, запряженная в лучшую пару коней, загружается туго набитыми мешками. Уже сложены десять мешков, а это только немногим больше половины ржи... Не меньше четырех ходок потребуется, чтобы свезти заработанное семьей Фоминых, — это не считая картофеля и сена...

— Мы в другой раз...

— Нет, сегодня, все сегодня поучайте.

— У меня в подпол не войдет картошка-то...

— Не войдет, — другое дело, можем взять на хранение, — соглашается Шаталов.

— А сено куда я дену? — недоумевает Елена Андреевна.

— Сено, если хочешь, можешь в стогах оставить. Твоя доля за тобою обеспечена.

— Родимые мои, будьте милостивы, сохраните!

— Сохраним, Елена Андреевна, до последней сенинки сохраним. Когда захочешь, получишь.

— И продать смогу?

— Сможешь...

Амбар Ивана Васильевича Фомина полон, как никогда за всю его жизнь.

Подпол до края засыпан крупной белой картошкой, сеновал забит доотказу. И на общественном картофелехранилище имеет он еще полтораста пудов картофеля, в стогах на лугу — до двухсот пудов сена.

Сажу у него в гостях. Лицо Ивана Васильевича, как и всегда, закопчено, но сегодня оно светится растерянной улыбкой. Елена Андреевна хлопочет у печи — печет пухлые блины, щедро смазывая их маслом. Вся семья в сборе. Пьем чай.

Напоминаю Ивану Васильевичу наши прежние разговоры. Помнит ли Иван Васильевич, как он боялся, что получит ржи меньше, чем если бы он был единоличником, помнит ли он свои сомнения в трудодне? Что сейчас скажет Иван Васильевич, когда его амбар и подпол, и сеновал забиты заработанными продуктами и когда у него никаких забот о налогах?

Иван Васильевич качает головой. Был он неправ, темный был, ничего не понимал.

— Думал я, Андрей Никитич, что врешь... Много нам говорили. Наговорят с три короба и уедут, нищи ветра в поле... А ты раз приехал и другой раз завернул к нам, все время заглядывал. Глаз с нас не спускаешь. Видно — крепко сидит в тебе забота о нас... И с чего это, Андрей Никитич, почему такую заботу имеешь, что мы тебе?..

— Партия, товарищ Сталин о тебе и всех колхозниках думает, и нас послали — посмотреть да помочь тебе притти к хорошей жизни.

— А почему бы товарищу Сталину так печься обо мне-то, об нас обо всех?.. — спрашивает Иван Васильевич и тут же отвечает: — Мы как бы малые дети, а он как бы наш общий отец... Добрый он, видно... А забот-то, забот сколько!.. Шутка ли, за столькими за нами присмотреть! Хлопот не оберешься...

Старик смотрит на портрет Сталина, висящий в ряду множества портретов вождей. Задумывается. Потом продолжает:

— Глаз у него зоркий, у товарища Сталина-то. Суровый как бы глаз, а с

искринкой, будто усмешается... Ласка в глазе-то...

Вспоминаю слова Ордынова о большевистской ласковости.

— Верно говоришь, Иван Васильевич, большая в нем ласка.

Рассказываю о Сталине, о его руководстве партией и страной. Рассказываю и досаду на наших писателей, которые не могут дать такого рассказа о Сталине, из которого Иван Васильевич и Елена Андреевна, и вся их семья, мои внимательные и чуткие слушатели, узнали бы о величии человека, возглавляющего преобразование мира.

— Да, — задумчиво говорит Елена Андреевна, — большого сердца человек...

До глубокой ночи затягивается наша беседа. Только когда запели петухи, мы поднимаемся из-за стола. Широко крестится Елена Андреевна, за нею — Иван Васильевич. Молодые не крестятся.

С удивлением смотрю на Елену Андреевну. Помню, как весною она говорила, что, пока дети живут при ней, она не допустит, чтоб они, поев, не перекрестили лба. Она, видимо, улавливает удивление, а то и насмешку в моем взгляде.

— Так-то оно пошло, Андрей Никитич, — говорит она осуждающе-сурово, — совсем нехристями стали... Как взошли в колхоз, как начали трудодни загребать, господа забыли.

— Оказывается, что и без бога можно жить.

— Что ты с ними сделаешь! — нехотя соглашается она и уходит стлать мне постель.

Иван Васильевич с сыновьями проверяют запоры на амбаре. Он советуется со мною: не следует ли посторожить добро?

— Как знаешь. Если у вас нет сторожа в деревне, то конечно...

В Макове имеются сторожа. Они обходят деревню, их колотушка время от времени раздается в ночной тишине, но Иван Васильевич после недолгого колебания все же решает установить дежурство. Сейчас он походит по двору, потом старший сын, потом младший, а

там и утро настанет. Так будет спокойнее.

— Надоест, Иван Васильевич! — улыбаюсь я.

— Не надоест! — уверенно отвечает он. — Своего стеречь не надоест. А завтра надо будет сказать Федору Ивановичу, чтоб сторожей проверили...

Утром у меня новый разговор с Иваном Васильевичем. Он встревожен, сидит хмурый, задумчивый. Долго не решается со мною заговорить. Наконец подсаживается ко мне:

— Вот получил я много добра. Ежели жить с умом, так до нового урожая хватит. Но зима-то, Андрей Никитич, большая?

— Верно, большая.

— А что, ежели за зиму власть-то надумает?..

— Что надумает?

Видно, мой Иван Васильевич уже жалеет, что затеял со мною разговор, но я не отступаю, настаиваю, чтобы он сказал, что может надумать власть.

— Ну, к примеру, нехватит у государства продуктов. Еще понадобится... Тогда не заберут у колхозника?

Пристально смотрю на старика. Он отводит глаза.

— Скажи, Иван Васильевич, веришь ты мне?

— Что ты, Андрей Никитич, — пугается он, — тебе да не верить!

— Тогда скажи — кто тебя натолкнул на эти мысли?

— Никто, Андрей Никитич, вот тебе крест — никто. У самого такая работа явилась.

Верю Ивану Васильевичу, никто не подсказал ему мыслей о коварстве большевиков.

Он сам еще в достаточной степени во власти старого, чтобы сомневаться. Вот оно — сталинское: быть колхозником еще не значит быть социалистом!.. Боязнь, что хлеб все же отберут, может привести к разбазариванию собственного хлеба. Иван Васильевич и сотни, тысячи таких же, как он, в которых еще

живет страшная сила частнособственного, могут продать, пропить хлеб, если они не уверены, что он безраздельно их.

И я говорю Фомину:

— Помнишь, Иван Васильевич, я говорил тебе, что по трудодням ты заработаешь больше, чем единоличник?

— Помню.

— Прав я оказался?

— Правый...

— Помнишь, я говорил, что тебе выдают все до зерна?

— Помню, Андрей Никитич.

— Выдали тебе все, что ты заработал?

— Все выдали, до фунта.

— Тогда верь мне и сейчас: ничего у тебя не заберут.

Иван Васильевич смотрит на меня с робкой надеждой.

— Правду говоришь?

— Вот тебе моя рука, что не вру.

Старик обеими руками трясет мою руку. Видно, очень ему хочется мне верить, но внутри что-то скребет. Мучает его, не дает ему покоя черная мужичья тоска. Крепко сидит в нем из рода в род передаваемая боязнь власти. Старое вцепилось в его сердце и не хочет опустить.

— Не отымут, Андрей Никитич?

— Не отымут.

— Верю тебе... Не обмани...

— Не обману. Излишек сможешь продать, кооператив у тебя купит, даст взамен другие нужные тебе товары. А хочешь — свези на колхозный базар. Твой хлеб, твоя картошка и сено, что хочешь, то и делай с ними. Но все, что тебе нужно для пропитания, сохрани. И помни, если неохранишь, разбазаришь, пропьешь, если весною нехватит тебе хлеба, — пеняй на себя. Ни колхоз, ни государство тебе не помогут.

— Сохраню, Андрей Никитич, ей-богу, сохраню. Верю тебе.

— Большевикской партии верь, товарищу Сталину верь.

— Верю, Андрей Никитич! — облегченно говорит старик, и его закопченное лицо просветляется.

Он провожает меня до ворот. На прощанье говорит:

— Спасибо, Андрей Никитич!.. Душу мою ты согрел...

И просит почаще приходить.

Опустели поля. Гладко заборонена озимь, местами уже прорвалась нежно-зелеными стрелками. Пластами горбятся зябь. Кое-где долеживает лен на стлеще, а больше стоит в конусах. На лугах аккуратно сложенные стога, и в каждом торчит шест.

Тронут краснотой лес. Тянет от него острым запахом осени.

Вот и приходит конец году. А там другой. Опять сначала... Глупости! Никак не «опять». Совсем «ше сначала». Разве в будущем году Иван Васильевич Фомин будет такой же, как в нынешнем? Он проживет зиму, увидит, что советская власть и партия не обманывают. Он изживет многое, многое из того, чем еще нынче отягчен. По-новому начнет мыслить, чувствовать. Неправда, что каждый год одно и то же. Конечно, ежегодно бывает весна, лето, осень и зима. Но из года в год меняется человек. Он становится иным, более мудрым и красивым. Новым становится человек... И новой, прекрасной и свободной становится земля.

Иду лесами, полями, и мысли мои где-то очень далеко. Мечтаю о прекрасном завтрашнем человеке, который уже чувствуется в сегодняшнем, отягченном старыми навыками.

Настасья

1

Всю жизнь бедовала Настасья... Батрачила у покровских — попа, дьякона, богатея Жерядова. Работала за троих. Ее любили хозяева, но от этого ей не жилось легче. «Работа дураков любит» — говаривали раньше. Вот и считали Настасью дурой.

— На кого трудишься, для кого здоровье кладешь?

Настасья знала, что не для себя, но работала. Люто ненавидела попов и богатых, хуже скотов считала патлатых, не верила ни одному их слову, потому что

видела их нутро. Но работала. Такова уж у Настасьи порода...

Когда ей исполнилось двадцать лет, — а было это в тысяча девятьсот двенадцатом году, — вышла Настасья замуж. Муж был хороший, но озорной. Любил вино. За вином забывал все — и жену, и малую дочь, которая через год после женитьбы родилась. Однажды зимою поехал муж в Ельники и не вернулся. Через несколько дней нашли его замерзшим где-то в стороне от дороги, в кустарниках. Видно, пьяный свалился и замерз...

Стала жизнь Настасьи еще тяжелее. Раньше хоть сама бедовала, а сейчас с малым ребенком. Кое-как тянула горькие дни.

Когда пришла революция, вспомнила Настасья все перенесенные обиды. Закипело сердце, почувствовала злость к попам и кулакам, которым она отдавала все свои силы и которые оплачивали ей жалкими, нищенскими грошами. Стала она самой большой активисткой в Покровском. Выступала на сходах, открыто, сурово, никого не щадя. Рисквая была баба! Не раз на нее замахивались колом, а костили на собраниях — без счету. А она ничего, все по-прежнему. И даже, когда однажды во время схода, на котором конечно была Настасья, сгорела подожженная кулаками ее изба, даже после этого не угомонилась она. Дали ей комнатушку в школе, за это она должна была убирать классы, топить печи. Настасья убирала, топила, продолжая вместе с тем работать в людях и не пропуская ни одного схода.

И дочку свою, Маруську, не забывала. Та, как подросла, все с учительскими книжками возилась, а лет с шести уже и буквы разбирала. Настасья с умлением смотрела на свою Маруську и мечтала сделать ее умной и грамотной. Сама еле-еле расписывается, но дочь будет учительшей. Так твердо решила Настасья. Но хоть и жили они в школе, а больше двух зим Маруся не могла учиться: жизнь была тяжелая, одной не прокормить двоих. Когда девочке стукнуло девять лет, отдала ее мать в няньки.

В тысяча девятьсот двадцать девятом году Настасья и еще два бедняка организовали колхоз. Потом к ним присоединились еще несколько дворов. Медленно околочивалось колхозное хозяйство, от кулачья отбивались, помощи искали и не всегда находили. Все же стали жить куда лучше, чем раньше. И Маруся перестала батрачить, пошла работать в колхоз.

Однажды Маруся подседа к матери, видно, хотела о чем-то спросить, но не решалась. Наконец осмелилась:

— Мама, мне можно пойти в комсомол?

Настасья усмехнулась про себя. Ей и удивительно было, как это про такое спрашивают, и радостно: уважает мать, если без нее не идет...

— Почему же, дочка, если хочешь, пойдешь.

Настасья видела, как быстро растет, как все серьезнее становится ее Маруся, и радовалась...

Маруся ходила на какие-то свои собрания, читала книжки, ездила в Ельники. Два раза уезжала надолго — на полтора и два месяца: курсы проходила. После курсов назначили ее председателем рабочкома в соседний совхоз. Приходит, бывало, Маруся домой, разбирает бумаги. Туго даются ей цифры. Заплачет... Настасья смотрит-смотрит, как мучается ее Маруся, станет ей жалко дочку, и тоже заплачет. Сидят вдвоем, заливаются...

Настасья решила, что так больше продолжаться не может — совсем измучается девчонка. Она пошла к секретарю комсомольской ячейки. Так, мол, и так, не обязательно молодых комсомольцев посылать на ответственную работу, учиться им надо.

Послали Марусю в ельницкую совпартшколу. Год и восемь месяцев училась Маруся, лучше и упорнее всех. Настасья приезжала в Ельники по колхозным делам, заезжала конечно к Марусе. Видела: все девушки кто в кино или в театр, кто с ребятами уходит, а Маруся все читает или пишет, до двух-трех часов ночи работает. Когда подруги звали ее в театр, она отвечала:

— Я же не стою на вашей дороге, идите, а мне не мешайте.

И не случайно из трехсот пятидесяти человек, окончивших ельницкую совпартшколу, Маруся была в числе восьми, окончивших лучше всех. И не зря послали ее не обратно в Покровское, а в Москву. Московский комитет комсомола направил ее в бывшую Тульскую губернию, в дальний район. Маруся Назарова стала секретарем райкома ВЛКСМ.

Настасья больше всего гордилась своей Марусей. Письма, которые получала от дочери, она хоть с трудом, но разбирала сама. Все же просила учительницу и секретаря комсомольской ячейки и еще кого-нибудь прочитать вслух. И не потому, что сама не вникала в их смысл, не потому даже, что хотела, чтоб другие знали, какая у нее дочь (хотя и этого было немножко), главное — когда ей вслух читали письмо, она закрывала глаза, и ей казалось, что сама Маруся сидит тут рядом, говорит матери ласковые и умные слова... Маруся звала мать к себе, Настасья хотела съездить к дочери, но все не находила времени: то колхоз сеял, и ее, настасьяина, бригада была в прорыве, то уборки. Много дел у Настасьи, никак не вырвется. Она твердо решила: кончится трепка льна, она обязательно поедет. Надо же посмотреть, как живет ее единственная дочь, так неожиданно ставшая взрослой да еще ответственной работницей!

Шла копка картофеля. Бригада, в которой лучшей ударницей была Настасья, боролась за первое место в Покровском колхозе. Однажды Настасья только вернулась с работы, как пришел почтальон.

— Тебе телеграмма.

Что-то стукнуло в голову. Замерло сердце. Чуть не упала. Первая телеграмма за всю жизнь! Что-то плохое... С Марусей... Настасья не могла шевельнуть пальцем. Еле вымолвила:

— Открой-ка... Что написано?..

Почтальон, который знал содержание телеграммы еще на почте, неохотно распечатал ее, прочитал:

«Маруся опасно больна. Приезжайте».

Настасья нашла Марусю в районной больнице. Старший врач разрешил матери ухаживать за дочерью, которая вот уже десятый день в тяжелом забытии. Она металась в жару и бредила. Все о работе.

— Иван Иванович, — кричала она, — что ж ты не посылаешь людей в деревню? Прорыв ведь, срывают уборку...

— Марусенька, — плакала Настасья, — это я, не узнаешь?

— Мама! — дошло до воспаленного сознания Маруси.

— Я, дочка.

Но Маруся вновь забылась. Лихорадочно подсчитывала процент поставок государству, уборки, озимого сева. Волновалась...

— Мама! Дай мне пальто, мне надо ехать...

— Куда поедешь, дочка, у тебя жар.

— Мне надо, надо!. Ты хочешь, чтобы у меня сорвалась работа, чтобы комсомол отставал?

— Сейчас, дочка, сейчас, принесу пальто.

Настасья вышла за дверь. Стала в коридоре. Слезы текли ручьями. Что-то будет с Марусей?

Через минуту вернулась в палату. Маруся уже забыла о поездке в район. Металась в жару.

На девятый день после приезда Настасья Марусю неожиданно спокойно спросила:

— Мама, какое сегодня число?

— Сейчас, дочка, узнаю, — обрадовалась Настасья сознательному вопросу дочери.

Она вышла в коридор, поделилась радостью с фельдшерницей: дочка-то пришла в себя! Вернулась в палату, где ее с нетерпением поджидала Маруся.

— Ну, мама!

— Двадцать пятое, дочка.

Маруся заторопилась:

— Мама, дай пальто, мне надо идти.

— Куда, Марусенька, пойдешь? Ты еще больная, полежи.

— Сегодня приезжает Лукьянов, он будет проверять организацию. Что ска-

жут ребята без меня? Они не знают всей работы.

— Ничего, дочка, товарищу Лукьянову скажут, что ты больна. Лежи, скорее выздоровеешь.

Маруся забылась. И больше не приходила в себя. К вечеру умерла.

В тот же день действительно приехал секретарь московского комитета ВЛКСМ Лукьянов.

Весть о смерти Маруси Назаровой облетела район. Все комсомольцы пришли на похороны своего секретаря. Были на похоронах и Лукьянов, и Иван Иванович, председатель райисполкома, о котором в бреду вспоминала Маруся.

Красные с черным флаги... Торжественная, за сердце хватающая музыка... Речи... Говорили и плакали... Говорил и Лукьянов. Он не плакал, только дрожал голос:

— Если бы Маруся Назарова видела, что над ее могилой плачут комсомольцы, она бы рассердилась.

Настасья не комсомолка. Она — мать. Ей можно плакать, даже тяжело рыдать над могилой своей гордости, своей славы, своего будущего — своей Маруси. И никто за это ее не осудит. Даже товарищ Лукьянов. Он подошел к ней и тихо сказал:

— Мы, Настасья Ивановна, будем помнить твою Марусю. Если можешь, успокойся...

Настасья вернулась в Покровское. Она уже не премела на собраниях, даже перестала на них ходить. Зачем? Чтобы только сидеть? Так она не может. Она должна участвовать в обсуждении вопросов, должна вести массовую работу среди колхозниц, разъяснять, поднимать активность. Иначе она не понимала своего участия в общественной жизни. Но вести массовую работу она больше не в силах. Так-таки не в силах: Маруся не выходит из памяти. Душили слезы.

— Ой, Маруся, ты меня должна была провожать в могилу, а не я тебя. Оставила ты меня одну, безпризорную...

Шли дни серые, горькие, полные воспоминаний о Марусе. Настасья попрежнему много работала в поле, она гунне,

куда только посылали. Но не было прежнего, — оборвалась радость в Настасье. Молчала. Думала. Часто-часто вынимала из сундука карточку Маруси и газету, в которой большими буквами в черной рамке было написано, как горюет районный комсомол по случаю смерти своего секретаря.

Иногда Настасья заговаривает. Об одном может говорить Настасья: как умирала Маруся, как ее коронил районный комсомол...

2

В Покровском колхозе кончились уборка и поставки государству. Началась трепка льна. Распределяются доходы. Настасья идет получать по трудодням. Она подходит к полным закромам. Машинально щупает рожь — хороша рожь. И льносемя хорошее. Овес... Настасья набирает горсть овса. Что-то дрогнуло внутри: не нравится ей овес — как будто сыроват. Настасья запускает руку поглубже: тепло! Она лезет в закром, пробирается на самую его середину.

— Большов! — кричит она. — Лезь сюда!

— Чего? — равнодушно спрашивает завхоз.

— Овес слеживается! Сопреет овес! Большов не торопится. Он спокоен. Лицо его распухло от пьянства.

— А мне что? Я сдаю хозяйство, меня сняли.

Настасья вылезает из закрома. Она вся дрожит от злости.

— Поздно снимают тебя, сукина сына.

— Ты, ударница — легкая задница, потише...

Настасья идет от закрома к закрому. Видит: горох весь посерел, уже слежался. Она спешит в правление колхоза. Там председатель Чулков и все бригадиры. Она набрасывается на них. Пропадает колхозный труд... Надо немедленно раздать по трудодням весь горох, колхозники как-нибудь используют его. Немедленно раздать по трудодням овес, а оставшийся перелопатить, каждый день перелопачивать. Надо спасти овес. Большов — вредитель. Надо посмотреть сено и картофель, не гниют

ли они... За чем смотрит правление, что делают бригадиры?

— Поля! — кричит Настасья своей бригадирше. — Затем мы работали, чтобы сплотивить горох и овес? Так-то мы станем зажиточными?

Чулков и бригадиры идут с Настасьей в амбар, вместе осматривают закрома, убеждаются в настасьиной правоте. Чулков тут же отстраняет Большова, наряжает людей — перелопачивать овес. Дает распоряжение — раздать по трудодням весь горох и причитающийся овес.

— Спасибо, Настасья Ивановна, — говорит Чулков. — Ты остаешься лучшей ударницей нашего Покровского колхоза.

— А ты-то сам не мог уследить? — сурово отвечает Настасья. — Ты — председатель, партийный ты... А партийные и комсомольцы должны все видеть...

Настасья не может заснуть. Ворочается с бока на бок, кряхтит. В голове тесятся мысли. Никогда столько не думала она, никогда так трудно не думалось, как сейчас.

Вот умерла Маруся. Ей казалось, что со смертью дочери кончится ее собственная жизнь: кому она нужна, и зачем ей все? Стоит ли жить, когда все равно никакой радости больше не будет и быть не может. Для чего ей нужно ударно работать, что ей нужно одной на целом свете? А сегодня она опять раскричалась на Чулкова, Полю, Большова... Раскричалась, засуетилась и даже забыла Марусю на это время. Вылетела из памяти Маруся! И как это она могла! Что бы сказала Маруся, если бы могла видеть, как ее мать снова попрежнему забегала? Осудила бы Маруся?.. Настасья садится на постель, смотрит широко открытыми глазами в темноту. Осудила бы?.. А может, нет? Может, была бы рада? Ведь сама Маруся до последнего вздоха думала о своем комсомоле, о заготовках и озимом посеве. А разве она не любила свою мать? Еще как любила! Какие ласковые письма пи-

сала, как просила приехать... А сама Настасья, разве она не любила Марусю раньше? Больше жизни любила. А как работала! Она ведь не пропускала ни одного собрания, никому не давала спуска, если видела, что кто плохо работает... Она ведь не только о себе, а обо всем колхозе думала, даже больше о колхозе, чем о себе. И Маруся о себе меньше думала, чем о комсомоле... То Маруся, молодая, а то она, старая уже... Что же, она хорошо поступила, что выпустила из памяти Марусю и загорелась колхозными делами? Что бы сказала Маруся?..

Она бы порадовалась на мать! Настасья уверена в этом. Ей радостно и больно. Радостно, что как бы выполняет волю дочери. Больно, что она еще может жить и работать, когда нет ее Марусеньки. Та в земле, а она живет, работает, радуется, глупая, чему-то...

Настасья тихо плачет. Поднимается, зажигает коптящую лампу, достает марусину фотографию и газету с объявлением о неожиданной смерти комсомольского секретаря Маруси Назаровой. Разглаживает газету. Читает сотни раз читанное извещение. Слезы застилают глаза.



Настасья приходит в амбар. Большов сидит, ждет, когда придет комиссия по приемке. Неподвижно уставился на Настасью.

— Что смотришь, не узнаешь?

Большов еще с минуту молчит, потом медленно спрашивает:

— И чего ты всюду суешься? Чулков — председатель, и тот меньше о колхозе думает.

— У него дел много, оттого всего не примечает.

— А у тебя только и делов, что чужие заботы?

— А ты и о своих делах не заботишься.

Большов качает головой: он заботится, только неграмотный он.

— А я грамотная?

— Попробовала бы на мое место, — тоже не управилась бы.

— Я бы и не взялась.

— А меня посадили.

Настасья не согласна. Раз посадили, значит, надо работать на совесть. А Большов работает без совести. Как будто не свое все это, а чужое... Разве Большов сохраняет свое так же, как колхозное? Ведь нет, свое у него, небось, сухое, прочищенное, чтобы зернышко не пропало. А почему об общественном он не думает? Потому что не свое? А если колхозное сгниет и завтра нехватит на посев, откуда колхоз возьмет? У колхозников, негде иначе. Или купит на колхозные деньги, что одно и то же. Что же получается — что Большов губит не чужое, а свое?

Завхоз пялит на Настасью удивленные глаза.

— Мое, говоришь? — он хрипло смеется. — Кабы мое, был бы я тогда первейший помещик, а не как бы сторож при чужом добре.

Настасья даже руками разводит:

— Это тебе чужое?

— Чужое. А меня заставляют отвечать. Не хочу!

Настасья хочет разъяснить, что он неправильно рассуждает, но не находит убедительных, ясных слов.

— Но ты хозяин, Никита!

— Какой там хозяин! — усмехается Большов.

— Самый хозяин и есть, — горячится Настасья. — Хозяин над всем этим добром.

Нет, Большов не хозяин и не хочет им быть. Он хочет быть простым колхозником. Пусть другие станут на его место. Другие не лучше его будут. И они попортят немало зерна. Что ж, попортят, так попортят. Настасья конечно права, от этого все — и он сам — будут страдать, но что поделаешь? На свою долю он готов пострадать.

Настасья с сожалением смотрит на Большова. Эх, если бы Маруся была жива да приехала сюда, она бы живо растолковала ему, что значит колхоз...



Но не только Большов равнодушен к колхозному добру. Настасья с удивлением и горечью видит, что даже Чулков

как бы охладел к колхозу. Раньше — помнит она — Павел Иванович много горчился, бегал. Часто — зря. Но видно было, что человек страдает за общее, хочет, чтобы все было лучше, но не всегда знает, как это сделать. А сейчас стал он тише, спокойнее, рассудительнее. Обходительный стал человек и вежливый такой. Раньше этого с ним не бывало.

Не нравится Настасье эта обходительность, какая-то она не нутряная. И что это с ним случилось?

Настасья делится своими сомнениями с Татьяной Вершиновой и Полей Тумановой. Те соглашаются: сильно изменился Чулков.

Они советуются, как быть, зовут Рогачева: ведь тот секретарь ячейки, он должен сказать свое слово.

Рогачев обеспокоен: он ничего не замечал. Как же это он проморгал? Ладно, он сегодня же соберет партийное собрание, обсудит вопрос о Чулкове.

Партийное собрание — это хорошо. Настасья знает, что от собраний, да особенно партийных, бывает толк. Но как могло случиться, что партийное собрание до сего дня не подумало о Большове, об овсе и горохе? Маруся — та в бреду даже помнила об общественных делах. А тут здоровые люди, а хоть бы что... Настасье обидно за партийную и комсомольскую ячейку, она не может им простить забвения общих интересов. Она приходит в политотдел к Ордынову, рассказывает о том, как Большов испортил овес, сгноил, можно сказать, горох, а Чулков ничего не замечал, а ячейка даже пальцем не шевельнула...

— А ты знаешь, как должна работать ячейка? — спрашивает Ордынов.

— Я-то знаю!

И она рассказывает начполиту всю свою жизнь, все свое горе. Она зовет его к себе, чтобы показать марусину фотографию и газеты с извещением о смерти секретаря районного комсомола товарища Маруси Назаровой. Рассказывает также о сомнениях, которые одолели ее со вчерашнего дня, когда вдруг снова ожила в ней активная колхозница.

Она рассказывает, время от времени вытирая слезы.

— В работе я как бы забываю Марусю, но я никогда ее не забуду.

— И не забывай, Настасья Ивановна, твоя дочь стоит того, чтобы ее помнить. И, помня о ней, работай.

3

Общее собрание Покровского колхоза внимательно слушает доклад председателя. Колхоз выполнил свои обязательства — поставки государству, натуроплату машинно-тракторной станции, страховку. Создал фонды — страховой, семенной, взаимопомощи, культурного обслуживания, фуражный. Выдал по трудодням. Как известно, на каждый день пришлось по три с половиною килограмма ржи, два килограмма и сто граммов овса.

— Знаем! — раздается голос Настасьи. — Неправильно выплатили...

Чулков вздрагивает.

— Как так неправильно? На собраниях обсуждали!

— Неправильно, значит, обсуждали.

— Почему неправильно?

— А потому, — Настасья поднимается со своего места. — Надо было...

Ее перебивает председательствующий Рогачев. Пусть успокоится товарищ Назарова. Вот Чулков кончит доклады, он ответит на вопросы, и начнутся прения. Нельзя же так неорганизованно проводить собрание...

Настасья садится. Чулков продолжает. Он злится на Назарову. Вечно она лезет вперед, смерть дочери, и та ее не угомонила...

— Значит, распределили по трудодням — рожь, овес, льносемя, пречиху, горох.

— И горох роздали? — насмешливо спрашивает Настасья.

— Товарищ Назарова, не перебивай докладчика, — волнуется Рогачев.

Чулков совсем обескуражен.

— Ну, да, и горох... С горохом случилась беда, недосмотрели, ссыпали непросушенный, он и слежался.

— Пропал горох! — не унимается Настасья.

— Можно сказать, что пропал. Завхоза, Нижиту Большова, отдали под суд

за бесхозяйственность. Сейчас поставили нового завхоза, идет проверка всего имущества.

— За сеном посмотри!

— И за сеном посмотрят. Такой бесхозяйственности, как при Большеве, не будет допущено. Ревизионная комиссия все проверяет. Имеющиеся запасы полностью обеспечивают посев, кроме гороха, который придется закупить, но это мелочь. Фуража тоже хватит: сена — до апреля месяца и овса — до самого нового урожая. И молочная ферма обеспечена кормами. Кроме того, выделен специальный фонд для закупки десяти лошадей, пятнадцати телег, быка-производителя, для постройки нового амбара и содержания яслей, для ремонта всего инвентаря, для горячих завтраков школьникам...

Если бы весной колхозникам сказали, что такие будут результаты сельскохозяйственного года, — они не верили бы. А сейчас собрание не удовлетворено. Больше всех недовольна Настасья:

— Почему все бригады получили одинаковую плату за трудодень, разве правление не знает, что лучшая бригада должна была получить больше — за счет худшей?

Никто не понимает Настасью: ведь если поступать так, как она хочет, то вторая бригада, в которой Настасья, получит меньше других. Как ни тянулась бригада Тумановой, но она отстаёт от Вершиновой.

Ну, и получила бы меньше! Для чего пишут законы? Чтобы их не выполнять? Настасья не хочет чужого, — все должно быть по закону.

— Ты-то сама лучшая ударница, а получила бы меньше, потому что вся бригада хуже работала.

— Так мне и надо! Какая я лучшая ударница, если только за себя работаю? Я должна страдать за то, что другим не помогла. Лучшая ударница у нас Татьяна Вершинова, пускай ее бригада больше и получит.

Чулков криво усмехается. Что ж, он не против, можно сделать перерасчет. Ничего не стоит отобрать у второй бригады часть розданного и отдать первой бригаде.

Но тут поднимает шум вторая бригада: пускай Настасья отдаёт, если ей хочется, а они ничего не дадут. Получили — и больше никаких.

— Так мы чужое взяли! — надрыгается Настасья.

— Не чужое, а свое! Не наша вина, что нам худшие земли попались.

— Никакие не худшие, одинаковые...

Долго продолжались бы пререкания, если бы не Татьяна Васильевна Вершинова.

— Не надо, граждане колхозники, ни у кого отбирать. Не затем мы решали, чтобы сейчас отменять. Первой бригаде не нужно чужого, — что заработали, то и получили.

Ее поддерживает вся бригада — не нужно им чужого, своего хватит...

Настасья знает, что правление поступило неправильно. Она слышала и знает: это — уравниловка. Против уравниловки говорил сам товарищ Сталин. Но она понимает также, что сейчас поздно менять уже сделанное, и отступает. Но тут же вспоминает о горохе.

— А кто будет отвечать за горох? Тоже все — виновные и невиновные?

Нет, за горох будет отвечать Никита Большов, его будут судить.

Настасья не согласна, что один Большов будет отвечать. А Чулков? Разве Павел Иванович не председатель правления колхоза, разве он не обязан был уследить за всем хозяйством, за всеми людьми, в том числе и за Большовым?

— Что ж, Павел Иванович должен был спать в амбаре?

— Спать он нигде не должен был, а проспал...

Собрание смеется. Но Настасья упряма. Она требует, чтобы отвечал Чулков. Она считает, что Чулков не годится в председатели, если он не уберет гороха, не уследил за Большовым. Такой председатель может погубить колхоз. Покровскому нужен такой председатель, который болел бы за каждое зернышко.

— Вот тебя бы в председатели, — раздаётся чей-то насмешливый голос.

Нет, Настасья не преувеличивает своих сил, она не годится не только в председатели, но даже в завхозы.

— Ты только для собраний и годишься! — издевается все тот же голос.

Рогачев призывает к порядку. Он не допустит, чтобы зажимали самокритику. Товарищ Назарова правильно поступает, что высказывает свое мнение. Собрание может согласиться или не согласиться с нею — это его дело, а насмехаться над нею Рогачев не допустит.

Рогачева поддерживают: незачем обижать Настасью, которая всегда печется об общественном благополучии. Что она иногда загнет — это не страшно. Это она не от злого сердца. К примеру, ее требование сменить председателя. Настасья, можно сказать, перегнула, не надо снимать Павла Ивановича, он работал больше всех. Ну, не уследил, при распределении доходов забыл инструкцию, но все это не означает еще, что можно от него отказаться.

Чулков делает заключительное слово совсем уже по-иному, чем делал доклад: Он не сердится на Настасью. Правильно указала она на его недочеты. Больше было бы Назаровых, больше было бы своевременных указаний, — меньше было бы недочетов. Если бы не Настасья, то не только горох, но и овес погнил бы. Спасибо ей — подняла тревогу. И горох был бы спасен, если бы товарищ Назарова раньше заглянула в закром. Она этого не сделала потому, что с нею случилось тяжелое несчастье.

Настасья слушает Чулкова, и сердце сжимается от благодарности к нему: вот чужой человек, она требовала, чтобы его сняли, а он один из всех вспомнил Марусю. Хороший человек...

Чулков благодарит собрание за доверие, но, может, лучше будет найти председателя?

Ему не дают продолжать.

— Ничего, Павел Иванович, никто лучше тебя не справится. А что пощипали маленько, так ничего.

И Настасья такого же мнения. Она погорячилась. Павел Иванович прав, ему не помогали. Она обещает перед всем народом, что будет помогать. Хозяйство у них большое, одному никак не доглядеть. Всем надо думать о колхозе.

На следующий день партийное собрание Покровского колхоза обсуждает вопрос о Чулкове. Рогачев говорит, что председатель колхоза как-то разболтался за последнее время. Именно поэтому получилась порча гороха и чуть не испортился овес. Не уследил Чулков.

Собрание волнуется:

А где был секретарь ячейки товарищ Рогачев? Почему он не обратил внимания на завхоза? Что, если бы не беспартийная Настасья Назарова? Пропал бы овес... Виноват Чулков, но и Рогачев виноват, вся ячейка виновата. Бдительность потеряли. Весною не провалялись, потому что помог политотдел, осенью — потому, что Назарова забила тревогу. А ячейки будто и нет. Хороши товарищи коммунисты, нечего сказать! Не может же политотдел беспрерывно следить за покровской ячейкой. Большинство колхозов совсем не имеет партийных ячеек, им политотдел должен уделять больше внимания, а покровские большевики должны подтянуться. При всех недочетах колхоз приходит к концу года с хорошими результатами. Конечно в этом заслуга и ячейки: тот же Чулков, тот же Рогачев работали не как оторванные от организации председатель колхоза и бригадир, а как большевики, находившиеся под контролем политотдела и ячейки. Но все же этого недостаточно. История с горохом и овсом, история с распределением доходов должны послужить уроком для ячейки. Не может быть успокоения и благодушия. Надо действовать. Вот сейчас — немедленно приступить к трепке льна. Пока не видно, чтобы колхоз думал о льне — важнейшем продукте колхоза.

И собрание решает:

— Взяться за лен!

Бригадиры Вершинова, Туманова и Рогачев спешат на вызов председателя колхоза Чулкова. Он встречает их возбужденный, размахистый.

— Слыхали, товарищи?

Они ничего не слыхали.

А вот что: Покровский колхоз получил место на Красную площадь в Москву на октябрьский парад, если он за-

кончит сдачу льноволокна 6 ноября. Сегодня, как известно, 2-е, остается четыре дня. Выполнить можно, если подналечь на трепку. Он рассчитал совершенно точно: если вместо теперешних семи кило в день трепальщица даст восемь, то Покровский колхоз полностью закончит план вечером 5 ноября. Конечно волокно должно быть не ниже тринадцатого номера...

Бригадиры задумываются: восемь кило, двадцать фунтов! С трудом удалось добиться выработки семи кило в день, а тут на тебе, восемь. Но трибуна Красной площади!

— Сколько мест, Павел Иванович?

— Я же сказал, одно.

Одно место! А в колхозе три бригады, сорок пять трепальщиц.

Бригадиры поглядывают друг на друга: кто из них пошлет представителя в Москву?



Поля Туманова не может заснуть. Если ее бригада не победит, она умрет от стыда. Что бы такое придумать, как ускорить работу? Надо с кем-нибудь посоветоваться.

И она спешит к Настасье Назаровой.



Наступили лунные, теплые, совсем весенние ночи. Серебрянно блестит грязь, брызгами летит из-под ног. Поля ничего не замечает — ни луны, ни грязи. Ей нужно выйти на первое место, ее бригада должна быть представлена на октябрьском параде в Москве.

И Настасья точно такого мнения. Они долго обсуждают, как добиться нормы в восемь с четвертью — именно восемь с четвертью! — килограммов, чтобы опередить Вершинову и Рогачева. Один выход — избавить трепальщиц от лишних работ. Они поставят специальных сортировщиц. Они организуют приемку волокна тут на месте, чтобы трепальщица зря не теряла времени. Они добьются, чтобы работа начиналась ровно в четыре часа утра. Тогда можно надеяться...



Татьяна Васильевна Вершинова видит: действительно получается, что поедет полина бригада. В Покровском никогда еще так не трепали, как сегодня. Только и слышен, что свистящий плеск трепалок, только и видны, что широкие хвосты пайм.

— Ты что высматриваешь, Татьяна? Не было такого уговора, чтоб высматривать.

— А кто мне глаза закроет? — улыбается Вершинова. — Ко мне, небось, приходили и Поля, и Настасья.

— Смотри, смотри, — милостиво разрешает Настасья, — у меня сегодня на сердце цветы цветут, вишь как у нас дело пошло!

Вершинова видит: стоят трепальщицы у Поли Пименовой, с места не сходят. Им и вязки подносят, все отобранная преста — соломинка к соломинке.

— Ай да Поля, — говорит она громко, чтобы все слышали, — как по струнке ведет.

— А ты думала, по твоим следам пойдем?

— Могу по вашим, — соглашается Татьяна Васильевна и спешит к своим трепальщицам.

Она быстро переставляет людей, делает то же, что и во второй бригаде.



Один Рогачев не ходит по другим бригадам. Он имеет свои ходы, испытанные во время весенней посевной и уборочной.

Он приходит на свои гумна. Заговаривает о том, что третья бригада должна стать первой. Все с ним соглашаются — должна. Но Рогачев по опыту знает — надо заинтересовать людей. Лозунгами, думает он, не заинтересуешь. Ну что посылка делегата на Красную площадь? Это нереально. Поедут не все, а только лучший. А лучший один. Будет ли вся бригада стараться за одного? Рогачев думает, что не будет. И поэтому он заявляет: если они поднимут норму до восьми кило, то получат премию. У него имеется десять

метров шерстянки. Две лучших трепальщицы получают по пяти метров. Кроме того, лучшая поедет на октябрьские торжества в Москву.

И пять метров шерстянки на платье охота получить, и особенно поехать в Москву никто не откажется, но больше своих сил не сделаешь. Одна только дает вместо обычных семи — семь с половиною килограммов волокна, другие — семь, семь с граммами.



Вечером Рогачев заглядывает в сводки Вершиновой и Тумановой. Первая бригада дает в среднем без малого восемь кило, вторая и того больше — восемь килограммов триста граммов. Он недоверчиво смотрит на бригадирш: врут они, не может этого быть.

Чулков лично проверял — ни Вершинова, ни Туманова не врут.

Татьяна Васильевна уверяет:

— Завтра дам не меньше второй бригады.

Поля только улыбается: посмотрим! Она придумала еще одно средство для повышения нормы выработки. Она сегодня заказала новые трепалки, кроме того, на работу выйдут еще девки. Они конечно не дадут нормы, но сколько ни дадут, а увеличат общую выработку.

Рогачев совсем растерян. Он не знает, что делать. Спрашивает Вершинову и Туманову, — те только посмеиваются. Нет, они ему не скажут. Не видать ему Москвы, как своих ушей. Чулков приходит на помощь и раскрывает Рогачеву тайну успеха первой и второй бригад.

— Ладно же, я вас перегоню! — грозит Рогачев.

— Перегони, перегони. Только дня ты уж не воротись...



Настасья треплет безостановочно. Лучшее волокно и больше всех дает она. Ее подгоняет какая-то внутренняя сила. Она должна поехать в Москву, она будет стоять на Красной площади, рядом с товарищем Сталиным. Она увидит всех вождей, и все ее увидят. И все бу-

дут знать, какая она ударница... Если бы это могла увидеть ее Маруся!.. Но нет Маруси...

Настасья на секунду перестает трепать. Вытирает набежавшие слезы.

— Засыпает глаза? — весело спрашивает ее соседка.

— Да, эта кострилка всюду забирается — и в глаза, и в нос, и в уши.

— Хуже блох, — смеется соседка.

— Да, хуже блох, — соглашается Настасья и продолжает трепать.



Как ни старался Рогачев, но он не мог догнать ни Вершинову, ни особенно Туманову. Поля довела выработку до девяти килограммов в день, Вершинова — до восьми с половиною, а Рогачев — только до восьми.

С утра 5 ноября Туманова приехала в третью бригаду за трестой: своей уже не было, вся вытрепана. Поля Туманова берет на буксир Рогачева... После обеда и Вершинова приходит к нему за трестой — тоже управилась. Рогачев отказывает: сами, мол, кончим.

Вечером в правлении — веселый шум. Весь актив налицо. Шутка ли: закончили трепку льна...

— Если бы вы мне сразу рассказали, в чем дело, или если бы мне больше дней, я бы вас нагнал, — заверяет Рогачев.

— Меня больше никогда не нагонишь, — гордо улыбается Туманова. — Я секрет такой нашла, что моя бригада всегда будет первая.

Вершинова молчит. Ей досадно, что Поля заняла первое место. Неужто первая бригада станет второй?

Чулков успокаивает бригадиров: все бригады хороши. Одна взяла первенство по севу, другая — по уборке, третья — по льну. Получается, что все первые.

Поля Туманова не согласна: то, что было, то прошло. Надо судить по последней работе, а последняя, и притом, как говорил товарищ Ордынов, самая важная, — это трепка льна. По ней и надо судить, какая бригада первая. Если бы не вторая бригада, разве рапортовал бы Покровский колхоз об окончании

всех работ к Октябрьской годовщине? Вот сейчас, что бы ни говорили, а ее бригада, и никакая другая, получает место на Красную площадь.

— Значит, поедешь? — не то спрашивает, не то утверждает Чулков.

Поле страсть как хочется поехать, но она считает, что такой чести она еще не заслужила. Какая она лучшая ударница, если ее бригада отставала в весенний сев и в уборочную тоже не первой была?! Пусть поедет действительно лучшая из лучших — Настасья Назарова.

Культуры	Урожай	Урожай
	1932 г.	1933 г.
	(в центнерах)	
Рожь	10,2	10,8
Овес	9,4	10,2
Лен-волокно . . .	2,45	2,9
Горох	10,5	10,6
Вика-зерно	10,8	11
Картофель	95,8	97,9
Клевер	30,1	31,2
Сено	10,2	10,7

Иду к старшему агроному Финкельбергу. Он роется в папках, что-то выписывает. За другим столом сидит молодой агроном Пименова. Она доказывает бригадирше Вершиновой, что из тресты нынешнего года можно получить волокно не ниже тринадцатого номера.

— Вот посмотрите, — достает она пучок из кучи волокна, наваленного на все подоконники, — это волокно из такой же тресты, как ваша.

Мне не хотелось бы отрывать агрономов от их дела, но должен же я выяснить мучающие меня вопросы!

Финкельберг внимательно рассматривает таблицу.

— Да, Андрей Никитич, ваши данные почти не расходятся с моими — по всей МТС.

— Значит, это общая картина?

— В основном — да.

— Ну, а эти странные скачки урожая в отдельных случаях?

— Есть еще более разительные случаи. Вот например в Липинском колхозе с полугектара собрано 13,5 центнера.

— Сколько?! — поражаюсь я.

— 27 центнеров с гектара, — спокой-

но улыбается Финкельберг. — Мы имеем случаи, когда овес дает 26 центнеров, горох — 21, вика — 28, картофель — 300, клевер — 150, сено — 25, льноволокно — 7 центнеров с га. Но вы сами понимаете, что эти случаи не урожайи никак не показательны.

Дискуссия об урожайности

Я изучил цифры урожая нынешнего и прошлого годов по Покровскому колхозу. Меня поражают незначительный рост урожайности и непомерные скачки в отдельных случаях.

Вот такая у меня получилась таблица:

Урожай в отдельных случаях					
по 16	ц.	на га	на площади	в	2,5 га
» 21	»	»	»	»	3 »
» 4,3	»	»	»	»	0,25 »
» 18	»	»	»	»	0,75 »
» 15	»	»	»	»	1 »
» 250	»	»	»	»	2 »
» 60	»	»	»	»	1,5 »
» 21	»	»	»	»	3 »

Чувствую, что меня начинает лихорадить.

— И вы считаете это нормальным?

Финкельберг смотрит на меня с плохо скрываемой насмешкой.

— Случайности? Вполне! Видите ли, Андрей Никитич, через шесть-семь лет средняя урожайность наших полей увеличится больше чем в два раза. Для ржи, овса и вики это будет примерно 25 центнеров, для гороха — 20, для картофеля — 200, клевера — 60, сена — 20, льноволокна — 5 — 6 центнеров.

— Позвольте, Исаак Самойлович, получается, что «случайные» урожайи сейчас превосходят будущую через семь лет урожайность?

— Несомненно. Имейте в виду, что средняя — это не случайная, а устойчивая.

— А почему нам не равняться по «случайной»?

— На то она и случайная, — уже откровенно издевается надо мной Финкельберг, — чтобы по ней не равняться. Попробуйте втиснуть случай в определенные нормы! Не втиснете!

— А почему не изучить законы случая и сделать их общими, определяющими?

— Случай потому и случай, что он не подчиняется законам, вообще их не имеет.

— Неверно. Яблоко, которое наблюдал Ньютон, — тоже «случай».

— Но не случай — сила притяжения!

— Как не случай сила земли, дающая, ваши «случайные» урожай, — добавляю я.

Финкельберг заметно раздражен моим упорством. Он иронизирует:

— Что ж, вы хотите ввести случайность в систему?

— Наоборот, хочу избавиться от случайностей, хочу изучить причины высоких урожаев и добиться их в максимально короткие сроки. Мы ведем не стихийное, анархическое, а строго-плановое хозяйство. В основе нашего хозяйствования, как вам известно, лежит научно разработанный план.

— Знаю, знаю! Только не читайте мне основ политграмоты, — сердится Финкельберг, — я их неплохо усвоил в Тимирязевке. Но там я усвоил также определенные сельскохозяйственные знания...

— Которых, хотите вы сказать, у меня нет?

— Хотя бы и так! Вы говорите — план. Верно, отлично. Но не забывайте, что основное производство человечества, источник самой его жизни — сельское хозяйство, и оно больше какой-либо другой отрасли производства зависит от природы. Природа ставит сельскому хозяйству железные, непреклонные лимиты. Урожайность зависит от целого сложного комплекса условий.

— Какие это условия?

— Сейчас скажу вам совершенно точно, — Финкельберг достает из стола книгу. — Послушайте, что говорит замечательнейший ученый, знаток сель-

ского хозяйства Вильямс: «Жизнедеятельность — работа — растений осуществима только при одновременной и совместной наличности определенных условий. Это — свет и тепло, два энергетических фактора, и вода и питательные вещества — две группы материальных факторов». Я уточняю и расширяю это определение: урожай зависит от климатических условий, рельефа местности, предшественников, удобрения, качества обработки.

— Позвольте, Исаак Самойлович, если я не ошибаюсь, так эти условия можно разделить на условные и безусловные.

— Не понимаю.

— Ну, скажем так: неустранимые — это свет и тепло по Вильямсу, климат и рельеф — по вашему определению и остальные — устранимые человеческими усилиями.

— Правильно, но послушайте того же Вильямса, который, — не без язвительности добавляет Финкельберг, — и для вас, надеюсь, является авторитетом: «Растения для своей жизни требуют одновременной и совместной наличности или такого же притока всех без исключения условий, или факторов своей жизни. Все факторы жизни растений безусловно равноценны». Таким образом, только воздействуя на все факторы одновременно, можно добиться прогресса сельского хозяйства.

— А воздействовать на энергетические факторы мы пока-что не можем?

— Почти, если не считать известных возможностей в огородничестве и садоводстве.

— Следовательно, остается ожидать перемещения нашей планеты и изменения вместе с этим энергетических факторов?

Финкельберг смеется.

— Нет, надо приспособляться к природе.

— Не люблю я этого слова.

— Слово неприятное, я с вами согласен, но в сельском хозяйстве оно имеет

совсем не такой смысл, как в политике. Приспособляться в сельском хозяйстве — значит так усовершенствовать культурные растения, чтобы они наилучшим образом использовали естественный приток света и тепла. Точнее говоря, надо по-настоящему заниматься селекцией культурных растений. Вы, надеюсь, слышали о Мичурине? То, что делает Мичурин с плодами, давно делается с растениями.

— А скажите, при данных культурах, при данных энергетических факторах мы делаем все для получения максимальных урожаев?

— Далеко, далеко не все!

— И ваши соображения об удвоении урожая за шесть-семь лет исходят из неизменности энергетических факторов и рельефа?

— Безусловно.

— Тогда давайте все же разделим условия произрастания на устранимые и неустраимые.

— Можно, и вы это уже сделали. Климат и рельеф — неустраимые, предшественники, удобрение, качество обработки — устранимые.

— Отлично. А по важности, по степени воздействия на урожай какие условия из второй группы играют наиболее существенную роль?

— В наших условиях особенно большую роль играют предшественники.

— То-есть все зависит от севооборота?

— Именно! Мы хищнически относимся к земле, пользуемся ею, как варвары. Земля требует чуткого, бережного к себе отношения, надо ей давать отдохнуть. Это вовсе не значит — давать ей пустовать. От этого дикого взгляда мы, слава богу, отказались. Лучший отдых для земли — правильный, строго соблюдаемый севооборот. А его мы не соблюдаем. Откровенно вам скажу, что я удивляюсь, как это при таком ведении хозяйства мы все же получаем приличные урожаи.

— Хорошо... Но скажите, установление севооборота зависит от нас?

— Конечно.

— И для этого не требуется семи лет?

— Пожалуй, если строго следить, то можем добиться значительно раньше.

— Через два года?

— Можем!

— Следовательно, важнейшее препятствие к быстрому повышению урожайности отпадает?

— Предположим. Но, дорогой Андрей Никитич, предшественники — это еще не все. Не меньшую роль играют удобрения.

— Минеральные?

— У нас — особенно минеральные.

— Хибинские апатиты, Бобрики и Березники дают и еще больше дадут сельскому хозяйству минеральных удобрений. Уже в нынешнем году наша МТС получает тысячу тонн удобрений, которые, кстати, мы до настоящего времени полностью не доставили со станции. Но это, согласитесь, явно устранимая случайность, — не могу я лишиться себя удовольствия с'язвить.

— Да, устранимая, — виновато соглашается Финкельберг: на его обязанности лежит забота об удобрениях.

— А как вы думаете, через год-два Хибины, Бобрики и Березники дадут нам больше удобрений?

— О, да!

— Следовательно, второе важнейшее препятствие — нехватка минеральных удобрений — отпадет значительно раньше, чем через семь лет?

— Не спорю, но не забывайте об огромной важности органических удобрений. Наша почва не может жить без навоза. Навоз в наших условиях — не только очень важное удобрение, но и средство улучшения механического состава почвы, структуры (Финкельберг принимает поучающий тон). При своем разложении навоз выделяет перегнойные кислоты, которые делают почву рыхлой, комковатой. Навоз приводит к прочному ее комкованию. А знаете, какое значение имеет такое структурное строение почвы? Если хотите, это все! Комковатая структура почвы является основанием, да-да, Андрей Никитич, основанием всей продукции, всего урожая. Пора это знать. Поймите, что невозможен приличный урожай — я уже не говорю о повышении

ном! — на некомковатой почве. Наша задача — не только сохранять, но и создавать такую почву.

— То, что вы говорите, очень ценно, спасибо вам за данный мне урок. Но вернемся к вопросу об урожайности.

— Я и говорю об урожайности.

— Ну, к навозу, который сохраняет и создает структурную почву и этим обеспечивает урожай.

— Пожалуйста.

— Не считаете ли вы, что увеличение стада создает базу для увеличения количества навоза?

— Несомненно. Но скот должен питаться, а наша кормовая база чудовищно узка.

— Разве нет возможности расширить ее?

— Как же, есть! Для этого нужно увеличить площадь трав, в частности клевера.

— Который, — перебиваю я Финкельберга, — не требует удобрения, а, наоборот, сам удобряет почву.

Финкельберг презрительно усмехается.

— Извините, Андрей Никитич, но вы наивны. Клевер не требует удобрения! Нет, друг мой, клевер не любит так называемой кислой почвы. Хотите получить хороший урожай клевера, — извольте известковать почву.

— Ну, и поизвесткуем. Это в наших силах?

— Конечно, дайте только известь.

— Дадим. Ну, а сено? Оно тоже требует удобрения?

Финкельберг с сожалением смотрит на меня.

— Как вы мало знаете хозяйство, Андрей Никитич! Сено, думаете вы, растет так себе, без всяких? Стоит нам захотеть, и оно даст лучший урожай? Нет, совсем не так! И сено поддается культурной обработке. Требуется коренное улучшение луговых угодий, они у нас в позорном состоянии. Нужно перепахать все луга, засеять их смесью луговых трав, «залужить». На самый худой конец — провести хотя бы поверхностное улучшение: весной заборонить луга, удалить мох, удобрить поверхность химикалиями, провести по-

верхностный засев смесью луговых трав, полить луга навозной жижей. Одно это резко повысит урожайность лугов.

— А это в наших силах?

— Ну, конечно!

— Значит, мы можем относительно легко расширить кормовую базу, этим самым улучшить скот, увеличить стадо; иначе говоря — увеличить количество столь необходимого нам навоза?

— На это требуются годы.

— Семь лет?

— Можно раньше, — подумав, отвечает Финкельберг.

— Итак, два основных условия повышения урожайности — севооборот и удобрение почвы — в наших возможностях. Остается обработка почвы. Надеюсь, что вы не будете отрицать значительного улучшения обработки в связи с притоком в сельское хозяйство тракторов и машин?

— Это факт. Не будь относительно хорошей обработки, мы не имели бы и такого, как в нынешнем году, урожая.

— Приток машин и тракторов с каждым годом увеличивается. Уже в нынешнем году мы получаем еще десять тракторов, тракторные плуги и уборочные машины.

— Знаю, отлично знаю. Но вы забываете, что и машинами не преодолешь сил природы. Учтите, что по нашей почве не всюду проедешь на тракторе. Вспомните, как пахали весной: тракторы больше сидели в болоте, чем работали.

— На мякоти неплохо работали. А нынче летом как мы поднимали целину трактором! Красота!

— Но все же трактор ограничен в своих действиях.

— Если умело им пользоваться, то можно его использовать во всю его мощность.

— А мы еще не научились.

— Научимся... Куда раньше, чем через семь лет...

Финкельберг нервничает.

— Дались вам эти семь лет. Вы вот все рассуждаете: у нас удобрения, введем севооборот, дадим машины. Отлично, не спорю. Но вы все упускаете из виду, что и удобрения, и севооборот, и

управление машинами — все в руках человека.

— Правильно, Исаак Самойлович! Тут мы с вами спорить не будем. Мы подошли к самому главному...

Финкельберг пожимает плечами:

— Но это давным-давно известно. Не понимаю, чему вы обрадовались? Надо же понимать, что при современной культуре, вернее, некультурности колхозника, мы не можем решительно повысить урожайность, если даже получим все необходимые средства.

— Неужто вы будете отрицать, что культурный уровень колхозника чрезвычайно возрос?

— Не отрицаю, но я знаю также, что культурность сельского хозяина растет с ростом благосостояния, то-есть с ростом урожайности, а урожайность в конечном счете зависит от культурности земледельца. Получается замкнутое кольцо.

— Подождите насчет кольца! Не согласитесь ли вы с тем, что в наших условиях культурный уровень обгоняет благосостояние масс?

— Не спору.

— Следовательно, ваше кольцо не так уже замкнуто?!

— Пожалуй, но...

— Нет уж, дорогой Исаак Самойлович! Никаких «но». Мы подошли к важнейшему фактору урожайности — человеку. Мало читал я, к сожалению, Вильямса, но уверен, что и он считает человека важнейшим «условием урожайности». Иначе и быть не может. А человек этот — не абстрактная личность, а конкретный, живой колхозник, переделывающий не только сельское хозяйство, но и себя. Это вам не сиволопый мужичонка, работающий с сохой и на кляче, а быстро осваивающий технику передовой советский человек. Не думайте, что я преувеличиваю его новые качества, об этом мы как-то с вами говорили. Но разве вы сами не наблюдали его в работе? Разве не видели, что он методами социалистического соревнования и ударничества добывается «чудесных» результатов? Посмотрите на колхозника новыми глазами.

— Да что вы в самом деле, — окончательно выходит из себя Финкель-

берг, — за кого вы меня принимаете?

— За хорошего советского агронома, дорогой Исаак Самойлович! С одной только поправкой: вы все еще находитесь в плену старых представлений.

— Неправда!

— Тогда почему же вы считаете, что увеличение урожайности вдвое возможно только через шесть-семь лет, и почему вы допускаете «случайные» урожаи, когда эти «случаи» вполне подчиняются регулированию?

— Когда я говорю о случайности, я имею в виду влияние энергетических факторов. В тот или иной год на том или ином участке может быть больше или меньше света и тепла.

— Вы лукавите, Исаак Самойлович! Разве не одинаковое количество света и тепла пришлось в нынешнем году на все участки Покровского колхоза? Между тем мы наблюдаем здесь наряду со средним исключительные, знаменитые ваши «случайные» урожаи. Повидимому, они — результат лучшей обработки.

Пименова и Вершинова давно перестали спорить о тресте. Они внимательно слушали наш длинный и для Вершиновой не во всем понятный спор. Нескольким раз они намеревались ввязаться в спор, но, видимо, не решались. Когда я заговорил о покровских урожаих, Вершинова не вытерпела:

— Правильно говоришь, Андрей Никитич, земля наша год от году выбивается. Как сказал товарищ агроном, отдыху ей нет. Что ж мы, летось сеяли овес и нынешний год опять овес... Или озимь... Как сеем? Только скосили вику — и бросали рожь. Оно так и получается — от силы шестьдесят пудов. Или картошка: сажали ее много в пару, копали рано, чтоб успеть засеять рожь... Или лен — покосыряли целину и сеяли... Ни тебе хорошего урожая, ни тебе убрать — елозишь по кочкам, одна мука...

— Вот-вот! — торжествует Финкельберг.

— Подожди, товарищ агроном, я насчет случаев скажу. Какие там случаи? Вот у меня в бригаде на одном поле, знаешь, сколько ржи-то сняли? Сто

двадцать пять пудов с га! А почему? Потому — сеяли ее в пару чистосортным зерном, да пар был чистый, проборновали хорошо до посева, после прошлись в три следа, по весне снова прочесали поле-то. Вот и получился слу-чай...

— Ну что? — наступил мой черед торжествовать над Финкельбергом.

Вершинова разгорячилась. Она перебивает меня:

— Дай еще скажу. Вот нынче сеяла я семь культур — горох, пшеницу, ячмень, гречу, вику, картошку, ну и рожь. Столько никогда не сеяла, женщина все же я. А хорошо я знаю только рожь и овес, да еще картошку знаю. Потому и получается...

— Так кто же виноват, Татьяна Васильевна, земля или мы?

— Конечно мы!

Я торжествуую победу над Финкельбергом.

— Ну что, Исаак Самойлович, что вы скажете?

Финкельберг смущенно улыбается.

— Я скажу, что вы правы: главное — человек, но если мы забудем о силах природы...

— Мы и природу возьмем в руки! — неожиданно выпалила Пименова, с го-

рящими глазами следившая за нашим спором.

Мы смеемся. Финкельберг разводит руками:

— Ну, если Анна Даниловна тоже против меня, — мне остается только сдаться.

— И чем скорее, тем лучше...

— Сдаюсь, только при одном условии.

— Устраним или неустраним? — смеюсь я.

— Вполне устраним: мы, агрономы, возьмемся за переделку земли, а вы — за переделку человека.

— Не могу согласиться. Давайте вместе возьмемся и за то, и за другое.

Финкельберг поднимается из-за стола, подходит ко мне вплотную и говорит — серьезно, проникновенно:

— Знаете, Андрей Никитич. Я думаю, что вы, политотдельцы, можете добиться удвоения урожайности в срок, значительно более короткий, чем семь лет. Придется пересмотреть многие агрономические законы.

— И даже закон «случайных» урожаев?

— Да, и его...

За рубежом

1. Н. КОРНЕВ — Вильгельм III. 2. М. СПЕКТАТОР — Аграрный кризис

1. Вильгельм III

Н. Корнев

Германский император Фридрих, сын Вильгельма I и отец Вильгельма II, — при смерти. За сутки до его кончины дворец в Потсдаме наполняется офицерами, которых раньше там никогда не было видно; они требуют себе квартир и провианта. Дело в том, что император был еще в живых, когда его наследник, Вильгельм II, уже издал приказ о том, что никто не имеет права войти или выйти из дворца без особого разрешения. Никто не в праве находиться с кем-либо в переписке. Если кто-либо из врачей посмеет нарушить этот строгий запрет, он будет арестован. Как только император, — говоря словами официального сообщения, — «ушел в вечность», ко дворцу форсированным маршем направилась батальон лейб-гвардии нового повелителя. Повсюду были расставлены часовые; к винтовкам примкнуты штыки, как во время боевой тревоги. Один из батальонных командиров, узнав о смерти Фридриха I, вскочил на лошадь и стал галопом об'езжать все караулы и посты. Неожиданно появились лейб-гусары, — они охраняли все входы и выходы в дворцовом парке. Дворец и парк вдруг оказываются герметически отрезанными от внешнего мира. Пользовавшие покойного императора врачи решают произвести вскрытие трупа Фридриха I. Лейб-медик хочет лично телеграфировать об этом знаменитому анатому Вирхову. Но он не может по-

кинуть дворца, ибо караульные заставляют его вернуться обратно под угрозой немедленного ареста. Чтобы иметь возможность покинуть дворец, нужно разрешение нового императора. Для отправки телеграммы нужна виза его личного ад'ютанта.

Все жильцы дворца, врачи, братья и сестры покойного, даже императрица, оказались как бы пленниками нового повелителя Германии. Вдовствующая императрица обращается за помощью к новой, молодой императрице. Напрасно: новый император опасается, что секретные бумаги государственной важности могут попасть или уже попали в Лондон. Во всех комнатах дворца, даже в той комнате, где лежит тело «отошедшего в вечность» императора, ищут и запечатывают разного рода документы.

История повторяется. Как только Адольф Гитлер получает сообщение, что престарелый маршал-президент Гинденбург собирается «отойти в вечность», в поместье Нейдек командируются врачи, близкие к национал-социалистической партии, пользующиеся доверием ее вождя. Вокруг поместья располагаются отряды рейхсвера и штурмовики. Накануне кончины президента германское правительство принимает проект закона, по которому пост главы государства переходит к канцлеру, т.-е. Адольфу Гитлеру, принимающему звание «вождя и

имперского канцлера». Впрочем впоследствии кто-то из юристов в окружении «вождя» спохватится, что, кроме миллионов немцев, живущих под фашистской диктатурой, никто не обязан называть Адольфа Гитлера вождем, — и все иностранные посольства и миссии в Берлине получают циркулярное уведомление, что вождем Гитлер является только для внутреннего употребления, для иностранцев же он — только «германский имперский канцлер». Этим титулом и обязаны величать его иностранные правительства и их представители. Закон о новой форме верховной власти в Германии был издан вероятно в тот момент, когда Гинденбурга уже не было в живых: никто не знает точно, когда, собственно говоря, умер Пауль Гинденбург, так как в определенном часу его смерти сыграли своеобразную роль соображения насчет целесообразности или нецелесообразности обнаружения его политического завещания.

Еще задолго до смерти Гинденбурга в иностранной печати появились внушающие доверие сведения о том, что Гинденбург составил нечто в роде политического завещания. Никто не думал при этом о завещании в роде того, которое оставил своему потомству Фридрих Великий. Все знают, что старик Гинденбург слаб был по части политической философии: ему с трудом давалось составление самых простых политических документов, если эти документы приходилось составлять лично. Этот человек хвастал некогда, что он ничего не читал, если не считать военных учебников. Многие утверждали, что первой прочитанной им политической книгой была конституция Германской республики, которую ему пришлось прочесть после избрания его президентом республики. Кругозор маршала-президента был необычайно ограничен. Если за пределами Германии и распространялись слухи о завещании Гинденбурга, то речь шла о нескольких строках, в которых Гинденбург, прощаясь «со своим отечеством и своим народом», должен был предложить своего преемника. Это и являлось основной целью завещания. Общая молва утверждала, что в этом

завещании Гинденбург называл своим преемником вице-канцлера и нынешнего посланника в Вене — Франца фон-Папена. Это было правдоподобно, ибо с Папеном старый президент-маршал в свое время расстался очень неохотно.

После смерти Гинденбурга именно это завещание и искали в шейдекомском доме с таким же усердием, с каким после смерти Фридриха I искали в потсдамском дворце секретные бумаги государственной важности. Тогда, как и теперь, опасались, что кое-что из бумаг может попасть за границу и может там, в удобный момент, быть использовано против нового повелителя Германии. Подлинное завещание Гинденбурга однако не нашли. По крайней мере германские власти оповестили всему миру, что слухи о существовании какого-то завещания лишены всякого основания. Прошло однако всего только девять дней, и завещание Гинденбурга нашлось. Мало того, оно было опубликовано к тому же почти накануне преловутого всенародного голосования 19 августа, которое «подтвердило» право Адольфа Гитлера на звание «всегерманского вождя».

Если нельзя открыто заявить, что автором документа, который носит название «завещания Гинденбурга», является не кто иной, как сам Адольф Гитлер, то надо совершенно отказаться от права исследования политических документов — с установкой на их достоверность по содержанию и стилю. Надо прямо указать, что Гинденбург автором этого документа отнюдь не является, ибо не только отдельные слова и фразы, целиком заимствованные из национал-социалистского словаря и из фразеологии фашистской партии, но и вообще весь стиль этого «завещания» сильно смахивает на одно из очередных выступлений преемника президента-фельдмаршала. Гинденбург даже не знал значения тех слов, которые имеются в приписываемом ему завещании, трактующем о великой спасительной роли национальной революции, о грозившей западной культуре катастрофе и т. д. Гинденбург никогда не мог бы обратиться к Гитлеру, подражая императорам, со словами

«мой канцлер». Престарелый фельдмаршал, великолетно сознававший, какую роль играла случайность в его исторической роли, никогда не мог говорить о себе, как о фельдмаршале великой мировой войны. Никогда не мог он так дипломатически заявлять о своих монархических убеждениях и никогда не мог наконец так решительно забыть своих религиозных убеждений, чтобы ни одним словом не упомянуть о боге в тот час, когда он намеревался, по его убеждению, предстать перед «всевышним судьей». Нет, Гинденбург не мог написать или продиктовать этого беспримерного документа. Он, быть может, только подписал этот документ. Достаточно посмотреть на последнюю подпись Гинденбурга на верительных грамотах фон-Папена, чтобы убедиться по этой начертанной дрожащей рукой подписи с двумя жирными кляксами, что в последние недели, а может быть, и месяцы, в лице Гинденбурга мы имели дело с политиком, которому, по злому берлинскому выражению, только забыли доложить, что он давно уже приказал долго жить.

Зато авторство Гитлера выпирает из каждой строки «завещания Гинденбурга». И это авторство подтверждается всем церемониалом опубликования «завещания» в печати. Согласно тексту завещания, оно должно быть передано сыном Гинденбурга Гитлеру и Гитлером — германскому народу. Невольно приходится задать вопрос: почему в стране, где с таким чисто религиозным пиэтетом чтилось малейшее желание Гинденбурга, где из президента-фельдмаршала сделали что-то в роде политической святыни или иконы, — эта воля покойного нарушается? Почему «завещание» вручает Гитлеру не сын покойного президента, а вице-канцлер фон-Папен, имя которого, как душеприказчика, нигде решительно не упоминается? Почему опять-таки именно фон-Папен передает завещание для опубликования в печати, — почему это не делает сам Гитлер, который как бы не хочет прикоснуться к чаше святого Грааля?

Ответ на эти вопросы очень прост: нужен свидетель подлинности завеща-

ния, нужен заложник в лице фон-Папена, который избран для этой роли, быть может, еще и потому, что в настоящем завещании именно он назывался преемником Гинденбурга. Самое опубликование этого сфабрикованного документа было обставлено так, чтобы ни у кого не было сомнения в том, что Адольф Гитлер является законным и достойным наследником и преемником Гинденбурга. История с «завещанием Гинденбурга» в значительной мере дополняет и округляет весь политический и психологический облик германского диктатора.

Когда Луи-Наполеон Бонапарт высидел на берег Франции, чтобы подготовить свой государственный переворот, над его головой кружился прирученный орел, которого до этого знаменательного «чуда» долго кормили сырым мясом из шляпы будущего принца-президента и императора. Мы живем в эпоху, когда такие театральные орлы и их знамения больше не в моде. В нашу эпоху среди правящей буржуазии более популярны конкретные политические документы, хотя бы и сфабрикованные на тот или иной случай.

«Завещание Гинденбурга» нужно было национал-социалистской партии для того, чтобы закрепить свое влияние в мелкобуржуазных массах, быть может, даже в кругах средней буржуазии. Недаром в этих кругах национал-социалистские демагоги накануне «плебисцита» действовали почти исключительно с помощью цитат из «завещания», вернее, с помощью одной цитаты — об исторической роли Адольфа Гитлера. После фельдмаршала мировой войны президентом Германской республики должен был стать скромный ефрейтор, Адольф Гитлер. Речь, которую Адольф Гитлер произнес накануне «плебисцита» в Гамбурге, является в своем роде дополнением к «завещанию». Она является одновременно и объяснением самого факта появления этого завещания. Эта речь целиком построена на том, что «вождь германского народа» вышел из народа, что он является од-

ним из малых сих, почти просящим извинения за то, что он имел смелость объявить себя спасителем Германии. Завещание Гинденбурга должно было заранее освятить то святотатство, которое очевидно, по мнению самого Гитлера, совершила национал-социалистская диктатура, возглавив теперь бывшим малюром и ефрейтером не только правительство, но и самое германское государство, во главе которого некогда стояли императоры и короли, а в последние годы — великий фельдмаршал мировой войны Гинденбург. Бывший шорник Фридрих Эберт конечно здесь совершенно скидывается со счетов: кто его теперь помнит в Германии!

Возглавление германского государства Адольфом Гитлером, как наследником Гинденбурга, повторяет фактически еще раз тот прием, который был пущен в ход германским монополистическим капиталом в день передачи всей полноты власти национал-социалистской партии. Бывший национал-социалист и нынешний руководитель «Черного фронта», Отто Штрассер не совсем неправ, когда он называет Адольфа Гитлера «пробкой германской революции». Он называет его еще сейсмографом германского народа 1918—1933 гг., мембраной германского чувства, т.-е. тем человеком, который говорит то, что мог бы сказать любой истощенный и разоренный страданиями войны и послевоенного периода немец (читай: мелкий буржуа или деклассированный пролетарий), чувствующий облегчение от того, что крик его собственной души Гитлер передает в каких-то более или менее членораздельных словах. Именно такого человека монополистический капитал и поставил во главе своей диктатуры, — для того, чтобы скрыть от мелкобуржуазных и деклассированных рабочих масс ее основную сущность. И именно такого человека монополистический капитал должен был поднять на еще высшую ступень звания «главы государства», после того, как 30 июня 1934 г. Адольф Гитлер, по указке того же монополистического капитала, вынужден был совершить антигитлеровский переворот, что сильно сузило мелкобуржуаз-

ную базу национал-социалистской диктатуры. Уменьшение реальной социальной базы должно было привести к усилению акцента на... реальный мистицизм.

Адольф Гитлер именно поэтому и объявлен вождем германского народа, именно поэтому только к нему и можно обращаться со словами «мой вождь» (ко всем остальным фашистским вожакам надо обращаться с простым упоминанием их чина, без интимного «мой»), что события 30 июня доказали то, что было известно и до них: Адольф Гитлер не является фактическим вождем и руководителем диктатуры. Он — только инструмент и рупор диктатуры. Это надо было скрыть однако еще и потому, что смерть Гинденбурга надо было в интересах монополистического капитала использовать для того, чтобы во второй раз (первый раз это было сделано 30 июня) объявить революцию законченной.

Главой государства Адольф Гитлер сделан потому, что ему, как главе государства, еще легче будет, чем до сих пор, скрывать от широких народных масс свой главный недостаток или, с точки зрения поставившего его у кормила правления монополистического капитала, свое главное достоинство: неумение и нежелание принимать самостоятельные решения. Адольф Гитлер не только легко поддается чужому влиянию, — он очень любит принимать решения на основании представленных ему аргументов, т.-е. очень любит оформлять чужие решения. Он является в этом смысле достойным преемником маршала-президента. Но Адольф Гитлер, с другой стороны, — недаром он истерик, — легко может стать инструментом весьма решительных мероприятий, которые подсказаны ему со стороны и которые кажутся ему неизбежными и необходимыми на основании грубо преувеличенных алармистских сведений. Президент, охотно оформляющий чужие предначертания и решения, может, таким образом, быть, когда это нужно, решающим фактором и действующим главой исполнительной власти, в особенности в такие переходные

моменты, каким являлся например день 30 июня. В этом смысле события 30 июня подготовили президентство Адольфа Гитлера. Если до этих событий в руководящих кругах германской буржуазии шли споры и даже упорная борьба по вопросу о том, кому быть главой германского государства после смерти Гинденбурга, то после этих событий, в особенности после выяснения роли самого Гитлера в этих событиях, никакого другого кандидата в преемники Гинденбургу и быть не могло. Накануне событий 30 июня ближайшие сотрудники Гитлера (Гесс, Геббельс, Балдур фон-Ширах) произнесли ряд речей, в которых прямо и открыто говорилось о неизбежности «второй революции», с той единственной оговоркой, что исключительно сам «вождь» может определить момент начала этой «второй революции». Даже Герман Геринг говорил на тему о необходимости и неизбежности «второй революции». Одновременно Адольф Гитлер ведет переговоры с Грегором Штрассером. Его посланцы спрашивают Грегора Штрассера, при каких условиях мог бы он вступать в правительство или же стать во главе «рабочего фронта». Гитлер чувствовал, что национал-социалистская диктатура теряет почву под ногами: она не могла, не хотела и не умела осуществить ни одного из своих обещаний, сделанных ею до прихода к власти. Выход из положения Адольф Гитлер видел в организации «второй революции». Вместо невыполненных демагогических обещаний должны были последовать новые, сверхдемагогические обещания. Однако дело обернулось совсем иначе.

Германский монополистический капитал дал понять Адольфу Гитлеру, что он может удержаться у власти не с помощью сверхдемагогии, а путем отказа от демагогии, путем приближения к тому идеалу, который маячит перед германским монополистическим капиталом в форме откровенной военной диктатуры. После информации о готовящейся «второй революции» со стороны Адольфа Гитлера руководящие круги германской буржуазии заставляют президента Гинденбурга произнести по

адресу Гитлера ту же самую филиппику, — против большевизма, — которую президент впервые адресовал когда-то Брюнингу. Эту довольно примитивную филиппику повторил и развил фон-Папен в своей марбургской речи, причем речь эта была, еще до ее произнесения, разослана всем генералам рейхсвера и одобрена ими.

С другой стороны, Герман Геринг сыпал «вождю», как из ящика Пандоры, одно полицейское сообщение за другим относительно раскрытых заговоров против фашистского режима или же против Гитлера лично. Это приводило руководителя фашистской диктатуры в то истерическое состояние, когда он готов принять самое радикальное решение, от которого он уклоняется по мере сил и возможностей в нормальном состоянии. Речь Гитлера в рейхстаге очень наглядно рисует все те стадии истерического или во всяком случае сильно повышенного состояния его нервной системы, которое он пережил накануне событий 30 июня.

Эти события нашли свое завершение в смерти президента Гинденбурга. Вернее, самые июньские события разыгрались в предвидении скорой кончины престарелого президента. Без ликвидации всяких шансов «второй революции» Адольф Гитлер не стал бы так автоматически наследником и преемником Гинденбурга.

Сознательное или подсознательное чувство мещанина, добравшегося до головокружительных высот власти и поэтому постоянно ищущего легализации своего положения, побудило Адольфа Гитлера пойти на авантюру плебисцита 19 августа. Гитлер хотел доказать своим хозяевам, руководящим буржуазным кругам Германии, что, несмотря на все потрясения 30 июня, у него все-таки имеется широкая массовая база. Надеясь на свой пропагандистский аппарат и на тот террор, который господствует в стране, Гитлер рассчитывал, что плебисцит 19 августа даст ему блестящее подтверждение его нового звания вождя не только национал-социалистской партии, но и всего германского народа. Руководящие круги германской

буржуазии, в особенности круги рейхсвера, разрешили Гитлеру произвести этот смотр своих сил, ибо, с одной стороны, и эти круги были заинтересованы в такой проверке наличия массовой базы фашистской диктатуры, а с другой, эти круги знали, что эвентуальный провал генеральной проверки гитлеровских сил целиком, головой, выдаст им Гитлера. Подтверждение не только того факта, что мелкобуржуазная массовая база фашистской диктатуры суживается в стране, но и наличие увеличения активного сопротивления фашистской диктатуре со стороны рабочих масс должно было, естественно, сделать «вождя» Адольфа Гитлера еще большим пленником рейхсвера, чем он был в тот момент, когда генерал Бломберг после событий 30 июня выражал ему благодарность рейхсвера за проделанную черную работу.

День 19 августа 1934 г. был для Гитлера и для фашистской диктатуры действительно историческим днем, но только не в том смысле, как этого ждали национал-социалистские «вожди». Крупные города и промышленные центры покрылись коммунистическими плакатами. Рабочие руки в течение ночи переделали национал-социалистские плакаты в антифашистские призывы. В Берлине, в рабочих кварталах, на всех фашистских плакатах, с которых «вождь» призывал голосовать за него, коммунисты слово «да» заклеили словом «нет»! Конечно в течение дня штурмовики и охранники восстановили истинное содержание фашистских плакатов, но рабочие, которые шли ранним утром на свои предприятия, видели, что коммунистическая партия, революционный авангард рабочего класса, находится на боевом посту. Рабочие не только голосовали против Адольфа Гитлера: в больших городах они приняли меры к проверке правильности подсчета голосов, и эта их проверка фиксировала в ряде случаев со всей неопровержимостью, что во время подсчета огромное количество голосов против фашистской диктатуры было просто уничтожено. Если в таких условиях фашистам пришлось признать наличие в общем се-

ми миллионов избирателей, голосовавших против утверждения Адольфа Гитлера в его звании вождя и главы государства, то ясно станет все значение огромного личного поражения Гитлера и поражения всей национал-социалистской диктатуры. Одним из последствий этого поражения и было столь милитаристское оформление партийтага в Нюрнберге. Разумеется, это милитаристическое оформление преследовало еще и цели пробной мобилизации, проведенной по всем требованиям военного искусства. В частности была проверена мобильность германских железных дорог на случай войны. Но, помимо такой военно-политической установки, нюрнбергский партийтаг имел еще и другую установку: он демонстрировал рейхсверу готовность национал-социалистской партии признать его верховное руководство, а всей стране — руководящее значение германского рейхсвера в области верховной политики. Если рейхсвер в свое время в лице мюнхенской контрразведки породил политика Адольфа Гитлера, если рейхсвер в свое время обеспечил бескровный приход его к власти, а затем ликвидацию курса на «вторую революцию», то в Нюрнберге рейхсвер выступил наконец на авансцену германской политики. Правда, представители рейхсвера играли пока роль молчаливых слушателей. Но совершенно ясно, что это — слушатели, которым не декламируют, а делают доклады.

Адольф Гитлер не был бы тем мясанином во дворянстве, каким он является по существу всего своего политического и психологического облика, если бы он не сделал из нужды добродетель. Он знает, что он в плену у рейхсвера, но он в этом плену чувствует себя не только превосходно, — он весь полон стремлением как можно ярче описать этот свой плен. Его ближайший соратник Рудольф Гесс при открытии партийтага произносит поэтому похвальное слово рейхсверу. Это приветствие представителям рейхсвера звучало так, как будто хозяева партийтага

дрожили от страха, что высокие приглашенные не удостоят этого праздника своим присутствием, а теперь скрывают пережитое ими под грудой преувеличенных комплиментов и благодарностей пришедшим. Но еще интереснее перечитать в национал-социалистических газетах (в особенности в «Фелькишер беобахтер») описания участия рехсвера и его представителей в нюрнбергском партийтаге. Можно смело сказать, что фашистские писаки, по указке вождя, побили все рекорды сервилизма и угождичества.

Сознание своего политического пленения у рейхсвера вызвало в Адольфе Гитлере необходимость еще больше усилить акцент на «примат» своего волеизъявления в своих выступлениях на партийтаге. Чем меньше становится личный удельный вес «вождя» в рамках диктатуры, тем больше ощущает он потребность подчеркивать, что наивысшим законом Германии является личная его, Гитлера, воля. Этот политический эгоцентризм был и до прихода Гитлера к власти одним из основных моментов национал-социалистического движения. Истерическая мегаломания была сделана средством обмана народных масс, — она освобождала, как известно, от необходимости детального и делового изложения программы, облегчая всякие тактические ходы партии. Но за время пребывания Гитлера у власти это подчеркивание руководящего момента личной воли Адольфа Гитлера достигло размеров, которые неизвестны были доселе в человеческой истории. Людовик XIV с его заявлением «государство, это — я!» все-таки только скромный дилетант по сравнению с Адольфом Гитлером. Дилетант по сравнению с Адольфом Гитлером и Вильгельм II, ныне изгнанник из Доорне, который также, как известно, умел хвастать «всемогуществом своей державной воли». Речи Адольфа Гитлера пестрят его волеизъявлениями так, что при чтении просто рябит в глазах, а при прослушании получается сплошное «яkanie». Даже в своем обращении к дипломатическому корпусу Гитлер не мог удержаться от произнесения этих сакраментальных

слов: «моей волей является»... И если со всей внимательностью проштудировать все речи Гитлера, которые он произнес на нюрнбергском партийтаге, то (если не считать всякого рода пошлостей, к примеру по женскому вопросу) останется, как лейт-мотив, именно это подчеркивание решающего момента личной воли Адольфа Гитлера в германской политике, в устройении судеб германского государства. Личная воля Адольфа Гитлера — с одной стороны, необходимость быть готовым к грядущей войне, — с другой! О необходимости быть готовым умереть за Германию Адольф Гитлер говорил, обращаясь не только к армии, что было бы естественно, но и к рабочим, к молодежи, к своим охранникам и штурмовикам, — даже к женщинам, которых он фактически предупреждал о том, что уделом их мужей и сыновей является смерть на поле брани. Это чудовищное подчеркивание личной диктатуры вместе со зловещими напоминаниями о необходимости умереть за Германию придает фашистской диктатуре некоторые черты римского цезарианства времен упадка Римской империи. Разве действительно не любопытно, что вождь национал-социалистической диктатуры предпочитает говорить о том, что нужно умереть во имя Германии, а не о том, что нужно жить во имя ее!

Помимо этого напоминания о необходимости быть готовым к смерти за фашистскую Германию, в речах Гитлера было еще и упоминание о том, что революция кончилась и что новой революции не будет в Германии ровно тысячу лет. Этим своим заявлением Гитлер имел за пределами Германии шумный и вполне заслуженный успех. Трагически погибший германский комик Макс Палленберг рассказывал перед смертью своим друзьям, что он собирается сыграть в одной из комедий роль Адольфа Гитлера, причем великий актер собирался поставить главный акцент именно на беззастенчивости широковещательных обещаний Гитлера, комизм которых заключается в их чудовищном разрыве с мрачной действительностью. Быть может, к лучшему, что

Палленбергу не удалось выступить в роли Гитлера, так как удачнее самого вождя его роли никто не сыграет, тем более, что с первого же момента своего появления в национал-социалистском движении он все время вообще играет роль. Каждое выступление его, каждое его слово рассчитано на театральный эффект. И в этом смысле он опять-таки весьма сильно напоминает своего предшественника на германском троне, Вильгельма II, который во время трагических ноябрьских дней 1918 г., удаляясь в изгнание в Голландию, мог бы сказать, подражая Нерону: «Какой артист во мне умирает!»

Известный французский журналист Мишель Горель пишет по этому поводу в «Эксельзюре»:

«Гитлер не управляет страной. Он порхает. Это надо понимать как в переносном, так и в буквальном смысле слова. Он всегда находится в самолете и покидает звездные равнины только тогда, когда ему надо выступить с большим шумом и треском на каком-нибудь грандиозном собрании. В имперской канцелярии чиновники вместо него обрабатывают текущие дела. Уже прошло несколько месяцев, заверял меня крупный германский чиновник, как Гитлер не читал докладов германских представителей за границей. Он не берет их в руки. Зачем они ему? Ведь его внешняя политика раз навсегда сформулирована в книге «Моя борьба». В то время как вождь царствует таким образом в небесах и еще во время своей жизни превращается в ходячий миф, в Германии два человека борются из-за господства в стране. Единоборство Геббельса с Герингом достигло своего апогея. Без всяких преувеличений можно говорить о заключительной фазе этой борьбы. Один из них должен будет в ближайшее время сойти с политической сцены. Геринг выиграл, собственно говоря, первый тур борьбы (во время событий 30 июня), и Геббельс должен был уже уйти. Но второй тур неожиданно выиграл Геббельс. Теперь Геббельс имеет возможность разоблачать перед вождем темные проделки прусского министра-президента, Геринг, как утверждает Геббельс, работает в пользу Гогенцоллернов. Он будто бы твердо обязался по отношению к кронпринцу и обещал ему вернуть его на трон его отцов. Для того, кто знает кулисы германской политики, в этом утверждении нет ничего неправдоподобного. Кавалер ордена «Пур ля мерит», высшего германского ордена и других отличий (т.е. Геринг), никогда не скрывал своих монархических симпатий, и в Доорне всегда больше всего рассчитывали именно на него. На стороне Геббельса, поддерживая его разоблачения

против Геринга, выступали еще два «левых» национал-социалиста, всегда выступавшие против монархистов, — вождь «рабочего фронта» Лей и новый начальник штурмовых отрядов Лютце. Поддержка этих преторианцев заставила Гитлера поразмыслить над требованием Геринга об отставке Геббельса. Этими колебаниями Гитлера объясняется также его нежелание освободить от обязанностей вождя молодежного гитлеровского движения Балдур фон-Шираха и руководителя «рабочего фронта» Лея. Пока что Гитлер выступает с угрозами против руководящих кругов тяжелой промышленности, которым он угрожает «радикальными экономическими реформами», и против монархистов, которым он угрожает «санкциями».

Французский журналист правильно изображает положение в Германии. Никто не сомневался в том, что события 30 июня являются не завершением, а лишь началом определенного периода фашистской диктатуры. Никто не сомневался в том, что фашистская диктатура будет развиваться в сторону откровенной военной диктатуры, в рамках которой, быть может, и будет сохранен Адольф Гитлер «для больших okazji». Выступление Геринга с намеками на возможность монархической реставрации носит тот же характер, что и его разоблачения о заговоре во имя «второй революции» накануне событий 30 июня. Никто не требует от Гитлера восстановления монархии. Но угроза возможности ее восстановления должна побудить Гитлера ускорить процесс подчинения фашистской диктатуры основному фактору монархии, т.е. армии.

«Когда была образована национал-социалистская партия, — заявил Адольф Гитлер в своей заключительной речи на нюрнбергском партийтаге, — в Германии были две группы партий: во-первых, партии мирозерцаний, т.е. такие, которые верили в то, что они таковыми являются, и, во-вторых, экономические партии. (Гитлер говорит, очевидно, о партиях, защищающих интересы отдельных групп. — Н. К.). Если наше движение оказалось в состоянии за очень короткий исторический срок — в пятнадцать лет — удалить эти партии из политической жизни Германии, то это является последующим доказатель-

ством того, как слабо стояли эти партии на почве действительного мирозерцания». «Ибо, — подчеркивает Гитлер, — никогда еще в истории человечества борьба между мирозерцаниями не разрешалась в течение пятнадцати лет. Такая борьба продолжается в течение столетий. Целые поколения вовлекаются в такую борьбу и целым поколениям не удается дожить до конца этой борьбы».

Гитлер совершенно прав, ибо классовая борьба продолжается не только столетия, а тысячелетия, и кончится она только тогда, когда рабочему классу удастся построить бесклассовое общество. Грубой передержкой совершенно несовместимых понятий Гитлер констатирует «победу» национал-социалистской партии над другими «мирозерцаниями». При этом Гитлер усматривает залог поражения других партий в том, что они всегда готовы были к компромиссам, в то время как партия, имеющая мирозерцание в роде национал-социалистской, никогда на компромиссы не соглашается, всегда требуя себе всей полноты власти.

Дальше в речи Гитлера идут, поистине, дела семейные: «вождь» говорит о «фантастическом восстановлении Германии», экономическом, политическом и моральном. Это утверждение наличия успехов национал-социалистской диктатуры, которые существуют, как известно, только в воображении Гитлера, ему нужно для того, чтобы объяснить своим слушателям всю политическую и этическую закономерность того, что в Германии «всю полноту власти получило историческое меньшинство». «Германский народ счастлив, что он имеет перед собой авторитетную власть, которая отвечает за самое существование германского народа. Германский народ счастлив, что прекратилась вечная смена (политических) явлений и появился недвижимый полюс, который чувствует себя носителем лучшей крови германского народа и, сознавая себя таковым, сам себя возвысил до руководства нацией и исполнен решимости сохранить это руководство, использовать его и ни в коем случае не уступать его другим».

Никто не может считаться ответственным за стиль и образы Гитлера, которые в переводе звучат чудовищно: как может полюс быть исполненным решимости и руководить? Но мысль Гитлера понятна во всей ее убогости. Она заключается в том, что «вождь» надеется на инстинктивное доверие мелкой буржуазии к руководству, на ее тоску по авторитетной власти. Адольф Гитлер надеется, что германский бюргер, увидев, что его страной правит не столько, правда, крепкое, сколько лишь кажущееся крепким правительство, еще туже надвинет на голову свой ночной колпак. Гитлер в своей речи перед представителями женских организаций рисовал женщинам все прелести их домашнего уюта, в то время как мужчинам приходится участвовать в жесточайших жизненных боях. Невольно после слов Гитлера о счастливом германском народе, которому не приходится думать о своих судьбах, — ибо об этих судьбах думает какой-то таинственный полюс, — приходит мысль о том, что Гитлер хотел бы действительно превратить весь германский народ в каких-то домашних хозяек, коллективно вышедших замуж за Адольфа Гитлера и выполняющих беспрекословно его малейшее желание и малейшую прихоть. Калигула некогда мечтал о том, чтобы весь римский народ имел одну голову, которую можно было бы снести одним ударом. Адольф Гитлер, вероятно мечтает о том, чтобы весь германский народ был грандиозной бабой, на которой он мог бы жениться и тем окончательно и бесповоротно разрешить спор «мирозерцаний». Существование же национал-социалистской партии доказывается следующими положениями, проще которых действительно ничего и выдумать нельзя: «Пока будет существовать национал-социалистское государство, будет существовать национал-социалистская партия. Пока будет существовать национал-социалистская партия, не может быть ничего иного в Германии, кроме национал-социалистского государства».

За несколько дней до начала фашистского съезда в «Фелькишер беобахтер» можно было, между прочим, вычитать, что в Нюрнберг перевозятся старинные атрибуты императорской власти — корона и скипетр священной Римской империи. Захлебываясь от восторга и умиления, «Фелькишер беобахтер» описывала, как эти драгоценности древней римской короны «будут блестеть и сиять около нашего вождя в старинном достопочтенном Нюрнберге», когда Гитлер обратится со своей речью к самым выдающимся представителям нации и они (корона и скипетр империи) будут символом тысячелетнего царства священной Римской империи, воскресшего в народном государстве Гитлера. Одновременно обер-бургомистр Либль об'явил, что всегда, после выборов нового императора, первый рейхстаг созывался в Нюрнберге и что именно во время этого первого рейхстага в Нюрнберге показывались корона и скипетр священной Римской империи германской нации.

Никто конечно не понял этих намеков фашистского органа так, что Адольф Гитлер собирается возложить на себя корону императоров священной Римской империи. Кстати сказать, настоящая древняя корона и настоящий древний скипетр хранятся не в Германии, а в Вене, и в Нюрнберг были привезены, стало быть, подделки. Но все поняли эту жалкую комедию с атрибутами императорской власти, как последний штрих к личному культу Адольфа Гитлера.

«Я знаю одного человека, — пишет Септимус (сотрудник «Либерте»), — который должен был заболеть от зависти, прочитав отчеты о съезде национал-социалистов в Нюрнберге. Этот человек — Вильгельм II. Ничего не обожал так император Вильгельм II во время своего царствования, как финиам. Придворные и официальные ораторы на различных празднествах называли его победителем, непобедимым, высшим главнокомандующим, реформатором рода человеческого, другом мира. Но никому из них не пришло в голову подойти к императору, остановиться перед ним в истерическом восторге и заорать ему прямо в лицо: «Мой император, вы всё — в одном!» Если же вместо слов «мой император» поставить

слова «мой вождь», то получится буквальное повторение того, что Рудольф Гесс сказал на нюрнбергском партийгае. Конечно для Вильгельма II эта колоссальная лесть, вероятно, значит столько, сколько проигранная битва. Он, вероятно, вне себя от мысли, что этот несчастный Гитлер служил в его славной армии простым солдатом. Если бы он это знал...»

«Но, — продолжает французский журналист, — дело в том, что во времена императора Вильгельма II даже в Германии все улыбались бы, если бы кто-либо обратился к императору с такой грубой лестью. Все наши бы, что с Рудольф Гесс немножко зарвался по отношению к его величеству. Оппозиционные газеты опубликовали бы карикатуры, берлинские мальчишки упражнялись бы в своих островах... Теперь миллионы немцев находят, что Рудольф Гесс сказал нечто, само собой разумеющееся... «Мой вождь, — сказал он, — вы всё — в одном!»

И французский журналист с издевкой спрашивает, когда эта формула будет включена в немецкие молитвы и когда к Адольфу Гитлеру, как к римскому цезарю, начнут обращаться, именуя его божественным.

Вильгельм II конечно может заболеть от зависти и злости. Он тем более, вероятно, беснуется, что Адольф Гитлер безбожно ему подражает. Сопоставьте вошедшие в историю изречения Вильгельма II и ставшие уже историческими не менее категорические утверждения Адольфа Гитлера, и вы увидите, что или Гитлер подражает последнему германскому императору, или же оба они — духовные близнецы.

«Кто попытается противостоять мне, того я разобью вдребзги» — кричал в свое время Вильгельм II.

«Моим непреодолимым решением является решение привлечь к личной ответственности любого человека, который пользуется задержать данное развитие или затормозить его силой», — заявляет «вождь» германского народа Адольф Гитлер.

Нужно отдать справедливость Вильгельму II: тот выражался короче, внушительнее и ярче.

Он например говорил: «Пессимистов я не терплю. Нытики пускай отряхнут прах отчества от ног своих».

Адольф Гитлер вторит ему:

«В моих глазах критика не является жизненно-необходимой функцией. Без кригигов мир может существовать, без рабочих — нет».

Даже в ссылках на преемственность авторитета верховной власти Вильгельм II был как-то внушительнее. Он ссылался на своего деда, первого германского императора, победителя в трех войнах, формального руководителя той эпохи, когда главными деятелями Германии были Мольтке и Бисмарк.

«Мой почивающий в бозе пресвятой дед...» упоминался Вильгельмом по любому поводу.

Адольф Гитлер прячется за тень Гинденбурга:

«Как только покойный старик возложил на меня ответственность, я не колебался ни минуты».

В своей гамбургской речи Гитлер, между прочим, заявил, что самый его злой враг не может бросить ему упрека, что он изменился в течение последних 15 лет (т.-е. со дня начала национал-социалистского движения). Гитлер прав: он насколько не изменился. Это был и остался мелкий буржуа, который, как выражается один из его клеветников, Альфред Розенберг, «имеет в себе категорический императив речи», т.-е. может наводить туман на мозги мелких буржуа и который, как это блестяще изображено в романе Фойхтвенглера «Успех», сам удивляется, что его речи пользуются в мелкобуржуазных массах такой грандиозной популярностью. Как во время агитационного периода национал-социалистского движения, так и во время пребывания у власти речи Адольфа Гитлера никогда не приводятся в изложении, а исключительно в текстуальном воспроизведении. Изложить их своими словами совершенно невозможно: в каждой фразе подлежащее и сказуемое на своих местах, но вся фраза в изложении или переводе звучит совершенной бессмыслицей. В этом смысле «иррациональность» речей Гитлера прогрессирует. Даже «основоположническая» книга национал-социалистского движения «Моя борьба» кажется величайшим произведением по сравнению с последними выступле-

ниями Адольфа Гитлера. Во время съезда в Нюрнберге Гитлер произнес целый ряд речей. История не знает лучшего примера бесконечного опешления, уже в самой своей основе, весьма бедной мысли. Как будто бы, как это делают бережливые немецкие мещанки с приходом новых гостей, в один и тот же навар кофе вливают все новые и новые количества воды.

Но если Вильгельм II имел в качестве канцлера долгое время князя Бюлова, который, прикрывая ничтожество политического умишка императора, блестяще владел техникой дипломатии и политики, то Адольф Гитлер имеет в лице Яльмара Шахта человека, блестяще владеющего техникой банковского и экономического искусства. Шахт умеет прикрывать псевдо-научными рассуждениями, во-первых, катастрофичность внутреннего положения Германии, а во-вторых, попытки германского монополистического капитала надуть буржуазию других стран, подобно тому, как она с помощью Гитлера надула свои собственные широкие массы.

В то время как Адольф Гитлер произнес за последнее время добрую дюжину на редкость оптимистических речей для внутреннего употребления, — Яльмар Шахт произносит речи, исполненные пессимизма и предназначенные на экспорт.

Адольф Гитлер пророчесствует, что национал-социалистское государство будет существовать тысячелетия. Яльмар Шахт намекает, что оно может ежеминутно взлететь на воздух. Впрочем последний намек делается исключительно по адресу кредиторов Германии. Для жителей «Третьей империи» предназначается рапорт того же Яльмара Шахта «вождю» накануне лжебисцита 19 августа, в котором сказано, что экономическое положение Германии вполне удовлетворительно.

Шахт произнес две речи: одну — на Лейпцигской ярмарке, другую — на съезде аграрников в Эльсене. По поводу последней речи один из крупнейших органов английской буржуазии, газета

лондонского Сити «Фейнانشель ньюс», писала:

«Было бы бесполезным заниматься разбором и критикой той наглой и неостроумной речи, которую господин Шахт произнес в Эльсене. Когда один из национал-социалистских вождей елевым тоном говорит о советях, у нас окончательно лопаются терпение».

Шахт еще до прихода Адольфа Гитлера к власти вел по отношению к кредиторам Германии грубую политику запугиваний и вымогательств. Он никогда не выступал, собственно говоря, с точно сформулированными требованиями. Он никогда не говорил определенно, что надо сделать, чтобы улучшить экономическое положение Германии или всего мира. Он всегда выступал (в частности в Америке) с научными докладами на темы мировой экономики, говоря о том, что следовало бы сделать. Но затем он, со своей стороны, не дожидаясь согласия противной стороны, декретировал те мероприятия, которые он недавно только теоретически, так сказать, обосновал как эвентуально полезные.

Речь идет о задолженности Германии за границей. Эта задолженность, как известно, всегда была тройкого рода. Во-первых, у Германии были репарационные долги, во-вторых, у нее были коммерческие долги (т.-е. задолженность по займам, полученным за границей) и наконец у нее, как у всякой страны, имеется товарная задолженность, т.-е. задолженность за товары, закупленные немцами за границей в кредит. Что касается первых двух видов германской задолженности, то еще до прихода к власти Адольфа Гитлера вся аргументация Шахта напоминала старый германский анекдот. Некий немец явился в ресторан и попросил отбивную котлету. Когда ему ее принесли, он попросил обменять ее на шницель, каковой он благополучно и съел, а с'ев, спокойно направился к выходу, даже не думая заплатить. Изумленному кельнеру сей находчивый немец объяснил: «За с'еденный мною шницель я вам дал отбивную котлету, а за котлету я платить не обязан, ибо я ее не ел». Шахт так и

говорил: «Коммерческие долги Германия платить не обязана, ибо эти иностранные займы пошли на покрытие репарационных обязательств, а репарационных обязательств Германия платить не обязана, ибо они ей навязаны силой». При этом Шахт конечно скромно умалчивал, что только часть коммерческих займов пошла на покрытие репарационных обязательств.

Теперь Шахт опять ставит проблему иностранной задолженности Германии, ибо это есть конечно, с националистической точки зрения, единственная германская проблема после того, как Адольф Гитлер, об'явив о предстоящем тысячелетнем существовании национал-социалистского государства, заверил, что в Германии революций и классовой борьбы больше не будет. Иностранная же задолженность Германии, сколько бы ни об'являл Гитлер национал-социалистскую Германию «вещью в себе», определяет ее взаимоотношения с внешним миром. Ведь нельзя же считать руководящими лозунгами германской внешней политики миролюбивые заявления Гитлера, тем более, что они следуют после предупреждений молодежи, что она должна готовиться умереть за великую Германию.

Яльмар Шахт давно отмахнулся от всяких репарационных обязательств. С этим за рубежом Германии фактически давно примирились, так как в уплате репарационных обязательств были заинтересованы только правительства стран, победивших Германию в мировой войне. Когда Шахт взялся за ликвидацию коммерческих долгов Германии, дело стало серьезнее, ибо такой отказ от платежа означал, что никто во всем мире не одолжит Германии в будущем денег. Но национал-социалистская Германия считает, что и без такого отказа от платежа старых долгов мало вероятно, чтобы кто-либо за границей одолжил ей что-либо наличными деньгами. Политика Шахта в этом вопросе цинична и нагла, но не лишена внутренней национал-социалистской логики. Если мне в будущем не собираются одолживать, то зачем мне, мол, платить по старым долговым обязатель-

ствам? Конечно примитивно, но Шахт никогда не скрывал (наоборот, он этим всегда хвастал), что при всей своей образованности по части политической экономии он думает и действует на редкость примитивно. Но теперь он пытается так же примитивно доказать, что Германия не может и не обязана платить по товарной задолженности, т.е. за те товары, которые она закупила за границей.

Недавно кавалеристы из германского рейхсвера участвовали в международных состязаниях в Ницце. Лошади были из Берлина доставлены в Ниццу, содержались там во время турнира, а затем были доставлены обратно в Берлин некоей французской фирмой, которая предъявила германскому рейхсверу за свои труды счет. Германский рейхсвер ответил, что он-де охотно уплатил бы по этому счету, но германское правительство не располагает для этого в настоящий момент достаточными валютными средствами. Примитивно? Совершенно верно, но весьма показательное для состояния умов в Германии Адольфа Гитлера.

Фактически Шахт является глашатаям вот такого именно подхода к финансовым проблемам, хотя бы и в международном масштабе. В одной из своих речей он заявил, что «Германия нуждается в полном моратории». При этом он дал следующее объяснение необходимости моратория для Германии и права Германии на него:

«Вина за создавшееся положение, вина за образование горы неоплаченных товарных кредитов падает на иностранных поставщиков по крайней мере в той же степени, что и на германских покупателей. Развитие валютного положения в Германии никогда не было секретом. Я сам сделал в интересах международного товарообмена решительно все, что было в моих силах, чтобы не оставить никого в сомнении относительно действительного положения Германии. В частности ничто не кажется мне столь чудовищным и столь показательным для нынешнего положения вещей, как то, что иностранные правительства предпринимают официальные диплома-

тические шаги для того, чтобы добиться уплаты некоторых неоплаченных счетов. В будущем придется принимать в расчет и этот наш опыт...»

И один из органов Яльмара Шахта — «Берлинер берзенцейтунг» — заявляет по адресу англичан, которые больше всех заинтересованы в германских платежах по товарной задолженности:

«Мы легко можем себе представить, что англичане охотно видели бы во главе нашего Государственного банка или нашего имперского министерства народного хозяйства менее энергичного человека, чем доктор Шахт. Но англичане должны будут поемному привыкнуть к тому факту, что для нас, немцев, повелительные необходимости нашей страны имеют преимущество перед доброжелательством других стран».

Как изменился в гитлеровской Германии лозунг Вильгельма II о «германском месте под солнцем»!

При чем здесь доброжелательство чужих стран? Торгово-промышленные предприятия этих стран продали германским фирмам товары в кредит и требуют теперь уплаты по выданным им векселям. К примеру английские текстильные экспортеры продали немцам текстиль. Теперь оказывается (и об этом пишет в «Дейтчер фольксвирт» один из глашатаев политики Шахта), что английские текстильщики должны были до того, как они предоставили своим немецким покупателям кредиты, хорошо осведомиться об экономическом положении Германии. Поскольку они очевидно этого не сделали, т.е. очевидно не вынесли заранее убеждения, что им за их товары никогда не заплатят, — «германское правительство не видит никаких оснований (так сказано в органе Шахта) к ликвидации возникших затруднений». Во всяком случае Яльмар Шахт в качестве президента Госбанка никогда не даст разрешения на вывоз за границу валюты в уплату этих долгов.

Но так как Яльмар Шахт считает себя ученым экономистом и в особенности ученым экономистом национал-социалистской Германии, то он знает, что соглашения с другими странами по вопросу о кредитах он может добиться только тогда, когда он одновременно со

своими требованиями выдвинет и ряд компенсационных положений. В своей речи в Эльсене он заявил поэтому, что если весь мир поймет справедливость его требований об отказе от каких бы то ни было платежей, то он тогда готов от имени Германии... сотрудничать со всем миром во имя ликвидации всеобщего экономического кризиса.

Экономический советник Адольфа Гитлера, как мы видим, мелочами не занимается. В своих ширококвещательных планах и предложениях он подражает главе фашистской диктатуры. Гитлер обещает своей стране и всему миру, что в Германии не будет в течение тысячи лет новой революции и что вообще национал-социалистское господство будет длиться вечно. Шахт обещает ликвидировать всеобщий экономический кризис, который так жестоко потрясает самые основы капиталистического существования. Гитлер и Шахт могут действительно спросить, подбоченившись, весь капиталистический мир: «Милочка, чего тебе еще от нас нужно?»

Но те из иностранцев, которые внимательно прочли речь Шахта в Эльсене, услышав об этом его ширококвещательном обещании, очень быстро разочаровались. Радикальное средство, которое готово дать капиталистическому миру национал-социалистское государство в обмен за отказ от старых германских долгов, заключается в готовности делать новые долги. При этом Шахт ставит весьма оригинальное дополнительное требование. Он не только требует для Германии полного моратория, т.-е. отсрочки платежей по решительно всем финансовым обязательствам (политическим, частным, товарным), но уже теперь заявляет, что по истечении моратория вся эта задолженность должна быть сокращена до разумных пределов, т.-е. до приемлемых для Германии размеров. Сколько Германия сможет по истечении моратория уплатить по своим долгам, очевидно, должно быть установлено по истечении моратория, т.-е. после того, как Германия восстановит свое народное хозяйство с помощью новых иностранных займов и товарных кредитов.

Правда, Шахт заявил в своей речи в Лейпциге (во время традиционной ярмарки, которая была блестящей иллюстрацией катастрофического положения германского народного хозяйства):

«Мы не хотим пользоваться кредитами, которых нам не дают охотно и совершенно добровольно. Поэтому я хотел бы уже здесь опровергнуть все те слухи, которые распространяются за границей относительно наших намерений вести переговоры о новых займах».

Но так как Шахт хочет сотрудничать со всеми странами в деле борьбы с всеобщим экономическим кризисом, то он готов взять для Германии новые кредиты, а именно «товарные кредиты», которые позволили бы Германии пользоваться на мировом рынке ее нормальными покупательными способностями. Но и здесь Шахт ставит дополнительное условие: «Правительства стран-кредиторов должны изъять свое согласие на повышенные закупки германских товаров». Людям, более или менее нормальным, все эти предложения Шахта конечно кажутся совершенно фантастическими. Шахт однако другого мнения. Он заявляет:

«Если международное соглашение обеспечит такие предпосылки, то этим будет устранено самое основное препятствие к осуществлению дела оживления мировой торговли. Тогда выйдет само собой, что Германия получит те торговые кредиты, которые позволят ей пользоваться на мировом рынке ее нормальными покупательными способностями. С восстановлением роли Германии на мировом рынке мировая торговля снова придет в состояние равновесия. Как только это произойдет, как только кривая мировой конъюнктуры снова пойдет вверх, все другие затруднения смогут быть преодолены без особенных затруднений».

Конечно Шахт скромно умолчал о том, как будут развиваться первые и дальнейшие явления восстановления мирового рынка. Он при этом скрыл от своих слушателей и пытался скрыть и от внешнего мира то, что Германия не собирается покупать за границей боль-

ше, чем она покупает в настоящее время. Неверно утверждение, что импорт иностранных товаров в Германию сократился по сравнению с годами, предшествовавшими национал-социалистской диктатуре. Это утверждение нужно заправилам национал-социалистской экономики для того, чтобы доказать обманутым народным массам, что германская изоляция является не результатом катастрофической национал-социалистской политики, а лишь самоизоляцией, вызванной определенными установками фашистского руководства, берущего курс на «самоудовлетворяющуюся» Германию. В действительности же импорт сырья и товаров в Германию из-за границы нисколько не уменьшился: изменился только характер этого импорта, ибо Германия «возит исключительно то, что идет на увеличение и усиление ее вооружений, на подготовку новой империалистической войны. Шахт является наряду с Гитлером, подготавливающим эту войну идеологически, тем германским политиком, который подготавливает ее с экономической стороны. Оба они при этом пытаются скрыть от других стран подготовку войны тем, что они прикрывают свою воинствующую идеологию фразеологией о роли национал-социализма как инструмента борьбы против опасности мирового революционного движения.

Шахт и Гитлер продолжают ту линию, которую фактически начали Эберт и Эрцбергер и которую вел одно время, хотя и другими средствами, Штреземан. Гитлер и Шахт хотят с помощью стран, победивших Германию в первой империалистической войне, переиграть эту потерянную войну, вызвав ее снова. Шахт ставит во главу угла своей экономической политики «самоудовлетворяющуюся» Германию, т.-е. Германию, отрезанную от мирового рынка только постольку, поскольку речь идет о покрытии потребности в предметах первой необходимости. Но этот же Шахт в качестве глашатая национал-социалистских идеалов в области народного хозяйства нападает на Брюнинга за то, что тот был проводником «аскетического взгляда на германскую жизнь», в то

время как «необходимо разбудить в германских народных массах непреодолимую волю к жизни». Так Шахт переводит на более современный язык империалистической эпохи старое понятие о «тевтонском бешенстве».

Шахт конечно умеет говорить о необходимости «социализма». Он бросил крылатое слово о том, что «нельзя требовать от рабочего национального самосознания, если тот голоден». Но при этом он противопоставляет тому праву на труд, которое очень робко и невразумительно декретировала веймарская конституция, право на труд по библии. Это «право» является, по Шахту, подлинным определением социализма, ибо здесь «на религиозной и национальной (?) основе рождается чувство преодоления понятием общей пользы понятия личных интересов». Требования религиозного и национального воспитания рабочих приводят, естественно, к требованию отказа рабочих от какого-либо «эгоистического» взгляда на свои интересы. В одном из последних номеров «Фюрербрифе» (редактор их, Рейтер, — один из главнейших глашатаев воли Шахта в печати) сообщается о некоей чистке, произведенной в «рабочем фронте». Эта чистка была произведена в связи с обнаружением в «рабочем фронте» элементов, вышедших из старых профессиональных союзов, т.-е. очевидно людей, сделавших достаточно робкие (ведь речь идет о людях из старых реформистских союзов) попытки в защиту интересов рабочих в «Третьей империи». «Фюрербрифе» подчеркивают при этом, что не может быть и речи, о том, чтобы в «рабочем фронте», хотя бы в самой отдаленной степени, возродились традиции старых профсоюзов, и заявляют:

«Мы не знаем, не наступило ли с переходом народного хозяйства в руки Шахта время для окончательной дискуссии по этому вопросу (т.-е. по вопросу о лишении «рабочего фронта» даже рудиментарных остатков профессиональной, хотя бы по видимости, защиты интересов рабочих организаций. — *Н К*) Мы знаем, что Шахт стоит на твердой точке зрения и что он считает, что мы находимся перед очень тяжелой в экономическом смысле зимой, во время которой у нас не должно быть внутренних затруднений».

Их не должно быть хотя бы уже потому, что Яльмар Шахт хочет в эту зиму добиться соглашения с другими странами относительно восстановления германского народного хозяйства во всей его мощи за счет этих стран. Он хочет считать лишь случайным заявлением «Манчестер гардиан» о том, что эти его, Шахта, мечты являются великой исторической ошибкой.

Германская фашистская печать никак не может понять, почему иностранная печать так мало занималась нюрнбергским съездом, в особенности так мало реагировала на полудюжину речей «вождя», и так подробно остановилась на выступлениях Яльмара Шахта, в особенности на его речи в Эльсене.

Фашистская печать (в особенности «Крейццейтунг» в ее статье, обошедшей всю мировую печать в качестве рекордного курьеза) всячески усердствует в поучении иностранной печати на тему о тех флюидах, т.е. жизненных токах, которые исходят от Адольфа Гитлера. Так как на нюрнбергском съезде Гитлер не объяснил, как он намерен разрешить насущнейшие вопросы внутривнутриполитического и социально-экономического характера, то германской печати, к примеру «Франкфуртер цейтунг», конечно не оставалось ничего иного, как заявить:

«Основное ощущение нюрнбергского съезда — почти мистическая любовь, которая разрешает в национал-социалистском государстве все вопросы, касающиеся отношений между правящими и управляемым, между государством и общественным мнением».

Считавшаяся когда-то одной из серьезнейших буржуазных газет, «Франкфуртер цейтунг» объясняет затем, как развивается эта мистическая любовь, которая является основой современной общественной жизни Германии:

«Из масс подымается почти невосприимчивый, но весьма влиятельный коллективный флюид. Это есть тот поток, который производит «германское чудо». Этот поток встречается с невидимыми волнами, которые исходят от самого Гитлера. Эта игра обмена душевными силами заменила в Германии партийный парламент. Не в голосованиях, а в живых, определяемых чувством связях между вождями и последователями, укрепляемых такими встречами с народом, находится политический центр тяжести нового государства».

Во время первой империалистической войны все эти «флюиды» просто назывались «гражданским миром» (Burgfrieden). После заявления Шахта, что интересы Германии превыше всего и что в германском народе надо развивать безумствующую волю к жизни, за рубежом Германии в праве были считать выступления Гитлера в Нюрнберге и выступление Шахта в Эльсене явлениями одного и того же порядка.

Заявлением Шахта стоило заняться, — оно, в отличие от высказываний Гитлера, давало программу подготовки войны, ибо когда-то основой в деле организации империалистической войны было заявление Вильгельма II о месте под солнцем для Германии, о котором в несколько своеобразной форме говорит теперь Шахт. Знаменитое «Я не знаю партий, я знаю только немцев» пришло потом. Гитлер со своими флюидами мог бы несколько забежать вперед.

2. АГРАРНЫЙ КРИЗИС

М. Спектатор

1. Прежние аграрные кризисы

Вокруг аграрного вопроса до сих пор ведется в литературе острая полемика. Как известно, Маркс установил, что и в сфере земледелия крупное производство действует в величай-

шей революционностью, уничтожая оплот старого общества, «возделывателя», и выдвигая на его место наемного рабочего. «Таким образом, — писал Маркс, — потребность социального переворота и антагонизмы становятся в деревне оди-

наковыми с городом¹⁾. Против этого положения востала вся буржуазная и социал-фашистская печать. Даже Каутский, который в свое время защищал, правда, коряво и непоследовательно, это положение Маркса, присоединился теперь к хору голосов, отрицающих однородность эволюции сельского хозяйства и промышленности. «Теория некапиталистической эволюции земледелия в капиталистическом обществе, — писал Ленин, — ...есть в сущности теория громадного большинства буржуазных профессоров, буржуазных демократов и оппортунистов в рабочем движении всего мира, — т.-е. новейшей разновидности тех же демократов. Не будет преувеличением сказать, что эта теория есть иллюзия, мечта, самообман всего буржуазного общества». (Собрание сочинений, т. IX, 1-е изд. 1923 г., стр. 198).

На самом деле, буржуазное общество опасается потери своего оплота — кулака-«возделывателя» и не только уговаривает себя в том, что существующий порядок в деревне еще прочен, но и тратит миллиарды народных средств на поддержание его, а буржуазная наука и социал-фашисты угодливо поддерживают его в этом стремлении — консервировать старые «патриархальные» отношения в деревне.

Вот, например, Зомбарт, автор огромного труда «Современный капитализм» (правда, в этом труде нет ценных мыслей, а лишь одно нагромождение фактов), утверждает, что сельское хозяйство недоступно для капитала, что там не применяют машин, что в сельском хозяйстве не происходит концентрации производства, что сельское хозяйство независимо от рынка, не знает кризисов и что мелким хозяевам нечего опасаться конкуренции со стороны крупных. («Современный капитализм», т. III, ч. 2, русск. изд., стр. 318—321). Точно так же и теоретик германских социал-фашистов, Бааде, заявил на Кильском партийном съезде, что «все категории сельскохозяйственных предприятий сохранили поражающую всех жизнеспособность», а теоретический вождь социал-фашистов,

Гильфердинг, писал незадолго до нынешнего кризиса, что мелким предприятиям не угрожает конкуренция крупных, так как цены на сельскохозяйственные продукты определяются по высшим производственным расходам, т.-е. как раз по производственным расходам мелких остальных предприятий. Гильфердинг отрицает возможность аграрного переизводства, когда цены определяются не по высшим, а по низшим производственным расходам, когда крупные, хорошо оборудованные предприятия с низкими производственными расходами диктуют свои цены мелкому и среднему производителю, для которого эти цены являются разорительными.

Теория некапиталистической эволюции сельского хозяйства и вместе с этим уверенность в особой устойчивости сельского хозяйства в отношении кризисов являлась в буржуазных кругах до последнего кризиса преобладающей теорией. За немногими исключениями, об аграрном кризисе говорили, как о редком явлении, вызванном случайными обстоятельствами — войнами, открытиями новых земель и т. д. Экономисты утверждали, что за все существование капитализма были только три аграрных кризиса: после наполеоновских войн, в 70-х годах прошлого столетия и после мировой войны. Все эти кризисы явились будто бы результатом случайных моментов. Хорошо известна та борьба, которую Ленин вел против ревизионистов в этой области. После Маркса и Энгельса Ленин был единственным исследователем, который, основываясь на детальнейшем изучении этой проблемы, отстаивал и развивал положение Маркса и тем самым обосновал правильную аграрную программу и тактику пролетариата в социальной революции.

Уже в своей знаменитой работе «Развитие капитализма в России» Ленин писал: «Россия сохи и серпа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка. Нет ни одной отрасли народного хозяйства, подчиненной капиталистическому производству, в которой бы не наблюдалось

¹⁾ «Капитал», т. I, стр. 485.

столь же полного преобразования техники. Процесс этого преобразования по самой природе капитализма не может идти иначе, как среди ряда неравномерностей и непропорциональностей: периоды процветания сменяются периодами кризисов. (Собр. соч., т. III, 3-е изд., стр. 466).

Борьба против наиболее ходячей идеи буржуазной экономики — «противоположения промышленности и земледелия» и доказательство однородности эволюции промышленности и сельского хозяйства, составляющие содержание знаменитых работ Ленина по аграрному вопросу, — все это уже вытекает из приведенной цитаты. Ленин, как и Маркс, подчеркивает преобразующее влияние крупной промышленности на сельское хозяйство, развитие техники и в сельском хозяйстве и, как результат проникновения капитализма в деревню, постоянную, закономерную смену периодов процветания периодами кризисов в промышленности и в сельском хозяйстве.

Надо сказать, что вся дальнейшая история развития капитализма и почти все серьезные исследования предыдущих этапов развития капитализма являются неопровержимыми доказательствами правильности этих положений Ленина. Мы приводим одну диаграмму известного статистика Снайдера о движении цен в США. Диаграмма дает общий индекс цен и индекс сельскохозяйственных цен. Линии проходят почти параллельно. Поскольку, в капиталистическом хозяйстве цены являются отражением всех процессов и противоречий капиталистического способа производства, постольку

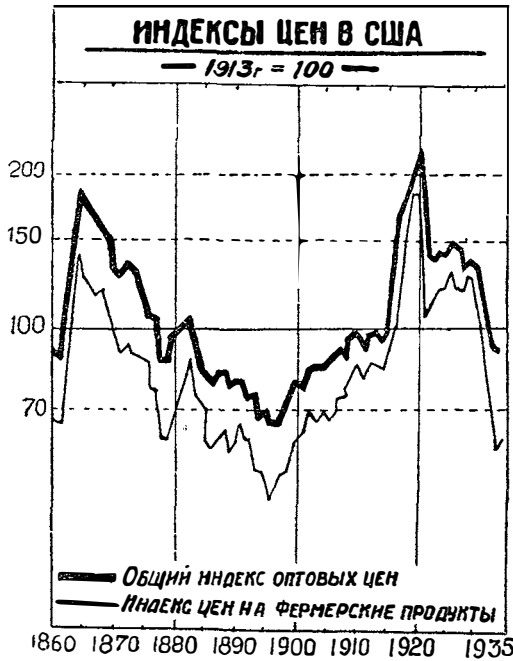
в этом параллелизме движения индекса цен на аграрные продукты и общего индекса цен можно видеть подтверждение положения об однородности эволюции промышленности и сельского хозяйства. Остановимся, однако, подробнее на некоторых кризисах.

Об аграрном кризисе 1857 г. говорил Энгельс в одном из своих писем к Марксу. Чтобы не усложнять наше изложение, мы охарактеризуем только движение цен.

Цены на пшеницу в Англии обнаруживают на протяжении 40-х годов падающую тенденцию. С 1851 по 1855 г. они резко повышаются, так что цены 1855 г. превышают цены 1851 г. на 95 процентов. После этого последовало вновь резкое падение цен. В 1859 г. цена пшеницы вновь вернулась к уровню 1849 г., превышая уровень 1851 г. на 13,9 процента и спустившись по сравнению с уровнем 1855 г. на 41 процент. Надо сказать,

что примерно такое же движение проделывали цены и на другие товары, например на железо. Цена на железо в Англии поднимается с 1851 г. по 1854 г. на 76,5 процента и потом падает до 1859 г. на 30 процентов. Несколькo слабее было движение общего индекса цен, как он исчислялся Зауербеком. Повышение общего индекса цен продолжается до 1857 г., когда он превышает уровень 1851 г. на 46,7 процента, а падение этого уровня происходит только в течение 1858 г., при чем это падение составляет только 6 процентов.

Колебание цен было вызвано открытием калифорнийского золота и промышленным подъемом того времени. Колеба-



ние цен на сельскохозяйственные продукты было более сильным, чем колебание общего индекса цен. Индекс цен на все зерновые хлеба поднимается за годы 1851—55 на 64,4 процента, индекс цен на продукты животноводства несколько меньше. Падение цен на зерновые хлеба продолжается до 1859 г. и составляет 29 процентов. Таким образом, кризис зернового хозяйства, поскольку можно судить по колебанию цен, был более сильным, чем общий кризис.

Заметим мимоходом: то обстоятельство, что падение цен на пшеницу и на все другие зерновые продукты начинается с 1855 г., опровергает положение Туган-Барановского о том, что толчком к общему кризису явился прекрасный урожай 1857 г. Скорее это следовало бы сказать об урожае 1854 г., который был значительней, чем урожай 1857 г. Все же урожай 1854 г. не вызвал кризиса. Цены на картофель и продукты животноводства еще в 1857 г. были выше, чем в предыдущие годы. Одно падение цен на хлеба не могло вызвать кризиса. Неверно, следовательно, что аграрный кризис обусловил промышленный, как утверждают некоторые буржуазные экономисты, ибо падение цен на железо тоже начинается с 1855 г. Далее, резкое падение цен на пшеницу начинается в США с третьего квартала 1857 г., в то время как промышленный кризис разразился в мае—августе того же года.

Общий кризисный уровень цен держится только в течение 1858 г. В следующем году наблюдается уже известное повышение цен. При этом цены на сырье горного происхождения испытывают в следующие годы (1860—62) новое понижение в результате технических сдвигов в этой области, давших возможность сильно расширить производство при снижении производственных расходов. Цены же на хлопок стали подниматься с 1861 г., на шерсть—с 1859 г. В целом хозяйственная жизнь переживала за годы 1859—64 только депрессию, в течение которой отмечался извстный спрос на хлопок и шерсть при сравнительно слабом развитии железно-

делательной и мегаллообрабатывающей промышленности. Годы 1860—61 были неурожайными и вызвали известное повышение цен на зерновые хлеба, но в следующие годы, вплоть до 1864 г., цены на зерно продолжают падать, при чем опускаются даже ниже уровня цен 1859 г. Цены на продукты животноводства тоже испытывают после 1860 г. новую реакцию, которая продолжается до 1863 г. После этого начинается подъем цен: на продукты животноводства до 1866 г., а на зерно до 1867 г. Таким образом, цены на сельскохозяйственные продукты в годы депрессии не показывают подъема, он начинается только в годы промышленного оживления и расширенного воспроизводства основного капитала.

Именно этот факт лег в основу следующего закона Маркса: «Чем более развито капиталистическое производство, тем более поэтому имеется средств для быстрого, безостановочного увеличения части постоянного капитала, состоящего из машин и т. д., чем быстрее накопление (особенно в периоды процветания), тем больше относительное перепроизводство машин и прочего основного капитала, тем чаще наступает относительное недопроизводство растительных и животных сырых материалов, тем отчетливее проявляется увеличение их цен и соответствующая этому последнему реакция». («Капитал», т. III, ч. 1-я, стр. 95). Повышение цен на сельскохозяйственные продукты наступает, следовательно, независимо от случайных неурожаяв, в периоды промышленного процветания в результате перенакопления капитала в промышленности, расширенного воспроизводства основного капитала. Этот закон Маркса, подтверждаемый всей историей капитализма, поможет нам дальше разобраться в современном положении сельского хозяйства капиталистических стран...

Кризис 1866 г. был сравнительно слабым: потребление хлопка и производство чугуна в главнейших странах продолжали нарастать и в 1866 г. Наступившее все же падение цен на зерновые продукты следует считать реакцией на слишком резкое повышение цен за го-

ды 1866—1867, т.-е. за годы неурожая. В целом цены 1869 г. и даже 1870 г. еще остаются на сравнительно высоком уровне.

Следующие годы, 1871—73, были неурожайными. Сбор пшеницы дал за эти годы в Англии в среднем 11,1 млн. кварталов (по 291 литр) против 14,75 млн. (1868—70 гг., во Франции—91 млн. квинталов (по 100 жгр.) против 193 млн. квинт. за 1867—69 гг. Неурожай и франко-прусская война вызвали резкое повышение цен, хотя они в Англии все же не достигают уровня 1867—68 года. Этот подъем цен обрывается с 1872 г. в отношении сырья сельскохозяйственного происхождения, а с 1873 г. также в отношении горного сырья. С 1873 г. наступает кризис. За годы 1874—76 средний годовой сбор пшеницы составил в Англии 11,24 млн. кварталов, следовательно, не намного превысил урожаи предыдущих лет. Другие страны, например Франция, имели сравнительно хороший урожай. Ввоз пшеницы в Англии начинает сильно возрастать. Он составил в миллионах кварталов в год:

1868—70 гг. . . .	8,9
1871—73 » . . .	10,5
1874—76 » . . .	12,3

Ввоз растет из года в год, составляя в 1871—73 гг. 48,65 процента всей потребленной пшеницы, а в 1874—76 гг. уже 52,3 процента всей потребности. Давление иностранной конкуренции на английский рынок чувствуется с каждым годом все сильнее. Известно, что главной основой этой конкуренции явилась низкая рента в США и в других странах, вывозящих хлеб. В США в 1888 г. один га обрабатываемой площади стоил 641 марку, в то время как в Англии за 1 га платили 2.022 марки, во Франции — 1.497, в Германии — 1.055 марок. Вместе с тем цены на пшеницу в США были значительно более низкие, чем в европейских странах. В 1872 г. платили за тонну пшеницы в США — 171 марку, в Англии — 267, во Франции—247, в Германии—238. В 1873 г. цены в США падают до

159 марок, в то время как в Европе они продолжают подниматься, — так, в Англии — до 275 марок. Отсюда и усиленный ввоз хлебов¹⁾.

Однако кризис чувствуется не только в Англии и не только в результате конкуренции со стороны США, так как и в самих США цены на пшеницу падают, доходя до 88 марок за тонну в 1894 г. Что же заставило США снизить свою цену на 50 процентов? Необходимо указать, что в течение этого времени падают цены не только на сельскохозяйственные, но и на промышленные продукты, при чем до 1884—86 гг. цены на зерновые продукты стоят в Англии на более высоком уровне, чем цены на сырье горного происхождения (68 и 65 процентов среднего урожая цен за годы 1867—77). Только в следующие годы темп падения цен на зерно обгоняет темп падения цен на сырье, и в 1894—96 гг. соответственные индексы были — 54 и 55. Следовательно, в целом можно сказать, что падение цен как на промышленное сырье, так и на зерно было одинаковым. Конкуренция со стороны США и других стран на английском рынке не оказала во всяком случае особенно значительного влияния на темп падения цен на зерно. Она только воспрепятствовала землевладельцам удержать в Англии высокие ренты и вынудила их снизить цены соответственно общему падению индекса цен на товары. Основная причина падения цен лежит в огромном техническом прогрессе, который в 2—3 раза снизил производственные расходы. Издержки производства например одного бушеля кукурузы (27 жгр.) упали в США с 1855 г. по 1894 г. с 35,75 до 10,5 цента.

Падение цен в течение 20 лет отнюдь не говорит о сплошном 20-летнем кризисе, как и падение цен на железо за это время не отменило законы цикличного развития капитализма и не превратило это развитие в сплошной 20-летний кризис, как это пытаются представить некоторые буржуазные экономисты. Даже

¹⁾ E. Wagemann, «Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft», Berlin, 1931, стр. 401 и 396.

падение цен на землю не было полным. Цены на мелкие участки не упали, а даже несколько еще поднялись. При этом цены на землю, если выразить их в товарных единицах, т.е. в отношении к покупаемым товарам, не падали, а, наоборот, даже поднялись¹⁾.

Впрочем, и падение цен на с.-х. продукты не было сплошным. В Англии, как и в других странах, отмечается за годы 1880—82 некоторое повышение цен, хотя урожай пшеницы мало отличался от урожая предыдущего трехлетия. Затем высокую цену пшеницы показывают годы 1887 и 1891: 1891 г. ознаменовался голодом в России, но мировой сбор был все же выше среднего, а 1887 г. был особо урожайным, но благодаря промышленному подъему, начавшемуся с 1886 г., цены на сельскохозяйственные продукты держатся в 1886 г. и в следующие годы довольно устойчиво.

В одной работе²⁾ мы нашли бюджет одного крупного землевладельца (807—840 акров земли) за годы 1868—1893. Конечно, бюджет одного хозяйства не дает еще правильной картины, так как результаты его могут зависеть от случайных моментов. И на самом деле можно отметить некоторое расхождение в результатах этого хозяйства с теми, которые были получены другим хозяйством, бюджет которого опубликован в нашей работе «Теория аграрных кризисов» (стр. 130). Все же данные этого бюджета весьма характерны. Оказывается, что 1868 г. был кризисным, бездоходным. Следующие годы были сравнительно благоприятными. Если в 1868 г. убыток составил 176 фунтов стерлингов и почти 9 шиллингов, то за 1869—1872 гг. прибыль получена в 343 фунта и 12 шиллингов в год, а за годы 1873—74 в 224 фунта и 13 шиллингов в год. Годы 1878 и 1881 — убыточные, в особенности 1879 г., когда убыток доходит до колоссальной суммы в

1.791 фунт стерлингов. В следующие годы убыток снижается до 229 фунтов и 11 шиллингов и 362 фунта и 2 шиллинга. 1882 г. дает доход в 1.043 фунта и 14 шиллингов, а в 1883 г. — в 256 фунтов и 16 шиллингов. Годы 1884 и 1885 опять убыточные, следующие два года приносят прибыль. В 1888 г. опять наблюдается убыток, в 1889 г. — крупный доход в 1.148 фунтов. В целом годы 1886—89 дают значительное превышение доходности над убытками. Годы 1890—93 снова явились убыточными. О том, что крупное производство переживало за годы 1874—94 сплошной кризис, не может быть, следовательно, и речи. Мелкие хозяйства несомненно не могли приспособиться к падающему уровню цен, тем более, что на них давила рента. Мы уже указали, что цена на мелкие участки не падала. Но крупные предприятия, сумевшие улучшить свое производство, извлекали большую выгоду в годы промышленного оживления. Таким образом, и в области сельского хозяйства периоды процветания сменяются периодами кризисов.

2. Аграрный кризис 1929—33 гг.

Нынешний аграрный кризис считается некоторыми экономистами продолжением начавшегося после войны аграрного кризиса. Конечно, поскольку нынешний кризис составляет часть всеобщего кризиса капитализма, начавшегося вместе с войной, постольку можно говорить о связи нынешнего кризиса с послевоенным.

Совершенно прав товарищ Сталин, говоривший о четырехлетнем аграрном кризисе, и вот почему. После резкого падения цен в 1920—21 г. начинается новый, хотя и кратковременный, подъем цен на сельскохозяйственные продукты, увеличивается доходность сельского хозяйства, расширяются капиталовложения и улучшаются способы производства. В особенности быстро стали применять тракторы и комбайны, поскольку капиталистический способ производства допускает быстрый темп развития техники в сельском хозяйстве. Индекс

¹⁾ См. М. Спектатор, «Аграрный кризис в капиталистических странах», стр. 44—45.

²⁾ F. Koenig, «Die Lage der englischen Landwirtschaft», Иена, 1896 г., стр. 57.

цен на сельскохозяйственные продукты в США был следующим:

Годы, начиная с 1 июля	Все фермерские продукты	В том числе зерновые
1921 . . .	119	102
1922 . . .	130	111
1923 . . .	132	112
1924 . . .	142	155

Мы видим, таким образом, что в течение четырех лет цены на сельскохозяйственные продукты идут вверх. В следующие годы они опять начинают падать, но это падение все еще не носит кризисного характера. Доходы сельского хозяйства даже в неизменных ценах еще продолжают повышаться. По вычислениям Кинга, доход фермера (в ценах 1913 г.) составил в среднем в долларах:

1913 г.	689
1920 г.	674
1921 г.	524
1922 г.	559
1923 г.	691
1924 г.	764
1925 г.	774
1926 г.	757
1927 г.	792

Доход последних пяти лет превышает доход 1913 и 1920 гг. Одновременно повышается выручка европейского сельского хозяйства за годы относительной стабилизации капитализма. Так, например, выручка германского сельского хозяйства увеличивается с 1925/26 г. до 1928/29 г. с 8 млрд. марок до 10,2. За эти же годы отмечается значительное увеличение капиталовложений. Повысился несколько и машинный парк. В Соединенных Штатах, по данным ценза, номинальная стоимость машин, орудий, моторов и т. д. составила в 1920 г. 3.595 млн. долларов, в 1925 г. — 2.692 и в 1930 г. — 3.302 млн. долларов. Если перевести эти данные по индексу цен на реальные величины, то мы получаем некоторое повышение — с 2.020 млн. в 1920 г. до 2.038 млн. в 1930 г. Однако технический прогресс в американском сельском хозяйстве, не-

сомненно имевший место в течение этого времени, не проявляется в этих средних цифрах, потому что одновременно с улучшением техники в крупных хозяйствах шел процесс ухудшения положения мелких и средних хозяйств. Это видно из следующих данных ценза:

Стоимость машин в долларах на 1 ферму и на 1 акр:

	На 1 акр		На 1 ферму	
	1920 г.	1930 г.	1920 г.	1930 г.
До 20 акров . . .	13,35	13,53	146	143
от 20 до 49 акров	6,00	5,34	193	171
» 50 » 99 »	5,76	5,04	412	362
» 100 » 174 »	5,30	4,79	712	643
» 175 » 499 »	4,12	3,99	1134	1095
» 500 » 999 »	2,40	2,62	1619	1784
» 1000 и свыше »	0,74	0,77	2438	2654
В среднем . . .	3,76	3,35	557	525

Таким образом, мы видим, что средние и мелкие фермы не увеличили своего машинного парка, а, наоборот, даже снизили его. Исключение составляют только фермы до 3 акров, которые представляют высококапиталистические предприятия животноводческого или огороднического типа. В 1930 г. в США насчитывали 851 тыс. ферм, или 13,5 процента всех ферм, имевших 920 тыс. тракторов, 257 тыс. ферм имели 386 тыс. электромоторов, и 945 тыс. ферм были снабжены другими двигателями. Таким образом, только небольшое количество всех ферм могло иметь тракторы, ибо, как мы видели, мелкие и средние фермы, до 175 акров, в состоянии расходовать на машины не свыше 650 долларов, в то время как цена одного только трактора уже составила 653 доллара. В результате средние производственные расходы не снижаются вплоть до кризиса, а лучшее предприятие только увеличивает свою дифференциальную ренту, и цены опускаются весьма медленно¹⁾.

¹⁾ Средняя себестоимость 1 бушеля пшеницы составила в 1924 — 26 гг. 1,21 долл., в 1929 г. — 1,24 долл., в 1930 г. — 0,89. Между тем крупные предприятия снизили в 1930 г. свои производственные расходы до 60 центов.

Индекс цен на сельскохозяйственные продукты, достигнув в календарном 1925 г. уровня в 147 (1910—14=100), опускается до 1927 г. до 131, чтобы в 1928 и 1929 гг. подняться до 139 и 138. Цены на зерно резко поднялись в 1925 г.—до 156. В 1926 г. они были на уровне 1924 г. В следующем 1927 г. они несколько опускаются, а в 1928 г. опять поднимаются несколько выше уровня 1926 г. После этого начинается уже падение цен, при чем кризисным оно становится только с 1930 г. Цены на зерно были по сравнению с ценами 1910—14 гг.:

1926 г.	129
1927 г.	128
1928 г.	130
1929 г.	121
1930 г.	100
1931 г.	63
1932 г.	44
1933 г.	62

Таким образом, можно констатировать, что в годы относительной стабилизации и сельское хозяйство, хотя и не переживало под'ема, так как капитализм в целом вступил в период всеобщего кризиса, но все же вышло из кризиса. Как известно, всеобщий кризис капитализма характеризуется, между прочим, и тем, что замедляется общий темп развития промышленности. Действительно, особенно резко замедлилось строительство новых предприятий. Относительно этого периода можно сказать, что не имело места особенное расширение воспроизводства основного капитала и в результате цены на сельскохозяйственные продукты остались на низком уровне. Но покупательная способность сельскохозяйственных продуктов после войны, по исчислению американского сельскохозяйственного департамента («ножницы»), представляется в следующем виде:

1921 г.	77	1928 г.	91
1922 г.	84	1929 г.	91
1923 г.	90	1930 г.	81
1924 г.	89	1931 г.	65
1925 г.	95	1932 г.	53
1926 г.	89	1933 г.	58
1927 г.	87	1934 г. (май).	62

Таким образом, мы видим, что в годы относительной стабилизации покупатель-

ная способность сельскохозяйственных продуктов держится примерно на одном уровне, хотя она в общем низка. Только в годы кризиса она начинает резко падать.

Другое объяснение нынешнего аграрного кризиса, встречаемое в буржуазной литературе, сводится к перепроизводству — даже в смысле абсолютного перепроизводства. Так, Лига наций в своей публикации «Аграрный кризис» говорит о том, что в отношении ряда сельскохозяйственных продуктов имеется налицо простое и чистое перепроизводство, а проф. Ясный даже прямо заявляет, что население мира в достаточной мере снабжено хлебом.

На самом деле положение совершенно иное. Крупные статистики Уоррен и Пирсон категорически отрицают, что после войны производство хлебов шло быстрее, чем до войны. Перед войной, по их вычислениям¹⁾, производство с'естных припасов и кормов увеличивалось в среднем в год на 3 процента, а за годы 1915—29—всего на 0,6 процента. Если даже учесть то обстоятельство, что вследствие введения тракторов и замены ими лошадей необходимая площадь посева кормов уменьшилась, все же прирост сбора всех хлебов составит за указанный период войны и послевоенного времени не больше 1,2 процента.

Мы произвели вычисления на основе данных германского Статистического комитета о потреблении хлебов в Германии и констатировали значительное уменьшение этого потребления. Если взять рожь и пшеницу вместе, то среднее потребление на душу населения составляло в Германии в 1913/14 г.—249 кгр. в год, а в 1924/25—1929/30 гг.—184 кгр., т.-е. на 65 кгр. меньше. Точно так же потребление картофеля уменьшилось на 203 кгр. в год на душу населения. Потребление кормовых хлебов, ячменя и овса снизилось на 80 кгр. Это снижение потребления, которое явилось результатом обнищания широких масс населения, огромного налогового давления в результате войны

¹⁾ «Farm Economics», февраль 1932 г.

и репарационных платежей, явилось основой стабилизации хозяйства Германии за 1924—1929 гг. На самом деле, по нашим вычислениям, одно только «сбережение» на потреблении продовольственных хлебов и картофеля составило 26 марок в год на одного едока, а за пять лет на население в 65 млн. — 8,45 млрд. марок. Если прибавить к этому еще сбережения на кормовых хлебах в 5,85 млрд. марок, а также сбережения меньшего потребления хлопка и кофе в 1,3 млрд. марок, то получается круглая сумма в 15,6 млрд. марок. Сократилось потребление и других предметов, например мяса. Но мы останавливаемся только на вышеназванных предметах, которые Германии приходилось бы ввозить, если бы население потребляло столько, сколько оно привыкло до войны. Репарационные платежи за годы стабилизации составили 8,3 млрд. марок, т.е. примерно несколько меньше той суммы, которую Германия получила от сокращения потребления продовольственных хлебов, не считая кормовых хлебов, хлопка, и т. д. Мы видим, таким образом, что основой репарационных платежей явилось недопотребление народных масс Германии. Репарационные платежи дали воз-

можность Франции и другим странам улучшить свое хозяйство. С другой стороны, тем же путем Германия сумела еще накопить большие средства для проведения рационализации своей промышленности. Но Германия, хотя и проводила особенно резко политику сокращения потребления, все же не представляет в этом отношении исключения¹⁾. Все потребление пшеницы в Европе, по вычислениям Римского сельскохозяйственного института, было в среднем на душу населения за годы 1925/26—1929/30 ниже, чем до в среднем за пятилетие до войны, примерно на 1,2 кг. на душу. Точно так же тот же институт констатировал, что общее мировое потребление на душу населения, не считая СССР, Китая, Турции, Палестины, Сирии, Ливана и Ирака, всех пяти хлебов сократилось за годы 1925—28 на 8,8 процента по сравнению с довоенным пятилетием. Если бы это не имело места, если бы население продолжало питаться хотя бы так, как до войны, то оно увеличило бы в течение 1925—1928 гг. свой спрос на 140 млн. квинталов пшеницы, на 246 млн. квинталов ржи, на 21 млн. квинталов ячменя, на 23 млн. квинталов овса и на 31,4 млн. квинталов кукурузы. Кризис начался, когда запасы достигли следующих размеров:

Пшеницы во всем мире 1 авг. 1928 г.	69,2	миллиона	квинталов.
Ржи в США, конец 1928 г	1,6	»	»
Ячменя в США, Канаде, Англии, 1928 г.	7,1	»	»
Овса в США, Канаде, Англии, 1928 г.	5,2	»	»
Кукурузы в США, Канаде, Англии, 1928 г.	5,5	»	»

Мы видим, таким образом, что запасы, которые привели к крушению цен, были сами по себе незначительными по сравнению с теми количествами, которые потребило бы население, если бы оно питалось так, как до войны.

Буржуазные ученые не в состоянии отрицать факта сокращения потребления хлебов, но они стараются смазать его утверждением, что будто бы произошло изменение в характере потребления, что вместо хлеба стали потреблять другие продукты, специально овощи. Уже Ри-

кардо в свое время утверждал, что население получает достаточно хлеба для питания. Ему очень резко возразил Маркс, который писал: «Неверно, будто потребление необходимых средств существования не возрастет вместе с их удешевлением. Отмена хлебных законов доказала обратное». («Капитал», т. III,

¹⁾ Сократилось потребление пшеницы в Англии за 1925—29 гг. по сравнению с 1913 г. на 31,4 фунта на душу в год (18,4 проц.), хотя в Англии повидимому увеличилось потребление мяса.

ч. 2-я, стр. 197). На самом деле, обследование бюджетов рабочих в Германии в 1927—28 гг. доказало, что вместе с улучшением благосостояния семьи растет не только потребление всех остальных продуктов, но и потребление хлеба и мучных продуктов. Именно благодаря тому, что после войны цены на хлеб стояли значительно выше довоенных цен, в Англии например за вторую половину 1924 г. потребление хлеба значительно сократилось.

На почве этого относительного недоодеания, явившегося результатом общего кризиса капитализма, развитие сельскохозяйственной техники — специальное применение тракторов и комбайнов и отбор семян — и привело в конце-концов к перепроизводству, когда цены стали определяться уже не худшими условиями производства, а лучшими, т.-е. условиями производства тех предприятий, которые ввели у себя улучшенные способы производства. Отсюда и резкое падение цен в тот момент, когда на рынке оказались значительные запасы. Но эти запасы, как мы видели, образовались благодаря тому, что потребление широких слоев населения после войны было ниже, чем довоенное. Техника, следовательно, сыграла в этом кризисе огромную роль, но роль техники сказалась в форме разрушительного кризиса потому, что на почве капитализма, переживающего общий кризис, положение масс не только не улучшилось, но в огромном большинстве случаев даже ухудшилось.

Результатом этого кризиса явилось огромное разорение широких слоев крестьянства, не способного выступить конкурентом на рынке, так как основа его производства слишком узкая. Современная сельскохозяйственная техника требует известного минимума площади для своего использования. Не только трактор, но и другие сложные сельскохозяйственные орудия могут быть использованы рентабельно только при определенных размерах земельной площади. В Германии например пароконные плуги могут быть использованы только при площади в 30 га, рядовые сеялки — при 75 га, жнейки — при 75 га, пар-

вые молотилки — при 200—250 га, а плуги паровые даже только при 750 до 1000 га. Вот почему мелкое крестьянское хозяйство не имеет самых необходимых орудий и машин и продолжает еще часто работать по-старинке.

Затем высокая рента, арендная плата и цена на землю лишают середняка последних средств на приобретение машин. Между тем цены на мелкие участки еще повысились за последние годы, несмотря на то, что цены на сельскохозяйственные продукты падали. Так, цена одного акра земли в США была (в долларах¹⁾:

	1920 г.	1925 г.	1930 г.
До 20 акров . . .	152	145	154
от 20 до 49 акров	76	64	60
» 50 » 99 »	68	50	45
» 100 » 174 »	75	52	45
» 175 » 499 »	71	49	44
» 500 » 999 »	42	28	27
» 1000 и выше »	19	13	13

Таким образом, мы видим, что цены на мелкие участки еще поднимались, в то время как цены на остальные участки упали. При этом цены на мелкие участки во много раз превосходят цены на крупные участки. Следовательно, мелкие и средние фермы страдают от давления ренты в гораздо большей мере, чем капиталистические и крупные хозяйства. То же самое мы наблюдаем и в отношении задолженности. Задолженность мелких и средних хозяйств значительно выше, чем задолженность крупных хозяйств. Это подтверждается, между прочим, данными о задолженности тех германских хозяйств, которые были за 1931 и 1932 гг. проданы с молотка. Это устанавливается также официальными обследованиями в отношении например Вюртемберга. Появившиеся недавно исследования о положении крестьянства в Вюртемберге констатируют значительно меньшую задолженность крупных хозяйств (свыше 100 га) по сравнению с мелкими и средними хозяйствами. В то время как задолжен-

¹⁾ То же самое явление констатируется в Германии: цены на мелкие участки были до начала кризиса выше довоенных, на крупные — ниже последних.

ность крупных хозяйств составляет (на 1 июля 1932 г.) 219 марок на га, мелкие и средние хозяйства имели задолженность свыше 420 марок на га. Американский ценз констатирует далее, что мелкие хозяйства платят по своей задолженности более высокие проценты, чем более крупные хозяйства. Далее, ценз устанавливает, что налоговые обложения мелких хозяйств тоже во много раз превышают обложения крупных. Так, например, мельчайшие хозяйства, до 20 акров, платят 5,6 доллара с акра налога, мелкие хозяйства, от 20 до 49 акров, — 1,49 доллара, средние, от 100 до 174 акров, — 0,79 доллара, а крупные капиталистические — 0,34 доллара и латифундии (свыше 1000 акров) — 0,17 доллара. Таких примеров более значительного обложения мелких и средних хозяйств по сравнению с крупными можно привести очень много. В результате мелкие хозяйства оказываются неконкурентоспособными и разоряются или вынуждены еще больше снизить уровень жизни, недоедать, не улучшать орудий производства и переходить к еще более примитивному способу производства.

Мы не можем здесь дать подробный анализ аграрного кризиса, мы отмечаем только характерные его черты. Как и промышленный кризис, он охватил все страны, за исключением нашего Союза, и все отрасли сельскохозяйственного производства: зерновое хозяйство, животноводство, производство колониальных товаров и сырья. Как и промышленный кризис, он превзошел все, что было до сих пор. Мы видели, что за период 1874—94 гг. капитализм пережил ряд кризисов, но если даже взять этот период как целое и сопоставить с ним нынешний кризис, то мы получим следующую картину. В то время как между 1873 и 1894 гг. индекс цен ввозимой пшеницы в Англии упал на 59 процентов, а индекс цен говядины — на 27 процентов, цена аргентинской пшеницы в Ливерпуле снизилась с 1929 по 1933 г. в золотом выражении на 65 процентов, а цена на говядину — на 49 процентов. Если вместо отдельных товаров возьмем общий индекс цен на зерновые продук-

ты, то падение его в течение нынешнего кризиса будет несколько более слабым, чем за 20 лет — с 1874 по 1894 гг. Все же темп падения цен во время настоящего кризиса превзошел все, что знал капитализм до сих пор. Далее, особенно характерно, что падение цен за период 1874—1894 гг. было, как мы уже видели, почти одинаковым на промышленные и на сельскохозяйственные товары. Цены на сельскохозяйственные продукты в Англии упали на 38,8 процента, а на промышленные продукты даже на 47,4 процента, в Германии — на 37 процентов и на 48 процентов. Под промышленными товарами здесь подразумевается промышленное сырье. Цены на готовые изделия упали, вероятно, в несколько меньшей степени. Во всяком случае такого расхождения между ценами на аграрные и промышленные товары, какое наблюдается в настоящее время, когда покупательная способность доллара снижается с 91 процента до 53 процентов довоенного уровня¹⁾, в то время не наблюдалось. Таким образом, давление монополистического капитала на сельское хозяйство оказалось во время нынешнего кризиса гораздо более значительным, чем когда бы то ни было. Потери аграрных стран вследствие более сильного снижения цен на сельскохозяйственные продукты по сравнению с промышленными составляют, по нашим подсчетам, только в отношении четырех промышленных стран — Англии, Германии, Франции и США — за 1929 — 33 гг. 45,7 млрд. марок.

К этому надо присоединить огромную задолженность аграрных стран, которая оказалась особенно непосильной во время падения цен на сельскохозяйственные продукты. Именно эта задолженность и чрезвычайное обременение широких слоев населения налогами и заставляли крестьянство продолжать свое

¹⁾ «Пестер ллойд» от 31 июля 1934 г. считает, что покупательная способность аграрных продуктов по сравнению с промышленными упала в среднеевропейских странах за 1929—33 гг. на 25 процентов.

производство даже тогда, когда оно оказалось бездоходным, нерентабельным. В результате такого положения продукция сельского хозяйства почти не сократилась, а аграрный кризис выразился в чрезвычайном падении цен и в сильнейшем снижении и без того низкого уровня жизни широчайших масс крестьянского населения. Фермерство вынуждено было переходить в значительной степени к продовольственной культуре вместо производства на рынок. Фермерское население в США увеличилось за 1929 — 32 гг. на 1,5 млн., в то время как оно за 1920 — 1930 гг. уменьшилось на 1,2 млн. Ибо вернулись на фермы многие безработные, которые стали питаться продуктами собственного производства в большей мере, чем это было раньше. Натуральная часть дохода фермеров выросла с 21,9 процента до 24,5 процента всей стоимости с.-х. продукции. Денежная часть упала с 49,1 до 46,6 процента всей стоимости продукции сельского хозяйства. В общем доход от сельского хозяйства, который за годы кризиса (1929—32) упал с 12 млрд. до 5 млрд. долларов, распределился следующим образом («Сенатская публикация», 1934 г., № 124): текущие производственные расходы снизились с 1,9 до 1,1 млрд. долл., арендная плата — с 1,1 до 0,57 млрд. долларов, проценты — с 571 млн. до 497 млн., а налоги — с 400 млн. до 389 млн. долларов. Указанные цифры процентов и арендной платы относятся только к тем суммам, которые сельское хозяйство платит другим слоям населения, не фермерам. Все платежи по задолженности ферм исчисляются на 1928 г., по данным департамента сельского хозяйства, в 900 млн. В 1932 г. они весьма мало снизились. Тот же департамент дает гораздо более высокие цифры налоговых платежей: за 1929 г. — 777 млн. долларов. Заработная плата составила, по подсчету цитируемой нами «Сенатской публикации» в 1929 г. 1.313 млн., а в 1932 г. — 523 млн., а чистый доход фермеров, не считая амортизационных расходов, уменьшился с 5,7 до 1,25 млрд. долларов, что составляет всего 39,4 дол-

лара на душу фермерского населения.

В результате в 1929 г. фермеры могли сберечь 1.177 млн., в следующие же годы они, напротив того, поедали части своих запасов и своего капитала. В 1932 г. им недоставало на удовлетворение личных потребностей 1.227 млн. долларов. Вместе с этим под влиянием падения цен снизилась стоимость всего имущества фермеров. На 1 января 1933 г. весь капитал, вложенный в землю, постройки, орудия и скот, исчислялся в 38 млрд. долларов против 58 млрд. долларов на 1 января 1928 г. и 79 млрд. на 1 января 1919 г. В частности изменение стоимости живого и мертвого инвентаря в млн. долларов выразилось в следующих цифрах:

Годы	Скот	Машины
1920	8,5	3,6
1925	5,0	2,7
1929	6,6	3,1
1932	3,4	2,8

За годы кризиса (1920—1925 и 1929—1932) капитал сельского хозяйства обесценился, разрушился. В 1932 г. ипотечный долг, который составил в 1928 г. 9,5 млрд. долларов (весь долг исчислялся в 14 млрд.), упал до 8,5 млрд., но не благодаря выплате по задолженности, а вследствие разорения ферм. В отношении к стоимости имущества ферм ипотечный долг все же поднимался с 16 до 22 процентов и до 25 процентов цены земли и построек или даже до 40 процентов цены земли и построек заложенных ферм. При чем 16 процентов заложенных ферм имели долг, превышающий 75 процентов цены земли и построек. Мы видим, как прав был Ленин, когда он в свое время писал о господстве банковского капитала над с.-х. производством США. Огромное количество ферм продано с молотка. Это видно уже из того, что число ферм, находящихся в управлении у служащих, преимущественно банков и т. п. учреждений, выросло за годы кризиса с 70 тыс. до 82 тыс. Кроме того, очень многие фермы номинально оставлены у

своих хозяев, но фактически принадлежат банкам.

Таково в общих чертах положение американского сельского хозяйства, кризис которого, как известно, вызвал банкротство огромного числа банков и фактически привел страну на грань банкротства. Нечего говорить о том, что положение сельского хозяйства в Европе еще более тяжелое, в особенности в экспортирующих стран.

Если даже взять сельское хозяйство Германии, как наиболее развитое и технически лучше поставленное, оставляя в стороне сельское хозяйство мелких государств, как Голландия, Бельгия и Швейцария, то и оно по сравнению с американским сельским хозяйством окажется сильно отсталым. Земельная рента в Германии значительно выше, чем в Соединенных Штатах. За один гектар земли в Германии платили в 1929—30 гг., включая стоимость построек, 1.329 марок, а в Соединенных Штатах всего 355 марок, а с полным оборудованием — 600 марок. Таким образом, средняя цена одного акра земли в Соединенных Штатах вместе с полным оборудованием в два раза дешевле, чем земля с постройками в Германии. Затем земля в Германии страшно раздроблена, и до сих пор имеются значительные остатки феодализма в виде чересполосицы. До сих пор почти вся Южная Германия страдает от чрезвычайной раздробленности хозяйств на мелкие полосы. Бывают случаи, что 1 хозяйство разбито на 100 — 180 и больше полос. При этом регулирование земли, уничтожение чересполосицы подвигается страшно медленно. Из всей площади в 9,2 млн. га, подлежащей регулированию, с 1872 г. по конец 1928 г. было регулировано всего 2,9 млн. га, так что чересполосица осталась еще на площади в 6,3 млн. га, а срок окончания регулирования определяется в 80 — 100 лет. Между тем установлено, что вследствие чересполосицы хозяйство терпит от одной четверти до одной половины своего труда, что из-за чересполосицы невозможно ведение рационального хозяйства, даже затруднена борьба против вре-

дителей¹⁾. В век трактора и комбайна в наиболее развитой капиталистической стране Европы — чресполосица! Страна, которая тратит миллиарды на военные цели, на постройки шоссе и других дорог, не имеет средств на проведение работ по регулированию земли! В результате в Германии наблюдается более низкая производительность труда, чем в США. Общая стоимость сельскохозяйственной продукции на одного занятого значительно ниже в Германии, чем в США, хотя цены на с.-х. продукты в Германии выше, чем в США. В Германии средняя стоимость на одного занятого составляла в 1928 — 29 г. 1.430 марок, а в США — 4,5 тыс. марок, т.-е. в три раза больше, чем в Германии. К тому же в Германии, как и в прочих странах Европы, вследствие недостатка капиталов приходится платить более высокие проценты. Уже перед кризисом в Германии проценты поглощали 6,9 процента всей стоимости сельскохозяйственной продукции против 5,7 процента в США, а в 1932—33 г. около 10 процентов против 9,3 процента в США в 1931 г. В Германии в 1932 г. было дано 8.391 объявление о продажах с молотка, а в США число обанкротившихся фермеров составило в том году 4.849, в то время как число ферм в США в два раза превышает число хозяйств в Германии. На тысячу хозяйств приходилось разорений в США — 0,8, а в Германии — 5,1.

Само собой разумеется, что положение сельского хозяйства в таких странах, как Венгрия, Румыния и Польша, гораздо хуже. Во всех этих странах налоговый пресс страшно усилился. В Польше, например, налоги поглощали в 1928 г. $\frac{1}{20}$ валовой продукции крестьянина, а в 1933 г. — $\frac{1}{4}$. Задолженность крестьян достигла невероятных размеров. Бывают случаи продажи с молотка целых деревень. Даже такие органы, как «Газета варшавска», констатируют голод в деревне. Вот что пишет

¹⁾ Чресполосица — общее зло во всей Европе; в Чехословакии не в меньшей мере, чем в Германии, не говоря уже о Венгрии, и т. д.

эта газета о деревнях Станиславовского воеводства: «Нет ни картофеля, ни молока. Население питается исключительно стеблями, собираемыми с полей, залитых водой. Дети опухают от голода». Или «Курьер виленски» сообщает: «Деревня из года в год недоедает. В текущем году это положение значительно ухудшилось. В этом году голод еще более обострился, так как картофель—эта основная статья питания деревни — пропал. Виленская деревня, голодавшая годами, встречает надвигающуюся зиму тревожно: как прожить, поможет ли кто?..» (Из обзора Международного аграрного института, июнь 1934 г., № 5).

3. Переход к депрессии особого рода

В своем отчетном докладе XVII съезду партии товарищ Сталин констатировал, что в капиталистических странах начался переход к депрессии особого рода, которая не ведет к новому подъему и расцвету промышленности, но и не возвращает ее к точке наибольшего упадка. Анализируя причины, почему нельзя ожидать наступления подъема промышленности, товарищ Сталин указал, что продолжают действовать все те неблагоприятные условия, которые не дают промышленности капиталистических стран подняться сколько-нибудь серьезно вверх: общий кризис капитализма, хроническая недогрузка предприятий, хроническая массовая безработица, переплетение промышленного кризиса с сельскохозяйственным и отсутствие тенденции к сколько-нибудь серьезному обновлению основного капитала. Все эти моменты имеют огромное влияние на положение сельского хозяйства. Мы уже не говорим о том, что массовая безработица не дает возможности значительно уменьшить растущие запасы. Остановимся только на одном моменте: отсутствии тенденции к сколько-нибудь серьезному обновлению основного капитала. Мы уже раньше говорили о законе, установленном Марксом, по которому «цены на сельскохозяйственные продукты растут, если в промышленности идет процесс расширенного воспроиз-

водства основного капитала». «Если в кой-либо отрасли промышленности на машины и т. д. затрачивается слишком большая часть накопленной прибавочной стоимости, добавочного капитала, то сырьевого материала будет недостаточно для нового производства, хотя было бы достаточно для старой ступени производства. Это, следовательно, получается вследствие неправильного распределения добавочного капитала между его различными элементами. Мы здесь имеем перепроизводство основного капитала» («Теория прибавочной стоимости», т. II, ч. 2-я, стр. 183). Так как и в 1934 г. еще не выявляется тенденция к серьезному обновлению основного капитала и к капитальному строительству, то отсюда понятно, почему цены на сельскохозяйственные продукты в общем и целом держатся на низком уровне и нельзя ожидать серьезного улучшения положения сельского хозяйства.

Было бы все же неправильным утверждать, что в области сельского хозяйства все осталось без изменения, что положение его в 1934 г. такое же, как в 1932 или 1933 гг. Правда, на мировых рынках до последних месяцев, когда выяснилось, что засуха приведет к значительному недобору хлебов, цены на пшеницу и масло падали. Но в то же время продолжают падать и экспортные цены на промышленные изделия. Так, цены на экспортируемые из Германии товары снизились за I квартал 1934 г. на 10 процентов по сравнению с ценами за I квартал 1933 г., а цены на ввозимые ею товары остались почти без изменения. Мировой рынок продолжает оставаться в критическом состоянии. Переход к депрессии выявился в основном только на внутренних рынках, нынешняя конъюнктура получила поэтому название «конъюнктуры внутреннего рынка». Мировая торговля не растет. Поэтому и о положении сельского хозяйства в целом приходится судить по тому, что делается на рынках промышленных стран. Экспортеры с.-х. продуктов, в особенности пшеницы и масла, продолжают переживать тяжелый кризис, обострившийся еще до наступления

засухи. Но сельское хозяйство промышленных стран, цены на которые уже и раньше поднялись, тоже вступило в своего рода депрессию.

Так, например, в США фермерские цены на пшеницу поднялись на 15 апреля 1934 г. на 53 процента по сравнению с ценами того же периода в 1933 г., на кукурузу — на 67 процентов, на сею — на 40 процентов, на хлопок — на 90 процентов, в среднем на все сельскохозяйственные продукты на 40 процентов, в то время как цены на продукты, покупаемые фермерами, поднялись всего на 20 процентов. Самый низкий уровень цен на с.-х. продукты приходится в США на февраль 1933 г., когда индекс фермерских цен составлял 49 (1910 — 14 = 100). В апреле 1934 г. он поднялся до 74, а покупательная способность фермерских товаров увеличилась за то же время с 49 до 62 процентов довоенного уровня. Самый низкий уровень цен на сельскохозяйственные товары в Германии приходился на январь 1933 г. (80,9 процента), а в апреле 1934 г. этот уровень составил 90,5 процента. Вместе с этим несколько повысились и доходы от сельского хозяйства, в США — с 5,1 млрд. до 6,2 млрд. не считая субсидий от правительства, и до 6,4, включая последние. Надо однако сказать, что речь идет об обесцененных долларах. При этом 6,4 млрд. еще ниже дохода 1931 г., когда он составлял 6,9 млрд., и в особенности 1929 г., когда он выразился суммой в 11,9 млрд. Увеличился также денежный доход германского сельского хозяйства. По вычислениям Конъюнктурного института, он составит в 1933 — 34 г. 7,25 млрд. марок против 6,46 млрд. в 1932 — 33 г. и 7,36 млрд. в 1931 — 1932 г. Точно так же повысился и доход датского сельского хозяйства: с 548 крон на гектар до 559. Если принять во внимание, что речь идет об обесцененных кронах, то станет ясным, что значительного улучшения нет, что говорить о выходе из кризиса еще нельзя. Но тем не менее уже, повидимому, самый низший уровень превзой-

ден и возвращения к точке наибольшего упадка не будет.

Надо сказать, что до сих пор запасы или мало уменьшились, или даже увеличились. Так, запасы пяти основных хлебов в апреле 1934 г. уменьшились по сравнению с апрелем 1933 г. всего на 7 процентов¹⁾, а запасы смальца увеличились с 32,6 тыс. тн. до 81,4 тыс. тн., запасы масла — с 29,2 до 33,3 тыс. тн. Таким образом, огромные запасы продолжают давить еще на цены, и цена на масло в Копенгагене на самом деле резко снизилась за первую половину этого года.

На помощь капиталистическому сельскому хозяйству пришла засуха и недород. Трудно теперь еще сказать что-нибудь определенное о размерах засухи. Полагают, что сбор пшеницы в Европе будет на 18 процентов ниже прошлогоднего, а во всем мире примерно на 7 процентов. В последнее время в США положение, повидимому, еще ухудшилось. Во всяком случае хозяйственный 1934 — 35 г. еще оставит большие непроданные запасы хлебов. Все же под влиянием засухи примерно с мая месяца начинается сильное повышение цен, и хотя временами наступает реакция, все же несомненно, что возвращение к старому, самому низшему уровню цен больше не может иметь места. С другой стороны, однако, не приходится ожидать, что под влиянием засухи наступит значительное улучшение в положении сельского хозяйства.

Засуха все же только временное явление. Условия производства и потребления остаются такими же, как раньше. Бингем, созывая международную пшеничную конференцию на 14 августа, указал в своем циркуляре, что площадь посевов в этом году еще расширена, что к концу года еще останутся огромные запасы хлебов. «Таймс», комментируя это обращение председателя пшеничной конференции, отмечает, что и нынешнее состояние мировых цен приводит производителя пшеницы к банкрот-

¹⁾ Запасы пшеницы на 1 июля 1934 г. были всего на 1,3 процента меньше, чем на то же число 1933 г.

ству. Это несомненно правильно в отношении огромного большинства не только мелких, но и средних предприятий.

Более того, именно мелкие и средние хозяйства преимущественно пострадали от засухи. Даже природа различно влияет на мелкие и на крупные предприятия в сельском хозяйстве.

По этому поводу появилась очень характерная статья в «Пестер ллойд» от 21 июня 1934 г. Орган финансового капитала и крупных землевладельцев констатирует, что в задунайских областях Венгрии рядом с мелкими участками, на которых почти совершенно погибли посевы, тянутся широкие поля крупных землевладельцев, покрытые зеленью. В то время как мелкие, парцеллярные хозяйства едва соберут и четверть нормального урожая, рядом с ними крупный землевладелец все же получит по крайней мере половину нормального урожая. Газета ставит вопрос: чем вызвано это явление, и констатирует, что плохой подбор семян, плохая обработка полей, слишком поздняя подготовка полей осенью — в мелких и средних предприятиях, — все это создало недостаточную устойчивость полей в мелких хозяйствах по отношению к атмосферному влиянию. «Техническое превосходство крупного предприятия при континентальном, сухом и холодном климате стоит абсолютно вне всякого сомнения», — заявляет газета.

Та же газета писала как-то, что крестьяне молили бога о том, чтобы он им послал неурожай. Когда уже в 1933 г. в США оказался недород и цены продолжали падать, то крестьяне в Венгрии приходили в отчаяние. Каково будет состояние этих крестьян в текущем году, когда неурожай лишил их последних средств к существованию? Правда, цены на хлеб поднялись, но от этого выигрывают только те хозяйства, которые кое-что собрали с полей, т.-е., как мы видели, крупные предприятия. Для мелких крестьянских хозяйств нет спасения ни от перепроизводства, ни от неурожая. И в том, и в другом случае страдающим лицом является мелкий и средний крестьянин.

Как известно, мероприятия, предпринятые различными правительствами в борьбе против аграрного кризиса, сводились в экспортирующих странах к уничтожению готовых продуктов или даже скота, к сокращению производства и к выплате экспортных премий за счет налогоплательщиков и потребителей сельскохозяйственных продуктов, а в импортирующих странах — к полному отгораживанию от мирового рынка и к повышению цен на внутренних рынках. Так, например, в Германии в 1932 — 1933 г. платили за тонну пшеницы 200 марок, в Париже — 184, в Милане — 221, в то время как в Лондоне она стоила 80 марок, в Роттердаме — 86, в Будапеште — 73, в Канаде — 67, а в Буэнос-Айресе даже 60. В Германии, например, потребители выплатили за 1930—33 гг. сверх мировой цены за купленные хлеба — пшеницу, рожь, ячмень и овес — лишних 3,5 млрд. марок, или каждому кулацкому и помещицкому хозяйству с 20 и больше га в среднем — 10.600 марок сверх мировой цены. Однако, повышение цен до такого уровня, как в Германии, означает ослабление конкурентной способности германской промышленности. И на самом деле оказалось, что Германия (и это относится в значительной мере также к Франции и Италии) потеряла свои внешние рынки, и промышленное оживление последнего года стало под сильной угрозой отсутствия сбыта, а также вместе с этим и недостатка сырья. Ибо Германия только своим вывозом может оплачивать необходимое для промышленности сырье. Ухудшение промышленной конъюнктуры в Германии несомненно скажется также на дальнейшем ухудшении положения сельского хозяйства в этой стране. Мероприятия такого характера, которые отгораживают национальный рынок от мирового рынка, не могут не приводить к банкротству капиталистического хозяйства. Промышленные страны, отказывающиеся покупать у аграрных стран их продукты, не могут продавать им изделия своей промышленности.

С другой стороны, крестьянскому хозяйству Европы угрожает серьезная

опасность конкуренции со стороны заокеанских стран. Если в 70-х годах прошлого столетия конкуренция в основном ограничивалась областью зерна, если от конкуренции других стран страдал рынок пшеницы, то в настоящее время, когда разрешена проблема перевозки скоропортящихся продуктов на далекие расстояния, на сцену выступает конкуренция заокеанских стран, которые производят масло, мясо и другие продукты животноводства гораздо дешевле, чем европейские производители. Не только потому, что там более низкая земельная рента, но также потому, что они имеют крупные предприятия, которые работают гораздо дешевле, чем мелкие и средние предприятия Европы. Превосходство крупного хозяйства констатируется не только в области зерновых хозяйств, но также в области животноводства. Можно на время удерживать цену на высоком уровне так, чтобы и мелкие предприятия с более высокими производственными расходами могли существовать, но это все было возможно в период процветания или даже в период относительной стабилизации капитализма, когда промышленность развивалась и шел процесс расширенного воспроизводства основного капитала. В настоящее время, когда сильнейшим образом обострилась конкуренция на мировых рынках, когда с каждым днем усиливается давление со стороны Японии, европейской промышленности придется считаться с уровнем своих производственных расходов, а вместе с этим стремиться и к снижению цен и на сельскохозяйственные продукты.

Экспортирующие хлеб страны пытаются сократить производство; как мы уже говорили, эти страны переходят от трактора опять к лошади. Но, подобно тому, как игнорирование железной дороги в Польше и возвращение к гужевому транспорту еще не означает уничтожения железных дорог, так и усилившиеся тенденции к загниванию в области сельскохозяйственной техники не приведут к прекращению применения трактора и комбайна в сельском хозяйстве. Прежде всего потому, что тракто-

ры нужны и для военных целей, а заводы, производящие их, будут стараться навязывать их не только государству для военных целей, но и сельским хозяйствам. Поэтому нельзя думать о приостановке применения сельскохозяйственной техники в результате нынешнего кризиса. Наоборот, в будущем решающим фактором производства в сельском хозяйстве станет трактор вместе с комбайном, хотя конечно широкие массы крестьянского населения не смогут им пользоваться. Для последних нет перспектив на улучшение своего положения при капиталистическом хозяйстве. Единственный выход — объединение мелких и средних предприятий в крупные товарищества, однако на почве частной собственности и борьбы за прибыль этот выход не может дать какого-нибудь удовлетворительного результата. Попытки Рузвельта организовать сельское хозяйство до сих пор не дали желательных результатов, несмотря даже на то, что в США имеется значительное расширение площади посева пшеницей в 1934 г. Ибо для мелких хозяйств сокращение посева означает, в большинстве случаев, лишение его той части продукта, которую он может вынести на рынок, — т.е. лишение его денежного дохода и вместе с этим возможности не только удовлетворять свои необходимые потребности в промышленных продуктах, но и оплачивать проценты по своей задолженности или налоги. «Регулирование» в капиталистическом хозяйстве бьет в первую очередь по мелкому производителю и конечно наталкивается на его противодействие. Только уничтожение частной собственности на землю и обобществление средств производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве даст возможность для миллионной массы сельского населения объединиться в общие союзы для использования новейшей техники в своем производстве. Не назад от трактора к коню и от комбайна к сохе, а использование всех улучшений нового времени на коллективных началах — вот выход из нынешнего положения для мелкого и среднего крестьянства.

Наука и жизнь

СПОР ОБ ЭФИРЕ

В. Е. Львов

Только-что вышла в свет книга акад. В. Ф. Миткевича¹⁾. Книга эта подводит некоторый предварительный итог дискуссии глубокого, я сказал бы, захватывающего мировоззренческого интереса. В течение вот уже четырех лет поднятый Владимиром Федоровичем научный спор продолжает волновать советскую физику.

Нужно постараться изложить перед читателем эту поучительную страницу выковыивания диалектико-материалистического мирозерцания на одном из авангардных участков науки о природе.

Речь пойдет опять²⁾ об эфире.

1. Призрак или реальность?

С тех пор, как на арене техники возникло и прочно водворилось радио, слово «эфир» («мировой эфир») спустилось со страниц натурфилософских трактатов в быт и стало чем-то обыденным и практически незаменимым. Мы слышим на каждом шагу о «передаче концертов по эфиру»; любой пионер попытается вам объяснить сущность радио, как «волны в эфире»; в порядок дня международных технических конференций ставится вопрос о «переделе эфира». И вот рядовой радиолюбитель, имеющий на каждом шагу дело с «эфиром» и, можно сказать, живущий и дышащий им, — если только этот любитель не окончательный «ползучий эмпирик», изошряющийся лишь в ловле далеких станций и больше ни в чем, — приходит рано или поздно к интригующему вопросу: что же такое эфир? Первая справка в учебнике электротехники и физики и — вместе с этой справкой — первое тяжкое недоумение... Страницы учебника гласят, например, о том, что:

«когда в проводнике замыкается ток... в любой точке пространства возникла бы электрическая сила, которая перемещала бы электрические заряды, если бы через эту точку проходил проводник. Но отсутствие проводника не обуславливает отсутствия силы... сила будет существовать и без проводника... она сейчас же проявит себя, как только в эту точку попадет проводник...»

В том же случае, когда работает радиопередающая станция, в «окружающем пространстве» происходит «колебание магнитной и электрической силы»¹⁾.

Итак, ни слова об эфире... Эфир — условный термин, пустышка, призрак, несуществующая вещь! Существуют только электрические и магнитные силы, таинственным образом висящие между радиоприемником и передатчиком

¹⁾ Акад. В. Ф. Миткевич. «Основные физические воззрения». Издание Академии наук. Ленинград, 1934.

²⁾ См. нашу статью «Ленин и физика». «Новый мир». Кн. 1, 1934.

¹⁾ И. И. Соколов. Физика. Ч. II. Стр. 290. Курсив наш.

в полной пустоте. Но на чем в таком случае «держатся» эти силы, что является точкой их приложения в пустоте? Ведь не может же пустота, не может ничто, нуль, фантом, быть источником силы, заставляющей электроны бегать взад и вперед по приемнику. Не может пустота раскачивать мембрану в громкоговорителе, наполняя грохотом комнату...

Недоумение продолжается. Недоумение достигает высшей точки, когда наш любитель, оказавшись в силу своей любознательности на открытом заседании Академии наук, получает из уст молодого профессора успокоительное разъяснение, что «вопрос (о несуществовании эфира. — В. Л.) решен и... никакой эволюции в физике в этом законченном вопросе не наблюдалось» и не предвидится...¹⁾.

Пропал эфир! Обращение к истории проблемы — на первых порах — не слишком выводит из затруднения нашего героя.



Изучая этап за этапом этой истории, он узнает прежде всего, что слово «эфир», введенное впервые в науку Аристотелем и Анаксагором, в своей первоначальной трактовке и впрямь прикрывает лишь самые неясные и наивные блуждания естественнонаучной мысли, твердо уверенной лишь в одном: в невозможности пустого, не наполненного каким бы то ни было веществом, пространства.

Так, эфир итальянского натуралиста Гримальди (1650) — это бесцветная тончайшая жидкость, невидимо проникающая всю вселенную и отличающаяся от обычных жидкостей лишь полной невесомостью, роднящей ее с «флогистоном», «электрическим флюидом» и прочими «невесомыми» (*imponderabilia*), которыми заселяла мир примитивная эпоха физики.

Столь же умозрительной оказывается гипотеза эфира и в системе мира Де-

карта, где идея эта непосредственно содержится в основной установке картезианской философии природы: «Пространство или место, занимаемое телом, и само тело, это место занимающее, различны лишь в нашем воображении». Выхолащивая, как видим, все многообразие свойств материи, кроме протяженности, определение это тем не менее не порывает с основной реальной посылкой: с необходимостью распределения вещества по всему объему вселенной.

На конкретную физическую почву вопрос об эфире становится в первый раз тогда, когда Ньютон открывает эффект всемирного тяготения: эффект взаимодействия небесных тел (например Земли и Солнца) на огромных расстояниях и без всякой видимой материальной связи между собой.

Безо всякой связи между собой! Надо ли это понимать так, что между Землей и Солнцем действительно нет никакой посредствующей материи, и Солнце притягивает к себе Землю, непостижимым образом действуя на нее через пустоту!

Так появляется на сцене и входит в историю знаменитый схоластический термин *actio in distans* («действие на расстоянии»), бросающаяся в глаза бессмыслица которого заключается в допущении того, что одно материальное тело может действовать (без посредников) в том месте, где оно не находится.

Но сам Ньютон менее всего апеллирует к этому мистическому абсурду для объяснения открытого им поразительного природного явления. В известном письме к своему ученику Бентлею Ньютон писал: «... что одно тело может взаимодействовать с другим на расстоянии через пустоту, без участия чего-то постороннего, при посредстве чего и через что их действие и сила могут быть передаваемы от одного к другому, — это мне кажется столь большой нелепостью, что я не представляю себе, чтобы кто-либо владеющий способностью компетентно мыслить... мог к этому прийти...»

Ньютону было ясно, что в эффекте тяготения с очевидностью участвует;

¹⁾ Стенограмма прений по докладу акад. В. Ф. Миткевича, 4 окт. 1933. Выступление Д. Д. Иваненко. (Акад. В. Ф. Миткевич. «О «физическом» действии на расстоянии». 1934. Стр. 18.)

кроме самих тяготеющих объектов, еще и третья сторона: материальная среда (эфир), непрерывно заполняющая пространство между небесными телами. Взаимодействуя с ними и координируя их движения, среда эта остается за кулисами явления, вследствие чего и получается иллюзия «притяжения» через «пустоту».

Спустя 200 с лишним лет историческая работа Альберта Эйнштейна (1915) дает разгадку тяготения, реализуя по существу стихийно-материалистическую установку Ньютона.

Открытие Эйнштейна состоит в том, что факт искривления пути любого небесного тела, попавшего в район нахождения другого тела с большей массой, происходит автоматически, вследствие местного искривления пространства¹⁾ в этой области мира. Чем больше масса небесного тела, тем резче искривляется пространство в участке мира вблизи него. Пролетая через такой участок и продолжая двигаться по инерции, планета «волей-неволей» заворачивает тогда свой путь по дуге в сторону массивного тела, «притягиваясь» к нему на тех же основаниях, на каких поезд, перешедший с прямых рельсов на закругление, ведущее к станции, «притягивается» к этой станции.

Но пространство, как известно, есть только одна из форм существования материи, и строение пространства (его «кривизна» или «прямоизна») есть лишь функция от строения материи. Строения какой материи? Речь идет в данном случае о том непрерывном субстрате, что незримо выстилает промежутки между видимыми небесными телами. Ведь от т е с н я е т, «притягивает», «давит»,

¹⁾ Искривленное (так называемое не-евклидово) пространство отличается от обычного «прямого» (евклидова) пространства тем, что линия кратчайшего расстояния в нем (в не-евклидовом пространстве) — не прямая, а кривая линия. См. об этом подробно в «Научном обозрении» («Новый мир», кн. 3, 1934). Отсюда уже ясно, что идя все время по кратчайшему пути и попав в область мира с сильно искривленной геометрией, траектория любого движущегося по инерции тела переходит из прямой в кривую.

заворачивает планету на кривой путь — как ясно — не само «бесплотное» пространство, но та, связанная с этим пространством реальная материя, сквозь которую планета прокладывает путь¹⁾. Эфир! Это — непрерывная материальная среда особого качества, конкретно познаваемая и учитываемая в эйнштейновском объяснении тяготения с ее геометрической стороны.

Так вышло по ходу истории. Но нельзя сказать, чтобы трезвое указание Ньютона в цитированном письме было учтено непосредственными его преемниками.

Последние, и в особенности издатель Ньютона Галлей, хорошо позаботились о том, чтобы директива эта была затушевана и чтобы «наибольший абсурд»²⁾, «акцию ин дистанс», в течение двух столетий фигурировал на страницах учебников ньютоновской механики как ее законное детище и едва ли не как «основной философский вывод».

Изгнанный теоретиками в дверь, эфир очень скоро постучался через окно.

Это событие должно было неминуемо наступить после того, как внимание физиков обратилось к свету и вслед затем к электрическим и магнитным явлениям.

Свет, изученный в основных своих свойствах еще Ньютоном, явным обра-

¹⁾ Само собою разумеется, что речь идет тут не о механическом давлении, вроде нажатия рельса на обод железнодорожного колеса, но о не-механическом воздействии материи эфира на материю небесных тел. Это воздействие непредставимо, к сожалению, наглядным образом, но оно поддается зато точному математическому учету в уравнениях Эйнштейна.

²⁾ Кое-кому этот «абсурд» был явно выгоден. Действительно, раз есть действие на расстоянии через пустоту, то-есть отсутствует материальный посредник между тяготеющими телами, то весьма правдоподобным становится участие в этом деле посредника не-материального. Попросту, боженька мудро «тянет» Землю к Солнцу, не давая им разойтись в мировом пространстве... Такой именно «вывод» и был сделан, как известно, современником Ньютона Пристлеем, а впоследствии ученым штабом Ватикана, официально подведшим под бога «базу» ньютоновой небесной механики.

зом вел себя, как волны. Но если есть в пространстве волна, то, значит, должно быть и «то, что волнуется».

Гюйгенс, исходя из этого соображения, рисует картину «светового эфира» в виде упруго-жидкой сверхтонкой среды, подернутой рябью высокочастотных волн, не отличающихся по своей сути от волн, бегущих на поверхности пруда от брошенного камня...

Электричество и магнетизм привлекают своим исследователям еще более убедительный феномен.

Одно (заряженное или намагниченное) тело опять притягивается, а иногда отталкивается тут от другого тела, даже и тогда, когда оба они — под колоколом воздушного насоса. Видимая материальная связь прервана. Магнит притягивает к себе железные опилки «в пустоте» сильнее, чем на воздухе.

Actio in distans?

Трезво-материалистическая мысль должна снова сделать свои выводы. Электрический и магнитный феномен наряду со световым. оказывается новым и, может быть, самым сильным доказательством в пользу существования эфира, заполняющего теперь уже не только пространство между телами, но и промежутки между частицами внутри самих тел (потому что луч света проходит сквозь стекло, а магнитная сила распространяется на всю толщину железа).

И эти выводы были сделаны. Два сильнейших ума материалистической физики XIX столетия, сыгравшие в разработке электромагнетизма такую же роль, какую сыграли в механике Ньютон, Фарадей и Максвелл, обращаются к изучению эфира как плацдарма электрических и магнитных явлений.

В 1844 г. Майкл Фарадей писал:

«... Материя присутствует везде, и нет промежуточного пространства, не занятого ею. Без сомнения однако, центры сил находятся на разных расстояниях друг от друга... Силы вокруг центров сообщают им свойства атомов, и эти же силы, когда несколько центров группируются в массу, сообщают этой массе свойства дискретного материального тела»

(«Гипотеза об электропроводности и природе материи»).

Исходя из этого положения¹⁾, и Фарадей, и Максвелл добиваются открытия законов передачи электрических и магнитных действий от точки к точке эфира в различных конкретных физических случаях. При этом Фарадей дает способ наглядного геометрического изображения процессов, протекающих в эфире, посредством нанесения на чертеж сетки линий, показывающих направление электрических и магнитных сил в разных точках пространства (так называемых «силовых линий»²⁾). Максвелл же описывает это распределение сил чисто математически («уравнения Максвелла»). Обоиими приемами удается вывести все фундаментальные законы электричества и магнетизма, удается предсказать множество новых, блестяще оправдывающихся на опыте явлений (например радио), удается дать толчок всей новейшей электротехнике, а вместе с тем и промышленной электрификации, реализуемой сейчас в стране победившей пролетарской революции и строящегося социализма. Достаточно сказать, что ни один расчет динамомашин, ни одна проектировка электрического двигателя не обходятся сейчас без наметки на чертеже фарадеевских силовых линий, то-есть не обходятся без учета динамики эфира, этими линиями отображаемого.

Схематика фарадеевских силовых линий и совокупность уравнений Максвелла в действительности представляют собою подлинный «с н и м о ж» с электромагнитных процессов, идущих в эфире в такой же мере, в какой гравитационные уравнения Эйнштейна являются снимком с эфира в отношении его геометрических качеств. Однако, если рассказанный выше механизм всемирного тяготения представлялся нам более или менее осязаемым (потому что этот

¹⁾ Гениально предвосхищающего диалектический синтез прерывности и непрерывности материи — электронов и эфира, синтез, намечающийся в наши дни (см. ниже).

²⁾ Силовые линии проводятся в частности так, чтобы стрелки, показывающие направление электромагнитных сил, в каждой точке на плоскости были касательными к силовой линии.

эффект был обязан самому наглядному из всех конкретных проявлений эфира — его геометрии¹⁾, то несколько хуже обстоит дело с электромагнетизмом. Сущность действия эфира на заряженные и намагниченные тела нам совсем уже не приходится «представлять» себе наглядно. Нам неясно, другими словами, каким, собственно, конкретным образом «толкает» эфир находящиеся в нем тела при электрическом притяжении или отталкивании. Мы не можем себе представить: какими находящимися в эфире «приводными ремнями» срываются с места электроны в толще провода приемной антенны в те мгновения, когда проходит радиоволна? И все это с очевидностью зависит от того, что наше наглядное воображение полностью удовлетворяется лишь чисто механической моделью явления, моделью, сконструированной из частиц, дискретно (обособленно) перемещающихся в пространстве...

Воздействия же, исходящие от непрерывной материи эфира, расшифровываются теперь как существенно немеханические воздействия. Вот почему паутина силовых линий, обволакивающая заряженные и намагниченные предметы на фарадеевских чертежах, составляя лишь как бы топографическую карту исходящих от эфира электрических и магнитных влияний, дает так же мало представления о самом качестве этих влияний, как отпечатанная в литографии карта Швейцарии дает почувствовать запах воздуха альпийских вершин! Тем не менее эта паутина в конечном счете отражает через ряд опосредствований подлинную динамику электромагнитных процессов эфира, подобно тому, как очертания линии, составленной из флажков, наколотых на географической карте, отражают динамику вооруженной борьбы на данном участке земной поверхности.

Но вот еще одно обстоятельство. Внимательное рассмотрение паутины фа-

радеевских силовых линий показывает, что перемещение наэлектризованных и намагниченных тел всегда происходит в направлении прогиба силовых линий (точнее, в том направлении, в каком силовые линии как бы стремятся расправиться¹⁾). Само собою понятно, далее, что этот факт невольно порождает грубо-наивную аналогию силовых линий с резиновыми шнурами или с упругими «волоконками» самого эфира, становящегося тогда похожим на эластичную пленку, колышащую вкрапленные в нее заряженные тела, как вибрирующая кожа барабана движет находящиеся на ней соринки!

И может ли — спрашивается — история материалистической физики предъявить хотя бы малейшую претензию к гению Максвелла и Фарадея за то, что, добившись открытия реального способа графически и математически отображать электромагнитные процессы, происходящие в материи эфира, эти великие ученые вслед за тем не избежали наивных и примитивных ассоциаций, о которых сказано выше?! Что они попытались истолковать наглядно не представимые (как мы знаем теперь) процессы, происходящие в эфире, как привычную механику перемещающихся в пространстве эфирных частиц...

Вся предшествующая история естествознания, история расцвета механики и механической натурфилософии в XVIII и начале XIX веков подсказывала это оказавшееся неправильным решение.

Фарадей наделил эфир вышеуказанными свойствами эластичной пленки, причем силовые линии расшифровались, как «снимок» с волокон этой пленки, расправляемых и натягиваемых движущимися между ними материальными телами. Электрические и магнитные силы сводятся тогда к простым механическим силам упругости, возбуждаемым при «на-

¹⁾ Хотя наглядно «представить» себе «кривое» пространство все же достаточно трудно!

¹⁾ Иначе и быть не может: ведь каждая силовая линия фиксирует как-раз фронт (направление напора) действующих со стороны эфира немеханических сил. Так, для примера, выгиб линии флажков на военной карте отображает интенсивность напора огневых и человеческих масс на данном участке фронта.

тяжени» и «боковом распоре» силовых линий.

Клерк Максвелл и вслед за ним Вильям Томсон (Кельвин), идя по стопам Гринальди, пытаются представить эфир как идеально жидкую среду, а силовые линии — как нитевидные, вытянутые в длину, вихри в этой жидкости¹⁾. Электромагнитные волны радио и различающиеся от них только частотой волны света разъясняются в этой связи как упругие колебания типа поперечных волн на поверхности воды.

Наконец, разыгрывая (увы, с «маленьким» запозданием в 50 лет!) новую вариацию все на ту же тему, престарелый Дж.-Дж. Томсон конструирует в 1923 г. модель светового кванта в виде «вихревого кольца», — нечто вроде баранки или бублика, перемещающегося со скоростью 300.000 километров в секунду вдоль по эфиру, перпендикулярно к своей плоскости...

Но всем этим попыткам готовится скорый конец.

Механика эфира оказалась нереальной!

Среди многих других событий, принесших это известие, узел фактов, собранный воедино теорией относительно Эйнштейна, поставил здесь точку над «и».

Если бы эфир состоял из роя перемещающихся частиц, тогда можно было бы с уверенностью наблюдать их движения вместе с телами обычной материи. Либо, наоборот, подмечать движение самих материальных тел относительно эфира как целого. Так, двигаясь в воздухе на быстром автомобиле, пассажиры замечают свое движение относительно воздушных частиц по тому ветру, который бьет в лицо.

Являясь пассажирами несущейся сквозь эфир Земли, физики могут пы-

таться в такой же мере обнаружить «эфирный ветер» (перемещение частиц эфира относительно Земли) с помощью приборов, идея которых была предложена давно.

Весьма тщательные опыты, поставленные для этой цели (так называемый эксперимент Майкельсона и Морли), привели к отрицательному результату. Эфирный ветер не существует. Частицы эфира не движутся относительно Земли.

Но в таком случае, может быть, эти частицы (из слоя эфира, который непосредственно прилегает к траектории Земли) перемещаются вместе с нею, подобно облаку пыли, увлекаемому поездом вдоль железнодорожных рельсов? Может быть, именно поэтому нельзя заметить движения струй эфира относительно Земли?

Еще более точные опыты¹⁾, специально задуманные для контроля над «умалчением» Землею эфира, не обнаруживаяют и следа такого явления.

Отсюда следовал только один вывод: не существует вообще движения частиц эфира (или движения эфира как целого). Не существует самих этих частиц, а значит, невозможны и «вихри», «волокна», «упругие волны» и прочая машинерия, неразрывно связанная с дискретными частицами и принципиально не отделимая от них.

Этот сделавший эпоху в истории физики факт скрещивается с другим существенным событием.

Гендрик Лоренц, голландский теоретик и наиболее крупный исследователь электромагнитных явлений, действовавший после Фарадея и Максвелла, разрабатывает в рамках созданной им электронной теории (1890) чисто формально вычисленный прием, приводящий практически к тем же ответам на задачи, какие даются классическими уравнениями Максвелла, но — в отличие от них — обходящийся без «поля сил» в промежуточном пространстве. Вот пример. Передача радиосигналов между двумя

¹⁾ См. например резюме Максвелла к главе 21 («Действие магнитов на свет»), т. II «Treatise on Electricity and Magnetism». «...Следующие результаты теории имеют величайшее значение: 1) магнитная сила — это эффект центральных сил вихрей; 2) электромагнитная индукция токов — эффект сил, появляющихся тогда, когда скорость вихрей изменяется», и т. д.

¹⁾ Относящиеся, например, к феномену так называемой аберрации света звезд.

удаленными пунктами описывается уравнениями Максвелла, как колебания электрической и магнитной силы, начинающиеся сперва в генераторе, охватывающие затем постепенно все точки пространства вокруг передатчика и доходящие наконец — спустя определенное время — до приемной антенны. В формулах Лоренца тот же самый факт (передача радиосигнала) описывается иначе: в передатчике движутся взад и вперед, с определенной частотой, электроны, и эти электроны, действуя на расстоянии на электроны в антенне приемника, приводят их с запазданием (спустя некоторое время после начала работы передатчика) в колебательное движение. В пространстве же между приемником и передатчиком теперь вообще ничто не колеблется. Пространство это не населяется теперь вовсе никакими силами. Промежуточное пространство, — говорю я, — вообще не участвует больше в явлении, как то и подобает «абсолютной пустоте»...

Практическая равноправность обоих методов вычисления (метода Максвелловского, учитывающего «поле сил», то есть эфир в промежуточном пространстве, и метода лоренцовского, это «поле» не учитывающего) на первый взгляд кажется странной. Положение разъясняется, если понять, что формулы Лоренца представляют собою в конечном счете те же самые уравнения Максвелла, но лишь математически переписанные и дополненные на новый фасон, так, что из них выпадает, по ходу преобразований, мозаика сил в промежуточных точках пространства и остаются лишь силы, приложенные к пунктам генерации и приема¹⁾.

Но так или иначе формальная возможность производить все относящие-

¹⁾ Для читателя, искушенного в математике, достаточно сказать, что силы якобы «запаздывающего» действия (через пустоту) одних электронов на другие, фигурирующие в формулах Лоренца, пишутся там, как продукт предварительного интегрирования сил, распределенных по всем точкам пространства. Таким образом, промежуточное пространство и его материальный субстрат (эфир), не входя явно в окончательное выражение формул Лоренца, содержится в них неявно, — как промежуточная стадия вычисления.

ся к электричеству и магнетизму расчеты в терминах «действия на расстоянии» — налицо.

А к ц и о и н д и с т а н с реванширует. Эфир исчезает из физики.



Историческая справка дана, но тяжелые сомнения остаются неразрешенными. Следуя по стопам нашего любознательного спутника, мы уже слышим град нетерпеливых вопросов, ответ на которые предвосхитил бы впрочем ход событий, имеющих развернуться ниже.

— Что, собственно говоря, вытекает из всей рассказанной истории вопроса об эфире? Может быть, тот непреложный факт, что эфир, как передатчик электрических, магнитных, световых и гравитационных действий, во всяком случае, не состоит из дискретных частиц? Что электромагнитные силы не сводятся к силам механического перемещения эфирных частиц в пространстве?

Но кто и когда утверждал, что в диалектико материалистической картине мира электромагнетизм должен целиком сводиться к механике и что он не может включать в себя (наряду с механикой) процессы особого качества, имеющие своим единственным плацдармом эфир?! Кто утверждал, что радиоволна должна обязательно представлять собою упругую вибрацию частиц эфира в пространстве, а не просто периодическое количественное изменение (колебание по синусоиде) определенных качеств атрибутов и признаков материи эфира?

Наконец существование двух формально равноценных способов описания явлений, из которых один опирается на передачу сил через промежуточную материальную среду, а другой базируется на «действии на расстоянии», — это обстоятельство не имеет ведь ни малейшего отношения к вопросу о том, какой же из двух способов является отражением объективной реальности, а какой — просто искусственным вычислительным приемом? Какому из двух математических вариантов решения проблемы нужно отдать физический префе-

ранс?.. Мистической ли нелепиде actio in distans, или же действию через заполненное материей пространство?

И как вообще могло оказаться, что международная физика, в лице крупнейших и авторитетнейших своих представителей, очутившись 30 лет тому назад перед дилеммой, указанной выше, выбрала первый выход, означающий разрыв с объективной физической реальностью, искажение реальности, отказ от эфира?

Обратившись к Энгельсу и Ленину и выяснив раз и навсегда¹⁾, что это произошло потому, что

«... одна школа естествоиспытателей в одной отрасли естествознания, не сумев прямо и сразу подняться от метафизического материализма к диалектическому материализму (подчеркнуто Лениным. — В. Л.), скатилась к реакционной философии...»²⁾,

выяснив этот известный уже нам факт, наш сторонний наблюдатель оказывается лицом к лицу перед последним и решающим вопросом: как долго могла продержаться величайшая фальсификация, связанная с устранением эфира и с возвращением к обскурантской легенде об actio in distans, как долго могла быть молчаливо принимаема эта фальсификация в стране воинствующего материализма, в условиях развертывания советской, диалектико-материалистической науки о природе?

Да, это могло продолжаться недолго. Нужно было ждать, что из рядов самой советской физики, из среды ее наиболее заслуженных, старых и стихийно-материалистически настроенных кадров возникнет движение в пользу пересмотра вопроса об эфире. Нужно было ждать выступлений, которые попытались бы дать бой за эфир на основе не только общеметодологических рассуждений, но и на почве самой конкретной физики электричества.

¹⁾ См. об этом подробно в нашей статье «Ленин и физика». «Новый мир», кн. 1. 1934.

²⁾ Ленин. Избранные произведения. Т. VI. Стр. 199.

К чести советской физики, это глубоко прогрессивное (при всех его отдельных непоследовательностях и ошибках) движение началось, и застрельщиком его является академик В. Ф. Миткевич.

2. Первый бой

Необходимо было, бесспорно, идейное мужество для того, чтобы в 1929 — 1930 гг., в обстановке официального «упразднения» эфира на страницах большинства заграничных и советских учебников, в обстановке гнило-либерального «невмешательства» во «внутренние дела» физики, практиковавшегося тогдашней группкой меньшевистствующего идеализма в СССР, выступить против течения с развернутой программой, резко и четко требовавшей принятия и изучения эфира как объективной реальности.

За эфир, в то время как в течение десятков лет этот эфир стал «жупелом» и «металлом» для общественного мнения, искусно созданного идеализмом в физике¹⁾.

За объективную реальность явлений, происходящих в пространстве между заряженными и намагниченными телами.

Против вредного мифа о «действии на расстоянии».

Против затушевывания тех тупиков, в которые этот миф заводит конкретную физику электричества, тормозя ее развитие, а следовательно, и развитие дела социалистической электрификации страны.

13 декабря 1929 года в Большой аудитории Ленинградского политехнического института, заполненной доотказу

¹⁾ Для характеристики создавшегося положения достаточно сказать, что появление в Большой советской энциклопедии (том 64, буква «Э») статьи «Эфир» вызвало со стороны группы ленинградских физиков посылку в Москву по бильд-телеграфу (sic!) издательской карикатуры, где автор статьи в БСЭ был изображен в виде кота, восседающего на свалке, усеянной черепками посуды аптекарского назначения с надписями: «эфир», «флогистон» и т. п.

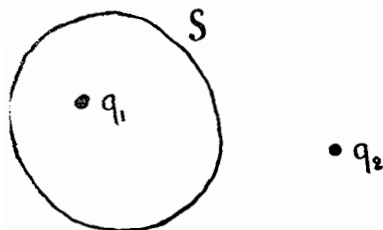
студенчеством и представителями научной общественности Ленинграда, в присутствии крупнейших физиков Союза Владимир Федорович Миткевич дает свой первый бой...

Объявленный им диспут¹⁾ на тему «Природа электрического тока» занимает три вечера, и этих трех вечеров оказывается достаточно для того, чтобы четко размежевать идейные позиции, изложить огромный фактический материал и дать толчок, влияние которого со всей силой ощущается в переживаемые дни.

Вопрос был ухвачен в его важнейшем центральном звене:

«Признаете ли вы, что в пространстве между взаимодействующими электрическими и магнитными центрами — реально и независимо от нашего сознания — происходят какие-то, пусть неведомые пока, физические явления? Если признаете, то вам не отвертеться от существования материального носителя этих явлений. Назовите эту материю как угодно: «поле», «среда», «икс», «игрек», — это будут лишь псевдонимы эфира, в определение которого не вкладывается ведь ничего иного, кроме материальной (в общем смысле этого слова) физической среды, передающей действия между дискретными частицами».

Признаете ли вы?.. Оппонентам предлагается далее ставший уже знаменитым рисунок мелом на доске — и категорическое требование ответить «да» или «нет» на вытекающую из этого рисунка дилемму. Вот этот рисунок и комментарий к нему.



¹⁾ Стенограмма диспута напечатана в №№ 3, 8, 10 журнала «Электричество» за 1930 г.

«... Представим себе электрический заряд q_1 , электрический заряд q_2 и некоторую замкнутую поверхность, окружающую со всех сторон заряд q_1 ». «Вопрос заключается в том: может ли электрический заряд q_1 взаимодействовать с зарядом q_2 без того, чтобы при этом в тонком слое S не происходило какого бы то ни было физического процесса»... «Необходимо совершенно ясно и четко сказать: «да» или «нет». Либо «да», либо «нет». Либо то, либо другое. Середины быть не может! С этим ответом связано определенное физическое мировоззрение... Я самым решительным образом утверждаю, что мы должны категорически отрицать возможность ответа «да» и говорить только **«НЕТ»**... «Так или иначе, имеется физический посредник между этими двумя зарядами q_1 и q_2 »¹⁾. Положительный же ответ, то-есть «признание того, будто физические центры могут взаимодействовать на расстоянии через пустоту... можно себе представить лишь в том случае, если призывать на помощь спиритические или медиумические явления»²⁾.

В самом деле: предположим, что в слое S не происходит никаких физических явлений и что он состоит из пустоты. Тогда, следовательно, он «совершенно непроницаем для каких бы то ни было физических процессов, способных осуществить связь «между q_1 и q_2 ». И если q_1 и q_2 все-таки взаимодействуют, то это значит, что «линия связи» между ними «выходит из пределов трехмерного пространства и пролегает где-то... в четырехмерном пространстве». Мы уходим в «совершенно чуждую физике область» и «привносим в науку элементы чего-то, имеющего спиритический характер...»³⁾.

¹⁾ «Электричество». № 10. 1930. Стр. 425—426. В. Ф. Миткевич. «Основные физические воззрения». Л. 1934. Стр. 26.

²⁾ «Электричество». № 8. 1930. Стр. 338.

³⁾ В. Ф. Миткевич. «Основные физические воззрения». Стр. 49, 50.

Вопрос поставлен ребром. И об это ребро споткнулась и нанесла себе тяжелые поранения не одна самоуверенная теоретико-физическая репутация...

Вот что услышала аудитория Политехнического института в ответ на рисунок академика Миткевича:

«... В. Ф. Миткевичу представление о передаче силы через пустоту... кажется чем-то немислимим, непонятным... Эта непонятность однако вовсе не является доказательством...» «Если эта точка зрения удобна, если она дает возможность просто описывать физические явления... то нам нет надобности ее отвергать... Здесь не может быть никакой физической проблемы, здесь вопрос — об удобстве описания: будем ли мы описывать действие непосредственное, или с помощью представления о поле». «Будем ли мы, далее, утверждать, что это поле находится в «пустоте» «или же оно связано с какой-нибудь материальной средой... С моей точки зрения — ответ отрицательный... Введение промежуточной материальной среды совершенно излишне. Интерпретация физических явлений приобретает гораздо более простой характер, если отказаться от представления о материальной среде, передающей электромагнитные действия... Никакой промежуточной среды, с которой поле было бы связано, никакого материального носителя поля не существует...»¹⁾

И не существует вообще само поле, не существует ничего, кроме электронов и пустоты!

«Мы имеем пустое пространство, в которое вкраплены отдельные электроны, действующие друг на друга на расстоянии...»²⁾

Поле же, то-есть распределение электромагнитных сил в промежуточном пространстве, графически изображаемое в виде сети силовых линий, — «поле есть понятие вспомогательное»... Электромагнитное поле есть вспомогательная конструкция, вводимая нами для...

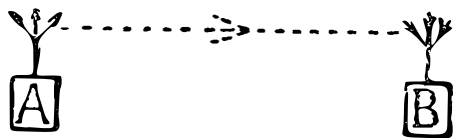
описания взаимодействия частиц...» «Можно поставить себе вопрос: есть ли у чорта хвост, или нет... Прежде чем решать его, нужно поставить вопрос, а есть ли чорт на самом деле, или же мы его выдумали. Точно так же... нужно поставить вопрос, имеются ли в природе силовые линии, или же мы сами их выдумали...» «Магнитные силовые линии — это продукт нашего собственного воображения, вводимый нами для удобства и наглядности...»¹⁾

Итак, «среда», «поле», «силовые линии» — фантом, призрак... Эфира нет. «Эфир сыграл роль тех лесов, которые окружают строящееся здание. Когда здание построено, леса снимаются долой!»²⁾

Все точки над «и» поставлены. Ответ дан. Средневековая по духу идея о «действии на расстоянии» принята и закономерным образом сплетена с самой новейшей махистской идейкой, провозглашающей единственным критерием физической теории не отражение объективной материалистической реальности (к которой здесь, мягко говоря, мало интересуются), а «удобство», «простоту», «принцип» наибольшей экономии мышления,

... На трибуне снова В. Ф. Миткевич.

«... В дополнение к тому, что я здесь говорил относительно физической абсурдности действия на расстоянии, представим себе, что у нас имеется некоторая система, способная излучать электромагнитную энергию. Допустим, что радиостанция А (смотри рисунок) в



некоторый момент времени начинает генерировать очень мощное излучение, распространяющееся на колоссальное расстояние. Возьмем расстояние столь большое, что оно проходит электромагнит-

¹⁾ «Электричество». № 10. 1930. Стр. 427—428. № 3. 1930. Стр. 132. Стенограмма выступлений Я. И. Френкеля.

²⁾ Там же. № 10. Стр. 428.

¹⁾ Там же. № 10. Стр. 427. № 3. Стр. 132.

²⁾ Там же. № 8. Стр. 344.

ным излучением в десять лет, пока оно не дойдет до некоторого удаленнейшего радиоприемника В». «После того, как станция А послала свою радиотелеграмму в окружающее пространство, мы можем ее совершенно разрушить, так что она больше не существует. Затем, по прошествии девяти лет, приступим к сооружению приемной станции В и закончим ее до истечения десяти лет... Ясно, что ровно через десять лет с момента посылки радиосигналов станцией А мы примем эти сигналы станцией В». «... С точки зрения Я. И. Френкеля... электроны, колеблющиеся вперед и назад вдоль антенны отправительной радиостанции А действием на расстоянии, приводят в соответствующее колебание электроны в приемной антенне станции В, только это действие на расстоянии запаздывает ровно на десять лет...»¹⁾

Запаздывает на десять лет! Но — спрашивается — как же это может случиться?! Ведь приемник-то В со всеми его электронами не существовал на своем месте в тот момент, когда начали «действовать» электроны на станции А. После же того, как в точке В водворились электроны, тогда уже в точке А давно не осталось и следа от отправительной антенны с ее электронами. Откуда же электроны в антенне В могли «узнать», что ровно десять лет назад на них «подействовали» электроны со станции А, давно уже стертой с лица земли!? И где — спрашивается — в течение тех девяти с лишним лет, когда в мире не существовали ни генератор А, ни радиоприемник В, — где «пребывала в это время излученная А электромагнитная энергия?»

Если нет эфира (от точки к точке которого энергия эта во все стороны передвигалась в течение десяти лет), если, говорим мы, в пространстве между А и В вообще не идут никакие объективно-реальные процессы, имеющие отношение к работе станций А и В, — если все это так, тогда остается только один

вывод, «что эта энергия, как таковая... вообще на десять лет совершенно исчезает из нашего трехмерного пространства... Но в таком случае по какой причине некоторая незначительная доля ее внезапно рождается в антенне станции В ровно через десять лет? Где даются директивы, во исполнение которых энергия вдруг появляется в физическом трехмерном пространстве в точно указанный момент? Здесь мы имеем дело с несомненным нарушением закона сохранения энергии и закона причинности...».

Еще основное и самое обыденное явление: электрический ток в металле. Рой электронов, мчащийся вдоль по проводу. Полная энергия тока в общем случае не равна, как известно, энергии перемещения электронов вдоль по проводу. Полная энергия тока больше энергии движения электронов. Лишь часть полной энергии тока приходится на электронный бег. Где же находится остальная часть?

Остальная часть энергии может находиться только в окружающем провод пространстве. Ее фактически и можно обнаружить в любой точке с помощью магнитной стрелки. Магнитная стрелка отклоняется вблизи провода, по которому течет ток. Но если определенная доля энергии тока оказывается распределенной по всем точкам пространства, то это означает, что само явление не ограничивается тут лишь переносом электронов внутри провода. Раз некоторая часть энергии тока находится в окружающем провод пространстве, следовательно, в этом пространстве идут объективно-реальные процессы. Ведь энергия есть величина, показывающая интенсивность какого-то процесса, какого-то изменения: там, где есть энергия, — там есть и самый процесс. Там же, где есть процесс (изменения), — там есть и «то, что изменяется», короче говоря, материя.

С другой стороны, если бы все дело в электрическом токе ограничивалось только перемещением кучи электронов вдоль по металлу, тогда поток энергии

¹⁾ «Электричество». № 8. Стр. 338, 339. И В. Ф. Миткевич. «Основные физические воззрения». Стр. 27, 28.

был бы направлен под прямым углом к поперечному сечению провода. Между тем, как показал из уравнений Максвелла его ученик Пойнтинг, основной поток энергии направлен перпендикулярно не к сечению провода, а к его поверхности. То-есть в те мгновения, когда идет электрический ток, энергия вливается в провод из окружающего пространства сразу со всех сторон! Внутри провода засасывается, ясное дело, лишь часть общей энергии, и только эта часть и расходуется на срыв с места электронов. Движение электронов по металлу и впрямь расшифровывается тогда как чисто вторичный момент в явлении, называемом электрическим током. Сам же металлический провод оказывается играющим роль всего лишь оси, по отношению к которой ориентируются основные события, разыгрывающиеся тут во всем окружающем пространстве (т.-е. в эфире).

Разбор вопроса об энергии электрического тока дает в итоге еще одно конкретное доказательство существования эфира как плацдарма электромагнитных явлений.

Что же получается теперь, если отрицать существование эфира в явлении тока? Что получится, иначе говоря, если описывать ток как чистое перемещение электронов, действующих друг на друга (и на магнитную стрелку) через пустоту?

Разумеется, можно и в этом случае, пользуясь искусственным математическим приемом, не рассматривать вовсе процессов, происходящих в окружающей провод среде. Но тогда немедленно встает вопрос, уже поставленный выше: где же находится та часть фактической энергии тока, которая не связана с перемещением электронов? Если не во внешнем пространстве и не в металлическом проводе, то где? Осталась без места энергия. Опять осталась без места энергия!

С затаенным дыханием аудитория ждет ответов. «Ответы», бодро поспешая, не заставляют себя долго ждать.

... Энергия... «энергия нигде не находится... Энергия предста-

вляет в данном случае «нелокализуемую физическую величину...» «С точки зрения непосредственного действия электронов, энергия их нигде не сосредоточена...¹⁾».

Стенограмме ничего не остается, как бесстрастно зафиксировать трудный диалог:

«В. Ф. Миткевич. — Я нахожусь в чрезвычайно тяжелом положении... Я прямо смущен до чрезвычайности... Я стремился поспорить с физиком Я. И. Френкелем, а он подменил физика чистым математиком... У нас нет общего языка... Если вы, Яков Ильич, как физик, действительно можете примириться с этим невероятным абсурдом (показывает на рисунок на стр. 216)... то я вынужден заподозреть вас в том, что вы — тайный адепт спиритизма...

— Желает ли Я. И. Френкель ответить на мой основной вопрос?.. (Показывает на доску.)

Я. И. Френкель. — ... Я... собственно, недоумеваю, почему В. Ф. Миткевич на меня взелся...

В. Ф. Миткевич. — Только об этом в первую очередь нужно говорить... (Указывает на доску.)

Я. И. Френкель. — ... Лодж полагает, что эфир...

В. Ф. Миткевич. — Я уйду, так как мы продолжаем отвлекаться от существа дела. Мы должны говорить прежде всего об этой части доски (показывает на рисунок на стр. 216)—и ни о чем другом...²⁾».

Выступления большинства других ораторов (А. Ф. Иоффе, П. С. Эренфеста и других), к сожалению, избегали подема на тот высокопринципиальный уровень спора, который был дан В. Ф. Миткевичем. Выступления эти носили слишком явный компромиссно-«умиротворяющий» характер, чтобы он не был замечен самими диспутантами.

¹⁾ «Электричество». № 3. 1930. Стр. 133. Стенограмма выступлений проф. Я. И. Френкеля.

²⁾ «Электричество». № 8. 1930. Стр. 346 347.

Я. И. Френкель с полным правом мог констатировать:

«... Мне кажется, что среди ораторов, выступавших после нас, преобладали соглашательские тенденции, они хотели замазать... разногласия. Я позволю себе снова подчеркнуть, что В. Ф. Миткевич... не хочет отказаться от материальной среды как субстрата, носителя (электромагнитного) поля... Ему нужна не «философская материя», заполняющая пространство... ему нужна материя физическая»...

В. Ф. Миткевич. — Я в последний раз буду только об этом говорить (обращается к Я. И. Френкелю и указывает на рис. на стр. 216). Может ли заряд q_1 действовать на заряд q_2 «без того, чтобы какой-либо физический агент проникал через замкнутую поверхность... Здесь может быть либо «да», либо «нет»!..

М. А. Шателен (председатель). — Мы вероятно выйдем отсюда несколько неудовлетворенными... Нам станет только яснее та разница, которая существует во взглядах В. Ф. Миткевича и Я. И. Френкеля, и я совершенно согласен, что ее не следует замалчивать...¹⁾



На второй и на третий день дискуссии, которыми завершился этот единственный в своем роде диспут, Я. И. Френкель развернул свой основной аргумент «против эфира», — аргумент, требующий внимательной оценки.

— Предположим на минуту, — заявил оратор, — что электрические и магнитные силы действительно передаются от тела к телу через посредство некоторой промежуточной материальной среды — эфира. Ну, а сама эта среда — не должна ли она в свою очередь состоять из мельчайших частиц, отделенных опять-таки пустотами друг от друга?²⁾

¹⁾ «Электричество». № 8. 1930.

²⁾ Предположение о том, что отдельные частицы эфира (если он состоит из частиц) взаимодействуют не «на расстоянии», а путем непосредственных «ударов» друг от друга, не дает очевидно выхода из положения. На самом деле, подобными ударами можно вызвать разве что только «сжатия» эфира. При «растя-

Мы можем допустить, правда, что эти пустоты (между эфирными частицами) заполнены еще новой, передающей взаимодействия между самими частицами эфира, средой — «сверх-эфиром». Но тогда этот последний должен в свою очередь состоять из своих, еще более мелких корпускул, отделенных промежутками друг от друга... Заколдованный круг! Стремясь уйти прочь от *actio in distans*, мы, дескать, никуда от него фактически не уходим и лишь заменяем «действие на большом расстоянии» «действием» на все меньших и меньших дистанциях. «Близкодействие» оказывается замаскированным «дальнодействием»...

Но почему однако эфир обязан состоять из отдельных, дискретно расположенных, частиц? По мнению Я. И. Френкеля, это необходимо следует из того, что:

«сплошной материальной среды мы не знаем. Всякое материальное тело, которое мы знаем в природе, состоит из отдельных частиц, и представить себе сплошную среду невозможно. «Для такого рода представления у нас нет примера в реально известном нам мире...» «О переходе эфира на непрерывку не может быть и речи...»¹⁾

В итоге, хочешь не хочешь, а приходится принять «действие на расстоянии» как «упрямый факт», который если и нельзя понять, то следует «к нему привыкнуть»...

Нужно вскрыть и раз навсегда покончить с этим фундаментальным недоразумением. Нам приходилось уже отмечать на страницах «Нового мира»²⁾, что исходная ошибка, на которой покоятся все подобные рассуждения, заключается в трактовке эфира как самостоятельного материального тела, существующего наряду

жениях» же (когда частицы расходятся) промежуточные расстояния между ними не только не сводились бы на-нет, но еще более увеличивались бы.

¹⁾ «Электричество». № 8. Стр. 343—5. И № 10. Стр. 434.

²⁾ «Ленин и физика». «Новый мир». Кн. 1. 1934.

с обычными (твердыми, жидкими и газообразными) материальными объектами и похожего на них. Ключ к ошибке — в понимании эфира как самостоятельного вещества: нечто вроде «нового химического элемента» (Менделеев отводил ему даже «нулевую клетку» своей таблицы) или как нового, «четвертого» агрегатного состояния материи...¹⁾

Этот наивно-упрощенческий подход к проблеме был в действительности характерен для всей предыдущей истории механического естествознания в целом.

«Все попытки... объяснения явлений электричества, магнетизма и света, — справедливо отмечает проф. Д. А. Гольдгаммер, — в сущности сводились к наложению на эфир свойств, скопированных со свойств обычной материи, то есть к уподоблению эфира некоторому материальному телу, нам знакомому»²⁾.

«Какой бы чудовищный эфир ни выдумывали, он всегда оказывался, в сущности, комбинацией свойств тел жидких, твердых и газообразных»³⁾.

Подогнать такой вот «молекулярный» эфир к уравнениям Максвелла и силовым линиям Фарадея, как мы видели, и пыталась безуспешно наука XIX столетия. По отношению к такому эфиру соображения проф. Я. И. Френкеля бесспорно сохраняют и убедительность, и силу.

Но весь диалектический гвоздь вопроса, — как отмечалось уже нами в статье «Ленин и физика», — состоит в том, что эфир не есть «материальное тело», не есть качественная разновидность материи в химическом смысле этого слова. Но эфир является той стороной бытия материального мира, которая существенно связана с его непрерывно-

стью. Всякая материя объединяет в себе, как известно, свойства прерывности и непрерывности. Проявлением прерывности материи является факт концентрации двух важных ее атрибутов (заряда и массы) в дискретных пространственных об'емах, называемых атомами, протонами, нейтронами и т. д. Проявлением непрерывности этой же самой материи являются распространенный по всем точкам бесконечного пространства, основной и первичный субстрат мира, который и можно назвать эфиром.

Более или менее тесные собрания протонов, нейтронов и т. д. в разных комбинациях в пространстве образуют, как также хорошо известно, разные химические качества и агрегатные состояния «весомой физической материи». В результате комбинирования между собою корпускулов получаются, другими словами, более или менее крупные сгустки массы и заряда: «атомные ядра», «твердые тела», «газовые облака», «звезды», «туманности» и т. д.

Самый феномен «химического качества» и «телесности» (в смысле объектов, имеющих массу, плотность и корпускулярное строение), таким образом, специально связан с прерывностью материи и поэтому не имеет и не может иметь ни малейшего отношения к «эфиру», как к выразителю момента непрерывности вещества.

Другое дело при этом, что повседневная человеческая практика и физиологическое восприятие внешнего мира человеком, сталкиваясь непосредственно только с дискретным ликом мира (с «массами», «телами», «атомами» и т. д.), оказываются не в состоянии наглядно «представить» себе второй, непрерывный лик строения материи. Другое дело, — говорим мы, — что наглядное человеческое воображение неизбежно пытается дробить на «частицы» все, что попадает ему под руку... Материалистическая физика достаточно давно уже вышла из пеленок физиологической «наглядности», чтобы смущаться этим, и не чемпионам математической абстракции

¹⁾ Агрегатное состояние определяется прежде всего степенью разреженности роя молекул. Газ, жидкость и твердое тело являются тремя типичными агрегатными состояниями обычной материи.

²⁾ Словарь. Брокгауза и Ефрона.

³⁾ Ф. Гальперин и М. Марков. «Начало неопределенности в квантовой механике». «Успехи физических наук». XIII. I. 1933. Стр. 27.

(какими являются воюющие с В. Ф. Миткевичем теоретики) тащить физику к этой «наглядности» вспять.

Вот это надо понять. Надо понять и осмыслить как момент отличия, так и момент реальной связи, существующей между (остающимся за кулисами непосредственного восприятия) и непрерывным первичным субстратом мира—эфиром—и дискретными корпускулами типа электронов и протонов, действующими на авансцене мира.

Нужно понять, что эти последние частицы являются, математически упрощенно говоря, как бы особыми точками самого же непрерывного эфира. Что эфир, сам не состоя из частиц, порождает однако из себя частицы, оказываясь плацдармом их взаимодействий. И тогда с полной отчетливостью выяснится бессмысленность дробления мира на «корпускулы» и приписывание ему агрегатных и химических состояний, потому что, повторяем, феномен корпускулярности, частичности, агрегатности уже выражен в факте существования частиц обычного вещества: протонов, электронов, фотонов и т. д., с эфиром связанных¹⁾.

Наметку именно такого, подлинно диалектического понимания проблемы эфира мы встречаем уже у Фарадея в его цитированных выше словах о том, что «...материя присутствует везде, но центры сил (действующих в материи), находятся на разных расстояниях друг от друга».

Вот эта гениальная наметка (которую нужно тщательно отделять от грубой механики эфира, развитой впоследствии тем же Фарадеем) и получает сейчас конкретную реализацию в исто-

рическом открытии Луи де-Бройля (1923)¹⁾.

Открытие это, как мы помним, выяснило, что электроны представляют собою, как и предвидел Фарадей, «центры сил», то-есть те объемы, в которых прерывно локализуется энергия некоторого совершенно определенного периодического процесса (так называемой «волны материн» или «волны де-Бройля»), охватывающего собою все точки пространства, то-есть разыгрывающегося в эфире.

После гениальной находки де-Бройля физическая теория эфира может считаться принявшей реальные и непосредственные очертания. Соединенным выкрикам идеалистов и механистов (их блок на «фронте» эфира есть ныне факт совершившийся!): «Что же, дескать, реально остается от «вашего» эфира после того, как из него изъята вся механика частиц?», — этим выкрикам диалектико-материалистическая физика может противопоставить сейчас полноценный ответ. Электромагнитные силовые линии Фарадея, уравнения тяготения Эйнштейна, уравнения де-Бройля — Шредингера, — вот конкретный «снимок» с объективно-реальных процессов, идущих в эфире! Вот подлинная физика эфира! Это ведь только в ваших руках, гг. механо-идеалисты, всякий раз, когда «появляются уравнения», «исчезает материя». В руках же материалистической физики математика служит и будет служить могучим орудием познания и перделки материи, в особенности в тех случаях, когда аппарат наглядности закономерно отказывается целиком служить.

Так именно, наглядно не представимый, именуемый радиоволной, периодический процесс в эфире («колебание векторов E и H ») в руках у большевика Кренкеля спас челюскинцев. Так, столь же малопредставимый, другой процесс в том же эфире («колебание функции ψ ») помогает ныне анализу отливок черной металлургии, этого важ-

¹⁾ Всего этого совершенно не понял например Б. М. Гессен в его напечатанной в Большой советской энциклопедии статье «Эфир», где содержатся нижеследующие, являющиеся, как мы видим теперь, чистейшим недоразумением, «установки»:

«Основной методологической ошибкой общей теории относительности является то, что она рассматривает эфир как абсолютно непрерывную среду».

«... Отсутствие идеи прерывности (это в эфире-то!..— В. Л.) закрывает путь дальнейшему развитию изучения эфира» (БСЭ, т. 64).

¹⁾ См. подробно в нашей статье: «Вопрос о причинности в современной физике». «Новый мир». Кн. 2. 1933.

нейшего звена, ужваченного сейчас строящимся социализмом.

3. Борьба продолжается

Мы возвращаемся к Владимиру Федоровичу Миткевичу. Он имел все основания быть удовлетворенным результатом первого боя.

«... Я. И. Френкель упрекал меня в том, что я ловлю некоторого «чорта». Каюсь, действительно я ловил многие годы (и во время наших трех бесед продолжал ловить) «чорта». Этот «чорт» есть *actio in distans*. Мне кажется, что я его наконец уловил, что я оборвал ему «хвост», так что он теперь без «хвоста»...¹⁾».

Вопрос о чудовищном идеалистическом абсурде, молчаливо принимавшемся в обширных научных кругах вне и внутри советского рубежа, вопрос о «действии на расстоянии», вопрос об эфире громогласно поставлен. Вопрос поднят на подобающую ему идейную и общественную высоту. Вызов брошен. Но потребовалась еще долгая и упорная работа для преодоления косности и сопротивления тех, кто мог и хотел сопротивляться.



Работа эта, развитая В. Ф. Миткевичем на протяжении четырех с половиной лет, истекших после памятного диспута, своею страстной напряженностью имеет мало аналогий в истории науки. Ученый бросается в бой с кафедр вузов и академий, со страниц книг, журналов, научно-исследовательских бюллетеней Союза. Знаменитый рисунок мелом на доске и сцепленный с ним железный вопрос «да» или «нет» повторяются бесчисленное число раз, будоража общественное мнение советской физики, служа темой бурных откликов, нападений, дискуссий...

В статье «К вопросу о природе электрического тока»²⁾, написанной вкоре после диспута в Политехническом институте, пересмотрев и концентрировав заново все накопленные в этом споре ма-

териалы, он приколачивает свои витгенберговские тезисы... 10 пунктов, 10 вопросов, каждый из которых и все они, вместе взятые, не оставляют сомнений.

Это — кредо воинствующего физика-материалиста наших дней, это — бомба, брошенная в самый узел идеологических боев, происходящих сейчас на авангардном участке науки — в физике.

Вот эти тезисы:

Вопрос 1-й. — Может ли физическое явление протекать вне пространства и времени?

Вопрос 2-й. — Может ли физическое явление протекать без всякого участия в нем какой бы то ни было субстанции?

Вопрос 3-й. — Может ли физическая субстанция не иметь пространственного распределения?

Вопрос 4-й. — Может ли физическая субстанция не занимать никакого объема?

Вопрос 5-й. — Можно ли рассматривать энергию как нечто, не являющееся свойством некоторой субстанции?

Вопрос 6-й. — Может ли энергия не иметь пространственного распределения?

Вопрос 7-й. — Может ли какая-либо физическая субстанция или энергия возникнуть в некотором объеме из ничего или превратиться в ничто?

Вопрос 8-й. — Может ли физическая энергия возникнуть в объеме, в котором ее не было, иначе, как притекая извне?

Вопрос 9-й. — Может ли одно тело притти в движение в связи с приближением другого тела, если энергия ни в каком виде не притекает извне в объем, занимаемый первым телом?

Вопрос 10-й. — Может ли точка зрения *actio in distans* рассматриваться не как формально-математический метод, а как основное воззрение, относящееся к сущности физических явлений?

По поводу первого вопроса более чем уместно вспомнить, что все старания физического идеализма в переживаемые дни направлены как-раз к «доказательству» того, что пространство и время являются величинами, имеющими «принципиально-неточное», «принципиально-ограниченное» применение в физике. Что имеются, дескать, такие участки мирового бытия (например область сверхлег-

¹⁾ «Электричество». № 10. 1930. Стр. 435.

²⁾ «Сорена». № 3. 1932.

ких и сверхбыстрых внутриядерных частиц — так называемая «релятивистская квантовая механика»), где эти частицы смогут описываться целиком или отчасти вне пространства и времени.

Вопрос 7-й, как также видно, оказывается палкой в муравейник самоновейших ликвидаторов закона сохранения энергии и апологетов «физического» перпетуум мобиле, о чем писалось недавно на страницах «Нового мира»¹⁾.

И все десять вопросов требуют от нас безоговорочных и четких ответов — «нет»²⁾.

Каждое из этих «нет» является в свою очередь утверждением реальности эфира.



Контратака, предпринятая оппонентами академика Миткевича в этот второй период дискуссии, явным образом обнаруживает тенденцию перехода от лобового натиска к тихой сапе...

Знаменитый рисунок на меловой доске сыграл свою роль. Прямые и открытые выступления в пользу «действия через пустоту» становятся все более и более затруднительными, хотя еще не далее как 4 октября 1933 г. заявление, гласящее, что

«далеко не очевидно, что вопрос: возможно ли действие на расстоянии, имеет один и тот же ответ для всех областей и микро-, и макрофизики...»³⁾,

оказывается оглашенным перед изумленной аудиторией.

То-есть в мире атомов и атомных ядер не исключена возможность передачи физических влияний через абсолютную пустоту.

Сия мало-dипломатическая прямолинейность мышления является теперь однако не столько правилом, сколько исключением...

¹⁾ См. статью «Перпетуум мобиле — последнее слово буржуазной физики». «Новый мир». Кн. 5. 1934 г.

²⁾ «Сорена». № 3. 1933 г. Стр. 43.

³⁾ Стенограмма прений по докладу акад. Миткевича на общем собрании Академии наук СССР 4 окт. 1933 г. Выступление Д. Д. Иваненко. (Акад. В. Ф. Миткевич. «О «физическом» действии на расстоянии». 1934 г. Стр. 18.)

Так, в репликах проф. И. Е. Тамма главный упор берется уже на то, что «всякая попытка вернуть науку ко временам Фарадея и Максвелла является, по существу, глубоко реакционной»¹⁾.

Мы не будем говорить сейчас о том, в какой мере сам акад. Миткевич целым рядом своих действительно ошибочных высказываний на первом этапе спора подал повод к обвинениям его в механистической трактовке проблемы эфира. К этой теме придется вернуться несколько ниже. Сейчас же важно повторить, что величайшей передержкой является сведение содержания фарадее-максвелловской главы в учении об электромагнетизме к чистой механике «вихрей», упругих «волокон» эфира и т. д. Совершенно очевидно для всякого непредубежденного наблюдателя, что и «вихри», и «волокна», несмотря на все то значение, которое субъективно придавали им Фарадей и Максвелл, являются лишь чисто внешними и совершенно несущественными комментариями и обоих великих натуралистов к совершенно иному объективно-реальному содержанию их открытий. Совершенно очевидно, что основным и единственно существенным содержанием работ Фарадея и Максвелла является концентрация внимания электрофизики на окружающую электрические заряды и магниты непрерывной материальной среде — эфире. Центр тяжести вопроса — здесь. Гвоздь вопроса — в признании Фарадеем и Максвеллом объективной реальности явлений, происходящих в пространстве между зарядами и магнитами.

О том, что именно так понимает главную сущность фарадее-максвелловской позиции сам академик Миткевич, свидетельствует вся последовательность его выступлений, начиная от речей, произнесенных в Большой аудитории Политехнического института 13 декабря — 14 марта 1929—30 гг., и кончая последним докладом 28 апреля 1934 г. в Академии наук.

²⁾ «ПЗМ». Кн. 2. 1933 г. Стр. 226.

«Основной принцип Фарадея-максвелловской установки», неизменно констатируется здесь, «заключается в том, что все физические взаимодействия совершаются не иначе, как при непреходящем участии реальной среды, окружающей взаимодействующие физические центры»¹⁾).

И вот «всякая попытка», направленная к тому, чтобы «вернуть науку» (на новой, высшей ступени ее развития) к этой установке Фарадея и Максвелла, — всякая такая тенденция не только не является «глубоко реакционной», как это берется утверждать профессор Тамм. Но эта тенденция кладется сейчас в основу угла всей положительной программы материалистической диалектики в электрофизике.

4. В Каноссу

Последний этап спора, в разгаре которого мы присутствуем в переживаемые дни, характеризуется беспорядочной сдачей позиций всеми основными адептами беспорядочного сообщения через пустое пространство...

Урок не прошел даром.

В только что вышедшем 63-м томе Большой советской энциклопедии, в статье «Электричество», подписанной профессором И. Е. Таммом, мы читаем например давножданную констатацию того, что

«не только свет, но и эфир... несомненно является материальным».

Положительный ответ на вопрос о реальности эфира вытекает далее, по мнению автора, «из конечности скорости распространения электромагнитных полей в связи с принципом сохранения энергии... Действительно, если например солнце (или передающая радиостанция) в определенный момент t излучает в форме света или радиоволны определенное количество энергии... и если эта энергия поглощена землей (или приемной радиостанцией) в некоторый последующий момент $t + \Delta t$, то где находилась эта энергия в течение времени Δt ? Основываясь на принципе сохранения энер-

гии, мы должны заключить, что носителем энергии в течение времени Δt являлось электромагнитное поле в этом пространстве и что, следовательно, электромагнитное поле, являясь носителем энергии, обладает физической реальностью...»¹⁾,

Где находится энергия? Куда пропала энергия?.. Невольно вспоминаешь 3 января 1930 года и наполненную до отказа аудиторию Политехнического института в сосновом бору в Лесном.

Да, урок не прошел даром.

Это становится ясным и при воспоминании о тех заявлениях, что были оглашены профессором Френкелем четыре с половиною года назад в том же самом сосредоточенно следящем за прениями зале.

«Магнитные силовые линии — это продукт нашего собственного воображения, вводимый нами для удобства и наглядности... Мы должны считать поле (электромагнитное) вторичной надстройкой... Мы вводим это понятие о поле, чтобы удобнее описывать действия, производимые частицами друг на друга...»²⁾.

Четыре с половиною года прошло с тех пор. Четыре с половиною года сердито стучала указка, напирая на то место меловой доски, где изображены две точки q_1 и q_2 и поверхность S между ними. Заполнено ли пространство между q_1 и q_2 материей какого бы то ни было рода, или не заполнено?

Эти четыре года тоже не прошли даром.

4 октября 1933 г. в стенограмме выступления Я. И. Френкеля по докладу академика Миткевича в Академии наук СССР читаем:

«... Можно поставить вопрос, какова сущность того электромагнитного поля, которое мы графически описываем с помощью силовых линий: является ли оно только продуктом нашего воображения, облегчающим нам описание взаимодействия между отдельными частицами? Современное развитие физики приводит нас к тому, что мы начинаем считать

¹⁾ «Под знаменем марксизма». № 6. 1933. Стр. 279.

¹⁾ БСЭ. Т. 63.

²⁾ «Электричество». 1930.

именно электромагнитное поле основной сущностью физических явлений. Если поле считать основной сущностью материального мира, то очевидно, что поле нужно считать материей, но эта материя иная, нежели материя, которую мы представляли себе до сих пор. Опытное понятие материи — это понятие о совокупности частиц...» Если же «считать, что первичная сущность физической материи — поле, а материальные частицы являются известными узловыми пунктами, образованиями этого поля, тогда эту материю нужно понимать иначе, нежели мы ее понимали с прежней точки зрения...»

«... Я лично склоняюсь в пользу Feldtheorie (т.е. в пользу только что изложенной точки зрения материальности поля. — В. Л.)...»¹⁾.

Большой, большой прогресс!



Это — полная острейших моментов идейная борьба, одним из несомненных достижений которой является, как видим, хотя и медленное, но продвигающееся все же вперед перевоспитание основных кадров советской теоретической физики. В этой борьбе сыграло немалую роль и преодоление ошибок самого Владимира Федоровича Миткевича.

В гениальных работах Фарадея и Максвелла, — сказали мы раньше, — механическая картина «вихревого» и «волокнистого» эфира объективно являлась лишь второстепенной деталью. Однако деталью, заслуживающей самого четкого и внимательного к себе отношения.

Призыв к возвращению на фарадее-максвелловскую позицию в электрофизике (вернее, к диалектическому перевооружению этой позиции) никоим образом не может очевидно быть отделен от решительного преодоления механистического привеска к фарадее-максвелловской концепции эфира. Непримиримая борьба с поповским «действием на расстоянии» и с «ликвидацией» эфира не

только не исключает, но предполагает столь же или даже еще более интенсивную борьбу с реставрациями механического эфира в физике.

Ибо далеко не известно еще, какое из двух «зол» является, по сути дела, практически меньшим — полный ли отказ от непрерывной материи эфира (этот отказ, худо, хорошо ли, но компенсируется пока-что наличием формально-эквивалентной теории «запаздывающего дальнего действия»), или же разработка механических моделей эфира в стиле «баранок Томсона» — моделей, означающих бесплодную и вредную растрату сил в заведомо ошибочном направлении.

И вот, к сожалению, приходится констатировать, что на первых этапах излагаемой дискуссии целый ряд обстоятельств давал возможность сделать вывод, что В. Ф. Миткевичу дорога не только общая стихийно-материалистическая установка теории силовых линий Фарадея и системы уравнений Максвелла, но и то механическое обрамление, которое было добавлено Фарадеем и Максвеллом к этим их величайшим открытиям.

С наибольшей ясностью это положение обнаруживается при ознакомлении с принадлежащей перу В. Ф. Миткевича книгой «Физические основы электротехники».

В этой книге, представляющей педагогически блестящее изложение электромагнитных явлений на языке фарадеевских силовых линий, наряду с совершенно правильными утверждениями:

«действие одного (заряженного) центра на другой передается по кривым путям, которые рисуются не как какие-то математические траектории, а как физические (то-есть определенным образом отражающие топографию подлинных процессов, идущих в эфире. — В. Л.) силовые линии...»;

или:

«реально существует магнитный поток, являющийся совокупностью магнитных силовых линий»¹⁾, —

¹⁾ Приложение к «О «физическом» действии на расстоянии». Стр. 17, 18.

¹⁾ В. Ф. Миткевич. «Физические основы электротехники». Изд. 3-е. Стр. 34, 49.

наряду с этим автор настаивает на грубо-наивной механической трактовке силовых линий, данной Фарадеем.

Такую трактовку мы находим например в § 22: «Тяжение магнитных линий» или в § 26: «Боковой распор магнитных линий», где магнитные силовые линии рассматриваются как «реально существующие упругие нити, стремящиеся стянуться».

Эфир же интерпретируется как «безграничная идеальная жидкость», со стороны которой наэлектризованные тела и магниты «по всей своей поверхности испытывают тяжения...»¹⁾.

Подобные же воззрения находят себе место и в речах, произнесенных В. Ф. Миткевичем на диспуте в Ленинградском политехническом институте. Стенограммы этих речей гласят например о том, что:

«в каждом элементе объема магнитного поля мы имеем... вращение, причем вращение это совершается вокруг оси, совпадающей с направлением вектора магнитной силы... физическое магнитное поле... должно состоять из некоторых вихревых нитей»...

Не выходя из того же круга идей, В. Ф. Миткевич излагает на втором вечере диспута (3 января 1930 г.) чисто механическую модель электрона в виде «магнитного вихревого кольца, сократившегося до минимальных размеров»²⁾, — модель, бесспорно весьма остроумную, но имеющую столь же мало шансов на какое-либо отражение действительности, что и пресловутые «баранки Томсона», о которых упоминалось выше.

Вот этот изрядный механистический груз, находившийся до самых последних пор на идейной платформе В. Ф. Миткевича, и продолжает приносить колоссальный тактический вред развиваемой им дискуссии.

Гов. Э. Кольман был совершенно прав, когда писал по этому поводу в журнале «Под знаменем марксизма» (№ 4, 1933 г.):

¹⁾ В. Ф. Миткевич. «Физические основы электротехники».

²⁾ «Электричество». № 8. 1930. Стр. 343.

«Высоко ценя положительную заслугу т. Миткевича в борьбе с физическим идеализмом, нельзя умолчать и о его заблуждении, тем более, что оно дает аргументы в руки противнику и тем самым наносит ущерб нашему общему делу».

Но столь же несомненно, что в настоящий момент Владимир Федорович находится уже на пути к решающему диалектико-материалистическому переосмыслению всей поставленной им проблемы.

В речи Владимира Федоровича (2 февраля 1933 г., в Академии наук) читаем:

«... Обычное «понимание»... того, что представляет собою материальное тело... сводится к идее об атомах и об атомной структуре... Мысля о предельной физической субстанции, об эфире, мы не можем... идти по этому проторенному пути...» «Эфир необходимо трактовать в качестве... основной среды, являющейся первичной физической реальностью и не оставляющей абсолютно незаполненными сколь угодно малые объемные участки пространства», причем «физические прерывности (атомы, электроны и т. д. — В. Л.) мыслимы только на фоне физической же непрерывности»¹⁾.

В полном соответствии с этой установкой акад. В. Ф. Миткевич не рассматривает более электромагнитную волну как эффект чисто механических вибраций в эфире, но представляет ее как колебание какого-то специфического состояния той физической реальности, которая... называется эфиром...» «...Электромагнитная энергия, — повторяет в другом месте оратор, — является «энергией какого-то специфически сложного движения среды»²⁾, — движения, распространяющегося по эфиру.

Эти высказывания, представляя бесспорно определенный шаг вперед, дают в основном вполне правильную ориент-

¹⁾ Акад. В. Ф. Миткевич. «Основные физические воззрения». Стр. 35, 39.

²⁾ Там же. Стр. 27, 36.

цию для дальнейших работ физики в области теории эфира.

Остается лишь один крупнейший методологический пункт, безусловно не доработанный еще В. Ф. Миткевичем, как впрочем он не доработан еще и многочисленным рядом товарищей, специально занимающихся вопросами методологии физики.

Это—кардинальный вопрос о связи между не-механическими изменениями, происходящими в непрерывной материи эфира, и механическим движением.

Остается в силе глубокое и несомненно оправдывающееся на всех без исключения физических фактах замечание Энгельса:

«Всякое движение заключает в себе механическое движение больших или мельчайших масс; познать это механическое движение является первой задачей науки, однако лишь первой. Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще»¹).

Какой же вывод по отношению к эфиру можно сделать из этого указания? Тот ли вывод, что наряду с высшими не-механическими процессами, идущими в эфире, все же должны происходить и механические перемещения «больших или мельчайших масс» самого этого эфира?! Тогда и впрямь, может быть, открывается возможность допустить реальное существование «вихрей», «натяжений», «давлений» и прочих механических пертурбаций в эфире, пусть не «исчерпывающих», но во всяком случае сопровождающих электромагнитные явления.

Как-раз на этих соображениях, как известно, и пытаются сколотить себе сейчас капиталец в физике остатки недобитой механистической группировки во главе с А. К. Тимирязевым²). В плен к этим же соображениям попадает и академик Миткевич.

«Я... признаю, что всякий физический процесс, всякое сложное движение

обязательно связано с какими-либо пространственными перемещениями, которые хотя и могут не исчерпывать природы данного сложного движения, но тем не менее неотделимы от него... Я утверждаю далее, что представление о физическом эфире... должно быть совместимо с идеей о пространственных перемещениях объемных элементов этого эфира...»¹).

Опять тяжелое недоразумение.

В самом деле: механическое перемещение в пространстве есть очевидно свойство, имманентно присущее только прерывной материи. Перемещаться в пространстве могут только дискретные («большие» или «мельчайшие». — Энгельс²). Эфир же имманентно отображает непрерывность материи, и, раз эфир непрерывен, в нем не могут функционировать дискретные (да еще перемещающиеся друг относительно друга) «объемные элементы»...

Допущение подобных «элементов» есть явное *contradictio in adjecto*, не говоря уже о том, что допущение это исключено фактами, собранными эйнштейновой теорией относительности.

Вот конкретное решение проблемы.

Да, действительно, в имманентно-непрерывном эфире нет и не может быть никаких механически перемещающихся объемных элементов, и методологический анализ приводит тут к совершенно тем же результатам, что и чисто экспериментальные данные конкретной физики. «Вихри», «волны» и «шнур» в эфире были, есть и остаются навсегда погребенными в архиве физики!

Да, действительно, свойство пространственного перемещения является присущим материи лишь в ее прерывном аспекте, то-есть механически дви-

¹) Под знаменем марксизма». № 6. 1933. Стр. 280—281.

²) В тех случаях, когда имеется механический процесс в практически «непрерывных» средах, как-то: в случае волн в жидкости, в газе и т. д., фактически мы имеем дело не с непрерывной, а с молекулярной средой (см. выше), и механическое волнообразное движение складывается тут из мелких перемещений дискретных частиц (молекул жидкости или газа).

¹) Ф. Энгельс. «Диалектика природы». 6-е изд. Стр. 80.

²) См. об этом в нашей статье «Ленин и физика», «Новый мир», кн. 1. 1934.

гаться могут лишь «тела», «частицы», атомы, электроны, кванты и т. д.

Но в том-то и дело, что если непрерывный эфир и прерывные электроны, кванты и т. д. являются лишь двумя взаимосвязанными сторонами бытия одной и той же единой материи, то, в аналогичной мере и не-механические процессы, текущие в эфире, являются связанными с механическими движениями частиц. Оба эти вида движения: не-механические изменения эфира (изменения функций E , H и ψ) и механическое перемещение электронов и квантов являются лишь двумя проявлениями единого движения единой мировой материи¹⁾.

Конкретно, всякий раз, когда в эфире происходит например не-механический процесс, называемый «радиоволной», этот процесс включает в себя механические перемещения частиц, а именно — вибрации электронов в передающей антенне. Всякий раз, далее, когда в эфире разыгрывается «световая волна», она включает в себя перемещения связанных с этой волной (с эфиром) частиц: «световых квантов» или «фотонов». Всякий раз наконец, когда эфир является плацдармом процесса, называемого «волной де-Бройля», на сцене появляются опять электроны, следующие в неразрывном единстве с де-бройлевой волной.

В полном согласии с замечанием Энгельса можно, таким образом, конста-

¹⁾ Я. И. Френкель в его цитированном выше последнем выступлении по докладу ак. Миткевича совершенно прав, когда замечает, что по отношению к той особой материи, которая является субстратом электромагнитного поля (что существование он вынужден был признать) «понятие движения (механического движения. — *т. Л.*) утрачивает смысл». «Оно (поле) меняется в каждой точке с течением времени, но это уже не будет движение (механическое. — *Б. Л.*)».

тировать, что любые не-механические явления в эфире «заклучают в себе» механические движения каких-то частиц. Каких частиц? Частиц не самого эфира, разумеется. Но тех частиц, которые являются прерывным выражением вещества, чьи непрерывные свойства отражены в эфире, то-есть электронов, фотонов и т. д.

Несмотря на все громы и молнии механистов по адресу теории относительности, совершенно правильным (нужно признать в этой связи замечание Альберта Эйнштейна:

«... Эфир... есть среда, сама по себе лишенная всех механических и кинематических свойств, но в то же время определяющая механические события...»¹⁾).

Так стоит вопрос. И можно возразить надежду, что освоение этой последней методологической проблемы академиком Миткевичем довершит перевооружение идейной оффензивы, столь успешно начатой им на фронте советской физики.

Высшим выражением того значения, которое придает этой оффензиве советское естествознание, является оценка, данная редакцией центрального органа воинствующего научного материализма в СССР:

«Редколлегия подчеркивает, что неустанная защита академиком В. Ф. Миткевичем объективной реальности процессов в электромагнитном поле является борьбой за основы научного материалистического понимания природных явлений». («Под знаменем марксизма». № 6. 1933.)

¹⁾ А. Эйнштейн. «Эфир и принцип относительности» (речь в Лейденском университете 5 мая 1920 г.). Пер. А. П. Афанасьева. 1921. Стр. 22.

Литература и искусство

1. Н. АШУКИН — Труд Валерия Брюсова. 2. А. СТАРЧАКОВ — По страницам архива.
3. П. СЫСОЕВ — И. Е. Репин как представитель революционного народничества.

1. ТРУД ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

Н. Ашукин

(К десятилетию со дня смерти)

В одном из своих стихотворений Брюсов с необычайной точностью определил свой труд поэта, как упорный труд пахаря, идущего за плугом:

Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!
Нельзя нам мига отдохнуть,
Взрывай земли сухие глыбы!
Недолог день, но длинен путь,
Веди, веди свои изгибы!..

Традиционный образ «крылатого Пегаса», уносящего поэта в неземные сферы, Брюсов заменил волем, уподобив ему свою мечту. Он настойчиво, неоднократно подчеркивал черную работу поэта:

Единое счастье — работа.
В полях, за станком, за столом:
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, —
Часы за упорным трудом.

Слово «труд» для Брюсова священно:

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священной слова «труд»!

Критика эстетствующих идеалистов, не переставая твердить о «вдохновении», жестоко издевалась над Брюсо-

вым, презрительно отзываясь о нем как о «труженике литературы». Ярким выразителем такого аристократического, презрительного отношения к труду был Ю. Айхенвальд, который писал о Брюсове следующее: «Илот искусства, труженик литературы, он, при всей изысканности своих тем и несмотря на вычурности своих построений, не запечатлел своей книги красотой духовного аристократизма и беспечности. Всегда на его челе заметны неостывшие капли трудовой росы. Недаром он на разные лады воспекает «суровый, прилежный, веками завещанный труд»... Природа для него не храм, а мастерская... Над всеми способностями духа преобладают у него прилежание и рассудок...»¹⁾

«Поэзия труда» в творчестве и в жизни Брюсова, не приемлемая для эстетов-идеалистов, не может не быть близка нам. Да, природа — не храм. Разум и труд человека переделывают мир.

В своей автобиографии²⁾ Брюсов отмечает научно-популярную книгу Гастона Тиссандье «Мученики науки», которой он в детстве «зачитывался» и которая впервые открыла перед ним могу-

¹⁾ Ю. Айхенвальд. Валерий Брюсов. М. 1910.

²⁾ В. Брюсов. Из моей жизни. М. 1927. Стр. 16. Н. Ашукин. Литературная мозаика. М. 1931. Стр. 201—202.

щество человека в области труда и мысли. Впечатления детства — самые живые и острые. И, может быть, то упорство творческого труда, которым отмечена вся жизнь Брюсова, впервые было внушено ему этой книгой французского популяризатора. С первых же страниц в книге Тиссандье говорится об энергии и непреклонности гениальных деятелей науки, искусства, приводятся слова Бюффона: «Гений — это терпение», сообщаются примеры гениального труда: «Ньютон пятнадцать раз пересоставлял свою хронологию, прежде чем нашел ее удовлетворительною. Микель-Анджело трудился постоянно, наскоро ел и иногда вставал по ночам, чтобы приниматься за работу. В течение сорока лет Бюффон ежедневно проводил за письменным столом по пяти часов утром и вечером» и т. п. Ребенком, склоняясь над страницами этой книги, Брюсов живо воспринял силу и величие труда. И слово «труд» стало девизом всей его творческой жизни.

Само собой разумеется, что, подчеркивая значение труда, «черной работы» в поэзии, Брюсов имел в виду техническую сторону искусства. «Способность к художественному, — писал он, — есть прирожденный дар, как красота лица или сильный голос; эту способность можно и должно развивать, но приобрести ее никакими стараниями, никаким учением нельзя. Poetae nascuntur... Кто не родился поэтом, тот им никогда не станет, сколько бы к тому ни стремился, сколько бы труда на то ни потратил... Наоборот, технике стиха и можно, и должно учиться. Талант поэта, истинное «золото поэзии, может сквозить и в грубых, неуклюжих стихах, — такие примеры известны. Но вполне выразить свое дарование, в полноте высказать свою душу поэта может лишь тот, кто в совершенстве владеет техникой своего искусства»¹).

Брюсов неустанно возражал против общераспространенного взгляда, что достаточно поэту знать простейшие правила стихосложения, а все остальное ему

будет подсказано «вдохновением». Такое рассуждение, — писал он, — напоминает слова сочинителя из сатиры И. Дмитриева:

Природа делает певца, а не ученье:
Он, не учась, учен, как придет

в восхищенье.

Полемизируя с Бальмонтом, защищавшим неповторимость «лирического мгновения», которое якобы не допускает никаких переделок и вариантов в поэтическом создании, Брюсов отстаивал свое «право на работу», предостерегая молодых поэтов от соблазнительной веры в силу «вдохновения». «Бальмонт, — писал он, — всем поэтам предлагает быть импровизаторами; пример Гете и Пушкина, напротив, показывает нам, что великие поэты не стыдились работать над своими стихами, иногда возвращаясь к написанному через много лет и вновь совершенствуя его. На бесчисленные варианты лирических стихов Гете, на исчерканные черновые тетради Пушкина, где одно и то же стихотворение встречается переписанным и переделанным три, четыре и пять раз, мне хочется обратить внимание молодых поэтов, чтобы не соблазнило их предложение Бальмонта отказаться от работы и импровизировать... Поэты не только в праве, но обязаны работать над своими стихами, добываясь последнего совершенства выражения... Что творчество поэта не есть какое-то безвольное умониступление, но сознательный в высшем значении этого слова труд, это прекрасно показал еще Пушкин в своем рассуждении «О вдохновении и восторге», где встречается знаменитый афоризм: «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии»¹).

Следуя мудрому определению Пушкина, который говорил, что вдохновение не имеет ничего общего с таинственным наитием свыше, с иступленным восторгом, а «есть расположение души к жи-

¹) В. Брюсов. Опыты. М. 1918. Стр. 7 и след.

¹) Полемика Брюсова с Бальмонтом приведена в книге: Н. Ашукин. Валерий Брюсов в автобиографических записях, воспоминаниях современников и отзывах критики. М. 1929. Стр. 312 и след.

вейшему принятию впечатлений», Брюсов, ссылаясь на Пушкина же, требовал от поэтов постоянного и упорного труда, резко отзываясь о Бальмонте, у которого «даже лучшие его создания бьются испорчены неряшливыми, несовершенными стихами».

Общепризнанное мастерство Брюсова, чеканная форма его стихов — результат длительной и упорной работы. Он по нескольку раз возвращался к своим давно написанным стихам, подвергая их основательной переработке. Не переставал он работать и над стихами, уже напечатанными. Сличение различных изданий сборников стихотворений Брюсова красноречиво говорит об этой неустанной работе над формой, о стремлении к сжатости и наибольшей художественной выразительности.

Брюсов любил повторять латинское изречение: «Nulla dies sine linea» («Ни одного дня без строки»), которому, действительно, и следовал, работая методически и упорно, буквально, не покладая рук, говоря его словами: «во все мгновения». По воспоминаниям вдовы поэта, в молодости он «самым серьезным образом учился писать, несколько не кичась тем, что газеты и журналы г-р-овозгласили его тогда уже вождем символистов...»¹⁾.

Стремясь к совершенству техники стиха; к новым возможностям в области поэтической формы, к расширению круга тем и мыслей, которые могут быть воплощены в поэзии, Брюсов с горечью писал (в 1911 г.) о молодых поэтах: «Они все вращаются в двух-трех кругах определенных образов, настроений и мыслей (реже всего мыслей), притом давно уже разработанных их предшественниками. Они пользуются теми формами стиха, какие возникли у нас в начале этого столетия, если и прибавляя что к этим техническим завоеваниям, то такие крохи, без которых можно было бы обойтись. Отсутствие самостоятельной мысли и самостоятельных исканий, — вот характерная особенность на-

шей молодой поэзии...»¹⁾. «Отсутствие знаний и неумение мыслить принижают поэзию... и крайне суживают ее горизонт» — писал Брюсов, разбирая стихи Игоря Северянина и резко подчеркивая пренебрежительное отношение поэта-эгофутуриста к учению в его хвастливом заявлении: «Не мне в бездушных книгах черпать!» Поэт, — повторял Брюсов выражение Пушкина, — должен «в просвещении стать с веком наравне», и добавлял: «а может быть, и выше его»²⁾. «Знакомство с последними выводами философской мысли, с новыми открытиями точных наук, с ходом политической и социальной жизни своего времени, — писал Брюсов, — открывает поэту новые дали, дает ему новые темы для его стихов, позволяет ему ставить вопросы, важные и нужные его современникам... Наши современные поэты, далекие от этого идеала, в несчетный раз занимаются воспеванием восходов и закатов, радостей первого свидания или восторгов свидания не первого, тоской по поводу ненастного дня или по тому поводу, что им все почему-то наскучило. Они забывают, что стихи — совершеннейший из способов пользоваться человеческим словом и что разменивать его на мелочи, пользоваться им для пустяков — грешно и стыдно...»³⁾.

Брюсов, предъявлявший к поэтам такие высокие требования, сам был одним из образованнейших людей своего времени. Обуреваемый неутолимой жаждой познания, славивший в своих стихах «книжки — чистые источники услады», он спешил овладеть всеми доступными ему богатствами культурного наследия. Владевший, как немногие, техникой поэтического творчества, он, не ограничивая свое творчество одною областью поэзии, работал как беллетрист, критик, исследователь Пушкина, историк литературы. В его архиве сохранилась заметка, озаглавленная: «В чем я считаю себя специалистом». Судя по бумаге и

¹⁾ В. Брюсов. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М. 1912. Стр. 204

¹⁾ И. Брюсова. Материалы к биографии Валерия Брюсова — в книге: В. Брюсов. Избранные стихи. М. 1933. Стр. 129.

²⁾ Критика о творчестве Игоря Северянина. М. 1916. Стр. 20, 23, 36.

³⁾ В. Брюсов. Далекие и близкие. Стр. 119.

почерку, заметка была написана Брюсовым в 1909—1910 гг. В ней писатель как бы подводит итоги своих знаний в различных областях культуры и указывает сам себе новые, еще неизвестные ему области. Приводим этот интереснейший документ полностью¹⁾:

«В наши дни нельзя быть энциклопедистом. Ни я готов жалеть, когда думаю о том, чего я не знаю. По образованию я — историк. В университете работал специально над Ливием, над Великой французской революцией, над «Салической правдой»²⁾, над русскими начальными летописями, частью над эпохой царя Алексея Михайловича. Еще занимался я в университете историей философии, специально изучал Спинозу, Лейбница и Канта; о Лейбнице писал даже свое «зачетное» сочинение... Но это было давно, и эти знания я наполовину растерял. Сейчас я чувствую себя сведущим как никто в вопросах русской метрики и метрики вообще. Прекрасно знаю историю русской поэзии, особенно XVIII века, эпоху Пушкина и современность. Я — специалист по биографии Пушкина и Тютчева и никому не уступаю в этой области. Я хорошо знаю также историю французской поэзии, особенно эпоху романтизма и дежурные символическое. Вообще осведомлен во всеобщей истории литературы. Работая над своим «Огненным ангелом», я изучил XVI век, а также то, что именуется «тайными науками», знаю магию, знаю оккультизм, знаю спиритизм, осведомлен в алхимии, астрологии, теософии. Последнее время исключительно занимаюсь древним Римом и римской литературой, специально изучал Вергилия и его время и всю эпоху IV века, от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я, в настоящем смысле

слова, специалист; по каждой из них прочел целую библиотеку. В разные периоды жизни я занимался еще более или менее усердно Шекспиром, Байроном, Баратынским, VI веком в Италии, Данте (которого мечтал перевести), чуждыми итальянскими поэтами... Я довольно хорошо знаю французский и латинский языки, сносно итальянский, плоховато немецкий, учился английскому и шведскому, заглядывал в грамматику арабского, еврейского и санскрита... В ранней юности я мечтал быть математиком, много читал по астрономии, несколько раз принимался за изучение аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, теории чисел, теории вероятностей... Блуждая по Западной Европе, посещал музеи, кое-что узнал из истории живописи, разбираюсь в школах и грубой ошибки не сделаю, не смешаю ломбардца с болонцем или старого француза со старым фламандцем... Но, боже мой, боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир полигических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, тайны сравнительного языкознания, к которому я едва прикоснулся, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва слышан, древний Египет, Индия, государство майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, затем медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук... Боже мой, боже мой! Если бы мне иметь сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня».

К этому обширному перечню того, что Брюсов знал как специалист, необходимо еще добавить историю поэзии Армении, изучая которую, он основательно ознакомился с армянским языком, изучил не только литературу Армении, но и ее историю и дал лучшее — по отзыву специалистов — высокохудожественные переводы образцов

¹⁾ В отрывочных цитатах заметка приведена в названной выше книге «Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах»... За предоставленную мне возможность напечатать заметку полностью приношу свою благодарность И. М. Брюсовой.

²⁾ «Салическая правда» — один из древнейших памятников, свод узаконений, возникший среди франков.

армянской поэзии. В своем предисловии к «Поэзии Армении» Брюсов говорит о той радости, которую доставило ему изучение истории и литературы страны, дотоле ему неведомой. «Как историк, как человек науки, — пишет он, — я увидел в истории Армении целый самобытный мир, в котором тысячи интереснейших сложных вопросов будили научное любопытство, а как поэт, как художник я увидел в поэзии Армении такой же самобытный мир красоты, новую, раньше неизвестную мне вселенную, в которой блистали и светились высокие создания подлинного художественного творчества¹⁾».

Научное любопытство — основная и характернейшая черта Брюсова — могло питаться только при той напряженной дисциплине труда, которой он строго и методически следовал. Вдова поэта вспоминает, что «шутя сравнивала его со школьниками, готовящими урок за уроком, но не грезящими, как подбало бы каждому ученику, о каникулах». Брюсов действительно работал «во все мгновенья». Время у него было строго рассчитано, и он не выносил «пустых разговоров», а отдых посвящал чтению литературных новинок или же перечитыванию любимых старых поэтов, чаще всего латинских. Он обладал прекрасной памятью. Помнил великое множество стихотворений, а из Пушкина мог читать наизусть и целые страницы прозы.

Научное любопытство Брюсов щедро питал и в путешествиях, которые очень любил. К путешествиям он всегда длительно готовился, изучая страну, в которую собирался ехать. «Приедем, бывало, в город,—вспоминает И. М. Брюсова, — выйдем из гостиницы, и начинает В. Я. объяснять: где ратуша, где музей, как дойти до собора и т. д. Трудно было поверить, что В. Я. впервые в стране, где он ориентируется только по путеводителю. Про музеи и говорить не приходится. Он помнил всех

художников данного музея, историю каждой картины и т. д.». Глубокий знаток истории древнего Рима, он с полным правом мог сказать в одном из своих стихотворений:

Не как пришлец на римский форум
Я приходил в страну могил,
Но как в знакомый мир, с которым
Одной душой когда-то жил.

Но Брюсов не был пришлецом ни в Париже, ни в Кельне, ни в Венеции. Всюду он приходил, как «в знакомый мир», вооруженный знаниями истории и культуры, всегда стараясь расширить и пополнить их «на месте». Зная из новых языков французский, немецкий, английский, итальянский, испанский, он, путешествуя по той или иной стране, язык которой был ему неизвестен, старался изучить его. Так, в путешествиях по Швеции, Голландии и стране басков (на юге Франции) он покупал грамматики, искал бесед с местными жителями, стараясь овладеть неизвестным языком.

Отзвуками культурных путешествий полны книги Брюсова. Автор замечательных по своей документальности исторических повестей, — «Огненный ангел» из немецкой жизни XVI века и «Алтарь победы» из римской жизни IV века, — он сумел дать в них живое ощущение прошлого не только путем одних книжных изучений, но и путем живых впечатлений от воочию увиденных, знакомых ему, древностей Рима или старинных зданий Кельна. История внятно говорила с ним. И не случайно, как это в свое время было отмечено критикой, историзм «Огненного ангела» переключается с его лирическими стихами.

Для изучения немецкой жизни XVI столетия Брюсов прочитал груды книг, сделал множество выписок, заметок, рисунков: типы, одежда, утварь, планы домов, где разворачивается действие повести. Когда повесть «Огненный ангел», написанная в форме записок немца XVI столетия, была переведена на немецкий язык, один из критиков выразил сомнение, что это произведение мо-

¹⁾ Предисловие Брюсова к сборнику «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней». М. 1916. Стр. 6.

жет принадлежать современному русскому автору¹⁾.

Высокую оценку специалистов заслужила и другая историческая повесть Брюсова — «Алтарь победы», написанная с тем же проникновенным знанием эпохи. Готовясь к писанию этой повести, Брюсов, — пишет проф. А. Маленн²⁾, — «перечитал для нее буквально всех латинских писателей той эпохи, не исключая даже и грамматиков. Везде, даже и в их утомительно монотонных перечнях правил и исключений, хотел он уловить живое веяние того времени и очень огорчился, что эти длительные розыски давали далеко не соответствующие затраченным трудам результаты...» Из обширных примечаний, которыми сопровождается текст повести, можно видеть, какую массу античных авторов и новых исследований он изучил для своей повести.

В течение нескольких лет Брюсова интересовал вопрос о существовании Атлантиды, потонувшей на дне Атлантического океана. В исторической науке до недавнего времени существование этого древнейшего материка считалось мифом. Брюсов на основании новейших археологических открытий в своей работе «Учители учителей» высказал мнение, что взгляд на полную фантастичность сведений, сообщаемых Платоном об Атлантиде, должен быть пересмотрен. Ряд гипотез, высказанных Брюсовым, о пределах распространения атлантской культуры, о звеньях, связывающих ее с культурой античности, теперь входит в оборот исторической науки³⁾.

Многолетнее изучение вопросов, связанных с Атлантидой, Брюсов намеревался завершить путешествием в Африку, думая найти там следы атлантской культуры, но начавшаяся империалистическая война помешала ему осуществить это намерение.

¹⁾ Валерий Брюсов в автобиографических записках... Стр. 230.

²⁾ А. Маленн. В. Я. Брюсов и античный мир. «Известия Ленинградского гос. университета», том II. Л. 1930.

³⁾ Б. Л. Бочаевский. Атлантида и атлантская культура. «Восток». 1926. XV.

Только обладая широтой знаний, только при строгой дисциплине труда возможно было оставить то огромное и ценное литературное и научное наследство, какое оставил Брюсов. Библиографический перечень его трудов поражает своим разнообразием: стихи, оригинальные и переводы (Верхарн, Верлен и другие французские поэты, Эдгар По, поэты Армении, «Фауст» Гете), повести и рассказы, драмы, критические статьи о русских и иностранных поэтах, статьи о театре, исследовательские работы по Пушкину, по античной литературе, работы по стиховедению, по истории Армении, по археологии... А сколько работ осталось незавершенными, сколько замыслов — невоплощенными!

С самой ранней юности Брюсов работал над переводом «Энеиды» Вергилия, своего любимого поэта, стремясь передать на русском языке всю выразительную звукопись латинского оригинала. Перевод остался незаконченным: из двадцати песен поэмы поэт успел перевести только семь.

Незавершенной осталась и другая интереснейшая работа — «Сны человечества». «По моему замыслу эти «Сны», — писал Брюсов в наброске предисловия к работе, — должны представить «лирические отражения жизни всех времен и всех стран». Иными словами, я хочу воспроизвести на русском языке в последовательном ряде стихотворений все формы, в какие облекалась человеческая лирика. От безыскусственных песен первобытных племен, через лирику древнего Востока, античной древности, народов, создавших новую Европу, и народов, населявших Америку до ее завоевания конкистадорами, через все многообразие искусственной поэзии, как она была разработана за последние три-четыре столетия, вплоть до форм, найденных недавним прошлым и оживленных поэтами «сегодняшнего дня», — я хочу представить своим читателям образцы всех приемов, какими пользовался человек, чтоб выразить лирическое содержание своей души». В целом, «мысли Брюсова, «Сны человечества» должны были быть «хрестоматией всемирной поэзии». Размеры «Снов», на-

меченные Брюсовым, были колоссальны: в них должно было войти не менее трех тысяч стихотворений. Первоначально поэт хотел осуществить мысль об этой грандиозной «хрестоматии», составив ее из отдельных переводов типичных для каждой эпохи авторов, но затем намерение свое изменил, решив передать лирику всех времен в своем претворении.

Над «Снами человечества» Брюсов работал несколько лет, но, отвлекаемый другими очередными работами, успел написать только ряд стихотворений.

Примыкает по своему характеру к «Снам человечества» и другой неосуществленный замысел Брюсова — написать цикл исторических рассказов «из жизни народов различных времен и стран» под заглавием «Фильмы веков» (или «Кинематограф столетий» — «В подозрную трубу веков» — «Отражение времен», — Брюсов колебался в выборе заглавия). По мысли Брюсова, рассказы этого обширного цикла должны были составить «среднее между так называемыми «историческими романами» и очерками по бытовой истории», начиная с древнейших времен полумифической Атлантиды и кончая Европой XIX—начала XX столетия. Говоря о своих художественных задачах, Брюсов подчеркивает, что пределы вымысла в его рассказах строго ограничены, что рассказы эти даже в мельчайших деталях основаны на данных истории и археологии. Осуществить свой замысел Брюсов не успел. Для задуманного цикла он написал только один законченный рассказ — «Последний император Трапезунда» (1740 г.) да несколько фрагментов¹⁾. Можно глубоко сожалеть, что план этот, выполнение которого под силу только мастеру, сочетавшему в себе огромные знания историка, ученого и интуицию художника,

¹⁾ Фрагменты исторической прозы Брюсова недавно опубликованы в книге «Неизданная проза», ГИХЛ, 1934. Замысел Брюсова изобразить в художественной прозе страны, века и народы можно сопоставить с аналогичным замыслом М. Горького дать историю культуры в инсценировке для театра и в картинах для кинематографа. См. недавно изданный сборник «М. Горький. Материалы и исследования». Под редакцией В. А. Десницкого. Изд. Академии наук СССР. Л. 1934.

каким и был Брюсов, остался им невыполненным. Но сколько упорного труда нужно было затратить на приобретение многосторонних исторических знаний, чтобы только приступить к осуществлению этого грандиозного цикла!

Научное любопытство Брюсова не ограничивалось только областью истории, где он действительно был специалистом; его привлекали все области научного знания, и он сожалел, что есть еще многое, чего он не знает или знает «из вторых, из третьих рук». В Пушкине, — писал он, — поражает «изумительная разносторонность его интересов, энциклопедичность тех вопросов, которые занимали его»¹⁾. И в своей творческой жизни Брюсов следовал высокому примеру Пушкина. В одной из заметок он писал: «Выбери себе героя — догони его, обгони его» — говорил Суворов. Мой герой — Пушкин. Когда я вижу, какое количество созданий великих и разных набросков, поразительных по глубине мысли, оставалось у него в бумагах ненапечатанными, — мне становится не жалко моих, неведомых никому работ. Когда я узнаю, что Пушкин изучал Араго, Д'Аламбера, теорию вероятностей, Гизо, историю средних веков, — мне не обидно, что я потратил годы и годы на приобретение знаний, которыми не воспользовался»²⁾.

В стихотворении «Молодость мира» Брюсов с неутоляемой жаждой познания восклицает:

А сколько учиться — перед нами
букварь еще.

Эту же мысль о расширении круга знаний, об очередных научных задачах, стоящих перед человечеством, Брюсов развивает и в одной из своих беглых заметок: «Должно бросить на земле пустыни, осушить болота, утеплить холодные страны, прорыть каналы: площадь полезной почвы удесятерилась бы. Научам недостает пособий, для создания которых потребны только — коли-

¹⁾ В. Брюсов. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Под ред. Н. К. Пиксанова. М. 1929. Стр. 202.

²⁾ В. Брюсов в автобиографических записях. Стр. 273.

чество работников и прилежание. Рукописи античных авторов до сих пор не все изданы факсимиле: пожары уничтожают кодекс за кодексом, и уже навсегда. Историкам литературы необходимы специальные словари к великим писателям. Астрономы тщетно ждут ряда необходимых вычислений. Стыдно сказать, но в филологии поныне приходится пользоваться сводами XVII в. по отношению к латинской литературе. Это — несколько примеров из знакомых мне областей, но то же — и в других отраслях знания»¹).

О разносторонности знаний, необходимых поэту и литератору, Брюсов устанно повторял и в статьях, и в устных беседах: «Учиться надо. Все надо знать. Нельзя быть безграмотным» — говорил он не одному поэту²). «Поэт должен по возможности стоять на уровне современного научного знания» — писал он в предисловии к сборнику своих стихотворений «Дали» (1922 г.), а в статье о «научной поэзии» напоминал, «что древние не знали вражды между наукой и искусством. В хороводе девяти муз Эрато, покровительница элегии, шла рядом с Клио, ведущей историю, а Полигимния, властительница лирики, держала за руку Уранию, богиню астрономии»³).

Своей верой в науку, в могущество человеческого разума, в своей жажде к разносторонним знаниям, в тех требованиях высокой культуры, которые Брюсов предъявлял к литераторам, он переключается с М. Горьким. И не случайно в годы, когда бывшие соратники Брюсова (А. Белый, Вяч. Иванов) охладели к нему за проводимую им «материалистическую линию работы в поэзии»⁴), М. Горький дружески писал ему в феврале 1917 г.: «Я не знаю в русской литературе человека, более деятельного, чем вы. Превосходный вы ра-

ботник... Вы смелый и вы — поэт божьей милостью, что бы ни говорили и ни писали люди «умственные». И в другом письме (от 25 июля 1917 г.): «Давно и пристально слежу я за вашей подвижнической жизнью, за вашей культурной работой, и я всегда говорю о вас: это — самый культурный писатель на Руси. Лучшей похвалы не знаю; эта — искренна»¹).

Верное чувство истории дало Брюсову возможность, в отличие от многих его бывших соратников, увидеть в Октябрьской революции глубокий исторический сдвиг, начинающий новую эру мировой культуры.

Он славил в своих стихах пролетарскую революцию, поняв всю неизбежность нового исторического рубежа, все величие молодой республики труда:

Пусть гнал нас временный ущерб
В тьму, в стужу, в поражение, в голод:
Нет, не случайно новый герб
Зажжен над миром — Серп и Молот.
Мы землю вновь вспомим трудом...

И свой труд, свои огромные знания Брюсов честно отдал революции. Резко порвав со всем своим прошлым, он вступил в коммунистическую партию и как ее рядовой член принял участие в работе по строительству социалистической культуры. Было бы конечно наивно думать, что, вступив в партию, Брюсов сразу же стал марксистом. Груз прошлого слишком сильно давил ему плечи, он прекрасно сам сознавал это, но был готов, как писал когда-то в своих стихах, «снова стать учеником» — и начал работать над своим перевоспитанием.

Революция помогла Брюсову осуществить его давнишнюю мысль — организовать Литературно-Художественный институт для обучения художников слова технике литературного мастерства. Большую часть времени в последние годы своей жизни он отдавал этому созданному им институту. Он словно горопился передать новым литературным

¹) В. Брюсов. Miscellanea. Альманах «Эпоха». Кн. I. М. 1918. Стр. 222.

²) А. Кусиков. Две встречи с В. Брюсовым. «Накануне. Литературная неделя». 1923, № 507 (Берлин).

³) В. Брюсов. Научная поэзия. «Русская мысль», 1909, VI. Стр. 167.

⁴) Н. Асеев. Валерий Брюсов. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». 11 окт. 1924 г.

¹) Письма Максима Горького к Валерию Брюсову. «Печать и революция». 1928. V. Стр. 60, 61.

кадрам все накопленные им знания. Он читал курсы энциклопедии стиха, истории древнегреческой и древнеримской литературы, латинского языка, исто-

рию математики, не оставляя в то же время и своих литературных и научных работ, показывая пример постоянного творческого труда.

2. ПО СТРАНИЦАМ АРХИВА¹⁾

А. Старчаков

I

Противоречие между проповедью и творчеством — черта, характерная для многих великих художников прошлого. Общественная позиция писателя очень часто противоречила объективному историческому смыслу произнесенного им художественного слова. Так было с Гоголем, так было с Л. Толстым.

Художник пролетариата прежде всего целостен. В М. Горьком мы видим художника, творчество которого находится в неразрывном и гармоническом единстве с его общественными идеалами. Творчество М. Горького тенденциозно в том высоком значении этого слова, которое придавал ему Энгельс. Основоположник пролетарской литературы и творец ее стиля, Горький всегда рассматривал свою литературную работу как часть общественной практики, как часть того дела, за которое борется родной ему класс. Потому жизнь и деятельность М. Горького может быть понята только в связи с общественным развитием нашей страны за последние пятьдесят лет.

Биографии Горького еще нет, она ждет еще своего творца. Свод разнообразных сведений из личной и творческой истории писателя нельзя назвать биографией, хотя бы сведения эти и были расположены в хронологическом порядке. Горький и народничество, Горький и социал-демократия, Горький и новое искусство — это самостоятельные проблемы огромной важности. Они ждут своего изучения. Первый том «Материалов и исследований» очень ценен уже

потому, что в известной мере восполняет отсутствие научной биографии Горького. Молодое читательское поколение, которое лишено было возможности непосредственно следить за творческим путем писателя, знакомясь с «Материалами и исследованиями», сможет лучше познать его многообразную деятельность. Молодой читатель узнает Горького-публициста, мастера политического памфлета, он узнает Горького-критика, рецензента, учителя начинающих, он найдет материал, содержательную переписку художника с Андреевым, Амфитеатовым и Сургучевым. Переписка эта позволит читателю судить о том, как боролся Горький за принципиальность в литературе, за чистоту литературных нравов в далекие годы реакции.

II

Весной 1898 года в пасхальном номере московской газеты «Курьер» Горький прочитал один из тех рассказов о всепрощении и великодушии, которые со времени гоголевской «Шинели» так часто писались русскими литераторами. Но в то же время от рассказа, напечатанного в «Курьере», веяло каким-то лукавством, словно автор и сам не верил в изображаемое. Рассказ напоминал чем-то Помяловского. Горький написал автору письмо и вскоре получил забавный, переспянный афоризмами ответ. Так началось знакомство Горького с Андреевым.

Они встретились осенью в Москве, на Курском вокзале. Андреев, одетый в старенькое пальто и мохнатую баранью шапку, напоминал молодого актера украинской труппы. Начались годы товарищеской близости, сердечной дружбы.

¹⁾ Академия наук СССР. Литературный архив. М. Горький. «Материалы и исследования». Под редакцией В. А. Десницкого.

В юмористических журналах тех лет карикатуристы, как правило, изображали Горького вместе с Андреевым. Иногда к ним присоединялся Скиталец с гуслями в руках. В представлении читателя Горький, Андреев, Скиталец были тесно связаны, они были заложниками молодой демократии в стане русской литературы.

Но вскоре оказалось, что это единство не прочно. Первая революция обнажила классовые корни творчества, проявила до конца общественные позиции каждого из представителей демократического триумvirата. Андреев и Горький в своем творчестве, в своей личной биографии отразили путь тех классов, с которыми они связали свою судьбу, которым они отдали свои силы и мастерство.

Горький идет вместе с пролетариатом и его партией. В дни первой революции он является одним из организаторов большой газеты «Новая жизнь», с 6-го номера ее непосредственно редактирует приехавший из-за границы В. И. Ленин. Горький принимает участие в Московском восстании, собирает средства на покупку оружия. По поручению партии он уезжает в Америку. Здесь Горький пишет свою повесть «Мать», которая становится одной из любимых книг трудящихся всего мира.

Андреев под впечатлением событий первой революции на короткий срок находит в себе мужество отдаться бурно разворачивающимся событиям. Незадолго до декабрьского восстания на квартире Андреева происходит заседание центрального комитета нашей партии. Во время этого заседания комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму. Андреев вышел из тюрьмы месяц спустя, бодрый, полный уверенности. Он выступал на митингах в Финляндии, писал антиправительственные статьи. Но чем ближе приближалось торжество реакции, все мрачнее становился Андреев, все сильнее охватывало его неверие в силы революции. Неверие это перерастало в беспросветный пессимизм, затопивший вскоре творчество писателя. «У каждой лошади есть свои врожденные особенности. У наций то же. Есть лошади, которые со всех

дорог сворачивают в кабак. Наша родина свернула к точке, наиболее любезной, и снова долго будет жить распивочно и набычно» — писал он Горькому в конце 1905 года.

В обстановке торжествующей реакции от политического борца требовалось несравненно больше выдержки и мужества, чем в дни революционного подъема. Горький становится политическим эмигрантом, продолжающим и в изгнании борьбу за освобождение рабочего класса. Андреев остается в России. В его творчестве получают свое отражение безнадежность, тревога, отчаяние мелкого буржуа, мечущегося в эпоху великих классовых битв между двумя историческими силами — пролетариатом и буржуазией. Объявляя хаос, противоречивость своего угнетенного сознания объективным законом бытия, Андреев все свои силы в годы реакции отдает талантливой проповеди пессимизма и безнадежности. Его творчество становится мрачной песнью поражения и бессилия.

«Смена вех», проделанная Андреевым, внесла существенные изменения в его дружбу с Горьким. Попрежнему художник пролетариата полон веры в творческие силы человека. Победа темных сил недолговечна, впереди — новый подъем и новая борьба. Горький полон веры в силу человеческого разума. Непознаваемого нет, есть только временно непознанное. Для Андреева человек — раб смерти, существо обреченное, нищее духовно, полное неразрешимых противоречий. Мысль человеческая бессильна, мысль осуждена на бесплодные поиски истины.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием, — говорил Андреев. Он называл ее «шуткой дьявола».

Творчество Горького — проповедь социального оптимизма, активности, борьбы. Человек, утверждающий пассивное отношение к миру, кто бы он ни был, враждебен Горькому. «Я всю жизнь утверждал необходимость отношения активного к жизни, к людям. Здесь я фанатик» — читаем мы в одном из писем Горького к Андрееву. Дальше в том же письме мы находим замаскированную,

но вполне взятую убийственную оценку литературного дела Андреева. «Многие, прельстясь развратной болтовней азиата и нигилиста Ивана Карамазова, трактуют пошлейше о «неприятни» мира ввиду его «жестокости» и «бессмыслия». Будь я генерал-губернатором, я бы не революционеров вешал бы, а вот этих самых «неприятников», зане сии языкоблудцы для страны нашей вреднее чумных крыс».

Одним из многих, прельстившихся развратной болтовней, был Андреев. Герой его рассказа «Тьма» — тот самый неприятник и языкоблудец, о котором пишет Горький в своем письме. «Тьма» остро взволновала Горького. Появление этого рассказа сыграло немаловажную роль в отношениях между друзьями.

В воспоминаниях Горького об Андрееве мы находим историю возникновения «Тьмы». Эпизод, положенный в основу «Тьмы», был рассказан Андрееву во время его пребывания на Капри. Девушка из публичного дома, угадав в своем госте затравленного сыщиками революционера, насильно загнанного к ней, «отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуключий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке». «Пощечина, вполне заслуженная» — говорит Горький. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, гость извинился перед ней.

Андреев искажил в своей «Тьме» этот эпизод, он внес в него много постыдного, он оснастил незаурядный факт карамазовской философией «неприятия мира». Андреев заставил революционера покаяться перед женщиной из публичного дома, растоптать свое славное прошлое, «ибо нельзя, стыдно быть хорошим, покуда в мире есть плохое», — это стало тенденцией «Тьмы». По поводу «Тьмы» Горький писал Андрееву: «Обиделся я на тебя за нее, ибо этой вещью ты украл у нищей русской публики милостыню, поданную ей судьбою...

Дело происходило в действительности не так, как ты рассказал, а лучше, человечнее, значительнее. Девушка оказалась выше человека, который перестал быть революционером и боится сказать об этом себе и людям. Был праздник, была победа человека над скотом, а ты сыграл в анархизм, заставил скотское, темное торжествовать победу над человеческим».

Эти слова относятся не только к «Тьме», они характерны для творчества Л. Андреева в целом.

Андреев комкал, ломал человеческую волю, призывал к капитуляции перед «непознаваемым», упорно доказывая себе самому и читателю, что бытие бессмысленно, а стало быть, и всякое деяние бессмысленно, что «человек — жертва жизни, а не строитель ее и не хозяин».

Горький — реалист, он стремится к неустанному изучению действительности. Для него отображение правды жизни — высший закон искусства. Андреев объявлял свой воспаленный мозг, свою мечту единственным и достоящим источником творчества. В. А. Десницкий рассказывает о том, как Андреев собирался писать пьесу из жизни древнего Вавилона. В. Десницкий указал Андрееву, что ему для развертывания своего замысла понадобятся конкретные данные историко-бытового порядка, характерные для местности и эпохи. В. А. Десницкий спросил Андреева, что он думает читать в связи со своей работой над пьесой.

— А ничего, — спокойно ответил Леонид Николаевич. — Зачем мне читать? Я все знаю, что мне нужно, а чего не знаю, то дам из себя, и это будет лучше, чем в ученых книгах.

Этот стиль творчества «из себя», когда автор обходится без фактов, иногда явно и бессмысленно противореча действительности, был нестерпим для Горького и являлся объектом его постоянных издевательств. Дело доходило до смешного. Андреев решил назвать трагического героя своих «Черных масок» герцогом Спаларро. Горький указал ему, что это не в духе итальянского языка, что для итальянца герцог Спаларро звучит так же нелепо, как для русского

звучало бы «князь Башмачников». Андреев сердился, не соглашаясь с бесспорным указанием.

Горький всю жизнь учится, он обладает самыми различными познаниями. В переписке с Сургучевым, коснувшись вопроса о пессимизме, Горький без труда называет десятки прочитанных книг. Здесь и «Буддийский катехизис», и «Буддийские сутты» в переводе Герасимова, и книга Арнольда, и «Душа одного народа» Фильдинга, и Шопенгауэр, и даже труды архиепископа Хрисанфа. Андреев не только ничему не учился, но возводил свое отрицательное отношение к науке в принцип. И как-то, потерпев неудачу в споре с культурным провинциальным священником, горестно заметил: «Надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом». Андреев кичился своей стихийной одаренностью, которая будто бы все преодолевает. Он любил противопоставлять легкость своего мнимого постижения упорному трудолюбию Горького.

Горький ведет широкую переписку с писателями Западной Европы, организует вокруг себя молодежь, принимает участие в различных общественных начинаниях, для него литература неотделима от его революционной практики. И потому Горького несколько не пугают озлобленные пророчества буржуазной критики, не раз хоронившей его великий талант. Андреев же, объявляя человеческую мысль немощной и бессильной, в то же время мучительно переживал каждое критическое высказывание, направленное против него. Отрицательные отзывы критики волновали Андреева не только с принципиальной стороны. Он жадно любил капризную и скоропроходящую славу и слишком легко опьянялся шумом скандального и сомнительного успеха. В то же время он боялся, что отрицательные высказывания критики могут нанести ущерб его материальному благосостоянию. Свое участие в «Русской воле», газете министерства внутренних дел, Андреев объяснял прежде всего возможностью освободиться от материальной зависимости.

Опьяненный шумной, но такой недолговечной славой, Андреев в глубине

своей души сознает, что историческая правота не с ним, но с Горьким. Он пытается восстановить дружеские отношения. Неслучайно эта попытка падает на 1911 год. Издалека уже доносились первые раскаты приближающейся революционной грозы.

III

Первое письмо, написанное Андреевым Горькому после нескольких лет тяжелого молчания, является, пожалуй, самым значительным из десяти его опубликованных писем. Оно отмечено большим волнением и вместе с тем позволяет судить о тех внутренних причинах, которые побудили Андреева сделать попытку возобновить прежние отношения.

Андреев уверяет Горького в своей привязанности. Все годы молчания Горький занимал в его жизни не меньше живого места, чем рядом живущий, самый близкий и живой человек. Андреев пишет о том, что, кажется, нет дня, когда он так или иначе не думал бы о Горьком... Он обращается к нему с речами заочно через головы других людей: «Многие разговоры, которые я веду с заведомо иногда скучными и досадными людьми, всей горячностью своей обращены к тебе, имеют в виду только тебя» — пишет он в своем письме. Андреев недоумевает, в силу каких обстоятельств оборвалась их старая дружба. В согласии со своей фаталистической философией, объявляющей человека игрушкой непознаваемых сил, он пишет: «Мои ошибки не есть я, а наоборот. По существу же чувств и мыслей своих и всей моей жизни я уверенно считаю себя твоим неизменным и верным союзником... Дико подумать, что мы с тобой, такие друзья, такие братья, вдруг разошлись, вдруг осиротели в жестокой пустыне жизни». Он ищет причину разрыва не в принципах, а в мелочах: «Что же разлучило нас? Когда я пытаюсь самому себе ответить на этот вопрос, я вдруг начинаю испытывать ту особую мозговую тревогу, которая является всегда при приближении мелочей. Причины нет, а поводов много...»

Но если Андреев не понимал (или делал вид, что не понимает) причины разрыва, то для него совершенно очевидны были те обстоятельства, в силу которых он искал опять дружбы. Нужно отдать справедливость Андрееву, он правильно оценивал положение, когда писал Горькому: «Перед нами далеко уже маячит гребень той волны, на которую снова и снова предстоит нам взбираться. Вид России печален, дела ее ничтожны или скверны, а где-то уже родится веселый зов новой тяжелой революционной работы» (1911 год.) И перед лицом нового революционного подъема Андреев заявляет о своем согласии стать, как это было в канун первой революции, под знамя Горького. «Другого человека, писателя, который мог бы повести молодую литературу к революционному единству, кроме тебя, я не вижу» — пишет Горькому в 1911 году Л. Андреев. В те дни эту истину повторял не он один. Любопытно, что двумя годами позже ту же мысль и почти в тех же выражениях повторит в своем письме к Горькому Амфитеатров, тогда политический эмигрант. «Литературный мир и близко соприкосновенная с ним интеллигенция нуждаются в человеке, который бы сейчас взял на себя роль их совести и произвел бы в них, хотя бы уже одним своим присутствием и наглядным примером, ту моральную дезинфекцию, в которой, повидимому, необходимость настала неотложная...» «Словом, хотите ли не хотите, а придется приять власть, выпавшую из мертвой руки Толстого» — читаем мы в письме Амфитеатрова к Горькому (1913 г.).

Андреев говорит о необходимости связи с молодой литературой, он предлагает даже организацию частичных писательских съездов или одного большого съезда в России.

Ответ Горького Андрееву принес разочарование. Письмо Горького раскрывает с совершенной очевидностью обстоятельства, в силу которых оборвалась старая дружба. Больше того, письмо Горького не оставляло никаких сомнений, что этой дружбе не суждено больше принять тот всеобъемлющий ха-

актер, который она носила в канун первой революции. Что раз'единило Горького и Андреева? Прежде всего их общественно-политические взгляды, нашедшие свое выражение в их творчестве. Давая оценку таким произведениям Андреева, как «Мои записки» и «Тьма», он характеризует их как произведения, насквозь реакционные. Они будят в человеке пассивное созерцание собственного бессилия, подменяют активную борьбу «длинными пустяками», болтовней о вечности, о самоусовершенствовании. «Нужно будить энергию, сознание красоты, силы, чувство собственного достоинства, надо прививать ощущения радости бытия» — писал Горький. В «Моих записках» Л. Андреев доказывал, что тюрьма является желанным убежищем человека, истерзанного противоречиями и хаосом бытия.

В ответных письмах Андреев оправдывался, горячился. Он то обвинял Горького в отчуждении и непонимании, то снова настаивал на необходимости их дружбы. Андреев попрежнему видел причину разрыва в мелочах. Все образуется, если обе стороны в письмах со всей откровенностью и прямоотой укажут друг другу «на писательские грехи и ошибки». Он пытается свести разрыв к «писательским разногласиям». Горький отвечает категорически, что дело не в мелочах, а в принципе: «Нет, Леонид, я уверен, что переписка еще более запутает наши отношения: мы слишком различно смотрим на все в мире, каждое твое письмо вызывает у меня целый ряд возражений. Уложить их в краткие фразы, — они примут характер догматов».

Для того, чтобы объединиться, нужны были не только воспоминания о старой дружбе, не только уверения во взаимной любви, но и общие принципы. Но принципы Горького не были принципами Андреева, да, собственно, и не могли быть. Возвращая Андрееву признания в любви и дружбе, Горький с суровой прямолинейностью, которая может возмутить людей чрезмерно мягкосердечных и любвеобильных, указывал на то, что мешает ему объединиться с Андреевым.

«Факт остается фактом — в общей пляске над могилами и ты принял некое участие» — писал Горький с убийственной прямоотой.

«Пляска над могилами» — так характеризовал Горький социальный смысл творчества Л. Андреева в годы реакции. Единение не состоялось, и переписка вскоре прекратилась.

Друзья встретились значительно позже. Но в годы войны и революции Горький и Андреев могли, не споря, говорить только о прошлом. «Настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разногласий» — говорит об этих встречах Горький.

IV

Перечитывая теперь старые рецензии Горького на книги начинающих авторов, его переписку с самоучками, начатую десятилетия тому назад, яснее ощущаешь общий замысел этой работы. В каждой рецензии, в каждом письме огромное внимание к творческой индивидуальности. Это не значит, что все письма Горького к молодым несли благую весть. В тех случаях, когда автор был безнадежен, Горький не считал нужным это скрывать. Вот три, пожалуй, типических отзыва-рецензии на книгу Романа Кумова и два письма к начинающим — Ивану Морозову и Ехиелю Кацнельсону.

Маленькая книжка Романа Кумова позволяет надеяться: если автор серьезно отнесется к своему дарованию, признаки которого несомненны, то в его лице «русская демократия найдет писателя-друга, верного свидетеля правды». (1913 год.) В письме к И. Морозову мы читаем: «Иван Игнатьевич, не обижайтесь на мой отзыв, и пусть он не покажется вам суровым. Для самоучки стихи ваши хороши, а печатать их не надо. Почему? А потому, что хотя мысли у вас хорошие, но одеты они вами в старые, заношенные слова» (1911 г.) И тут же наказ: «Вам, демократу, сыну народа, надобно научиться писать стихи не хуже других, а если можно, лучше». Дальше в письме следуют указания, как достичь совершенства в сво-

ем мастерстве. И совсем не повезло какому-то Ехиелю Кацнельсону. Плохо писал стихи Ехиель! Вяло и беспомощно жаловался он на неудавшуюся любовь к прекрасной девушке:

Тебя я видел ведь когда-то.
Тебя любил я страстно, —
Ты променяла все на золото.
Ведь золоту все подвластно.

Горький внимательно прочитал стихи, подчеркнул дважды повторяющееся слово «ведь», сделал на полях целую дюжину пометок, и только после этого послал суровую отповедь автору: «Я бы советовал вам не тратить время напрасно и бросить писать стихи. Способностей у вас к этому не заметно».

Обстоятельное и теплое письмо к Морозову так непохоже на короткий и категорический ответ Кацнельсону. Морозов — крестьянин-самоучка, Кацнельсон — второгодник-гимназист, сын мелкого буржуа. Переписка Горького с начинающими не была литературным инструктажем, просветительской затеей писателя с мировым именем, нагорной проповедью великого к малым мира сего. В те далекие времена работа с начинающими была для Горького частью общепролетарского дела. Это было собиране, призыв в литературу живых сил демократии. В годы глубочайшей реакции Горький мечтал о создании в России общества помощи писателям-самоучкам, вел по этому поводу переписку с видными литераторами. Горький говорил: «Наша очередная задача и работа — собрать рассеянную энергию, освободить ее из сети и цепей различных недоумений, испугов, неверий».

Но, собирая по крупице все одаренное и яркое, Горький не боялся говорить молодым талантам в лицо суровую истину, если этого требовали интересы литературы. Горький не только обучал литературному мастерству, но и воспитывал молодое поколение, как старший товарищ. «Литература — дело чистое и святое» — неустанно повторял он. И всякий раз, когда дело шло о чистоте литературных нравов, он становился неутомимым.

Пушкин отделял творчество поэта от его общественного поведения. Когда муза молчит, поэт ничтожнее всех среди ничтожных детей мира. Горький — художник коллективистического общества. Для него творчество не только взрыв вдохновения, фантазии, — творчество неотделимо от всей социальной практики художника. Горький требует цельности, — его волнует не только талант, но и общественное поведение художника. Слова «русский писатель должен быть личностью связанной» он произносит всерьез, полным голосом. Он не прощает никому измены высоким обязанностям литератора. В этом смысле очень поучительна переписка между М. Горьким и И. Сургучевым.

В 1912—1913 гг. Горький пристально следит за молодым писателем И. Сургучевым. Горький пишет ему теплое письмо, в котором называет его человеком несомненного и крупного дарования. Сургучев может много дать литературе. «Я хочу видеть вас растущим и цветущим в этой области» — пишет Горький. Но достаточно было сделать Сургучеву один неверный шаг, и Горький обрушивает на него всю силу своего негодования. Сургучев поместил в журнале «Кругозор» письмо, в котором в развязном и несколько наглом тоне предлагал создать фонд для посылки писателей за границу. Не нужно забывать, что письмо Сургучева появилось в годы реакции, в обстановке литературного распада, идейного и нравственного одичания. По этому поводу Горький писал Сургучеву: «В наши дни, когда литератор русский своим пьянством и пошлостью совершенно уронил себя в глазах общества, лишился у читателя всякого престижа, читателю этому дано право ответить на ваше письмо в самом амикошонском и юмористическом духе:

— За границу захотели? Дома-то тесно скандалить и паясничать...»

Горького взволновало не только содержание, но и самый тон письма, точно автор «рассуждает, сидя в халате после бани и выпивки». «Подумайте сами, хороша ли эта «простота» тона для лите-

ратора, молодого, вчера только обратившего на себя некоторое внимание, для литератора, который весь еще в будущем. Вы, странно, смешали журнал с предбанником, чего не надо было делать».

Кстати, Сургучев был литератором молодым в глазах Горького, поработавшего в литературе двадцать лет. К тому времени — к 1913 году — Сургучев уже успел выпустить два тома рассказов и нашедший роман «Губернатор». Две его пьесы шли на сцене столичных театров. Сургучев признавал, что его выступление в «Кругозоре» заслуживало поругания, хотя, быть может, и не столь большого.

V

С каждой страницы этой прекрасной книги смотрит знакомое лицо художника-гражданина, учителя и друга нашей литературы. Огромное достоинство «Материалов и исследований» в том, что они не представляют собою механического свода архивных документов, сопровождаемых комментарием, как это бывает обычно. Архивные извлечения, несмотря на свою пестроту, — здесь и забытые художественные произведения, и литературные статьи, и рецензии Горького, и его переписка с писателями, критиками, начинающими, — все эти материалы связаны некоторым единством. Это единство позволяет читателю поставить на материале книги общий вопрос о типе художника нового социалистического общества. Когда-то Горький писал о шведском писателе Августе Стриндберге: «Он стоял перед явлениями жизни, точно полководец, и ничто не ускользало от его орлиного взгляда, все касалось его сердца, все исторгло из души его созвучный отзвук или гордый крик протеста». Эта характеристика, данная Горьким шведскому писателю, является в то же время и его собственной характеристикой. В ней тот идеал, к которому стремится каждый художник нашей страны, живущий с ней единой волей и единой мыслью.

3. И. Е. РЕПИН КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА

П. Сысоев

I

В истории русской живописи очень мало художников, которые подвергались бы такому неутомимому преследованию и бичеванию в печати, — да и не только в печати, — как это было с И. Е. Репиным. Царская цензура вела непрерывную борьбу с распространением революционных полотен этого художника. На протяжении 65 лет, начиная с 70-х годов и кончая 1934 г., репинское революционное творчество подвергалось постоянным нападкам со стороны реакционных художников, критиков, политических деятелей, журналистов и пр. Одни доказывали, что революционные идеи и тенденции репинского творчества шли в ущерб подлинной художественности и живописности, другие — это относится по преимуществу к критикам уже послереволюционного периода — упирали на революционную несостоятельность Репина, на случайность его революционной тематики, несерьезность в разрешении отдельных революционных проблем и пр. Последние стараются не замечать революционно-демократического периода в творчестве Репина 70 — 80-х годов или стремятся сознательно опорочить самые революционные его произведения. По их мнению, главная задача Репина сводилась только к формально живописным моментам, которые вытесняли идейное содержание в его произведениях.

Буржуазно-реакционная критика, а за ней и реакционная художественная школа формалистов до и после Октябрьской революции всячески отвергали революционный реализм Репина потому, что он всем своим острием был направлен против их неревolutionных взглядов, против их извращенного понимания окружающей действительности. Формалисты-критики и формалисты-художники продолжают отвергать Репина еще и потому, что его наследство является прекрасной предпосылкой для социалистического реализма — стиля мирового

пролетариата. Этот стиль является для них классово-неприемлемым, а поэтому они и принимают все меры к тому, чтобы затормозить его поступательное движение хотя бы путем неправильной ориентации советских художников-реалистов в вопросах наследства.

Для формалистов идеалом является Сезанн и подобные ему художники, отказывающиеся от трезвого отражения реального мира, а не великие мастера-реалисты эпохи Ренессанса, не передовые буржуазные реалисты Запада конца XVIII и XIX веков, не реалисты русской школы, особенно революционные: Перов, Репин и другие.

Теперешнее соотношение сил на фронте нашего искусства требует немедленного и самого жестокого разоблачения и свержения реакционных традиций формалистов-практиков и формалистов-критиков. Эта школа является тем заслоном, который мешает более быстрому и более успешному развитию социалистического реализма. Эту школу нужно разоблачать еще более энергично, чем это делал в свое время крупнейший радикальный русский художественный критик В. Стасов и все его последователи в борьбе с академической живописью.

Поднять авторитет старых мастеров-реалистов и особенно революционных, как например Репина, является насущной задачей дня.

II

По своему происхождению и по условиям жизни Репин является типичным разночинцем 60 — 80-х годов. Он происходит из семьи военных поселян города Чугуева, Харьковской губ. Эти поселения были организованы Александром I и графом Аракчеевым в начале XIX века. По существу военные поселяне были те же крепостные крестьяне, только работающие на казну. Система телесных наказаний, зависимость женщин и детей от воли военного начальства и от их

диких капризов и желаний делали жизненные условия поселян особенно несносными. И не случайно в гор. Чугуеве в 1819 г. вспыхнул ожесточенный бунт, жестоко подавленный царским правительством. В такой тяжелой обстановке воспитывался художник. В 1914 г. Репин, вспоминая свое детство, писал¹⁾:

«Батеньку (отца), как билетного солдата, угнали далеко, у нас было и бедно, и скучно, и мне часто хотелось есть. Очень вкусен был черный хлеб с крупной серой солью, но его давали понемногу. Мы все беднели».

Тяжелые жизненные условия детства определяли образ мышления будущего художника, способствовали формированию его революционных убеждений.

И. Е. Репин с раннего детства проявлял интерес к искусству. Он очень рано стал рисовать, вылеплять и вырезать фигурки животных и пр. О первых шагах своей художественной деятельности и ее направленности у Репина есть следующее интересное высказывание:

«И вот нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народной, но даже детски-простонародной. И Осиновка твердо утаптывала почву перед нашими окнами...» (где были выставлены первые наивные детские произведения, уже привлекавшие в то время внимание публики).

Первое художественное образование Репин получил в чугуевской школе военных топографов. После ее ликвидации в 1857 г. он поступил на обучение к иконописцу Бунакову, выполняя под его руководством различные церковные заказы.

С 1859 г. Репин, 15-летний мальчик, начал брать самостоятельные заказы. Скоро он становится самым крупным иконописцем в округе. Кроме икон, молодой художник начал писать и портреты маслом близких ему людей.

У Репина очень рано родилась мысль попасть в Петербург, в Академию художеств. В 1863 г. ему удалось получить за исполненный церковный заказ

100 рублей, что позволило ему отправиться в столицу. В репинском архиве хранится очень интересный документ, характеризующий полную зависимость семьи художника от круговой поруки, установленной реформами 60-х годов:

«Приговор»

1864 года, февраля 24 дня, мы, нижеподписавшиеся поселяне Чугуевской волости гор. Чугуева, по призыву сельского старосты для обсуждения некоторых предметов по общественным делам, где между прочим слушали читанное нам прошение отставного солдата гор. Чугуева Ефима Репина о выдаче сыну его Илье Репину... увольнительного приговора на поступление его в Академию Художеств, для усовершенствования в живописном искусстве, почему мы с общего согласия положили: так как Ефим Репин обязуется за время учения сына его в Академии, оплачивать за податную землю, которая будет ежегодно определена сыну по приговору общества»¹⁾.

К моменту приезда Репина в Петербург промадное количество разночинной молодежи уже проникло в самое самодержавное учреждение — в петербургскую Академию художеств. Эта молодежь была враждебно настроена по отношению к «папскому искусству Запада» (Репин), которое усиленно культивировалось в стенах академии.

Художники-разночинцы своими жизненными, глубоко идейными и очень часто революционными произведениями наносили удар за ударом отжившим формам дворянского академического искусства. От картин разночинцев «веяло такой свежестью, новизной и, главное, поразительной реальной правдой и поэзией настоящей русской жизни. Да, это был истинный расцвет русского искусства. Это был прекрасный ковер из живых цветов на затхлом петербургском болоте. Это был первый расцвет национального русского искусства». (Репин, «Воспоминания».)

¹⁾ В статье цитируются по преимуществу неопубликованные письма И. Е. Репина.

¹⁾ Печатается без стилистических изменений.

Когда в январе 1864 г. Репин поступил учеником в академию, в ее стенах «и в беднейших трущобах ученических вольных квартир начали бурлить водовороты социалистических ключей из недр общего нарастания тогдашней подземной океан-реки» (Репин.)

Народнические идеи увлекли Репина, и он стал их выдающимся и последовательным пропагандистом. Начиная со своих «Бурлаков» (1872 — 1873 г) и кончая серединой 80-х годов революционно-народническая линия в его творчестве является ведущей. Если Перов был главной фигурой первого демократического подъема России в 60-х годах, то самым выдающимся художником второго демократического подъема 70 — 80-х годов был Репин. Со своими революционными идеями Репин выступил тогда, когда большинство либеральной русской буржуазии повернуло «к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими» (Ленин). Гражданственность и обличение, задачи преобразования общественных порядков, утверждение героизма, мужества и преданности делу крестьянской революции, — вот главный круг вопросов, увлекавших художника. Его эстетика — эстетика великого крестьянского революционера Чернышевского, для которого «область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова: искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни... конечно воспроизведение жизни есть главная задача искусства, но часто его произведения имеют и другую задачу — об'яснить жизнь или быть приговором о явлениях жизни» (Чернышевский.)

Творцами этого искусства были художники-просветители 60-х годов, революционные поэты «Искры», народнические поэты и писатели 70-х годов, а в живописи 70 — 80-х годов — Репин, Савицкий, Ярошенко, Мясоедов.

Чернышевский и его ближайший помощник и достойный последователь Добролюбов никогда не отрицали специфичности искусства. Их эстетические взгляды требовали лишь здорового революционного реалистического искус-

ства, искусства злободневного и бичующего.

Один из современных художественных критиков, А. Федоров-Давыдов, рассматривая эстетику Чернышевского как эстетику, отрицающую искусство, попытался оплести и последователей этой эстетики (Перов и др.), а так как с Репиным благодаря его крупнейшему живописному таланту, сделать это было труднее, Федоров-Давыдов поспешил включить его в лагерь трусливой русской либеральной буржуазии. Сделав это, Федоров-Давыдов постарался отбросить революционную сторону репинского творчества, подчеркнув лишь его некоторые живописные моменты¹⁾.

Величие Репина заключается в первую очередь в трезвом показе процесса самой борьбы народничества, начиная от периода «хождения в народ» и кончая террором народоубийцев. Его искусство соответствовало «действительному ходу вещей», действительному развитию народничества.

В творчестве Репина идеи революционного народничества отразились прежде всего своей революционно-демократической стороной, что в еще большей степени поднимает историческое значение народнического периода Репина.

Положительными и любимыми героями Репина, вместе с которыми он выражает также и свои собственные настроения и мысли, являются интеллигенты-революционеры и крестьянство.

В Академии художеств Репин очень скоро завоевал авторитет крупного художественного таланта с ярко выраженной реалистической чертой. Его конкурсная программная академическая работа «Воскрешение дочери Иaira» (1871 г.) была настолько реалистична по композиции и живописности, что почти не приходится говорить о влиянии академических традиций на молодого художника. Об этом заявлял и сам Репин:

«Что касается меня, то совершенно естественно, что Академия художеств

¹⁾ См. его книгу «Реализм в русской живописи XIX в.

помогла мне только стенами, натурой, а душой я всецело питался от горевшего ярким факелом И. Н. Крамского». («Труды съезда художников».)

Всю свою жизнь Репин высоко ценил и любил своего учителя. Когда, перед смертью, Крамской изменил Товариществу передвижных выставок, Стасов и Репин усиленно ополчились на него за ренегатство. Но, несмотря на жестокую полемику, Репин заявляет Стасову:

«Крамского я не могу не уважать глубоко и как человека, и как учителя, принесшего мне громадную пользу и имевшего большое влияние в моей жизни». (Письмо от 21 июня 1886 г. Архив Стасова.)

III

Первое серьезное выступление общественного порядка делает Репин в своих знаменитых «Бурлаках» в 1872 г. (вариант) и 1873 г. (картина). Художник обличает в этой картине скотоподобную эксплуатацию людей на ранней стадии развития капитализма. Картина написана с такой потрясающей силой, что всегда пробуждает настроение протеста и борьбы. В истории русского искусства нет более сильного, более яркого показа капиталистической эксплуатации разоренного крестьянства.

«Бурлаки» не являются специально предельно значимой иллюстрацией к знаменитому некрасовскому «Парадному поезду». Репин узнал о существовании этого стихотворения лишь спустя два года и с большим сожалением вынужден был заявить:

«Я не имел права не прочитать этих дивных строк о бурлаках. И все считают, что картина моя произошла-то у меня как иллюстрация к бессмертным стихам Некрасова; сообщаю это только в силу правды».

Репин делает такую блестящую оценку классово-заостренным народническим стихам Некрасова только в силу их общей классовой природы, в силу родственности репинских убеждений с убеждениями поэта-народника.

В дополнение к своей картине Репин написал воспоминание о своей поездке на Волгу, где пишет:

«Приблизились. О, боже, зачем они такие грязные, оборванные. У одного разорванная штанина по земле волочится и голое колено сверкает, у других локти повылезли, некоторые без шапок; рубахи-то, рубахи... Влегли в ляжку груди обтерлись докрасна, оголились и побурели от загара... невозможно более живописной и более тенденциозной картины... Какой однако это ужас. Люди вместо скота впряжены...»

В картине 1872 г. Репин показал бурлаков в условиях надвигающейся грозы, что создает впечатление еще большего трагизма. Здесь очень умело разрешено живописное обобщение пасмурного неба, воды, берегов, зеленых зарослей. Гамма несколько приглушенная, с сильными лиловыми оттенками. Сочные краски, динамичность диагональной композиции, прекрасное ритмическое расчленение медленных и тяжелых шагов бурлаков, умело схваченных единой движущей массой, делает и ту, и другую картину не только глубоко реальным и общественно тенденциозным фактом, но и замечательным живописным явлением. В картине 1873 г. вместо пасмурной погоды и надвигающейся грозы дан ясный, солнечный день. В той и другой картине центральные фигуры выделяются темным живописным пятном. Допускаемое Репиным обобщение движущейся массы не устраняет однако типичных индивидуальных черт бурлаков, а выявляет и подчеркивает их. Особенно замечательно лицо юного бурлака в картине 1872 г., у которого рабский труд и животное существование не убили глубокой мысли протеста, глубокого духовного выражения. Неправильным является утверждение некоторых критиков, что эти типы рабов капитала не способны бороться, не способны постоять за себя. В картине 1870 — 73 гг. Репин сознательно показал представителя бурлацкой молодежи, который упорно пытается сбросить хомут рабства. Этот юноша еще не в состоянии избежать или изменить тяжелую участь бурлацкой жизни, но он делает серьезную по-

пытку вырваться на свободу. В этом типе художник дал образ будущего рабочего-революционера.

Представители народничества умели показать «противоположность интересов труда и капитала», но отражали это социальное явление ограниченно, «через призму жизненных условий и интересов мелкого производителя... Народник для критики капитализма считает достаточным констатировать наличие эксплуатации, взаимодействие между ней и политикой и т. п. Марксист считает необходимым объяснить и связать вместе эти явления эксплуатации, как систему известных производственных отношений, как особую общественно-экономическую формацию...» (Ленин). Репин не выделялся из рамок ленинской характеристики этой стороны революционного народничества, но он бесспорно был одним из передовых представителей революционно-демократического движения на фронте искусства. Репин, как и все революционные народники, умел показать величайшую эксплуатацию масс, умел осудить существующий строй, но не умел научно объяснить этот капиталистический строй, не мог понять его историческую неизбежность, его прогрессивность на определенном этапе и его неизбежную гибель по мере нарастания внутренних противоречий.

В своих «Бурлаках» Репин показал живые, обобщенные куски реальной действительности очень сильно, правдиво и убедительно. Крамской в 1874 г. совершенно справедливо писал Репину: «Вы реалист, один из самых неумолимых, почти граничащих с материализмом». И недаром ректор Академии художеств Бруни называл репинских «Бурлаков» «величайшей профанацией искусства», — именно за их глубокую жизненную правду, за их художественное обличение эксплуатации, за их художественную простоту.

Эстетические взгляды Репина, практически разрешенные в «Бурлаках», прекрасно обоснованы им и в его теоретических высказываниях.

«Вы говорите, — пишет Репин Крамскому, — что надо двинуться к свету, к краскам. Нет, и здесь наша задача —

содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления о природе, ее жизнь и смысл, дух истории, — вот наши темы, как мне кажется, краски у нас — орудие... выражать наши мысли; колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд музыки. Мы должны хорошо рисовать». (Письмо 31 марта 1874 г. Архив Крамского.)

Отталкиваясь от эстетики Чернышевского, Репин рассматривал простоту языка в живописи как «верную приметку истинно художественного произведения».

Взгляды Репина как революционного народника особенно характерно выявились в неопубликованных его письмах с Волги к В. В. Стасову. В письме от 3 июня 1872 г., говоря об интеллигенции 60-х годов, Репин писал, что она «уже не спасена от примеси народной крови, ей знаком труд и бедность, а потому она гуманна, ее сопровождают уже лучшие доселе русские силы (Гоголь, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Михайлов, Некрасов)».

Следует только внимательно отнестись к тому, кого Репин считает лучшими русскими людьми, чтобы убедиться в несостоятельности Федорова-Давыдова и других критиков, считающих Репина трусливым либералом. В цитируемом письме Репин обвиняет революционных интеллигентов — шестидесятников в замкнутости, в некотором отрыве от народа (вернее, от мужика).

Дальше, анализируя социальную природу разночинной интеллигенции 70-х годов, Репин устанавливает ее большую связь с крестьянством. Для него студенты-семидесятники — «это силовые, грязные, мужицкие дети, не умеющие связать порядочно пару слов; но эти люди с глубокой душой, люди, серьезно относящиеся к жизни и самобытно развивающиеся... Нынешняя молодежь интеллигенции уже не поедет за границу, у нее едва хватит грошей на покупку книг иностранной литературы».

Репин указывает, что поколение семидесятников теснее связано с деревней. Они едут на каникулы в деревню уже в

вагоне 4-го класса, они знают жизнь народа, являясь прекрасными проводниками социалистических идей среди крестьянства.

Репин очень ясно указывал и пояснял, интересы какого класса он защищает и представляет. В вышецитированном письме художник делает совершенно недвусмысленное заявление:

«Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы (разрядка моя. — П. С.), мне это очень кстати, ведь я, как вам известно, — мужик, сын отставного рядового, протянувшего 27 не очень благополучных лет николаевской солдатчины».

Таким образом, для Репина «свет мерцает от лучины, зажженной в избе русского мужика» (Герцен, том X.)

Отсюда ясно, чьи интересы представлял Репин, когда писал своих знаменитых «Бурлаков».

IV

После окончания Академии художеств Репин пенсионером академии выехал в 1873 г. за границу, где и пробыл до 1876 г.

Следует отметить, что заграничная командировка принесла Репину мало пользы в художественном отношении.

«Признаюсь вам откровенно, — писал Репин, — я ничему не выучился за границей и считаю это время, исключая первых трех месяцев, потерянными для своей деятельности и как художник, и как человек... Ужасно вообще, что я оторван от русской жизни, это мне не по натуре, пожалуй, начну чахнуть». (Письмо В. Стасову, от 8 июня 1884 г.)

Объяснить такое явление можно только специфичностью классовой направленности художника и его творческого метода — реализма. Для народнической интеллигенции весьма характерна глубокая привязанность к своей крестьянской стране. Народники, как известно, мечтали о возможном построении социализма в России через крестьянскую общину, минуя капиталистическое развитие. Они боялись капиталистического пути развития, как чумы, совершенно не

понимая исторической неизбежности этого факта. Поэтому ярко выраженный характер капиталистического общественного строя в Западной Европе был для Репина мало понятным. Отсюда — его стремление скорее попасть обратно в Россию, заняться там серьезно общественно-революционным делом.

«Мне страсть как хочется в Россию, — пишет он Стасову, — чтобы изучать наше и работать по-новому на родной почве; разрабатывать нашу особенность вкусов, образов и понятий — ведь почти непочатое дело». (Письмо от 8 апреля 1874 г. Архив Стасова.)

С Репиным повторилось буквально то же самое, что и с Перовым.

За границей Репин написал две больших картины: «Парижское кафе» — 1875 г. и «Садко» — 1876 г.

В картине «Парижское кафе» показан мир проституции, которая является обязательным следствием европейской, а также и всей мировой капиталистической культуры. Показ этой социальной болезни капитализма несколько не противоречит народническому направлению художника.

В «Садко» имеет место идеализация родной страны и крестьянской девушки-чернавушки, которую выбрал себе среди прекрасных царевен русский купец Садко. По причинам неудачного выбора сюжета и его слабого живописного разрешения Репин не любил этой картины. Он писал Стасову:

«Признаюсь вам по секрету, что я ужасно разочарован своей картиной «Садко». С каким бы удовольствием я ее уничтожил. Такая это будет дрянь, что просто гадость во всех отношениях».

Картина «Садко» по своему содержанию является народнической, но в ней выявлялась лишь отрицательная нотка народнического патриотизма. «Народники очень и очень повинны в ювасном патриотизме самого низкого разбора» (Ленин). В письме в Академию художеств от 23 декабря 1873 г. Репин дал следующее определение сюжета картины:

«Садко, богатый гость на дне морском, в фантастических палатах водяного царя, выбирает себе невесту. Перед

ним проходят... девицы всех эпох и всех наций: гречанки, испанки, голландки, француженки и пр... Сцена происходит посреди самой причудливой архитектуры... и все это ярко залито электрическим светом, на глубоком фоне морского дна, с необыкновенными водяными растениями и сверкающими в глубине морскими животными и рыбами... Садко, наивный русский парень с гуслями, вне себя от восторга, но крепко держит наказ угодника выбирать последнюю девушку-чернавушку (русскую девушку)».

Истинные мотивы, побудившие Репина написать «Садко», ясно высказаны в письме к Стасову от 23 декабря 1873 г.:

«Идея, как видите, не особенная, но идея эта выражает мое настоящее положение и, может быть, положение всего русского пока еще искусства... Но крепко держу думу о девушке-чернавушке, которую я буду воспроизводить уже дома, и только тогда буду считать начало своей деятельности».

К счастью, в эволюции репинского творчества рассматриваемого периода этот «квасной патриотизм» «Садко» больше почти не проявлялся, исключая незначительные высказывания в некоторых его письмах. Вместо этого художник подарил современникам и истории боевые революционно-демократические полотна.

В «Садко» нашла свое отражение либерально-народническая тенденция, от которой Репин не всегда был свободен — не только в некоторых своих картинах, но и в письменных высказываниях. Так например в письме Крамскому в 1874 г. Репин писал:

«Боголюбов (художник.— П. С.) отличный человек, в нем много простоты, открытости и... горячности, хотя убеждения его совершенно противоположны моим, но не драться же в самом деле из-за убеждений, особенно когда убежден, что драма эта принесла бы только вред и никого не убедила бы, а, напротив, закоренила всякого до упорства».

Примерно в это же время Репин высказывался и против «существования по-

литических партий. Идея беспартийности есть результат либеральной дряблости некоторой части русской интеллигенции. Она и оказывала иногда давление и влияние и на Репина. Либерально-народническая черта изредка проявлялась и в эстетических воззрениях Репина. Он в письме Крамскому от 16/28 октября 1874 г. писал:

«А впрочем я теперь совершенно разучился рассуждать и не жалею об утраченной способности, которая меня разедала, напротив, я желал бы, чтобы она ко мне не возвращалась более; котя чувствую, что в пределах любезного отечества она покажет надо мной свои права — климат... (самодержавный строй России.— П. С.) впрочем это время (время расудочности в искусстве.— П. С.) переходное, возникнет живая реакция молодого поколения, произведет вещи полные жизни, силу и гармонию; залюбуется на них мир божий и не захочет даже вспоминать, как ворчливых стариков, предшественников, так и будут стоять они, задернутые пеленой серого тумана. Потому что очень горячо, колоритно, от чистого сердца, слеза, будут написаны новые вещи».

Нужно думать, что «Парижское кафе» и особенно «Садко» и появились как результат подобных высказываний художника.

Большая неудача Репина в картине «Садко» вызвала всеобщее ликование в стане врагов и глубокое сожаление среди друзей. Особенно горевал Стасов, ожидавший от Репина после его «Бурлаков» еще более действенных и социально заостренных полотен. Стасов в письме к Крамскому от 7 ноября 1876 г. очень правильно объяснил как причину упадка репинского творчества в «Садко», так и его будущее. Он писал:

«Эти три года он был в среде... решительно ему вредной — как например какая-нибудь теплая ванна для дуба — и что теперь в Малороссии своей любезной или где-нибудь внутри России он снова отойдет и взойдет в свою силу — во всю мощь реалиста, народного художника...»

Предвидение передового художественного критика оправдалось. Репин взмог

на вершину русской реалистической школы XIX века.

Национально-народная черта, которую не следует путать с реакционным монархическим национализмом, всегда чувствовалась в творчестве Репина. Он даже в вопросах оценки старых мастеров строго выделял художников с национальным обликом.

«Если юношей, — говорит Репин, — я высказался вскользь, инстинктивно, против Рафаэля, то теперь несколько не могу поколебать своего равнодушия к этому художнику; он развратил национальное итальянское искусство греческими формами, фальшиво понятиями движениями, как и все в Ренессансе разращено этой ложной прививкой к отжившему, хотя и великолепному искусству, национальному. Он потерял свой национальный дух, который так цельно действует в самобытных и глубоко национальных образах Веронеза, Тициана и других художников, не зараженных Ренессансом». (Письмо Стасову от 10 марта 1880 г.)

В национальном характере репинского творчества и в его высказываниях по этому вопросу уживаются две противоречивые стороны: прогрессивная и реакционная. Тесная связь с политической, духовной и бытовой жизнью страны никогда не может являться отрицательным явлением для художников прогрессивных и особенно революционных и угнетенных классов. Эта тенденция позволяет художнику на близких конкретных явлениях с большим успехом бороться за свои классовые идеалы. Но и здесь кроется опасность, которая при малейшем отступлении от боевой революционной перспективы может привести — и приводила — многих художников к узкому реакционному национализму и даже мистицизму (примером является эволюция Сурикова, Нестерова, Васнецова и других). Кроме того, данная тенденция ведет к узкой национальной замкнутости, которая не способствует в достаточной мере использовать богатое наследство интернациональной человеческой культуры. Народническая мелкобуржуазная идея самобытности, в плену которой находился и Репин, с точ-

ки зрения пролетарского интернационализма, является порочной вообще и в художественной практике в частности. Правда, Репин больше относился к типу той части народнической интеллигенции, которая в данном вопросе тяготела к Чернышевскому, более свободному от идей самобытности России, чем многие другие вожди и идеологи народничества.

Ряд художественных критиков, буржуазных художников-формалистов и некоторые научные работники в художественных музеях считают Репина плохим мыслителем, легкомысленным сторонником всяких модных увлечений и пр. Они продолжают доказывать, что у Репина преобладает наносная легкомысленно-революционная тематика, которая не соответствует его личным взглядам либерального буржуа. Эта несколько измененная клевета является результатом сохранившейся традиции, идущей от «Московских ведомостей», суворинской газеты «Новое время», «Мира искусства» и пр., которые первыми забрызгали грязью Репина и его друга В. В. Стасова.

Эстет контрреволюционной русской буржуазии, Александр Бенуа (ожесточенный враг революционного реализма), успешно дополнял и возможно даже превосходил «нововременцев», несмотря на существующий спор (почти семейный) между «Миром искусства» и суворинской газетой. Бенуа писал:

«Он (Репин. — П. С.) постоянно влюблялся в новые и противоположные друг другу истины, причем чаще увлекался внешним блеском, величием этих идей, нежели их сущностью. Репин есть «жертва недоразумения», в его творчестве господствует «вялость... кукольность... театральность... гримасы актеров... натуга... анекдотизм» и т. д. (Бенуа. — «Русская школа живописи XIX века».)

Худшего о Репине сказать трудно. К сожалению, приходится констатировать, что некоторые критики и художники из формалистического лагеря и сейчас питаются этим высмеиванием врагов революционно-народнического искусства. Такое положение возможно только в

силу некоторой родственности классовой точки зрения тех и других по отдельным вопросам искусства.

Ко всему сказанному следует добавить несколько слов о том, как сам Репин относился к «нововременцам», к Бенуа и пр. Иначе будет не совсем ясна позиция художника и его отношение к правдой и даже либерально-буржуазной печати. 7 мая 1888 г. Репин писал В. В. Стасову по поводу юбилея А. Майкова и его друзей — Суворина и Буренина:

«Напрасно вы беспокоитесь из-за свиного рыла Буренина. Я все это предвидел, ждал и совершенно спокоен. Признаюсь, Буренин меня даже удивил некоторым признанием моих сторон, например: известная... твердость руки, претензия на литературный пошиб. Могли бы ждать это от потерявшего всякую совесть мерзавца, щеголяющего своей наглой мерзостью, открыто, с апломбом, приводя в восторг все холуйские души читателей «Нового времени», — что же можно ждать от него, и можно ли унижаться до каких бы то ни было объяснений с наглым холуем... и вам не советую — только сраму наберетесь. Ведь на него так все и смотрят. Это продавшийся за деньги палач. Он стегает плетвми, не разбирая, кого прикажет патрон; а патрон его Суворин просто впадает в слабоумие. Это я заметил ясно на его лице, взглядевшись в него на последнем торжественно-лакейском обеде А. П. Майкова. Он производит, бедный, очень жалкое впечатление... Но какое гнусное было это торжество Майкова... Представить нельзя себе паскудное собрание подлецов, и лучше всех — это сам Аполлон. Вот гадина (то с гнилой улыбкой), как сказал тот (Григорович. — *Пометка Стасова*). Я сидел до конца... мне хотелось вдруг перед торжеством кричать на весь этот декорированный театр и персонаж: — Мерзавцы! Сволочь! Продажные твари! Да будете вы прокляты со всем вашим хамством и ложью!!!» (Письмо из архива Стасова.)

Комментарии к этой блестящей оценке излишни.

Так же оценивал Репин и «Историю искусства» Александра Бенуа. Он называл ее «поганенькой историей живописи». А в письме к Стасову от 12 декабря 1900 г. Репин заявляет:

«Мочи нет читать эту д...ю».

Начиная с 70-х и кончая серединой 80-х годов, Репин строго руководствовался в своих высказываниях и в своем художественном творчестве революционно-народнической доктриной, с ее положительными и отрицательными сторонами. Отдельные отклонения в сторону либерализма никогда не вытесняли ведущего революционного направления.

Все проблемы и задачи, поставленные революционными народниками, были усвоены Репиным, вплоть до утопической идеи о построении социализма-коммунизма в России. В письме из Парижа 25 апреля 1874 г. Репин писал Стасову:

«Я все мечтаю о коммуне и только в ней вижу спасение человека. Между прочим я изобрел план будущего города, и образ жизни будущих коммунистов, верно, чем все это... что люди так портятся благодаря грошевой жизни». (Архив Стасова).

Репин не только так думал, он пропагандировал эти взгляды среди других людей. В 70-х годах он занимался тем же, чем и народники-пропагандисты. Вот что писал по этому поводу Репин Крамскому:

«Как, говорю я однажды с разгоряченным лицом, а Международный Союз всего света. А самостоятельная жизнь каждого маленького городка. А эти удивительные коммуны, сделавшие из каждого города и деревни отдельную семью людей, работающих для общей своей пользы, не знающих, что такое деньги и что такое подлость; везде свободный правильный выбор труда, с увлечением. использующегося в определенные часы, и за сим самое громадное общество, самые разумные сильные развлеченья... Я остановился, чтобы посмотреть, произвело ли это какое-нибудь впечатление на мою всегда спокойную собеседницу... и что же, глаза ее блестят чудесным светом полного убеждения. «Так вот чего хотите вы» — ска-

зала она. «В таком случае, я могу вас только утешить и обрадовать... знайте, что все это непременно будет. Но делается все это все тем же путем строгой и неумолимой необходимости. Ваш пафос пустяки, ваша порча крови—вред вам; а дело это идет своим законным порядком, как зародыш у матери. Выкидыши причиняют ей болезнь и уничтожают зародыш...» Но я все-таки не особенно люблю позитиву (позитивную буржуазную философию. — П. С.), уж очень умна и говорить с ней не знаю... очень все выходит... просто и ясно...» (Письмо от 15 ноября 1874 г. Архив Крамского.)

Репин не имел ярых представлений, как осуществить желаемое, он, как и все представители утопического социализма, не видел и не понимал истинных путей, которые действительно могут привести и — уже сейчас — привели к социализму. Это получалось потому, что утопический социализм «критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности эксплуатации. Но утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества». (Ленин. «Три источника и три составных части марксизма».) В этом повинны все народники и в том числе Репин.

Народнические убеждения Репина совершенно не гармонируют с той оценкой, которую дали Репину Федоров-Давыдов и другие критики, зачислившие его в лагерь либеральной буржуазии. Ведь последним коммунистические идеалы, хотя бы и утопические, были антагонистически чужды.

«Как известно, — пишет Федоров-Давыдов, — Репин был по своей идеологии буржуазный либерал, сочувствующий революционному движению. Как у крупного буржуазного художника, у него было всегда стремление

давать большие, впечатляющие, так сказать, ударные вещи, создавать «гвоздь сезона», сенсацию, событие». («Реализм в русской живописи XIX века».)

Грустно становится от таких, до тошноты аналогичных с Александром Бенуа, высказываний. Дальше, на примерах разбора отдельных картин, это родство выступит еще яснее. Федоров-Давыдов и многие другие не желают понять, что либералам не свойственны были только что цитированные высказывания, а тем более им не свойственно было делать своими героями тех, кто, рискуя жизнью, шел пролагандировать народ или с бомбой в руках устраивал погромы за коронованным зверем. Не свойственно было либералам так разоблачать наконец гнуснейший самодержавный режим, как это сделано в «Крестном ходе» и других картинах Репина.

Давно, давно пора нашим так называемым «маститым» критикам внимательно изучать картины, особенно революционных художников, ознакомиться с их архивами, и, что особенно важно, изучить и органически усвоить ленинизм, а не заниматься опорочиванием революционных мастеров-реалистов, считая их или плохими мастерами (Перов), или реакционерами (Репин и другие).

Большой интерес представляют взгляды Репина на самодержавие и на характер того государственного строя, который должен заменить царизм. Здесь Репин выступает опять как типичный народник, воспринявший учение Герцена, Бакунина, Чернышевского.

Народники находились в плену субъективной социологии, которая не позволяла им разобраться в характере данного конкретного исторического процесса и в соотношении классовых сил. Рассматривая государство, как паразитический нарост, многие из народников стремились к государственной децентрализации и к высвобождению общины от влияния злосчастного царизма. Они всячески мечтали «освободить элементы русской общины от примесей, придачных ей татарщиной, царизмом, бюрократией и немецкой казармократией, посред-

ством режима приказов, крепостного права и т. п. Взяв эти элементы за естественный исходный путь, надо развить, просветить их социальной идеей Запада, на пользу всеобщей науке о благополучии человечества». (Герцен, том I, стр. 101.) Примерно то же самое высказывал и Репин. 5 сентября 1875 г. он писал Крамскому:

«Мнения и симпатии провинциалов относительно главных сторон провинциальной жизни, как-то: народного хозяйства, образования и суда, решительно здоровее и подчас прогрессивнее столичных. Это, несомненно, доказано уже многими действительно великими умами; и недалек поворот к децентрализации народной жизни по всем статьям. Столбы сделали уже свое дело...» (Архив Крамского.)

Репин, вслед за Герценом и Бакуниным, рассматривал самодержавное государство как нечто наносное и иноземное. Позднее, в своем письме к Стасову от 18 декабря 1878 г., он, оценивая одну из статей Стасова, говорил:

«Мне так и представляется великан, выдернувший огромный дуб с корнями, и, взмахнувшись с пронзительным свистом, хватил эту паршивую чиновную сволочь; а публика стоит и аплодирует... Да, чиновничество, чиновничество, не говорите, а это одно из дел Петра, он закрепостил Россию, отдал ее в холопство иноземцам. Россия перестала мыслить, чувствовать и делать по-своему сознательно. Ее превратили в ученого автомата, бессловесного холопа. Каждый бездарный немец стал полным господином и просветителем России. Даровитые люди умолкли надолго. «П р и к а з а л и» — получило всю мощь. И до Петра не были глупы наши предки (теперь я изучаю это время). Они учились у иностранцев же, заимствовали также многое; но свободно; выбирали даровитых людей оттуда, и эти люди относились к ним с уважением и старались сделать, что от них требовали, и создали превосходные вещи, таких они нигде у себя в Европе не создавали. С Петра совсем другое: каждый немецкий солдат, бездарный и полуграмотный, воображал себя великим цивилизатором,

просветителем русского невежества. Начали строить всякое безобразие и вводить везде, как самые идеальные формы; а главное, чиновному иноземству хотелось ведь устроить второе отечество... Иноземные господа и русские холопы и всякий русский чиновник уже старался казаться иноземцем, иначе он не господин. Сколько этого еще и до сих пор...»

В начале 80-х годов Репин понял связь государственного аппарата с эксплуататорскими классами. В своем «Крестном ходе» он показал эту связь, и показал лучше всех русских художников своего времени. Но в 70-х годах он еще был в плену полного непонимания истинной классовой природы Российской монархического государства.

Единственным положительным моментом в цитированных репинских высказываниях о природе и характере русского государства может являться только великая вражда к государственной бюрократии и вообще ко всему аппарату самодержавной власти. Но ограниченность кругозора мелкого собственника не позволила Репину вскрыть подлинную природу государственного строя в России и наметить реальные, а не утопические выводы из этого важнейшего вопроса. В начале 80-х годов Репин неоднократно возвращался к вопросу о государственном строе, высказывая идею самодержавия народа (народная республика) вместо самодержавия царя и его прислужников.

Для выяснения классовой направленности Репина очень важно выяснить и его отношение к Академии художеств, особенно в годы пенсионерства. Переписка и факт нарушения академической дисциплины, выразившийся в экспонировании своих картин без разрешения академии на Парижской и Передвижной выставках, убеждают нас в антагонистическом отношении Репина к академии.

Обстоятельства, которые связывали Репина с этим дворянско-монархическим учреждением, были только чисто материального порядка (пенсия и покупка отдельных картин академическим начальством: «Воскрешение дочери Иаира», «Бурлаки», «Садко» и др.). Художественная политика самодержавия

сводилась к тому, чтобы направить художника, особенно талантливого, в «воюющую лужу монархизма» (Репин). Царское правительство на это дело не жалело денег. Сильная экономическая зависимость Репина от академии оказалась бессильной совратить художника с революционных позиций. Он на протяжении 20 лет оставался классовым врагом самодержавной художественной политики. Репин рассматривал существование академии как результат деспотизма и низкой цивилизации. В декабре 1873 г. он писал:

«Конечно, при нашем восточном порядке вещей, она (академия. — П. С.) еще долго будет носить шитый золотом мундир и справлять высококожественные акты, но это не вечно. Проникнут же и к нам идеи гнилого Запада, идеи о свободе, равенстве и братстве... Прозревание Академии художеств доказывает деспотизм и низкую цивилизацию страны, а главное, ничтожную частную инициативу». (Письмо к Крамскому.)

Репин был уверен в необходимости закрыть академию и вместо нее открыть народный музей.

«Я теперь глубоко убежден, — пишет он, — что академию следует закрыть и уничтожить совершенно... Поддержать и развить искусство может только одно — народный музей». (Письмо Стасову от 20 января 1874 г.)

А в следующем письме Репин, продолжая эту мысль, пишет:

«Сидят над нами какие-то подлые чиновники, заставляют что-то делать, высылают вон из отечества и высокомерно бросают нам гроши, награбленные ими у народа, бедного, грубого народа».

В Академии художеств существовал порядок, который запрещал пенсионерам участвовать на посторонних выставках и в художественных организациях. Репин дважды нарушал этот закон, несмотря на прямую угрозу лишиться материальной поддержки. В личном деле Репина имеется переписка по этому поводу с крайне резкими резолюциями академического начальства. Об одном из этих эпизодов Репин в письме к Крамскому от 1 апреля 1875 г. сообщает:

«Академия дует специально своих пенсионеров; недавно она дунула таким холодом — страсть. В целях заморозить нас до смерти: издала циркуляр, который запрещает выставлять вещи на парижской выставке. Я было огрызнулся, но получил свое письмо обратно с надписью вел. кн. Владимира (молчать, мол, не рассуждать, дело не вашего ума)...»

Репин все время испытывал неприятную тягость государственной опеки, и, как только кончился срок пенсионерства, он поспешил стать активным членом передвижничества.

«Меня вы можете поздравить, — пишет Репин, — с новой честью. Я теперь член Товарищества передвижных выставок. Шестилетний срок академической опеки кончен, цепи ее спали сами собой, и я исполнил наконец, что давно хотел». (Письмо к Стасову от 23 февраля 1878 г.)

Свой приезд в Россию в 1876 г. Репин ознаменовал поездкой в родные края, на Украину, где усиленно изучал быт и жизнь крестьянства.

«Я недавно пропутешествовал, — пишет Репин, — дня четыре по окрестным деревням. Бывал на свадьбах, на базарах, в волостях, на постоянных дворах, в кабаках, в трактирах и в церквях. Что это за прелесть, что это за восторг!!! Это был волшебный сон!» (Письмо Стасову от 11 ноября 1876 г.)

Поездка в деревню убедила Репина в факте величайшего разорения крестьянства пореформенной России и, что особенно важно, в ее классовом расслоении — на бедноту и кулачество. Не очень многие представители народничества могли констатировать этот неумолимый закон капиталистического развития, особенно в середине 70-х годов. Репин с величайшей грустью и сожалением писал Стасову:

«Домики и заборы точно выросли в землю от глубокого сна, крыши обвисли и желают повернуться на другой бок. Не спят только эксплуататоры края — кулаки. (Разрядка моя. — П. С.) Они-то вырубали мои любимые леса, где столько у меня детских воспоминаний...»

Здесь мы имеем дело с социальной драмой не представителя промышленной буржуазии, хотя бы и либеральной, а типичного народника. В этом письме Репин подметил гибель того фундамента, на котором было построено все здание народнических идеалов.

V

В 1877 г. Репин написал портрет «Протодиакона», в котором, как в фокусе, собраны все отрицательные стороны облика деятелей православной церкви. Художник создал этот образ не случайно, а совершенно сознательно. Репин по поводу «Протодиакона» писал Третьякову:

«Вы наверно называете этюдом портрет дьякона. Это даже более чем портрет, — это тип, словом, это картина».

В «Протодиаконе» подчеркнуты все неприятные физиологические черты человека-животного: страшное, грубое и опухшее лицо, сильно подкрашенный нос (результат длительного алкоголизма и разврата), толстые пальцы, непомерно толстый живот, алчность, полное отсутствие духовных признаков на лице. Это — тип таких православных дьяконов, «у которых ни на одну иоту не полагается ничего духовного, весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев, рев бессмысленный, но торжественный и сильный, как сам обряд в большинстве случаев». (Письмо Репина Крамскому от 13 января 1878 года.)

Трудно придумать более злую сатиру на духовенство, нежели в этом знаменитом портрете. И только поэтому в 1878 г. вел. кн. Владимир заявил: «Такую физиономию духовного лица неудобно показывать французам», то-есть послать в Париж на выставку. Технически портрет выполнен настолько хорошо, что многие критики справедливо сравнивали его с лучшими портретами Рубенса. Замечательная живопись еще больше выделяет отрицательные черты протодиакона.

Этот, как и многие другие портреты, и революционно-жанровые произведения Репина объективны в смысле своей социальной правды. Репин прибегает к

серьезным социальным обобщениям. Он типизирует своего героя или изображаемое социальное явление. Репин не натуралист, а мелкобуржуазный революционный реалист. Поэтому его революционно-народническое наследие исключительно важно как наиболее близкое, — хотя оно и остается иным по своей классовой природе, — к стилю социалистического реализма.

В «Протодиаконе» и в некоторых других картинах Репин сознательно наносит удар духовенству и всему религиозному культу. Художник поднялся в этом вопросе на высоту понимания классовой роли религии вообще. Он в 70—80-е годы успешно продолжал традиции просветителей-шестидесятников (Перов, Неврев и др.). Но по глубине осмысливания и понимания этого явления он превзошел всех своих предшественников. Репин еще в мае 1874 г. писал:

«Терпеть не могу этого благодушия (речь идет о различии убеждения Репина с Праховым. — П. С.), оно похоже на благодушие попов, внушающих крестьянам (еще крепостным), что «несть власти, аще не от бога». (Письмо к Стасову.)

На год раньше появления «Протодиакона» Репин написал эскиз к «Крестному ходу», который по характеру своего сюжета почти совершенно не отличается от просветительских антирелигиозных картин. Художник изобразил драку крестьян из-за иконы, впереди которой шествуют, не замечая случившегося, два апатичных представителя культа.

В 1874 г. Репин называл крестьянина «еще крепостным» потому, что реформа 1861 г. ни в какой степени не удовлетворяла его, — он наблюдал громадные пережитки крепостничества в пореформенной России, питая к ним величайшую вражду. Так называемое «освобождение» крестьян являлось для него своеобразным продолжением того же крепостничества.

Вокруг «Протодиакона» Репина разгорелась ожесточенная борьба в печати. Репина и его друга В. Стасова буквально травили и обливали грязью. Мы при-

ведем здесь только один факт этой борьбы, разгоревшейся на страницах «С.-Петербургских ведомостей» уже с большим опозданием. В номере от 12 апреля 1879 г. эта газета писала:

«В минувшем году появился на шестой передвижной выставке известный по своему безобразию «Протоиерей» г. Релина. Услужливый «друг» (В Стасов. — П. С.) не смутился безобразием этого неудачного этюда и с отвагой и дерзостью Ноздрева протрубил, «что это гениальное произведение, что г. Репин нынче больше не пишет, а скачет с кистью по полотну, точно тигр» (подлинные слова Ноздрева.) И эту чепуху, как видно, г. Репин принял за чистую монету и продолжал итти, подталкиваемый своим другом, по избранной дорожке...»

VI

Период 1879—1881 гг. в творчестве Репина характерен своим стремлением к историческому и народно-бытовому жанру.

В картине «Царевна Софья» (1879 г.) показана общественная и личная драма исторического лица, имевшего связь с большим общественным явлением в истории России — с бунтом стрельцов. В этой картине оказалась наивно-крестьянская вера патриархального крестьянства на хорошего «народного» монарха: на Репина оказывали давление разные социальные слои крестьянства (революционное и патриархальное), накладывавшие на определенных этапах противоречивые тенденции на его мировоззрение.

Утверждать, что эта картина вполне удалась художнику, нельзя: он не сумел дать своего героя, как вполне реальную историческую личность. Излишняя театральность позы ослабляет убедительность изображаемого. «Царевна Софья» является, скорее, слабым местом в произведениях Репина еще и потому, что она отличается от всех прочих его картин своей слабой социальной заостренностью. Это произведение принесло Репину очень много неприятностей благодаря плохому отзыву о нем не только со

стороны врагов, но и друзей, особенно Стасова, которого Репин уважал и любил.

«Мне лично вовсе не новость, — пишет Репин, — что чуть не вся критика против меня; это повторяется с каждым моим произведением. Припомните, сколько было лаю на «Бурлаков». Разница была та, что прежде Стасов составлял исключение и защищал меня... ну, что же, полают, да и отстанут. Это пустяки в сравнении с вечностью. Общественное мнение действительно вещь важная, но, к несчастью, оно составляется не скоро и не сразу и даже долго колеблется, и приблизительно лет 50 вырабатывается окончательный приговор вещи; грустно думать, что автор не будет знать правильной оценки своего труда». (Письмо Крамокому.)

Большая картина «Проводы новобранцев» (1880 г.) подчеркивает отношение крестьянской семьи к уходу, возможно единственного, кормильца в царскую армию. Глубоким, безысходным горем встретила семья новобранца это тяжелое семейное и социальное явление.

В «Проводах» имеет место сентиментальное отношение художника к изображаемым крестьянским типам, которое ослабляет социальную остроту картины и снижает силу революционного репинского реализма.

В «Вечернице» (1881 г.) показана иная тенденция, чем в «Проводах новобранца». Здесь имеет место любование художника крестьянским бытом. Бодрое веселье, свежесть и здоровье крестьянской массы, — вот тема этой картины. Художник стремится подчеркнуть, что бедность и другие социальные невзгоды не убили жизненной стойкости в народной крестьянской массе, которая способна веселиться в бедной и душевной обстановке.

VII

В истории живописи только один Репин сумел наиболее полно, глубоко и исторически последовательно показать образ революционного разночинца-народника. В богатой серии картин, посвященных народничеству и народо-

вольческому движению, Репин достиг исключительно полного выражения безграничной веры революционных народников в роль личности в истории общественной жизни при их полном непонимании роли общественных классов.

В 1876 г. Репин написал небольшой эскиз «По грязной дороге»: два жандрама с оголенными саблями, с крайне тупыми и звероподобными физиономиями, везут политического преступника в ссылку, на каторгу. Содержание картины — явно обличительного порядка, направленное против грубой физической силы самодержавного правительства, душившего всякое свободное революционное дело и революционную мысль. Умное интеллигентное лицо ссыльного является контрастом перед застывшими, грубо-животными физиономиями жандармов.

Хождение в народ революционной разночинной интеллигенции Репин показал в двух картинах «Арест пропагандиста» (1878 и 1880 — 1889 гг.). В первом варианте изба, где произведен обыск и арест, наполнена, кроме представителей власти, крестьянской публикой, которая по-разному реагирует на это знаменательное для деревенской жизни явление. Здесь и сочувствующие (большинство), и любопытные, и безразличные. И только незначительная часть — вероятно представители местной «крестьянской» власти — оказывает помощь полицейским.

В первом варианте революционер-народник показан в тесной связи с той средой, которая породила его и интересы которой он защищает. А во второй картине, более поздней, крестьянской публики уже нет, есть только несколько человек понятых. Здесь уже трудно судить о сочувствии крестьянской публики народнику-пропагандисту. В действительной деятельности народничества так и было: в первый период они рассчитывали получить полную поддержку и отзывчивость мужика, о котором Бакунин говорил: «Умный русский мужик — прирожденный социаллист», а позднее, в период деятельности «Земли и воли» (1878—1879 гг.), народники убедились окончательно, что

крестьянство глухо к социалистической агитации, что они находят поддержку только в очень небольшой группе одиночек.

Крестьянство не пошло за социалистической агитацией народничества, так как идеи социализма были далеки от их, мелкособственнической природы. Кроме того, во второй половине XIX века русское крестьянство перестало быть основным и единым классом: оно раскалывалось на бедноту и сельскую буржуазию. Поэтому самостоятельной революционной роли в условиях капитализма крестьянство играть не могло, его революционное демократическое движение могло развиваться только под руководством рабочего класса.

Социальная база народничества суживалась с каждым годом. Это привело народническую интеллигенцию к тактике политического террора. В творчестве Репина узость социальной базы народничества и переход к террору показан удивительно рельефно.

Репин фактически не принимал участия в народнических организациях, но его глубоко революционная живопись распространялась через организации передвижных выставок в разных районах России и тем самым делала общее дело с пропагандистами-народниками. В письме к Стасову от 13 февраля 1892 г. Репин писал:

«Моя выставка здесь делает большое оживление. Народу ходит много... Много студентов, курсисток и даже ремесленников толпится в двух залах и рассыпается по широкой лестнице. «Арест в деревне» стоит, и от этой картинки, по выражению моего надсмотрщика Василия, «отбою нет». (Подчеркнуто В. Стасовым.)

В 1882 г. Репин написал картину-этюд «Перед исповедью», в которой гордый народоволец отказывается перед казнью в своей тюремной камерке от исповеди. Это один из прекрасных по своему революционному и художественному значению этюдов. Только такие смельчаки, как Репин, могли делать подобные вещи в условиях жесточайшей реакции Александра III. Сколько мужества и моральных сил у этого профес-

сионального революционера-террориста, у этого борца за «землю и волю»!

Этюд «Перед исповедью» замечателен по своей экспрессивности выражения. Здесь же Репин произносит приговор духовенству, исполняющему общую роль, общее дело с палачом. Атмосфера тюремной каморки насыщена мраком, густыми, темными сумерками, которые усиливают знаменательность и выразительность происходящего явления.

Искусство Репина является глубоко общественным фактом.

В 1883 г. Репин со Стасовым совершили поездку за границу. Результатом этой поездки явилась небольшая картина «Митинг у стены Коммунаров Парижа» (1883 г.). В неопубликованной статье Репина о В. В. Стасове имеются исключительные по своему значению воспоминания для изучения истории деятельности этих двух крупнейших деятелей искусства. В этой же статье имеется подробное описание и той среды, которая толкнула Репина писать «Митинг коммунаров». Репин писал:

«В. В. обожал Париж, верил только в республику... Он был убежден — только у республиканцев проявлялись свободные искусства, вполне естественно вытекавшие из потребностей духа народа, освободившегося от всяких тенденций властей, еще державших направление, поддерживающее абсолютизм монархии и торжество клерикализма. Грозный публицист... В. В. был прозой многих критиков по искусству, его боялись...»

«В Париже мы посетили Лаврова. Этот страшный для правительства человек жил в бедной квартире, но большой, так как его посещали беспрерывно...»

«Мы с В. В. не пропускали тогда ни одного собрания социалистов. А 15-го июля и мы были в толпе на Père-la-Chese, у знаменитой стены, где расстреливались еще так недавно коммунары, еще все полны были только-что пережитыми страшными событиями. Теперь здесь был большой общественный праздник. Эта стена была щедро украшена букетами красных цветов, имела праздничный вид; особенно ее, то-есть все это

свободное пространство, оживляли живые толпы беспрерывно подходивших сюда группами, с огромными букетами цветов, все красные — разных пород. У этой стены в несколько рядов на земле было много свежих еще могил с белыми низенькими крестами. Эти могилки также близкими украшались красными букетами. Между тем ораторы сменялись, всходя на импровизованные возвышения...»

«После множества речей синие блузки большой массой двинулись на могилу Бланки. И здесь, на могиле, с возвышения опять говорились речи... В. В. с серьезным вниманием выслушивал этих ораторов. Публика все прибывала, и высокая стена сплошь украсилась цветами — краснела и краснела до красоты персидского ковра. В бывшем со мною дорожном альбоме я зарисовал всю эту сцену. Толпа иногда до того сжимала меня, что мне уже невозможно было продолжать, залезали вперед и залезали. Но французы — народ деликатный. И скоро несколько добрых блузников взяли меня под свое покровительство...»

«По возвращению к себе в отель я несколько дней писал масляными красками эту картину с натуры, которую приобрел у меня И. С. Остроухов...»

Репин, как представитель революционного народничества, был близок к коммунистическому движению. Отсюда — органичность «Митинга у стены Коммунаров Парижа».

В 1883 г. Репин закончил еще одну из лучших своих картин — «Сходку террористов». В «Террористах» изображена группа народовольцев, обсуждающих план своих дальнейших действий. В картине много жизненной правды, глубокой эмоциональной насыщенности и романтики революционного подполья. Горячая гамма, борьба темных и светлых пятен, таинственность, динамизм и напряженность создают впечатление глубокой конспиративности централизованной политической партии. Вся группа террористов показана на темном фоне, среди которого исчезают отдельные фигуры заговорщиков. Центром является оратор, вероятно руководитель боевой

дружины, который напоминает человека с железной волей и революционной решимостью. Репин достиг большой силы выразительности этого человека исключительным по своему живописному мастерству сочетанием отдельных художественных приемов: выражение лица, динамичность ракурса всей фигуры, огненные волосы, прекрасно переключившиеся с красной рубахой, и — напряженность всей обстановки, всего фона картины. Величайшая сила выразительности в этой картине переходит в драматизм изображаемого явления.

Кстати: утверждения некоторых критиков о том, что революционное народничество Репин показал в свете его революционной романтики и что поэтому его полотна слишком поверхностны и только издали отразили это движение, являются неправильными. Сама борьба народничества с царизмом в действительности была очень сильно окрашена революционной романтикой. И только благодаря большой правдивости, большому соответствию с действительным ходом вещей Репин справедливо показал народничество в свете революционного романтизма. Да и вообще не следует бояться реально-жизненной революционной романтики в искусстве.

Следует только отметить, что в «Сходке террористов» романтика революционной борьбы принимает оттенок жертвенности и обреченности, отражающих устои той социальной базы, на которую опирались народовольцы в своей борьбе с самодержавием.

В 1884 г. была выставлена Репиным хорошо известная широкой публике картина «Не ждали». Из царской каторги неожиданно вернулся в семью революционный народник. Каторга надорвала его физические силы, его трудно узнать молодым членам семьи, он стар и худ. Но царские пытки не сломили силы ума, силы убеждений возвратившегося народовольца. Сюжет картины очень простой и убедительный.

Некоторые искусствоведы, как например А. А. Федоров-Давыдов, считают эту картину порочной потому, что здесь трудно понять, кто вернулся — сын или муж старой женщины.

Он пишет: «Говорят, учитесь у Репина, пишите советские «Не ждали», и кажется, что это очень понятная картина. А вот на деле оказывается, что она понятна далеко не полностью, что сюжет в ней не совсем раскрыт до конца. Зритель не знает, кто же вернулся с каторги. Если это сын старухи и муж женщины, сидящей за роялью, то странно, что его родные так в него всматриваются, словно не узнают. Предположить, что это пришел товарищ его из ссылки, тогда пропадает добрая половина замысла драматического смысла сцены, ее психологизма. Вещь остается загадочной: не известно, кто вернулся» («Реализм в русской живописи XIX века»). Если только весь смысл картины видеть в разрешении этой загадочной «проблемы», то тогда, действительно, картина порочна. На самом же деле эти «проблемы» не репинские, а проблемы, которые умаляют значение крупнейшего революционного произведения в истории русской живописи.

Да и сама «загадка» не является плодом творчества Федорова-Давыдова, ведь ее уже загадывала (в несколько измененном виде) 50 лет тому назад самая реакционная газета в России — «Московские ведомости». Эта газета еще в 1884 г. (128-й номер) писала о «Не ждали»: «Кого не ждали? Пропавшего без вести члена семьи? Отвергнутого члена? Заблудшего, подвергнувшегося каре закона? Каждое из этих различий дает особый оттенок, особый характер встречи, и если художник хотел быть ясным, — а каждый художник должен стремиться к этому, — то он должен был прямо сказать: я изображаю возвращение пропавшего без вести, промотавшегося, заблудшего, отвергнутого. Вместо этого ясного определения г. Репин дает нам загадку. Кого не ждали? Кто возвратился? Мы этого не знаем, но масса отвечает за художника и подшептывает нам, что перед нами — политический ссыльный».

Репин показывает своего любимого героя — убежденного классового врага самодержавного строя — в разных условиях жизни и революционной деятель-

ности: в пути на каторгу, в отказе перед смертью от исповеди, в аресте на месте революционных действий, в обсуждении плана борьбы с правительством и наконец в возврате из царской каторги в свою родную, бедную семью. Какая последовательность, какое богатство показа романтики революционного подполья! Художник как будто делал это по заказу исполнительного комитета «Народной воли».

В «Не ждали» много чувств, вызванных большим и неожиданным впечатлением. В картине дана одномоментная передача эмоций, за этим моментом в действительности сейчас же должны последовать и другие переживания. Известной слабостью этой картины является лишь то, что проблемы политического порядка частично сужаются до семейной коллизии.

Только благодаря этому и оказалась возможность опорочить картину некоторым современным критикам. Они ухватились за слабое место революционного произведения, сильно раздули его и тем самым попытались доказать его несостоятельность.

Классовый враг революционного репинского творчества из «Московских ведомостей» (статья критика Васильева в № 128 за 1884 г.) самым фактом бичевания «Не ждали» подчеркнул наличие революционной тенденции в картине.

Так же резко отрицательно отозвался о «Не ждали» и «Гражданин» (№ 10, 1884 г.). «Московским ведомостям» и «Гражданину» вторили «С.-Петербургские ведомости».

Если же взять писания художественных критиков уже в условиях советской действительности, то можно отметить, что многие из них оказались по сравнению например со Стасовым реакционерами, а некоторые — и прямыми врагами демократической стороны репинского творчества. Для Стасова «Не ждали» — «одно из самых великих произведений новой русской живописи; здесь выражены трагические типы из сцены нынешней жизни, как еще никто у нас их не выражал». Это произведение для Стасова «самое крупное, самое важное

и самое совершенное его (Репина. — П. С.) создание». А в своих неопубликованных письмах к Репину Стасов сказал очень много хорошего о революционно-народнических картинах Репина вообще. Он пишет:

«Илья, я вне себя не то, что от восхищения, а от счастья. Я получил сию секунду вашу «Исповедь». Наконец-то я эту вещь увидел, и конечно в ту же секунду, в то же мгновение выпросил, вымолил себе фотографию у Минского. Наконец-то, наконец-то я увидел эту картину. Потому, что это настоящая картина, какая только может быть картина... и вы мне ее не только никогда не показывали, но даже говорили, что это так, это тут ничего нет. Да, ничего... Я чорт знает как сердит на вас, это из-за вашего равнодушия и небрежного отзыва. Я так до сих пор не видал этой изумительной вещи. Да, изумительной. Она для меня в первую же секунду вступила в казначейственную всего, что только для меня есть дорогого и важного от искусства: «Бурлаки», «Крестный ход»... «Не ждали» и др. Вот что мне от нынешнего искусства надо, вот... это мне от него дорого и бесценно. Вы как-то сказали мне, что я не признаю ваших картин и ценю только портреты. Какая клевета... Я помню, как мы с вами вместе, лет десяток тому назад, читали «Исповедь», и как мы метались, словно ужаленные и чуть не смертельно пораженные. Ну, вот у такого только чувства и бывают такие художественные всходы. Все остальное без такого «ужаления» ложь, вздор и притворство в искусстве. Какой взгляд, какая глубина у вашего осужденного. Какой характер, какая целая жизнь тут написалась — точь-в-точь «Не ждали». Что впоследствии после вас останется, — вот это-то и будет. Никто ничего подобного не пишет в Европе. Верещагин — только прихоть. Вы мне сегодня еще дороже стали. Вы не останавливаетесь — вперед идете, и громадным шагом». (Письмо от 8 мая 1888 г.).

«Но при этом случае я подумал, что когда-то будет... к этой чудесной вещи ваш «Арест». Вот настоящая и

исторические картины наши нового времени, достойные настоящим историческим картинам старого времени, каковы например: «Морозова» — Сурикова и т. д. Даже ваша заслуга больше: вы даете нынешнюю физиономию, действительно с натуры, и не только подсказанные Сурикову творческим воображением. Я был прав, и до сих пор остаюсь правым, придавая великое историческое значение этим трем вашим картинам. Кроме слов: «Не ждали», у картины не было никаких пояснений, а все поняли сразу, и одни обрадовались, другие возненавидели. Видно, что-то в самом деле было важное и сразу всех затронувшее. Точно так и другая картина — «Исповедь». Никаких объяснений, и все сразу поняли, как, что, где, когда. Так точно будет однажды (я надеюсь) и с «Арестом». Никаких объяснений, и однако сразу все поймут. Вот это — история, вот это современность, вот это настоящее нынешнее искусство, за которое вас в последствии особенно высоко поставят. (Разрядка моя. — П. С.). Знайте, из всех прех лиц я выше всего ставлю позу и лицо в «Исповеди». Это просто изумительная штука, это просто — вылилось. Ваш В. С.).

«Но как бы чудесно, если бы «Арест» появился в нынешний сезон, да еще выработанный и написанный по-настоящему... Пора, пора!!!» (Письмо от 12 декабря 1889 г.)

А как сожалел Стасов, когда Репин изменил самому себе и своему классу. Так например о картине «Государственный совет» он заявил Репину:

«Только мне жаль было бы, если бы ваше нынешнее совершенство письма... проявилось на коллекции каких-то завязтых негодяев, подлецов, насильников и злодеев, — или же идиотов послушных и дураков покорных, а не на создание, каком-либо важном по содержанию...» (Письмо от 9 июня 1903 г.)

«Не ждали» является одной из лучших картин Репина и по своему живописно-художественному мастерству. Жизненность композиции — исключительная. Характер связи и взаимодействие людей, предметов, большого простран-

ства выявлены так, что создается впечатление настоящей, подлинной жизни. Зритель делается как бы участником события. В картине наблюдается некоторая перегрузка правой стороны, нет, как это обычно принято в академической живописи, единого центра: художник допускает здесь две центральных группы (мать и ссыльный). Кресло выдвинуто на передний план, но оно резко не выделяется. Художник сумел найти такие цветовые соотношения, которые исключают остроту зрительного восприятия этого предмета. Но сам факт изображения этого кресла на переднем плане вытекает из всей природы восприятия Репиным жизни. Этот композиционный прием подчеркивает естественность той обстановки, где происходит изображаемое художником явление. Репин в этой картине, как и в ряде других, избегает замкнутого пространства: оно обрезается, выходя далеко за пределы полотна.

В картине имеет место вибрация воздуха и света, благодаря чему чувствуется комнатная атмосфера. Свет в комнате значительно рассеян. Краски жизнерадостные, сочные, особенно замечательно разработан интерьер. Здесь можно говорить о скупости красок, но только в смысле отсутствия пестроты: в картине большая живописная собранность — с единым, несколько зеленоватым, тоном. В этой картине следует обратить внимание на большое умение художника разрешать градацию цвета в пространстве. В правом углу картины много всяких предметов домашней обстановки, но они не играют самостоятельного значения. Репин, с помощью умелого овладения цветом, сделал все эти предметы «немыми»: они связывают смысл событий с определенной конкретной обстановкой.

VIII

Вершиной в творчестве Репина является картина «Крестный ход в Курской губ.» (1883 г.). В этой картине Репин показал большое социально-бытовое и политическое явление пореформенной России, — в ней сознательно обличается величайшее лицемерие господ-

ствующих классов и их духовного оружия — церкви. Основная торжественная процессия, состоящая из провинциальной буржуазно-дворянской аристократии и кулаков, отделена заслоном жандармов и представителей местной власти от крестьянской бедноты. Здесь налицо разоблачение классового принципа церковного шествия. В правой стороне шествующей толпы дан замечательный тип звероподобного полицейского — символа самодержавной азиатчины. Главный источник зла всех народных бедствий народовольцы видели в самодержавии, которое, по их мнению, держится только на голом насилии. Народники глубоко ошибались, рассматривая самодержавное правительство только как «нарот», а не как представителя экономически могущественных эксплуататорских классов. Репин в основном совершает ту же присущую народовольцам ошибку. Он в первую очередь протестует — и правильно протестует — против сословно-бюрократического государства, против его голых методов насилия. Это является главным мотивом «Крестного хода». Но Репину и здесь следует отдать должное. Он пошел дальше наивного народнического понимания классовый природы самодержавного правительства. Для Репина опорой самодержавия являются, кроме полицейского аппарата, и церковь, и кулачество, и буржуазно-дворянская аристократия. В «Крестном ходе» имеет место борьба художника с самодержавным правительством (разоблачение — один из актов борьбы), а не либерально-буржуазное равнодушие к нему. В этой картине, как и во многих других, настоящее мировоззрение художника выявилось очень четко и ярко. Репин воспринимает жизнь как сложный комплекс классовый борьбы, классового неравенства и — лично человеческих переживаний, обычно вытекающих из остро-социальных явлений. Глубокое и правдивое понимание и изображение жизни является главной положительной стороной репинского наследия. Репин делает оценку явлению, показывая его как большой социально типичный факт. Слабой стороной «Крестного хода» является тот

факт, что художник и здесь не сумел из оценки явления сделать правильный вывод о выходе трудящихся масс из бедственного положения: ограниченность его классовых убеждений вытекает из общей ограниченности мировоззрения революционного народничества. Если бы Репин сумел показать правильный выход, то он из народника превратился бы в марксиста, чего, к сожалению, не случилось (хотя Репин в отдельных случаях шел к марксизму). Он в «Крестном ходе», вопреки пониманию большинства революционных народников, показал, что деревня уже раскололась, что внутри самого крестьянства имеет место классовый антагонизм.

Главным действующим лицом «Крестного хода» является толпа, а не «фонарь с разноцветными лентами, который несут крестьяне», как то утверждает А. Федоров-Давыдов. В этой выдающейся картине толпа показана как единый поток, как всеисильная движущаяся лавина, а не механическое соединение живых тел. И при всем этом художник не обезличил социально типичные черты громадного количества участников движения. В картине трудно сосчитать все типы, именно социально обобщенные типы. Здесь и замечательная динамическая фигура горбуна, и типичные богомолки, и странники, и кулаки-старосты, и типичная аристократия, и чиновники, и пройдохи-управляющие, и равнодушно-тупое, с животными физиономиями духовенство, и т. д., и т. д. Обобщение толпы художник сделал методами реалистического восприятия мира, — он, истинно-глубокий реалист, не допускает таких обобщений, которые извращают реальный мир, как это делают представители выродившегося буржуазного искусства — формалисты и другие «рыцари» заумных художественных исканий. Эта сторона творческого метода Репина также крайне близка к методу социалистического реализма. Основную процессию многотысячной толпы художник строит по принципу диагонали. Но этот принцип не выдерживается до конца: правая сторона идущей бедноты нарушает стройность композиции. Центром картины является икона, помещенная между

двумя основными сторонами процессии. Икону несет жирная, равнодушная и тупая провинциальная купчиха; рядом — пройдоха-кулак и сельский староста. Последний, подняв над иконой палку, как бы стремится защитить ее от надвигающейся с правой стороны крестьянской бедноты. Этот нарочитый жест, как и некоторые другие, является характерным приемом обличения палочного самодержавного строя. Впечатление от всей картины исключительно жизненное, реальное.

Во всех картинах Репина (и особенно в «Крестном ходе») большую роль наряду с проблемой цвета играет композиция. В его картинах нет ничего лишнего и случайного, т.-е. не имеющего отношения к выявлению основного смысла содержания картины. Все подчинено основной идее. Стоит убрать несколько предметов или фигур, и сила образа будет совершенно нарушена. У Репина во всех картинах 70 — 80-х годов имеет место глубокая, реалистическая, конкретно-чувственная трактовка образа. На этом этапе у него нет субъективизации чувственного восприятия мира, как это появляется у крайне-субъективно-идеалистических буржуазных художников.

Вокруг «Крестного хода», как и вокруг других картин Репина, в печати разгорелась ожесточенная полемика. Особенно отличилась суворинская газета «Новое время». 5 апреля 1883 г. критик этой продажной газеты Д. Стахеев писал:

«Как же можно сказать, что эта картина есть непристрастное изображение русской жизни, когда она в главных своих фигурах есть только лишь одно обличение, притом несправедливое, сильно преувеличенное... Можно ли допустить, чтобы верховой урядник мог забраться в самую тесноту толпы и не в городе, а среди большой дороги и со всего взмаху бить народ плетью по головам, тем более в то время, когда тут же, вблизи него и духовенство, и представители полицейской власти, и почетные лица города... Вот, мол, смотрите, какие они папуасы, говорит автор, ка-

кое их благочестие: бедный, несчастный народ бьют нагайкой сплеча во время церковной церемонии, икону охраняют палкой, и никто из этих папуасов не чувствует, до какой степени он груб и дик, допуская подобное зверское самоуправство. Вот, помоему, точка зрения художника. Дальше две женщины несут пустой киот от образа, и несут с такой бережливостью и благоговением, точно киот есть такая же святыня, как и образ. В этом изображении проглядывает та же мысль художника: вот, мол, какое у глупых женщин благоговение к пустому ящичку, какое невежественное понятие о святине в наш просвещенный век... Засим, не говоря уже о выборе типа, лица и фигуры барыни, несущей самый образ, выборе, сделанном тоже с явным намерением дополнить «идею»: такая, мол, надменная безобразная рожа, видимо, почетная личность в городе, пользуется высокой честью нести в своих руках святыню... Нет, эта картина не беспристрастное изображение русской жизни, а только обличение взглядов художника на эту жизнь...»

В этом рычании классового врага очень много справедливых характеристик. Стахеев указал все сильные стороны «Крестного хода». Правда, он их бичует, он их антагонистически ненавидит, но он их правдиво вскрыл для того, чтобы убедительнее доказать их вредность для господствующих классов и опасность тех революционных идей, которыми руководствовался художник. А идеи были действительно революционные.

1882 — 84 гг. были в творчестве Репина особенно богаты революционно-народническими произведениями. В эти годы художник достиг вершины своего развития. Революционность убеждений Репина этого периода видна не только из его бесспорно народнических произведений, но и из его писем к друзьям. Он попрежнему выступает в них как типичный представитель революционного народничества. Замечательно интересными являются отклики Репина на похороны Ф. М. Достоевского.

«Я более всего восхищаюсь тем, — пишет Репин, — что Россия начинает жить жизнью интеллектуальной... уже не как холопы с вечным рабством только перед высокопоставленными властями, а как свободные граждане, отдающие дань заслуженному члену». (Письмо Крамскому 4 января 1881 г.)

«Признаю вас откровенно, я не совсем согласен со смыслом этого письма вашего. Достоевский великий талант художественный, глубокий мыслитель, горячая душа, но он надорванный человек, сломанный, — убоявшийся смелости жизненных вопросов человеческих, и обратился вспять. Чему же учиться у такого человека? Тому, что идеал — монастыри (от них-де выйдет спасение земли русской). А знания человеческие — суть продукты дьявола... И потом, как согласиться с широкой примиряющей тенденцией христианства, — и эти вечные грубые уколы полякам. Эта ненависть к Западу. Глумление над католичеством и прославление православия. Поповское карание атеизма и неразрывной, якобы с ним всеобщей, деморализации, сухости и пр.»

«Все это грубоватые натяжки, достойные московских мыслителей и публицистов, с Катковым во главе... А художник большой. Чего стоят галлюцинации Ивана Карамазова — великий инквизитор». (Письмо Крамскому 15 февраля 1861 г.)

В письмах к Стасову по тому же вопросу Репин сделал одну маленькую и очень существенную приписку непосредственно о себе. Он говорит:

«Ах, к моему огорчению, я так разошелся с некоторыми своими друзьями в убеждениях, что почти один остаюсь и более, чем когда-нибудь, верю только в интеллигенцию (Разрядка моя. — П. С.), только в свежее влияние Запада. (Да не Востока же в самом деле.) В эту жизнь, трепещущую добром, правдою и красотой, — а главное, свободой и борьбой против неправды, насилия, эксплуатации и всех предрасудков». (Письмо к Стасову 16 февраля 1881 г.)

Эти высказывания Репина весьма близки с высказываниями крестьянского

революционера Чернышевского и других основоположников народничества. Характерно также и то, что Репин в своих картинах и многочисленных письмах подчеркивает в первую очередь прогрессивные, демократические черты революционного народничества, а не реакционно-утопические. Этот факт еще более увеличивает ценность репинского наследия.

Не только в своем творчестве, но и в творчестве других художников и писателей Репин ценил больше всего революционно-демократическую сторону. Например он глубоко ценил и уважал Л. Н. Толстого. Он много раз бывал у него, беседовал с ним, знал все его произведения. Поэтому совершенно не случайно оставил он нам ряд прекрасных портретов Л. Н. Толстого. 8 октября 1880 г. в письме к Стасову Репин писал:

«Но Лев Толстой другое, это цельный, гениальный человек; и в жизни он так же глубок и серьезен, как в своих изданиях».

Репин ценил в учении Толстого только его демократическую, а не религиозно-проповедническую сторону. 14 ноября 1884 г. он писал Стасову:

«Да, Толстой («Декабристы») — это гениальный отрывок. Какое спокойствие, образность, сила, правда. Да что говорить... Только чуть не плачешь, что человек, которому ничего не стоит писать такие чудеса жизни, не пишет, не продолжает своего настоящего призвания, а увлекся со всей глубиной гения в узкую мораль... Жаль! Жаль! Жаль!»

Репин всегда сожалел, что «его рассудочные произведения» имели «промадный успех». (Из письма к Стасову 19 августа 1887 г.) Репин, как враг всяких религиозных культов, не мог ценить в учении Толстого и его последователей проповеди о непротивлении злу и пр. Несколько позднее (31 марта 1892 г.) он писал Стасову:

«Да-с, вы не чета Ге и даже Л. Толстому в их проповедях, — ведь они рабство проповедают. Это не противление злу. Да вообще все христианство — это рабство, это смиренное самоубийство всего, что есть лучшего и

самого дорогого и самого высокого в человеке, — это кастрация, и он (Ге) болтает, по старой памяти — шамкает: «искусство — освобождение». А сам проповедует рабство. Его «Христос перед Пилатом» — обозленный, ничтожный, угнетенный пропойца — раб. Его писал презирающий раба барин, да и последняя вещь: с кулаками подступает к морде каторжника кающегося. Где же тут речь о свободе?»

Увлечение Репина Толстым шло только по линии усвоения его прогрессивных сторон. Именно по этим соображениям Репин постоянно возмущался тем гонением и теми нападками, которые были организованы царским правительством и православным духовенством против Льва Толстого. Много лет спустя, 15 августа 1908 г., он в письме к дочери пишет:

«Вера, будешь ли ты праздновать день 26 августа — рождение Льва Толстого? По Руси отвратительным смрадом поднимают свое вонючее курице русские попы... с забулдыгами «черной сотни». Они готовят погром, русскому гению... О, времена!»

«Сходка террористов», «Крестный ход» и «Не ждали» — это вершины революционно-народнического периода в творчестве Репина. После этих картин он стал постепенно падать в болото дряблого русского либерализма. Та социальная база, которая питала Репина своими жизненными соками, стала уже иной. «Народная воля», убив в 1881 г. «коронованного зверя», исчерпала и свои собственные силы. Деревня раскололась, а «вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм» (Ленин). Трагедия революционного народничества явилась трагедией революционного репинского творчества. В этот период среди революционно-народнической интеллигенции начался разброд и в конечном итоге падение или в сторону либерального народничества, или в близкий им лагерь либеральной буржуазии. Да и сам Репин умел подметить этот существенный исторический факт. Он 4 августа 1883 г. высказал эти мысли Стасову — в связи с временным прекращением последнего печатать критические статьи и письма.

Репин пишет:

«Остается только пожалеть и к истории нашей деятелей крупных присовокупить еще один факт самобичевания и наконец самое ужасное — самоубийство же и е. Да, мало характера, мало мужества, мало энергии у наших лучших людей. Рано они на все овятое махают отрицательно рукой и малодушно прячутся в свои норки. Молода еще наша интеллигенция и крепко в ней сидит традиция прозябания... Восток, столь любезный вам, здесь слышится».

IX

Картина «Иван Грозный» (1885 г.) была задумана Репиным как факт оправдания убийства народовольцами Александра II 1 марта 1881 г. Грозный, этот «плюгавый убийца» (Л. Толстой), является подходящим объектом для разоблачения и обличения деспотизма самодержцев. Репин взял момент убийства Грозным своего сына. В «Грозном» имеют место две тенденции: одна идея по линии утверждения «вечных» идей на тему «не убий», а другая — по линии обличения развращенного самодержца.

Хотя картина и вызывает чувство отвращения не только к акту убийства, но и к убийце, однако ее социальная острота несколько ослаблена глубоким психологическим переживанием, переключенным в план общечеловеческой морали. В «Иване Грозном» господствует тенденция примирить разоблачение коронованного преступника с христианским непотреблением сына, с его смирением и любовью к отцу-убийце, с его прощением этого жестокого акта. Художник показывает победу христианской морали над самым испорченным силой неограниченной власти человеком. Это типичное для кающегося буржуазно-либерального интеллигента явление ослабило обличительную силу прекрасно задуманного сюжета.

Наличие в картине христианской морали показывает, что в художественной практике Репина отход от революционно-демократических позиций сказался значительно раньше, чем это совершилось в его письменных высказываниях,

например письма о Л. Н. Толстом, о Н. Н. Ге и др.

Но роль и воздействие этой картины на зрителя следует брать не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и в историческом разрезе. В 1885 г. она справедливо рассматривалась как крайне обличительная картина. Недаром вокруг этой картины был поднят большой шум — вплоть до временного ее запрещения. Победоносцев в письме к Александру III от 15 февраля сообщал:

«Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на Передвижной выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: Иван Грозный с убитым сыном. Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения... удивительное ныне художество: без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались этой наклоностью и были противны. Трудно понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода, не приберешь другого мотива». («Победоносцев и его корреспонденты», т. I, 498.)

В «Грозном» Репин хорошо передал и увязал сумерки и нервную напряженность мрачной царской палаты с предсмертной агонией убитого. Замечательно передана выразительность и психологическая экспрессивность лиц. На высоту этой экспрессивности выражения никто из русских художников не мог подняться, кроме только Сурикова и Н. Н. Ге.

Царская цензура вела упорную борьбу с картиной «Иван Грозный». Хотя Репин и делает в этом произведении уступку буржуазно вечным общечеловеческим идеям, которые значительно заслонили собой революционно-демократическую сторону картины, но тенденциозность, заложенная в выборе самого сюжета, все же сохранилась.

Только поэтому картина «Иван Грозный» и вызвала такой протест со стороны всех монархически настроенных групп.

«А меня-то прихлопнули в Москве, — пишет Репин. — Первого апреля картину сняли с выставки и запретили ее распространение в публике каким бы то ни было способом (секретно, по высочайшему повелению)». (Письмо Стасову от 4 апреля 1885 г.)

Когда редакция «Нивы» просила разрешения отпечатать на страницах журнала эту картину, цензор Пантелеев ответил категорическим отказом.

«Независимо удручающего впечатления, производимого на зрителя, по мнению цензора, представляется неудобство напечатание в недорогом, имеющем 170.000 подписчиков, журнале такого снимка в том отношении, что этим как бы увековечивается все зверство, на которое способен был русский царь, хотя и отдаленного времени. Что же поучительного такая картина может дать юному читателю? Едва ли задача таких журналов, как «Нива», популяризировать идею о царском самосуде и зверской несдержанности. В виду изложенного цензор не считает возможным дозволить снимка на страницах «Нивы».

Царской цензурой запрещались для массовой печати не только «Иван Грозный», но и «Арест», «Не ждали», «Перед исповедью», «Сходка террористов» и др. Нужно думать, что это делалось не случайно, а из соображения политической опасности, которая вытекает из силы и характера воздействия этих картин на зрителя.

В последующих своих произведениях — «Речь Александра III к волостным старшинам» (1886 г., заказная работа), «Запорожцы» (1891 год) и другие — Репин окончательно стал на противоположные своему первому периоду позиции. В этих картинах художник оказался в сетях того узко-казенного национализма эпохи Александра III, который пропагандировался в печати, в школах, церквях и т. д.

В «Запорожцах» еще имеют место некоторые пережитки народничества, но они сказались только своей реакционной стороной. Здесь — и «квасной» народнический национализм, и типичная либерально-народническая оглядка назад, в глубь прошлой эпохи, к былым свободным временам. Репин в своем письме к Стасову прекрасно вскрыл и объяснил те идеи, которыми он руководствовался в работе над «Запорожцами».

«Он (Ге. — П. С.), — пишет Репин, — не понимает и не верит запорожцам. Или он все забыл, или ничего не знает из русской истории. Он забыл, что до учреждения этого рыцарского народного ордена наших братьев десятками тысяч угоняли в рабство и продавали, как скот, на рынках Трапезонта, Стамбула и других турецких городов... Была даже установившаяся цена на славянина и на немца (немец ценился дороже). И вот выделались из этой забитой, серой, рупинной, покорной, темной среды христиан, — выделались смелые головы, герои, полные мужества, героизма и нравственной силы». «Довольно, — сказали они туркам. — Мы посмеемся на порогах Дымера, и отныне разведем через наши трупы вы доберетесь до наших братьев и сестер. И если вы вспомните, что даже в последний свой поход в Крым... вывели 6.000 пленных христиан. И эти... «не фарисействовали», не напускали на себя маску смирения. А жили весело и красиво. И почему же теперь отвернемся от этих героев и будем бросать в них грязью и сравнивать их с кутилами у Палкина...» (у Николая I — П. С.).

В. Стасов, чуткий и умный критик, в дни появления «Запорожцев» сумел подметить идейную слабость и ограниченность картины. Эта картина «по содержанию, — пишет он, — все далеко не то, что «Не ждали» и «Исповедь» — ваши шедевры». (Письмо к Репину 15 июля 1890 г.) Стасов, который внимательно следил за эволюцией Репина, еще 30 мая 1887 г. на конверте его письма из Вены «делал надпись: «Идеализм (поворот)». Прозорливость Стасова оправдалась вполне. Репин на этом

этапе отказался от боевых революционных задач в искусстве, выдвинутых в 60-х годах эстетикой Чернышевского, став на позиции «чистого» искусства. Этот переход деятельности Репина проходил очень болезненно. Он долгое время не был в состоянии серьезно работать.

«Я не могу ни на чем из моих затей остановиться, — пишет Репин, — ...все кажется мелко, не стоит труда. Я думаю, это болезнь нас — русоких художников, заеденных литературой. У нас нет горячей, детской любви к форме, а без этого художник будет сух и тяжел, и мало плодovit, наше спасение в форме, живой красоте природы, а мы лезем в философию, мораль, — как это надоело. Я уверен, что следующее поколение русоких художников будет отплевываться от тенденций, от исканий идей, от мудрствования; оно (искусство.— П. С.) вздохнет свободно, взглянет на мир божий с любовью и радостью и будет отдыхать в неисчерпаемом богатстве форм и гармоний тонов, и своих фантазий...»

Разрыв Репина с Товариществом передвижных выставок, его вступление в реформированную Академию художеств и отказ от революционной живописи вызвали ожесточенную борьбу со Стасовым. Эти две замечательные личности своей эпохи, связанные между собой на протяжении 25 лет дружбой и любовью, разошлись, порвали на ряд лет всякую личную и письменную связь. Этот разрыв произошел не на личной почве, а на общественной, классовой, мировоззренческой. Репин в своих письмах очень обстоятельно вскрыл характер и причины разрыва со Стасовым и вообще с тем направлением в искусстве, которому он служил около 20 лет.

«Вы меня утомляли вашего общества, — пишет Репин, — только как художника выдающегося и как человека вашего прихода по убеждению; но как только этот человек посмеет иметь свое суждение, вы его сейчас же исключаете, хороните и ставите на нем крест». (Письмо Стасову от 24 ноября 1893 г.)

«Владимир Васильевич ставит на первый план принцип. Личность он мало ценит. С Серовым, Балакиревым, Кюи он разошелся только из-за разницы в убеждениях. Вот и мне судьба судила прибавить и свое имя к списку таких выдающихся людей, отвергнутых строгим судьей». (Письмо к жене Стасова от 5 сентября 1894 г.)

«Во всяком случае правительство наше очень терпеливо относится ко всем почти явлениям в нашем искусстве. «Бурлаков» моих по эскизу моему заказал мне вел. кн. Владимир Александрович. «Запорожцев» купил государь. Вообще, правду сказать, они беспристрастнее вас и совсем уж не деспотичны в своих требованиях... Наша власть никогда даже ничего не заказывает, исключая батальных картин... государь сказал: делайте, что вам по душе... Никогда он не насильствует личности художника. Вот критики так всегда, напротив, очень деспотичны. И толстовщина, и анархизм мне представляются теорией, может быть, и применимой в каком-нибудь неисчислимо далеком будущем. Но жить этими теориями сейчас — все равно, если бы я перестал есть нашу пищу в ожидании, что завтра будет изобретена таюмака жизненного эликсира, в который вы верите... Л. Толстой в ложном положении и против своих теорий, с тех пор, как он их проповедует... У меня, положим, начала сесть голова; разве я виноват. Разве я в сила остановить свою седину? А вы с утра до вечера готовы пилить человека, что он поседел и что он не остается таким кудрявым, черноволосям, как было 20 лет назад. Нравственный рост человека так же неизбежен и неумолим, как и седина, и физическое старчество. Товарищество давно уже учредило (совет) учредителей; равенство членов давно уже нарушено — из-за чего я и вышел из Товарищества. Оно постоянно производит давление на молодежь и значительно уже расходится с новыми воззрениями и вкусами». (Письмо к Стасову от 13 июня 1894 г.)

Ренегатство Репина вызвало ликование и приветствие в стане его прежних

врагов. Вся реакционная печать одобрительно отозвалась на его поворот в сторону «чистого» искусства.

Классовые враги объявили Репину мир и пошли с ним на сближение.

В обществе художников и критиков только один Стасов со своим небольшим кругом последователей еще пытался вернуть Репина на путь его прежней деятельности, но попытки оказались тщетными. О ренегатстве Репина Стасов писал Л. Толстому (1894 г.):

«Двадцать лет он был чудесен, великолепен, орлом летел вперед, а теперь лягушкой только прыгает вкривь и вкось и кое-что квакает — в красивых словах, правда, но бестолково, нелепо и безумно... А все отчего? Оттого, что он принадлежит к той несчастной породе русских, которые до 40 или 45 лет одно, а с 40 или 45 лет — совершенно другое».

Незначительный демократический подъем в творческой практике Репина в 1905 г. не был в состоянии вновь сделать его великим художником, достойным творцом таких замечательных произведений, как «Бурлаки», «Крестный ход», «Арест», «Сходка террористов», «Не ждали», «Иван Грозный» и др.

Х

Характер и направленность творчества Репина 70—80-х годов, его замечательные высказывания в письмах и та борьба, которую вели с художником все реакционные круги, начиная от царской цензуры и кончая А. Бенуа и др., вполне убеждают в том, что Репин был достойным детищем второго демократического подъема в России и что не только в живописи, но и в литературе трудно найти такого последовательного представителя революционного народничества, каким был Репин.

Выше я уже останавливался на разборе как дореволюционной, так и послеволюционной критики, которая, за малым исключением, не любила творчества Репина и всячески порочила его.

Остается остановиться еще на некоторых критиках репинского творчества

Самым откровенным из всех современных критиков оказался Радлов, который в своей книге «От Репина до Григорьева» (1923 г.) писал:

«Культура передвижничества была по своему кругозору узко-провинциальной и в корне несамостоятельной. Раздавленная грандиозным ростом литературы, живопись покорно подчинилась ей, за громкими фразами о «правах гражданина и художника» (Крамской) забыв о правах живописца... И Репин бьется, ища выхода, он передает передвижничество своими «беспольными» историческими композициями, своей «Царевной Софьей», безыдейными «Запорожцами» и «Садко». (Заметьте, что Радлов «забыл» о других, действительно революционных, картинах Репина. — П. С.) Такова судьба исторического положения Репина. Он вырос между двух определенных культур: националистической, провинциальной по своему кругозору и зависимой в своих принципах, культурой передвижничества, и космополитической, стремящейся к освобождению живописи, культурой «Мира искусства». Его творчество — это грандиозное растение, выросшее в расщелине и потому так и не дотянувшееся до солнца (!??) Репин — плохой мыслитель и менее всего мастер. И смысл «Бурлаков» раскрывается только в этом определении их, как психологического анализа группы типов. Правда, эта характеристика слаба и неуверенна, как неуверенно и все исполнение картины. В этом виновата, несомненно, попытка художника ввести в чувствование обличительный элемент».

Примерно то же самое высказал и И. Иоффе в своей «Синтетической истории искусства» (1933 г.). И в этой книге имеет место тот же самый «разнос» революционного реализма Репина, которым занимались Радлов, Розенталь, Федоров-Давыдов и другие. На 302-й и 306-й страницах Иоффе пишет:

«Идейное обличительство, идущее от радикальной мелкой буржуазии,

вступает в противоречие с иррациональной живописностью и общечеловеческими проблемами, идущими от либеральной буржуазии... Этот компромисс между идейностью и живописностью, между злободневным и историческим и делает Репина непоследовательным и неустойчивым ни идеологически, ни живописно. Он не поднимается на высоту философских и исторических проблем и психологизма, хотя преодолел жанровый бытовизм».

Все это убеждает в том, что сейчас крайне необходимо под новым углом зрения пересмотреть оценку художественного наследия не только о таких крупнейших мастерах, как Репин, но и о всем реалистическом направлении в истории живописи.

XI

Стремление Репина в его революционном периоде к живописности, к изображению атмосферы, к световым рефлексам остается в рамках глубокого и серьезного реализма. Но здесь уже имеется тенденция (она особенно чувствуется в «Крестном ходе», в «Не ждали», в «Иване Грозном», а также в некоторых портретах), которая на определенном этапе эволюции мировоззрения художника может перерасти рамки реализма.

В каждой картине Репина есть большое стремление максимально познать жизнь, установить жизненные связи, взаимодействия, вскрыть типичные, социальные и природные явления. Из этого вытекает и то, что на определенном этапе развития художник стремится изобразить «живую» атмосферу, неограниченное пространство, свет и световые рефлексы, цвет и цветовые обобщения, переходы, дополнительные тона и т. д. Все эти моменты являются необходимым законным явлением в высокоразвитом реализме Репина.

Рассматриваемый этап в творчестве Репина не дает права сказать, что Репин воспринимает мир только как комплекс цветовых ощущений. Его интересуют предметы мира, в первую очередь

как тела, имеющие материальность и существенные социальные, психологические и физические связи, цветовые же ощущения играют большую, но подчиненную роль. В конце 80-х годов в творчестве Репина появляется тенденция к скачку в сторону субъективизации восприятия мира, но эту тенденцию следует рассматривать на данном отрезке только как тенденцию, хотя и ясно наметившуюся. Переход Репина в лагерь либеральной буржуазии способствовал переходу и в стан художников-импрессионистов.

Характерной чертой для Репина является большое внимание к человеку, к человеческому лицу. Вещи и природа в его творчестве имеют не самодовлеющее, а лишь служебное, подчиненное значение. Всякое неуважение к человеческому лицу отрицалось художником в его практике и теории. Он в письме к Стасову от 18 апреля 1883 года писал о Верещагине:

«Такое пренебрежение к человеческому лицу просто непροститительно, непростительно... Это богатырь, действительно, но при этом еще все-таки дикий скнаф, как все наше любезное отечество».

Тенденция сделать главным предметом изображения человека вообще имела место у просветителей и народников. Это объясняется тем, что просветители и народники, заинтересованные в борьбе с социальным злом, иначе и не могли сделать, потому что искусство без активного участия человека высокоидейным и классово-заостренным быть не может. Репин раскрыл эту сторону художества шире и глубже, чем абсолютное большинство художников его эпохи.

Внимание к человеку — явление положительное и для наших дней. Глав-

ным действующим лицом в произведениях социалистического реализма в первую очередь должен являться человек как конкретный представитель определенного класса и новой социалистической эпохи. Натюрморт и изображение природы должны, правда, занять почетное место в живописи, но не должны являться самоцелью. В СССР созданы прекрасные условия для величайшей личной инициативы и самосовершенства. Поэтому сейчас, как никогда, героем социалистического искусства должен стать освобожденный человек.

Реализм Репина — здоровый и бодрый реализм.

В картинах Репина имеет место глубокое познание действительности, глубокая наблюдательность, революционная прозорливость и умение обобщать явления средствами прекрасного художественного мастерства.

Рассматриваемый период в творчестве Репина близок нам своей революционно-демократической стороной, правдивостью изображения конкретных исторических явлений, простотой художественного языка, своим умелым обобщением социальных фактов, своим прекрасным сочетанием глубокой идейности с блестящей техникой, своими полнокровными социальными образами. Репин искал красоту жизни в революционном подполье народничества и народолюбительства. Он нашел и утвердил эту красоту на своих выдающихся полотнах. Он создал грандиозный исторический памятник великим героям второго демократического подъема в России. Только враги революционной живописи могут обливать грязью большое революционное наследство Репина. Трудящиеся Советской страны любят, уважают и глубоко ценят его.

Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».